

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

# Русская литература

№ 1

Историко-литературный журнал

1993

*Издается с января 1958 года*

*При содействии Российского Международного  
фонда культуры*

*Выходит 4 раза в год*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
О.Р. Николаев, Б.Н. Тихомиров. Эпическое православие и русская культура (материалы и постановка проблемы) . . . . .	3
А. В. Моторин. Эволюция художественного миропонимания в творчестве А.С. Грибоедова	21
П. Тирген (ФРГ). К проблеме нигилизма в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» . . . . .	37
В.А.Недзвецкий. И.А. Гончаров и русская философия любви . . . . .	48
В.А. Туниманов. Что там — дальше? (Достоевский и Замятин) . . . . .	61
А.И. Павловский. «...Сигналы людям будущего» (о дневнике М. Пришвина 1930 года) . . . . .	81
Г.М. Фридлиндер. О Солженицыне и его эстетике . . . . .	92
В.Е. Ветловская. Проблема источников художественного произведения . . . . .	100

## ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Г.П. Федотов. «Слово о полку Игореве» (вступительная статья, перевод и примечания С.С. Бычкова) . . . . .	117
Л.П. Карсавин. Русская идея (вступительная статья, перевод и примечания А.А.Ермичева)	132

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В.Ф.Лурье. «Святые письма» как явление традиционного фольклора . . . . .	144
К.В. Чистов. Фольклор в русской литературе XVIII века . . . . .	149
Йоле Станишич. Лев Толстой о Боснии и Герцеговине . . . . .	154
В.А. Кошелев. Гумилев и «северянинщина». Две «маски» . . . . .	165

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«НАУКА»

Переписка Л.И. Шестова с А.М. Ремизовым (вступительная заметка, подготовка текста и примечания И.Ф. Даниловой и А.А. Данилевского) (продолжение) . . . . .	170
С.А. Батото. Об одном неосуществленном издательском замысле (письма П.А. Сорокина к П. Витязеву) . . . . .	182
«Воспоминания» Вадима Морковина (публикация Д.В. Базановой) . . . . .	190
В.И. Глоцер. Об одной букве у Даниила Хармса . . . . .	240

#### ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Р.Ю. Данилевский. Монография о романе И. Гончарова «Обрыв» . . . . .	242
О.В. Миллер. Новая биография М.Ю. Лермонтова на английском языке . . . . .	244

#### ХРОНИКА

В.Ю. Вьюгин. Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Марины Цветаевой . . . . .	247
М.Г. Соколянский. Четвертые Алексеевские чтения в Одессе . . . . .	251

#### Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),  
 В. Н. БАСКАКОВ, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора)  
 А. А. ГОРЕЛОВ, Г. А. ГОРЬШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА,  
 Л. А. ДМИТРИЕВ, Б. Ф. ЕГОРОВ, А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО,  
 В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1993 г.

## ЭПИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

(МАТЕРИАЛЫ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

### 1

#### ЭПИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ И БЫЛИННАЯ ТРАДИЦИЯ

Одна из стержневых коллизий европейской культурной истории связана с решением вопроса о христианском осмыслении войны. Утопический церковный идеал, осуждающий войны, и кровавая реальность истории, принципы евангельской этики и неизбежность насилия — эти антиномии порождали и продолжают порождать бесчисленные попытки их разрешения. «Христианство перед лицом войны» было поставлено в эпоху раннего средневековья, когда «произошло столкновение: с одной стороны, религия, несшая слово любви и мира, с другой — эпоха бесконечных сражений и люди, в чью плоть и кровь вошла война»; в споре не победила та или иная сторона, но было достигнуто динамическое равновесие, которое «не могло не породить постоянных трений и разногласий».<sup>1</sup> Процесс взаимодействия христианства и языческой «культуры войны» привел к возникновению нового типа воина с особой системой ценностных ориентиров и психологией, ограниченной «мерой» христианской нравственности — фигуры средневекового рыцаря.

Несомненно, с подобными проблемами столкнулись со времени крещения Руси и восточные славяне. Скудость источников по языческой эпохе славянства не позволяет достаточно ясно увидеть облик архаического воина: исследователь в большинстве случаев имеет дело с более поздними, христианизованными источниками. В национальной духовной культуре самый архаичный из сохранившихся тип исторического (вернее, квазиисторического) сознания представлен героическим эпосом — русскими былинами, записи которых были сделаны уже в XVIII—XX веках. В древнерусских летописях и воинских повестях, хронологически более ранних памятниках, находим сложное взаимодействие (иногда сплав) различных историософских концепций: героико-эпические принципы осмысления истории сочетаются с провиденциалистской идеей «казней Божиих», нравственно-поведенческим идеалом мученичества и т.д. Уже древнерусская культура обозначила и выявила сложности, противоречия и компромиссы национальной концепции войны. Вместе с тем доминантой и основой народного исторического мышления вплоть до XX века было эпическое отношение к событиям, которое, сохранив основные свои закономерности, не могло не измениться под влиянием христианства.

Под «эпическим православием» понимаем комплекс христианских представлений, связанный с эпическим конфликтом, т.е. с героическим противостоянием «своего» и «чужого» миров. Этот духовный феномен, возникший в результате

<sup>1</sup> Кардини Франко. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С.222.

христианизации национального эпического сознания, нашел отражение в былинной традиции, исторических преданиях, культуре казачества (в особенности, ранних его форм — Запорожского и Донского), в менталитете русских солдат и крестьянства в целом. В этом отношении богатырский эпос является особо значимым материалом ввиду его высокого ценностного статуса в контексте национальной духовности: в былинах воплощен идеал русского патриотизма, сохранена память о «золотом веке» этнической истории. Древняя мифологическая основа героического эпоса (даже в его классической форме) несомненна: «Мифологические модели с самого начала определяют сюжетные схемы, а не вносятся впоследствии из-за забвения исторических фактов».<sup>2</sup> Очевидно, что взаимодействие архаических эпических закономерностей с христианскими представлениями дает самый ранний (с точки зрения культурной истории, а не хронологически) тип эпического православия.

Многослойность эпического мира, в былинных текстах представленная синхронно, позволяет в нем увидеть разные культурные пласты и идейно-содержательные доминанты: мифологическую, историческую, нравственно-этическую, социальную, — что обуславливает различные направления в истолковании русского героического эпоса. История восприятия былинной традиции русской культурой XVIII—XX веков показывает, что героический мир былин может быть увиден и как мир по сути своей христианский. Яркий образец подобного подхода представлен в статье К.С. Аксакова «Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням» (1856). Предпосылкой христианского истолкования былин явилось понимание Аксаковым образа Владимира Красного Солнышка как былинной ипостаси Владимира Святого, крестившего Русь: «Христианство есть главная основа всего Владимирова мира. На этой-то христианской основе является богатырская сила и удаль молодого, могучего народа».<sup>3</sup> Центр православного мира былин — образ Ильи Муромца, нравственно приближенный Аксаковым к идеалу святости. Обладая небольшим количеством источников, критик уже столкнулся с противоречиями: сюжет о бунте Ильи Муромца против князя мало соответствовал святому образу богатыря. К.С. Аксаков заключает, что фигура Ильи «послужила здесь канвой... для нового народного сознания» и как бы раздваивает богатырский образ, советуя не смешивать подобные сюжеты «с древними песнями об Илье Муромце».<sup>4</sup>

Противоречий былинные тексты представляют достаточно, обусловлены они той же многослойностью эпического мира. Так, архаический слой мифологической героики неизбежно должен вступить в противоречие с православной концепцией. Ставя задачу типологической характеристики христианских мотивов в былинах, мы осознанно пользуемся методом синхронного описания, пока не ставя вопрос об их генезисе. Эпическое сознание, представленное былинными текстами поздней эпохи, актуально для сказителей — носителей традиции. Все несоответствия, противоречия, потерянные и механически привнесенные мотивировки отражают динамику эволюции народного мировоззрения, пытающегося сохранить цельность эпического мира, соединить на героической основе разнородные тенденции и смыслы.<sup>5</sup> Мотив с точки зрения эпической сюжетики может быть алогичным,

<sup>2</sup> Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986. С. 79.

<sup>3</sup> Аксаков К.С. Богатыри времен князя Владимира по русским песням // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. М., 1981. С. 95.

<sup>4</sup> Там же. С. 134

<sup>5</sup> В принципе любой фольклорный текст, записанный на стадии разрушения традиции, приоткрывает завесу над тайной народного менталитета, обнажая глубинные схемы и механизмы народного мышления. С этой точки зрения зачастую отвергаемые эпосоведами ущербные, разрушенные, вторичные по происхождению тексты представляют особый интерес: здесь явлены не законы эпически целостного мира, но яркая картина проблем и противоречий эпического сознания.

но история народного менталитета позволяет увидеть в его появлении непреложную закономерность. Эпическое православие вряд ли можно описать с точки зрения системных отношений, скорее — как динамику взаимодействия эпического и христианского типов мышления. Так, образ богатыря, при сохранности его эпического ядра, подвергается многообразным вариациям, приводящим к внутренней противоречивости: Илья Муромец — и канонизованный святой, и архаический сыноубийца, и защитник Святой Руси, и чуть ли не святотатец и кошун, спшибающий кресты с церквей и закладывающий свой нательный крест в кабаке.

Можно утверждать, что проникновение христианских мотивов и смыслов в былинный мир являлось частью общего процесса историзации эпического фона, характерного для этапа формирования классического героического эпоса.<sup>6</sup> В отличие от сказки, былина была проницаемым для христианской традиции жанром: во-первых, установка на достоверность обуславливала необходимость присутствия религиозного начала в эпических песнях (сказка с ее фиктивным миром и развлекательной функцией может сохранить архаическую систему идей и мифологическую поэтику почти в неприкосновенном виде); во-вторых, со времени своего возникновения на былинку влияет жанр духовного стиха, который не отделялся в народном бытовании от героической эпики; в-третьих, былины создавались в основном в христианскую эпоху.

В советском эпосоведении сложилась тенденция рассматривать христианские мотивы как чуждые народному эпосу привнесения, которые «могут в нем появляться при определенных условиях».<sup>7</sup> Действительно, дохристианское формирование основных эпических закономерностей подчеркивает жанровую неорганичность христианского пласта в былинных текстах, но предпосылки появления этих мотивов очевидны для христианской эпохи русской истории и становятся общезначимыми (мало того, обязательными) по крайней мере с рубежа XV—XVI веков, когда русское самосознание получило оформление «в тождестве понятий русский—православный».<sup>8</sup> Очевидно, к этому времени «свой» мир в былинах всецело обретает облик «Святой Руси». Христианизация эпического мира неизбежна, как бы она не нарушала чистоту архаической героики. Полное и исчерпывающее описание христианских мотивов былин в их разнообразных формульных вариациях является существенной частью «фронтального приобщения к той конкретике эпических текстов, которой мы, в сущности, еще не владеем». Осознавая «пагубную диспропорцию между огромным богатством записей былин и отрывочным цитированием их по тому или иному поводу без сквозного сличения с другими вариантами»,<sup>9</sup> мы вынуждены идти этим некорректным путем, так как статья посвящена прежде всего постановке вопроса о русском эпическом православии. Выявление основных типологических линий «христианского слоя» былин подчинено задаче общей характеристики православного облика эпической ментальности русского народа. Кроме того, былины рассматриваются не только как явление фольклорной традиции, но и как объект художественной и нравственно-философской рефлексии русской литературы XIX века.

<sup>6</sup> Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 79.

<sup>7</sup> Путилов Б.Н. Русский и южно-славянский героический эпос. М., 1972. С. 258.

<sup>8</sup> Бернштам Т.А. Русская народная культура и народная религия // Советская этнография. 1989. № 1. С. 96.

<sup>9</sup> Гацак В.М. Поэтика эпического историзма во времени // Типология и взаимосвязи фольклора народов СССР: Поэтика и стилистика. М., 1980. С. 24.

## СВЯТАЯ РУСЬ И «СВЯТОРУССКИЕ БОГАТЫРИ»

Пространственные отношения в эпосе подчинены противостоянию «своего» и «чужого» миров. Своя земля чаще всего определяется сакральным топонимом: «Святая Русь», хотя возможны и варианты (Русь, Русия и т.д.). Символизируя «государственное, политическое, национальное и культурное единство эпической России»,<sup>10</sup> понятие «Святая Русь» указывает и на особое духовное единство. По мнению Г.П.Федотова, в духовных стихах «национальное имя народа сливается для певца с пределами христианского мира и, следовательно, с пределами Церкви».<sup>11</sup> Понимание Святой Руси как православной вселенной отчетливо сказывается и в былинах. Святые места (Царьград и Иерусалим) не противопоставлены Русской земле как чужие или далекие земли, но скорее включены в ее состав именно на основании духовной общности (Царьград может именоваться «славным батюшкой»<sup>12</sup>). С точки зрения социальной и государственной Киев и Царьград — разные миры; в былине «Илья Муромец и Идолище» щедрость Константина противопоставлена скупости Владимира, хотя Илья и возвращается служить киевскому князю. Иерусалим может быть включен в общую картину святорусского пространства: «Широки роздоля ко Опскому, // Темния леса ко Смоленскому, // Чисты поля к Ерусолблиму» (Гильфердинг, II, 404). Связь со Святой Землей постоянно поддерживается в былинах паломническими хождениями и символизируется образом калик переходящих. Для богатырей паломничество не характерно (за исключением сюжета о Василии Буслаеве с его особой проблематикой<sup>13</sup>), хотя и возможны, например, такие упоминания: «А й молодой Олеша в богомольной стороны» (Гильфердинг, I, 257).

Внутреннее пространство Святой Руси также может определяться топонимами с христианской семантикой. Таким особым былинным локусом является «крест Леванидов»: «из-под креста Леванидова» выходят вещи туры, видящие над Киевом плачущую стену городовую или Мать Пресвятую Богородицу; у креста и «у святых мощей у Борисовых» располагается двор Чурилы.<sup>14</sup> Соловьем-разбойником занят именно эта сакральная точка на «прямоезжей дорожке» к Киеву, не случайно «славный крест Леванидов» окружен здесь топографическими знаками «пограничной» или «нечистой» семантикой: «речка Смородина», «Грязь Черная», «береза поклапая». Христианское освоение пространства символизируется крестами (в сюжете о трех поездках Илья «наехал на дороге пречудный крест» — Рыбников, II, 512) или построением богатырем часовни на дороге).<sup>15</sup> Встречаются в былинном мире и библейские топонимы: гора Елеонская, Сиянь-гора, Фавор-гора. Детальная (хотя и в относительной степени) сакрализация пространства Святой Руси противостоит топонимической неопределенности «чужого» мира (Литвы, Орды и др.).

<sup>10</sup> Неклюдов С.Ю. Время и пространство в былинах // Славянский фольклор. М., 1972. С. 37.

<sup>11</sup> Федотов Г. Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 96.

<sup>12</sup> Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом. 4-е изд. М.; Л., 1951. Т. III. С. 259.

Далее ссылки в тексте сокращенно: Гильфердинг, том, страница. В связи с задачами статьи обзор мотивов сделан, за некоторыми исключениями, на материале сборников былин XIX века, которые могли быть известны русским писателям второй половины XIX века (Ф.М. Достоевский, В.М. Гаршин).

<sup>13</sup> В былине о путешествии Василия Буслаева Т.А. Новичкова обнаруживает противопоставление Иерусалима Новгороду, имеющее архаическую подоснову: Иерусалим отождествляется здесь с «тем светом», миром смерти (Новичкова Т.А. Путешествие Василия Буслаева в Иерусалим: (Историко-культурные реминисценции в былине) // Русский фольклор. Т. XXV. Л., 1989. С. 5—7).

<sup>14</sup> Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. 2-е изд. М., 1909. Т. II. С. 527. Далее в тексте: Рыбников, том, страница.

<sup>15</sup> Песни, собранные П.В. Киреевским. М., 1860. Ч. I. Вып. I. С. 34—35. Далее в тексте: Киреевский, вып., страница.

В связи с существованием в былинах представлений о Святой Руси как особом духовном феномене меняются функции и облик богатырей. Они приобретают в былинных формулах эпитет «святорусские» и защищают «Святую Русь», а не просто Русское государство с князем Владимиром во главе и с центром в городе Киеве.<sup>16</sup> Миру богатырства соответствует особый тип христианского сознания со своей системой этических ценностей. Ядром эпического православия является героическая обрядность, переосмысленная в христианском духе. Именно в сфере этикета, который является всеобъемлющей формой выражения социального, нравственного, психологического содержания русских былин, можно наблюдать наиболее глубокое проникновение христианского начала.

Давно замечено, что поведение богатырей подчинено особому такту: «Герои в эпосе ведут себя согласно этикетным нормам, которые представляют собой стереотипное выражение определенных сторон нравственного кодекса».<sup>17</sup> Наибольшая стереотипия обнаруживается в социальных формах этикета. Так, вход богатырей в гридницу князя Владимира всегда сопровождается набором традиционных жестов, в состав которых входит и христианский элемент: «Илья Муромец ишел в палату белокаменну; // Он крест кладет по-писанному; // Поклон-то ведет по-ученому; // На все на три на четыре на стороны поклоняется» (Рыбников, I, 19). Выход богатырей из княжеских палат в случае, если они направляются выполнить важное поручение Владимира, так же этикетен: «И оны Господу Богу помолилися, // На все стороны низко поклонилися» (Рыбников, I, 47).

Соответственно, враги в былинах ведут себя согласно антиэтикету. Калин-царь наказывает своему послу, наряду с передачей угроз князю, нарушать русский этикет: «Крест не клади по-писаному, // Поклонов не веди по-ученому // И не бей челом на все стороны» (Рыбников, I, 36). Знание и соблюдение этикета является знаком принадлежности к Святой Руси, социальной (дружина богатырей) или духовной («заморские») богатыри Соловей Будимирович и Дюк Степанович). Любопытно, что этикетная стереотипия «своего» и «чужого» миров характеризовала сложность взаимоотношений народников с крестьянами во второй половине XIX века. Г.И. Успенский в очерке «На травке» показывает противостояние различных форм приветствия: европейского, принятого в интеллигентной среде (рукопожатие), и крестьянского, включающего в себя молитву перед иконой, крестное знамение и поклон. Старшина в очерке говорит: «Перво-наперво позвольте уж нам наш мужицкий закон соблюсти — Богу помолиться, а потом уж и вашу ручку примем».<sup>18</sup>

Этикетное оформление эпического конфликта иногда сопровождается и словесными формулами, своеобразной богатырской риторикой. По мнению Ф.М. Селиванова, «декларации о патриотическом долге» (следует добавить: и о профессиональном) «появляются в исключительных случаях, когда кто-то из персонажей этот долг забывает».<sup>19</sup> Вообще эпическая риторика характерна в основном для цикла былин о нашествии, особенно в случаях социального осложнения эпического конфликта. Таким образом, например, в тексте Ивана Фепопова князь Владимир обращается к заточенному им же в погреб Илье Муромцу: «А не мощь ли постоять да ты за Киев-град, // А за матушку стоять да свято-Русь землю, // А постоять ли-то за церкви за соборныя, // А тыи кресты живот-

<sup>16</sup> Казалось бы, незначительная перефразировка (изменение), сделанная советской наукой: богатыри выполняют только патриотическую, но не конфессиональную функцию, по сути дела, кардинально меняет этическую проблематику русского эпоса.

<sup>17</sup> Путилов Б.Н. Героический эпос и действительность. Л., 1988. С. 111.

<sup>18</sup> Цит. по кн.: Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 287.

<sup>19</sup> Селиванов Ф.М. Изображение человека в былинах // Фольклор. Поэтическая система. М., 1977. С. 207.

ворящие» (Гильфердинг, I, 527). Риторика появляется в речи Ильи Муромца, уговаривающего дружину богатырей защитить Киев или декларирующего различие служения Святой Руси и службы князю.

Соответственно, угрозы эпического врага могут строиться по антириторической схеме: спустить «на дым» Божьи церкви, иконы — «на поплавы воды», сделать в храмах «стойла лошадиные». Интересно, что осуществление «похвальбы», поругание православных святых описывается только в былине «Илья Муромец и Идолище», особенно в «царьградской» ее версии.

Любая сторона эпического обрядности в большей или меньшей степени подвержена воздействию христианской традиции. Внутренний строй богатырства определяется этическими принципами побратимства. Социальное единство дружины богатырей обусловлено воинскими функциями, духовное единство — законами крестового братства, нарушение которых становится подоплекой некоторых былинных сюжетов («Добрыня Никитич и Алеша Попович», «Данило Ловчанин»). Этикет приветствия богатырей включает в свой состав формулу пожелания «Божьей помощи», нарушение этикета и в данном случае выявляет эпического врага: в былине «Илья Муромец и дочь» «паленичища удалая» «Ехала, собака, насмеялася, // Не сказала Божьей помочи богатырям» (Рыбников, I, 23). Выезд героев из Киева на богатырские дела может сопровождаться особым эпико-христианским ритуалом: богатыри встречаются «у камня Латыря, у дуба Невина», сходят с коней, здороваются: «Погуляли оны по полю пехотою, // Оны думашку-то думали за обща, // Оны звали себе Бога на помочь // И во-вторых еще Пречисту Богородицу» (Рыбников, I, 51).

Архаическому культу силы, на котором вырос феномен богатырства с его мифологической образностью, начинает сопутствовать идея «Божьей помощи»; в подвигах богатырей, защищающих Святую Русь, теперь видится логика Божьего промысла; в психологический облик героев включается надежда на небесное заступничество. Богатыри, вступая в шахматный «поединок» с литовским королем, заявляют: «А у нас все игроки дома оставлены, // Столько мы надеемся на Спаса и Пресвятую Богородицу, // В-третьих, на младого Добрынюшку» (Рыбников, I, 53). О молодом Ермаке, столкнувшемся с врагами, былина говорит: «Его сердце богатырско не ужаснулось // Он зовет себе Бога на помочь» (Рыбников, I, 40).

Христианизация образа богатыря, его поведения и «психологии» в конце концов приводит к пониманию богатырского служения как своего рода героического подвижничества. Меняется и облик подвига, он предваряется молитвами и особыми формами христианизированного эпического этикета, в его описание вводится элемент христианского чуда: небесные силы помогают богатырю одержать победу над врагом. Высшие силы не часто вмешиваются в ход былинных событий. Б.Н. Путилов отмечает: «Ситуация с чудесной помощью связана с типовым мотивом временного поражения героя».<sup>20</sup> Следует подчеркнуть, что почти в каждом случае разработка эпической коллизии может обойтись без мотива чудесного вмешательства или полностью подчинить его законам былинной поэтики. Мифологический потенциал богатырской силы слишком велик и порождает героическую фантастику, собственно эпические «чудеса». Так, «колпак земли греческой», которым Добрыня победил змея в былине «Добрыня и змей», легко заменяется в вариантах горстью земли, «пуховой шляпой» Добрыни или оказывается набитым землей и становится чем-то вроде богатырской «колотушки» весом три пуда. С точки зрения развития действия важно, что Добрыня безоружен и что оружием богатырю может послужить любой попавшийся под руку предмет. Именно поэтому возможность интерпретировать «колпак» как чудотворную свя-

<sup>20</sup> Путилов Б.Н. Героический эпос и действительность. С. 81.

тыню («колпак» — скорее всего, искаженное «клобук», здесь — головной убор паломников в Святую Землю) фактически никогда не используется сказителями. Эпической поэтике ближе другая, «эффектная» семантика эпизода: «поговорочный» принцип «врага шапками закидаем» в былинах находит мифологическое воплощение. Кстати, богатыри довольно часто в качестве оружия используют «головные уборы». Бытующее в научной традиции истолкование «колпака земли греческой» как символа христианства, пришедшего из Византии, вряд ли основательно: потенциальная «чудотворность» предмета подвергается здесь полной эпической трансформации.

В большинстве случаев появление в былинных текстах мотива чуда с точки зрения сюжетостроения явно факультативно, хотя и неизбежно, поскольку обусловлено христианским мировоззрением сказителей. В девяти вариантах быliny «Добрыня и змей», опубликованных в сборнике А.Ф.Гильфердинга, чудо присутствует только в двух (№ 5 и 148), описание его развернуто по одной схеме. Во время второго поединка со змеем после трех суток боя «Из небес было Добрынюшке да глас гласит» (Гильфердинг, I, 147). «Глас» наказывает Добрыне биться еще три часа, затем — бить копьём в землю и просить «матушку сыру землю расступиться», чтобы проглотить змеиную кровь, в которой стоит богатырь. В контаминированном варианте П.Л. Калинина «глас с небес» также сообщает Добрыне о предстоящей свадьбе его жены с Алешей Поповичем. В двух текстах (№ 59, 64) в критический момент поединка Добрыне помогает «наказанье родительско»: «шелковый плат», которым он вытирает пот, и «плеточка». Кстати, эпические аналоги сказочных волшебных средств и волшебных помощников встречаются и в вариантах с чудесной разработкой коллизии: в тексте А.Е. Чукова (№ 148) — «плеточка», в тексте П.Л. Калинина (№ 5) — «плеточка» и «дедушков» богатырский конь. «Вторичность» чуда в данном сюжете видна отчетливо, сказители используют его как предпочтительную замену или усиление архаических сюжетных ходов. Интересно, что в варианте И. Фёнова (Гильфердинг, № 59) развернутая форма христианского богатырского этикета не сочетается с чудом. Добрыня, снаряжаясь в бой, берет «тугой лук», «калены стрелы», «саблю вострую», «копье долгомерное», «палицу военную»: «А он господу-то Богу да он молится, // А й да молится Миколы да святителю, // А й чтоб спас Господь меня помиловал» (Гильфердинг, I, 546). Молитва перед боем предваряет традиционный былинный поединок с использованием эпических «волшебных средств»; единая схема христианского подвига здесь не выстроена.

Былинная поэтика подходит вплотную к освоению христианской топики воинского подвига, в классической форме представляющей в древнерусских воинских повестях и житиях, но в редких случаях дает непротиворечивое, с точки зрения христианской, описание. К.С. Аксаков в вышеупомянутой статье, используя текст быliny «Алеша Попович и Тугарин» из сборника Кирши Данилова, казалось бы убедительно показывает присутствие в богатырском поведении элементов подвижнического этоса;<sup>21</sup> «Тут Алеша всю ночь не спал, // Молился Богу со слезами: // — Создай, Боже, тучу грозную, // А и тучи-то з градом дождя! // Алешины молитвы доходны ко Христу, // Дает господь Бог тучю з градом дождя».<sup>22</sup> Но данный случай является не правилом, а скорее редким исключением. Чудо часто присутствует в вариантах быliny «Алеша Попович и Тугарин», но его описание всегда лишено мотива столь глубокой и проникновенной молитвы. Напротив, архаический образ Алеши-змееборца придает своеобразный семан-

<sup>21</sup> Аксаков К.С. Указ. соч. С. 108.

<sup>22</sup> Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1977. С. 104. Далее в тексте: Кирша Данилов, страница.

тический оттенок чуду. Молитва богатыря фактически спровоцирована хитростью, а это основная тактика Алеши Поповича: для победы над Тугарином надо подмочить змею «бумажные крылья». В былине скорее виден особый эпический «прагматизм» богатырских молитв, а не глубина христианского молитвенного чувства, как это пытается показать К.С. Аксаков.

Кстати, описание ночной молитвы Алеши Поповича в варианте Кирши Данилова, возможно, возникло не без влияния книжных источников. Так, например, подобную «подвижническую» обработку ситуации «богатырь перед боем» находим в «Повести о Сухане», памятнике XVII века, созданном на основе былинного сюжета о Сухмане. Здесь мотив «горячей», «слезной» молитвы сочетается с традиционной древнерусской топикой описания обуянного гордыней врага: «Учал богатырь Богу молиться: “О царице Богородице! Утоли стремление безумное, смири сердце нечестивое. Похваляся бусурьман, и горьд пошел пленить землю Русску, разорить веру крестьянскую, разрушить место церкви божи, осквернити место чудотворное...” Учал богатырь плакати и горячи слезы ронить».<sup>23</sup>

Чудо в былинах происходит как бы не «по милости Божьей» и «силе молитв», как принято в православной традиции. Возможность его задана высоким мифологическим статусом фигуры богатыря. Богатырские молитвы «доходны ко Христу», они всегда приводят к чудесным последствиям. С одной стороны, это косвенно уподобляет эпических героев христианским святым, с другой — в результативности богатырской «мольбы» видна магическая логика. Не случайно, наряду с молитвами, богатыри могут произносить в былинах и заклинания. Так, Илья Муромец часто сопровождает стрельбу из лука заговорными формулами. Чудо в былинах является христианским подтверждением архаической сакральности образа богатыря. Богатырский подвиг стремится обрести в былинах облик христианского подвижничества, но также отчетливо видна тенденция подчинить христианские мотивы (чудо, молитва, святыня) эпической поэтике, мифологизировать, «утяжелить», «материализовать» их. Так, в сюжете о поединке Ильи Муромца с сыном (дочерью) богатыря от стрелы (копья, «звериной рогатины») нахвальщика спасает «златен чуден крест»: «Погодился у Ильи да крест на вороти» (Гильфердинг, II, 49). Этот эпизод может быть истолкован как христианское чудо, случайность, магическая закономерность (в некоторых вариантах вместо креста упоминается «оберег»), проявление мифологической неуязвимости и исключительности богатыря, тем более что нательный крест Ильи Муромца не простой, а «богатырский»: «Крест на вороти да полтора пуда» (Гильфердинг, II, 49).

Уникальность христианского мира богатырства заключается как раз в его двойственности и динамичности. Это поле напряженных столкновений и взаимодействий различных типов сознания, приводящих к возникновению особых синкретичных форм, но также к выявлению противоречий и диссонансов. Возникает вопрос, насколько неосознанно это противоречие эпической и христианской традиций в самих былинных текстах? Естественно, в большинстве случаев, былины как бы «выхватывают» отдельные участки сложного стихийного процесса христианской трансформации эпического мышления, происходящей в недрах этнической духовной традиции. Но, на наш взгляд, в русском героическом эпосе есть попытки обнаружения этой ментальной коллизии, факты осмысления конфликта архаической мифологии и христианства. Таковы новгородские былины, в них подосновой эпического конфликта является противостояние языческих и

<sup>23</sup> *Мальшев В.И.* Повесть о Сухане: Из истории русской повести XVII века. М.; Л., 1956. С. 136—137.

христианских сил.<sup>24</sup> Садко, которому покровительствуют «хозяева» водной стихии, подвергается ряду испытаний сказочного характера. Избавление от волшебного плена подводного мира приходит как бы из жанра христианской легенды: Садко выручает святой Никола, который, кстати, и в сказках часто выступает в роли волшебного помощника.<sup>25</sup> Столь же глубокая христианизация самого эпического конфликта, а не только богатырского этикета и отдельных участков былинных коллизий обнаруживается в сюжете о Михайле Потыке, христианская семантика которого довольно сложна. Борьба богатыря с колдовскими силами, воплощением которых является его жена-колдунья Марья Лебедь Белая, сопровождается рядом легендарных мотивов: появление святого Николы в образе калики перехожего, известная по легендарным сюжетам ситуация дележа добычи; уникальный мотив «распятия» Михайла Потыка и др. Интересно, что в былинах с христианизованным конфликтом появляется финальный мотив строительства христианских храмов в благодарность за чудесное избавление: Садко, вернувшись в Новгород, «состроил церковь соборную Николы Можайскому» (Рыбников, II, № 134), святой Никола наказывает Михайле Потыку построить церкви в честь Спаса, Богородицы и «Николы святителя» (Гильфердинг, I, 176).

Таким образом, в недрах русской эпической традиции в течение многих веков христианизации русской культуры протекал процесс становления своеобразного православного этоса богатырства, наибольшую системность обретшего в этикетной структуре эпического мира. Мифологическая сакральность образов богатырей стремится обрести форму христианского избранничества. Соответственно, эпическая фантастика в некоторых случаях оказывается потесненной христианским чудом (конечно, в эпическом «изводе»), а архаическая схема богатырского подвига опосредуется логикой христианского провиденциализма и психологией подвижничества.<sup>26</sup> Защищая Святую Русь, сами богатыри становятся национальной святыней, равной христианским реликвиям Святой Земли: «Да чудные кресты в Еросолиме, // А славные богатыри во Киеви» (Гильфердинг, III, 257).

## ИЛЬЯ МУРОМЕЦ — БОГАТЫРЬ-СВЯТОЙ

Венцом христианизации эпического мира русских былин стал образ Ильи Муромца, отождествленный в национальной традиции с «преподобным Илией Муромцем, Печерским», «в двенадцатом веке бывшем», память которого отмечается в Русской Православной Церкви 19 декабря. Отсутствие каких-либо житийных сведений о подвижнике Киево-Печерского монастыря обусловило его восприятие как канонизованного богатыря, что учитывает и современная церковная традиция. Гробница и мощи Ильи Муромца, первый раз упомянутые в путевых записках Эриха Лассоты (1594),<sup>27</sup> оказались в центре идеологических споров официальной церкви со старообрядчеством. Разноречие сведений о сложении перстов преподобного позволяло и старообрядческим идеологам, и пра-

<sup>24</sup> См.: Новичкова Т. А. Буслаев и новгородцы: историко-культурные реминисценции в былине // Русская литература. 1987. № 1. С. 157—158.

<sup>25</sup> Но если в сказке Никола помогает герою достичь цели (т.е. добыть невесту), то в былине святой «спасает» Садко от невесты из «другого» мира.

<sup>26</sup> Интересно, что былинной традиции известна своего рода «полемика» двух типов осмысления чудесного. В былине «Василий, Игнатъевич и Батыга» идея предопределения, выраженной образом плачущей Богородицы (или городской стены), противостоит эпический закон неизбежности появления богатыря. Логика пророчеств и предсказаний отступает перед логикой богатырства.

<sup>27</sup> Подробный обзор сведений о мощах Ильи Муромца дан в работах: *Халанский М.* Великорусские былины Киевского цикла. Варшава, 1885. С. 100—103; *Калугин В.* Герои русского эпоса: Очерки о русском фольклоре. М., 1983. С. 33—39.

вославленным богословам считать дуперстие или троеперстие Ильи Муромца серьезнейшим аргументом в обосновании своей позиции. В современной «Настольной книге священнослужителя» также в качестве особо значимого известия о преподобном сообщено, что «он скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как и принято и теперь в Православной Церкви».<sup>28</sup> В старообрядческой среде, в которой активно бытовали былины, естественно, проявилось особое внимание к мощам печерского подвижника. Так, А.Ф. Гильфердинг узнал от сказителя В.П. Щеголенка о том, что «некогда раскольники выправляли в Киев доверенных людей разузнать, как сложены персты в мощах Ильи Муромца; эти люди, воротившись, рассказывали, что персты у него растянувши, так что не видно, как он слагал персты при крестном знамении» (Гильфердинг, II, 793). Понятно на фоне подобных представлений, что былинный богатырь Илья Муромец, мощи которого находились в киевских пещерах, мог вызывать не только эпическое, но и религиозное почитание. Соответственно былины о его подвигах могли рассматриваться как своего рода житие святого.

Центральное место, занимаемое Ильей Муромцем в русском богатырском эпосе, объяснялось по-разному в отечественной науке. Мифологическая школа видела в Илье ипостась бога-громовника, причем для О.Ф. Миллера образ Ильи Муромца — это и духовно-нравственное средоточие былинного мира.<sup>29</sup> В советское время на первый план выдвигалось демократическое (крестьянское) происхождение богатыря. Думается, что эти предпосылки могут и не рассматриваться как взаимоисключающие. Следует заметить: для позднего этапа былинной традиции фигура Ильи Муромца, стоящего «на вершине эпической иерархии» и потеснившего «своей значимостью князя»,<sup>30</sup> должна найти свое оправдание с точки зрения сказительского мирозерцания. Иерархизм народного мышления вряд ли мог позволить возвыситься крестьянина-богатыря над князем, вопреки социологическим выкладкам многих ученых. Основой такого возвышения должен быть сакральный статус героя — и, естественно, в связи с забвением архаического ореола образа Ильи Муромца, не языческий, а христианский. Мифологические ценности в былинах опосредованы социальными, но над последними может возвыситься только христианская святость. Так, давно замечено, что все богатыри, кроме Ильи Муромца, беспрекословно (хотя и не всегда согласно со своими желаниями) исполняют волю князя Владимира. Илья, единственный из богатырей, может не соглашаться с князем и даже порицать его за греховные поступки, непреклонно следуя принципам нравственной справедливости.

В былине «Данило Ловчанин» Добрыня Никитич, вопреки законам побратимства, готов пойти на убийство своего крестового брата, осуществляя желание князя взять в жены чужую жену. Только Илья Муромец отзывается на немислимое решение Владимира осуждающей и пророческой репликой: «Изведешь ты ясново сокола, // Не пымать тее белой лебеди» (Киреевский, III, 34). Исключительный нравственный авторитет Ильи Муромца в богатырском мире подкрепляется святостью его образа, а может быть, и обусловлен ею. В целом возникает сложнейшая проблема эволюции образа богатыря и сюжетно-мотивного репертуара, с ним связанного, во взаимодействии с возникшей репутацией Ильи Муромца как святого. Очевидно, в традиции наблюдается своеобразное встречное движение: идея святости должна героизироваться, «богатырство» — обрастать

<sup>28</sup> Настольная книга священнослужителя. М., 1978. Т.2. С. 402.

<sup>29</sup> Миллер О.Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. СПб., 1869. С. 279. О.Ф.Миллер, базируясь на позициях мифологической школы, тем не менее обращает внимание на нравственные черты Ильи Муромца, «так глубоко вросшие в самую сущность былин, что их уже трудно из них и выделить». Это — отсутствие сребролюбия, решимость не обнажать оружия без серьезных на то причин, молодецкое искание прямого пути и т.д.

<sup>30</sup> Селиванов Ф.М. Указ. соч. С.209.

чертами и признаками подвижничества. Не случайно идейный спор о типах христианского подвига является подоплекой былины «Илья Муромец и Идолище».

Сюжет о чудесном исцелении Ильи Муромца, сиднем сидевшего тридцать лет, предстает органичным началом былинной биографии богатыря именно как святого. В традиции существует и другая версия происхождения богатырства Ильи: он получает силу от Святогора, этим фактом подчеркивается преемственность «старших» и «младших» богатырей и завершается архаическая эпическая эпоха. Илью Муромца исцеляют калики перехожие, иногда они оказываются святыми: «Пришла к нему ница братия, // Сам Исус Христос, два Апостола» (Киреевский, I, 1).<sup>31</sup> Б.Н. Путилов отмечает, что сюжет приобретения чудесной силы имеет глубокие мифологические корни.<sup>32</sup> Нам важно подчеркнуть его значение в христианизированной биографии богатыря. Обычно странники ограничивают полученную Ильей непомерную силу, осознание им которой чревато традиционным вызовом мироустройству: «За кольцо бы взял, Святорусску повертил» (там же). Мера, налагаемая на богатырскую силу, обусловлена не только задачей патриотического служения богатыря Руси, но и созданием героико-христианского идеала. Своеобразный кодекс русского «рыцарства», православный этос богатырства, рождается как подчинение эпической мощи высшим христианским ценностям. Яркое выражение этого символического акта находим в словах калик в одном из текстов сборника П.Н. Рыбникова: «Бог тя благословит, Илья Муромец, силой своей, так и стой за веру христианскую и за дом Пресвятыя Богородицы; на бою тебе смерть не писана, бейся же со всею силою неверною и противу всея поленицы удалыя» (Рыбников, II, 582).

Мотив неуязвимости героя, известный многим эпическим традициям, в русской приобретает особую форму: Илья Муромец выглядит Божиим избранником, а его богатырская судьба обладает чудесной природой христианского происхождения. Этим объясняется и отсутствие в былинах об Илье Муромце мотива уязвимого места богатыря, в архаических сюжетах обычно присутствующего в паре с мотивом неуязвимости: с точки зрения христианской он неуместен. Идея предначертанности судьбы Ильи Муромца глубоко внедрилась в представления о богатыре и существует независимо от сюжета об исцелении, редко встречающегося в традиции. Мотив избранничества Ильи часто всплывает в эпических ситуациях, в которых его жизнь подвергается угрозе. В былинах о бое Ильи Муромца с сыном (дочерью) в момент временной победы богатыря-нахвальщика к Илье чудесным образом возвращаются силы после его напоминания о своей неуязвимости в бою. Судя по некоторым вариантам, у самого богатыря возникают сомнения в верности предначертаний: «Хоть на бою мне смерть не писана, // Переступит сила через велик закон» (Рыбников, I, 27). В приведенной реплике четко сформулирована существенная дилемма эпического сознания: богатырская сила или высшая предопределенность обуславливает судьбу эпического мира и его героев? Характерно, что из ситуации временного поражения Илья Муромец может выйти без чудесного вмешательства, просто собрав свои силы.

В связи с осложнением былинных сюжетов социальной проблематикой неуязвимость Ильи Муромца расширяет пределы своей действенности. В одном из вариантов былины «Илья Муромец и Калин-царь» князь в момент угрозы захвата Киева вспоминает о посаженном им за строптивость в погреб Илье Муромце. Дочь Владимира, заботящаяся тайно о заточенном богатыре, на сетования отца о том, что он «поморил» Илью «смертью голодною», отвечает: «А слышала во церкви во писании, // А старому казаку на бою смерть не уписана, // И

<sup>31</sup> В данном случае на былинку оказал влияние популярнейший в русском христианском фольклоре цикл легенд о Христе-страннике.

<sup>32</sup> Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос. С. 93—94.

голодная смерть не упомянута» (Гильфердинг, I, 526). Знаменательно и включение предсказания о судьбе Ильи Муромца в текст «писания». Для народной традиции характерно восприятие Священного Писания как прежде всего пророческой книги, наполненной предсказаниями, знаменами и знаками наступления конца света.

Выбор «смертной» дороги в былинах о трех поездках также зачастую мотивируется неуязвимостью Ильи Муромца в бою. Для этого сюжета характерна и тенденция завершить биографию богатыря достойной его смертью. Интересно, что в былинах «Камское побоище» Илья разделит общую участь русских богатырей, наказанных Богом за гордыню. В вариантах сюжета о трех поездках смерть Ильи Муромца — это смерть святого, в той степени, в какой героический эпос оказался способен изобразить христианское «усупение». Найдя клад, богатырь строит «церковь соборную» (чаще Николу Можайскому) или три церкви: «Спасу пречистому», «Миколу Можайскому», «Егорью Храброму» (Гильфердинг, III, 287). В одном из вариантов финал дает расширенную формулировку: «Тут он взял эту казну и стал строить монастыри» (Гильфердинг, III, 412). Иногда тут же у построенной церкви Илья окаменеет (Рыбников, II, 512). Архаическая форма «ухода» богатыря совмещается здесь и с «житийной» деталью: «И поныне его мощи нетленные» (там же). Ряд сказителей считают необходимым завершить рассказ о последних подвигах Ильи и его смерти напоминанием о нетленности его мощей. Илья Муромец как бы подменяется Илией Муромцем, Печерским угодником: он заезжает в пещеры, где и умирает. В варианте Ивана Фёпонова Илья заносит в пещеры «невидима сила ангельска» (Гильфердинг, I, 537).

Таким образом, в русской эпической традиции отчетливо прослеживается тенденция создать былинное «житие» Ильи Муромца, восстанавливаемое по отдельным мотивам, характеристикам образа, поступкам героя и отношению к нему. Образ Ильи Муромца при этом может стать и символом «стихийной», «безбожной» Руси. В размышлениях о двойственной природе русской национальной души известный советский писатель И.С.Соколов-Микитов утверждает: «Герои народных песен — кто “больше пролил кровушки”, кто больше “погулял, пошалил, загубил душ христианских”. Хороши и святорусские богатыри наши... хорош богатырь Илья: “Он начал по городу похаживать // На божьи храмы да он постреливать. // А с церковей-то он кресты повыломал, // Золоты он маковки повыстрелял, // С колоколов языки-то он повыдергал”». Продолжая цитату призывом Ильи к голи кабацкой нести кресты в «дома питейные», писатель горестно подытоживает: «В этом-то и “суть” наша, суть “богатырства” нашего».<sup>33</sup>

Поведение Ильи Муромца в былинах о его ссоре с князем Владимиром, действительно, напоминает святотатство. Причина «бунта» богатыря — князь забыл позвать Илью на пир — явно незначительна в наших глазах, чтобы быть поводом подобных поступков. С точки зрения эпической логики ситуация выглядит гораздо серьезнее. Мир Руси в былинах обладает этикетной структурой, в которой воплощены все основные государственные, социальные и сакральные ценности. В этом контексте пир у князя Владимира — символ эпического социума, единственная форма общественной, официальной жизни, «имеющая универсальное значение».<sup>34</sup> Пир обладает ритуальными функциями, поддерживая единство и иерархичность русского мира. Богатырь, не приглашенный на пир, с точки зрения обрядовой семантики изгнан из былинного социума, т. е. исключен из духовного пространства Святой Руси. Лишенный социального статуса (который обозначается местом на пиру), не случайно Илья приходит к «голям кабацким», находящимся вне официального миропорядка. Илья Муромец как бы пародирует княжескую власть, устраивая свой кабацкий, «кромешный» пир.

<sup>33</sup> Соколов-Микитов И.С. Из карачаровских записей // Новый мир. 1991. № 12. С. 177.

<sup>34</sup> Путилов Б.Н. Героический эпос и действительность. С. 53.

Главная и единственная функция богатыря — защита Святой Руси, обрядовое изгнание его имеет и сакральный оттенок. Илья Муромец оказывается в роли эпического врага и вынужден поступать согласно антиэтикету: угрожает христианским святыням. Любопытно, что былины акцентируют внимание на растерянности богатыря и его раздумьях о том, как ему ответить на оскорбление князя: «А тут-то сам Ильюшенька роздумался: // — А что мне молодцу буде соделати? // А я нынь молодец е розгневанной» (Гильфердинг, I, 423). С точки зрения христианской догматики никакая смена поведенческих ролей не оправдывает разрушения храмов. Удовлетворительное объяснение поступков Ильи в историко-культурном контексте дает И.Я. Фроянов. В истреблении святынь врага он видит логику языческого мышления; летописные князья в усобных столкновениях тоже грабили храмы своих противников-братьев: здесь «заложен свойственный языческому мировоззрению взгляд на святилище как на опору тех, кто ему поклоняется».<sup>35</sup> Очевидно, с точки зрения самого богатыря, он обезглавливает «Владимировы церкви», а не православный храм как таковой. В намерения Ильи иногда входит и убиение князя.

Конфликт разрешается достаточно легко, Илья Муромец не проявляет упрямства (своейственного богатырям), сразу согласен на мир и фактически только и ждет княжеского приглашения на пир, о чем говорят традиционные былинные формы поспешности, торопливости: «Скорешенько ставал он на резвы ножи, // Кунью шубоньку накинул на одно плечо» (Гильфердинг, II, 38).

Легкость, с которой разрешается конфликт между Ильей Муромцем и князем Владимиром, как бы не соответствует тревоге и опасениям князя, в некоторых текстах судорожно подыскивающего такого посла, которому не сможет отказать Илья. Эта готовность богатыря примириться и забыть об обидах во имя чего-то более существенного — одна из важнейших черт психологического облика Ильи Муромца. Напряженная социальная конфликтность ряда поздних сюжетов об Илье Муромце выявляет, наверно, главное достижение христианизации эпического мира. Илья — единственный из богатырей, кто приходит к принципиально иному пониманию эпического долга: он разделяет «службу» князю и «служение» Святой Руси. В одном из вариантов былины о Калине-царе Илья Муромец заявляет: «Я иду служить за веру христианскую // И за землю Российскую, // Да и за стольние Киев-град, // За вдов, сирот, за бедных людей, // А для собаки-то князя Владимира // Да не вышел бы я вон из погребца» (Гильфердинг, III, 357). В тексте И. Фепонова события былины развиваются на фоне глубокой социальной конфликтности. Выйдя из заточения, Илья Муромец призывает богатырскую дружину во главе с его «крестовым батюшкой» Самсоном Самойловичем встать на защиту Киева от Калина-царя и наталкивается на решительный отказ не только «стоять больше за Киев-град», но и благословить на подвиги Илью: «А й не могу боле смотреть на князя Владимира // А на Апраксию да королевичну» (Гильфердинг, I, 529). Илья Муромец пытается, но безуспешно уговорить Самсона: «А не ради ведь мы князя да Владимира... А и ради матушки поедем Свято-Русь земли» (там же). Нарушая волю крестного отца, богатырь доводит свое понимание богатырского долга до уровня истинно христианского служения. Столь значимые для богатырского мира социальные и духовно-родственные связи отступают перед подвижническим догмом. При всем разнообразии христианских мотивов, в былинах богатыри все-таки живут в мире «горизонтальных» ценностей и только Илья Муромец в отдельных эпизодах своей эпической биографии совершает свой выбор с точки зрения божественной «вертикали»: духовная свобода богатыря-подвижника или социальная дружинника?

<sup>35</sup> Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство. Античность. Византия. Древняя Русь. Л., 1988. С. 297.

«Дух» и «власть», первоначально патриархально слитые в лице Владимира Красное Солнышко, разделились, и только Илья Муромец оказывается способным встать на стезю богатырского подвижничества. Этот выбор и является главным доказательством его эпической святости, в то же время такая трансформация образа богатыря стала возможной на основе постепенной христианской сакрализации его эпического облика.

Еще один ключевой эпизод эпического «жития» Ильи Муромца описан в былине «Илья Муромец и Идолище». Идеологическое значение этого сюжета отчетливо предстает в «царьградской» версии. Действие перенесено за пределы, географические и государственные, Руси, но не за пределы Святой Руси. Подвиг Ильи обусловлен исключительно духовным, но не социальным долгом. Архаичность основной коллизии, восходящей к сюжету «Алеша Попович и Тугарин», не мешает поставить вопросы эпической этики: былина сталкивает два вида подвига — паломничество и богатырство — скорее всего не для того, чтобы посрамить первое, но возвысить второе до уровня «святого» служения. Мотив переодевания Ильи Муромца в каличью одежду может быть истолкован и как прием предварительной недооценки героя,<sup>36</sup> и как «трансформированный способ приобщения к сакральной силе»,<sup>37</sup> и как «маскировка». Есть в этой смене облика и некое подобие «рыцарской» идеи: в образе Ильи-калики поклонение святыням (долг паломников) становится защитой святынь (долг богатырей). Еще один семантический оттенок «переодевания» хорошо виден на материале подобных мотивов в других былинах: богатыри в своем поведении питают явное пристрастие к травести и парадоксальности. Возможно, цель смены одежды — само совмещение каличьего облика, предполагающего смиренность поступков, и богатырской повадки: Илья Муромец так просит милость в Царьграде, что «Теремы-то ведь тут пошатался» (Гильфердинг, I, 431).<sup>38</sup> Социальная проблематика былины, заостренная противопоставлением службы у Константина и службы у Владимира, разрешается обычным для Ильи подвижническим образом: он возвращается в Киев, наказав Иванишу «впредь выручать Русь от поганых».

Следует заметить, что богатырская святость Ильи Муромца дополняется и другими мотивами сакрального звучания. Так, погреб князя Владимира, место заточения богатыря в ряде текстов, приобретает черты своего рода кельи, а сам Илья Муромец занимается в ней традиционным монашеским делом: чтением духовных книг. В варианте И. Фепопова князь, не ожидавший увидеть Илью в живых, отмыкает погреб: «А во погреби Ильюнюшка живой сидит, // А й горит у Ильюни воскова свеча, // А читает он ведь книгу да евангельё» (Гильфердинг, I, 526). В одном из текстов печорских былин княгиня делает подкоп в погреб Ильи Муромца и приносит ему «свещи да воску ярова», «книги старопечатны».<sup>39</sup>

Сцена «Илья, читающий Евангелие» становится в XIX веке в рассказе В.М. Гаршина «Надежда Николаевна» иллюстрацией нравственной дилеммы и трагического «разрыва» христианского этического сознания. Народная традиция не ставит Илью Муромца в ситуацию «жестокое эксперимента», но все-таки возникает вопрос: так ли уж непроницаемо эпическое православие для принципов евангельской этики? Очевидно, русское цивилизованное восприятие XIX века неизбежно применяло в оценке героев эпоса нравственные критерии евангельского уровня. В одном случае, как у Гаршина и Гоголя в «Тарасе Бульбе», выявлялись противоречия, в другом, как у К.С. Аксакова, облик героя доводился до «житийно-

<sup>36</sup> См. об этом: Скафтымов А.Л. Поэтика и генезис былин: Очерки. М.; Саратов. 1924. С. 49—95.

<sup>37</sup> Путилов, Б.Н. Героический эпос и действительность. С. 82—83.

<sup>38</sup> Очевидно, должен быть поставлен вопрос о своеобразном «юрродстве» богатырей.

<sup>39</sup> Ончуков Н.Е. Печорские былины. СПб., 1904. С. 18.

го» совершенства. Создавая своего рода агиографический «лик» Ильи Муромца, К.С. Аксаков утверждает, что его герой находится вне эпического культа силы, душа его лишена воинственности и «не любит крови», по отношению к врагу он проявляет «величавое благодушие». Суммарная психологическая характеристика Ильи Муромца идеальна: «Сила и кротость, внешние битвы, вследствие случайных обстоятельств, и мир внутренний, вследствие высокого православного строя его души, непобедимость богатыря и смирение христианина».<sup>40</sup>

Очевидно, позиция Гаршина ближе к истине, а также и к реальной «мозаике» былинных противоречий. «Благодушие» Ильи, проявленное им по отношению к сыну-«нахвалящику» показано Аксаковым на одном тексте и, естественно, может быть опровергнуто почти всеми другими вариантами этой былины. Илья Муромец в эпизоде расправы с сыном скорее выглядит архаическим изувером, нежели «кротким богатырем» (формула К. С. Аксакова): «Как вынимал сердечко тут со печенью, // Рассек его на четыре на часточки // А роскидал ёго по чисту полю» (Гильфердинг, II, 422); «Тут хватил Илья татарина ведь за ноги // И роздернул его на-двое; // Одну ногу кинул к Семигорке, бабе-то Владимирке, // А другую ногу кинул во Евфрат реку» (Гильфердинг, II, 282). Эпическое отношение к врагу подразумевало жестокость, часто с чертами архаического натурализма, и «абсолютное» уничтожение противника. Согласно эпической топике описания битвы, богатыри истребляют татар «до единого», не оставляют ни одного «на семена». «Рассечение» и «раздергивание по полю» тела противника — дань мифологической эпохе с ее боязнью магического оживления убитого врага. Знают былины и изуверскую жестокость символической расправы. Таким образом в былине «Илья, Ермак и Калин-царь» Илья Муромец расправляется с Калином-царем: «Ломал ему белы руки, // Выкопал ему ясны очи, // Привязал собаку за плеча татарину, // Привязал его, сам выговаривал: // “На-ко, татарин, неси домой, // А ты, собака, дорогу показывай”» (Рыбников, II, № 120).

Эпическое требование быть жестоким к врагу не ушло под влиянием христианской традиции, скорее, оно внедрилось в систему эпического православия, став характерной чертой его этического кодекса. Защитники Святой Руси и православной веры не только не задумывались над смыслом запретительных заповедей Евангелия, но, напротив, считали убийство врага и надругательство над ним чуть ли не признаком благочестия. Мифологическая реальность былин в этом отношении действительно выглядит величавее и благороднее, чем историческая реальность некоторых эпох, в которой люди тоже руководствовались принципами эпического православия. Так, Н.В. Гоголь изображает в «Тарасе Бульбе» мир запорожцев, подвергая их эпическое сознание евангельской «проверке», признаком которой является особо выделенный автором мотив казацкой жестокости. Пространство казацкого православия, по Гоголю, включает в себя и «предковский закон», и веру в чудотворную силу материнского благословения, и изуверское уничтожение «вражьих» детей и женщин, и легенду о душе казака, которую Иисус Христос на небесах посадил одесную себя.<sup>41</sup>

Тот же внутренний диссонанс эпического православия выявлен В.Г. Короленко в одном эпизоде очерков «У казаков». Старик Ананий Хохлачев рассказывает о набеге казаков на киргизский аул: «Ну, казаки аул разобьют, кибитку арканами сволокут, ребятишки и вывалются, бывало, что тараканы... — И что же? — Да что: головами об котлы, а то на пики...» Завершающая характеристика В. Г. Короленко ярко и точно передает «лик» эпического православия: «В памяти у меня все стояло важное лицо старого казака и его эпически бесстрастный

<sup>40</sup> Аксаков К.С. Указ. соч. С. 134.

<sup>41</sup> См. об этом: Николаев О.Р. Проблемы историзма в творчестве Н.В. Гоголя 1820—1830-х гг.: Автореф. канд. дис. Л., 1989. С. 13—16.

рассказ, — “Старую кровь вспоминают...”, “Головенками об котлы, а то на пики...” И при этом взгляд — *настоящего праведника* (курсив мой. — О.Н.).<sup>42</sup>

Евангельский взгляд на эпическое православие отнюдь не является исключительной заслугой русской литературы XIX века. В сам былинный мир проникают этические принципы Нового Завета, порождая новые мотивы, характеристики героев и коллизии.

## ПОКАЯНИЕ БОГАТЫРЕЙ И ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ

Покаянные мотивы встречаются в былинах довольно-таки редко. Их связь с семантикой эпических коллизий трудно назвать органичной, за исключением сюжета «Василий Буслаев молиться ездил», где исповедальные реплики богатыря обусловлены его качествами и характером поступков: «Смолода бита, много граблена, // Под старость надо душа спасти» (Кирша Данилов, 93). Хотя по ходу сюжета ясно, что покаяние Буслаева является внешней мотивировкой его путешествия и скрывает за собой очередной вызов вышним силам.

В. Калугин считает, что появление мотива «осознания и искупления своих грехов» былинными героями «глубоко закономерно в русском богатырском эпосе», но, приводя примеры, все-таки не объясняет его причин.<sup>43</sup> Здесь налицо закономерность, не обусловленная художественной логикой эпоса, но связанная с изменением ценностных установок в народном мирозерцании: принципы евангельской этики применены и в оценке эпических героев, даже столь идеализированных и авторитетных, как Илья Муромец и Добрыня Никитич. В репертуаре былинных сюжетов и коллизий избираются эпизоды, наиболее удобные для привнесения темы раскаяния. Таково, например, общее место былин о Добрыне Никитиче: богатырь жалуется матери на свою судьбу. Желание родиться «белым горячим камешком» (Рыбников, II, 375) или во младенчестве быть потопленным матерью в синем море (Гильфердинг, I, 144)<sup>44</sup> Добрыня подкрепляет раскаянием в своих кровопролитных подвигах: «Я не ездил бы Добрыня по Святой Руси, // Я не бил бы нунь Добрыня бесповинных душ, // Не слезил бы я Добрыня отцей-матерей, // Не пускал бы сиротать да малых детушек» (там же).

В былинной биографии Ильи Муромца возможностей для такого рода рефлексии еще меньше. Коллизия выбора дороги в былине о трех поездках (следует учесть завершающее значение этого сюжета в судьбе богатыря) иногда сопровождается формулами, как бы подытоживающими «жизненный путь» эпического героя: «А й ездил старой по чисту полю, // А ен от младости ездил до старости... А ен стоял за веру, за отечество» (Гильфердинг, III, 128).<sup>45</sup> Еще неожиданнее на таком фоне звучит в устах Ильи Муромца мотивировка выбора дороги «где убиту быть» в одном из вариантов: «А полно мне ездить по Святой Руси, // Убивать головушек бесповинных» (Рыбников, II, 370). Сказочный мотив испытания судьбы на трех дорогах в понимании самого героя становится формой Божьего промысла: раскаявшаяся душа выбирает смертный путь, так как считает его Божьим наказанием за греховную жизнь.

Мотивы раскаяния богатырей в описанных и подобных им случаях никак не отзываются в разработке былинных коллизий, они одномоментны и чужеродны эпическим сюжетам. Очевидно, появление покаянных мотивов в текстах былин

<sup>42</sup> Короленко В.Г. Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 6. С. 171—172.

<sup>43</sup> Калугин В. Указ. соч. С. 181.

<sup>44</sup> Здесь косвенно обыгрывается известный славянской традиции балладный сюжет: мать «избывает» свое дитя в синем море.

<sup>45</sup> В онежских былинах чаще в этом случае встречается мотив прославления богатырского коня.

связано с традицией духовных стихов и прежде всего с сюжетом об Анике-воине, заострившим проблематику нравственной ответственности за ратные дела. Правда, Аника-воин чаще получает возмездие не только за разорение земель и городов, но и за надругательство над христианскими святынями («Божьи дома на дым спушал, // Божество-иконы на ладон» — Рыбников, II, 213) и даже за желание «град Ерусалим раззорити».<sup>46</sup> Интересно, что раскаяние богатырей в былинах сосредоточено именно на кровопролитии, т.е. влияние духовных стихов здесь скорректировано в соответствии с образами эпических героев.

В варианте духовного стиха из сборника В. Варенцова Смерть говорит Анике-воину, что ей покорились и «сильные могучие богатыри»: Святогор, Молофер (т.е. библейский Олоферн) и Самсон. Для былинных образов Святогора и Самсона (см., например: Рыбников, I, № 1) не характерны мотивы надругательства над святынями и даже кровопролития: они не совершают традиционных богатырских подвигов. Святогор и Самсон повинны в похвальбе своей непомерной силой.<sup>47</sup> Эта архаическая коллизия является своего рода символическим пределом богатырства не только для старшего, но и младшего поколения эпических героев: былины об исцелении Ильи Муромца, «Камское побоище». Опасность впасть в грех гордыни подстерегает богатырей; кроме того, и обычное их ратное служение оборачивается своей греховной стороной, если оценивать его с точки зрения новой для эпоса этики. Можно представить, что идейная логика стиха об Анике-воине в конце концов приведет к тому, что и «младшие» богатыри, служившие князю Владимиру и защищавшие Русь, окажутся перед лицом неумолимой и непреклонной Смерти, не дающей самого малого срока «свою душу... покаяти» (Рыбников, II, № 213).

Развитие темы раскаяния и искупления грехов определяет новый поворот в разработке коллизии «калики—богатыри». В былине «Сорок калик», записанной от А.П. Сорокина, калики перехожие предстают раскаявшимися богатырями, а их паломничество в Святую Землю оказывается формой искупления грехов. Касьян обращается к своим спутникам-каликам: «А пред Богом согрешили вы тяжко ведь, // Ведь убили много буйных головушек... // А й пролили крови да горючей» (Гильфердинг, I, 670).

Мотив раскаяния богатырей может быть объяснен в связи с появлением в былинном эпосе социальной конфликтности, с изменением взаимоотношений князя и богатырской дружины, а соответственно, и статуса богатыря. В поздних слоях традиции эпические герои выглядят, скорее, не как защитники Святой Руси, а как «верные княжеские слуги», да и сам князь Владимир все более обретает черты деспота, а не патриархального эпического владыки. Эта метаморфоза былинного социума приводит к ситуации беспрекословного выполнения воли князя, которая уже не всегда безукоризненна в нравственном отношении, а следовательно, и к мотиву раскаяния богатырей. Им приходится, исполняя приказы Владимира, «слезить отцов-матерей». Ю.И. Смирнов, В.Г. Смолицкий, выдвигая описанную точку зрения, отмечают состояние раскаяния, требующее отказа от самого богатырства.<sup>48</sup> Мифологическая суть образов былинных героев — они безвозрастны и чуть ли не бессмертны — явно уходит в прошлое. Богатырская биография христианизируется и «очеловечивается», в связи с чем

<sup>46</sup> Стих из «Сборника русских духовных стихов» В. Варенцова (СПб., 1880), цит. по: Голубиная книга; Русские народные духовные стихи XI—XIX веков. М., 1991. С. 104.

<sup>47</sup> В тексте Т.Г. Рябинина Самсон, подобно Святогору, пытается поднять сумочку прохожего, который оказывается Ангелом Господним, посланным «поотведать» Самсоновой силы (Рыбников, I, 6).

<sup>48</sup> Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Былина о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче // Добрыня Никитич и Алеша Попович. М., 1974. С. 348.

в былине «Данило Игнатьевич» возникает незнакомый классическому пласту былинных сюжетов мотив родовой преемственности богатырской службы.

Все-таки путь покаяния не становится общим путем русского богатырства. Долгое сосуществование в традиции христианского этоса и героической архаики обнаруживает свой трагический потенциал в былине «Камское побоище». Богатыри доводят до предела логику богатырства, бросают вызов небесной силе и по непомерной гордыне своей наказаны Богом: уходят из мира.

*(Продолжение статьи во втором номере журнала)*

## ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРОПОНИМАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ГРИБОЕДОВА

Грибоедов — автор гениальной реалистической комедии. Утверждение общепризнанное, глубоко осмысленное и едва ли опровержимое. За ним — убедительность факта. Однако достоверно и другое: Грибоедов жил в пору расцвета русского романтизма и прекрасно ладил с романтиками, имея среди них немало литературных друзей и знакомых.

Часто Грибоедов воспринимается как автор одного достойного внимания произведения — «Горя от ума», а остальное его творчество при этом теряется в тени колосса, и ранним драматургическим опытам внимания уделяется едва ли не больше, чем лирике зрелого периода.

Хотя стихотворения Грибоедова немногочисленны, среди них есть произведения большой силы. Они создавались во время работы над «Горем от ума» и позднее. Они стали вехами духовной жизни автора, поскольку лирика, будучи выражением душевных переживаний, свидетельствует и о состоянии художественного мирозерцания поэта.

Сопоставление «Горя от ума» с лирикой, ранними комедиями и поздними драматургическими набросками Грибоедова заставляет задуматься об эволюции его мировоззрения. В сущности впервые этот вопрос серьезно поставил С.А.Фомичев;<sup>1</sup> он же способствовал уяснению проблемы, сведя все написанное Грибоедовым в один удобообъемлемый том<sup>2</sup> — с учетом достижений науки последних десятилетий. Дальнейшая разработка проблемы грозит поколебать привычные представления о безусловной победе реализма в зрелом творчестве Грибоедова.

Прежде всего надо уточнить значение термина «реализм». Чрезвычайно емкое и многозначное, это понятие легко меняет свое содержание, включаясь в разные системы художественного и философского (что тесно связано) миропонимания. Говоря о литературе, приходится иметь в виду и философию: умозрение крупных писателей, всегда питаемое не только личным житейским опытом, но и той или иной мыслительной традицией, влияет на организацию сюжета, на художественное «предопределение» (авторское решение судеб героев), на идеологию, высказывания героев и т.д.

Сложилось два способа научного осмысления и применения понятий, характеризующих литературные направления: либо наполнять их содержанием, свойственным той или иной литературной эпохе, либо акцентировать общие непреходящие черты. Оба способа в сущности неразрывны: неизменное содержание понятий, очевидно, является и основным. Постигая суть реализма Грибоедова, важно учесть историю истолкований понятия «реализм», историю, в которой

<sup>1</sup> Фомичев С.А. Литературная судьба Грибоедова // Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1988. С. 3—30.

<sup>2</sup> Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1988.

эпоха Грибоедова — лишь очередной этап. Иначе само постижение будет неудовлетворительным.

Известно, что термин «реальность» (от позднелатинского *realis* — «действительный», «вещественный») сравнительно позднего, средневекового происхождения, однако суть понятия была осознана уже с началом отхода рационалистического философского мышления от первобытного мифа с его «наивным реализмом», предполагавшим, что реально все (включая даже прямую, намеренную ложь, которая в контексте мифа предстает в своей магически действенной, т.е. именно действительной, реальной силе). Важно помнить генетическую связь представлений о «реальном» с культурой рационалистического мышления. Рационализм разложил цельный для мифа мир на «реальное» и «нереальное». У Платона и Аристотеля это «сущее» и «не-сущее», у Аристотеля еще «действительное» (т.е. действительное, деятельное, «энергичное»), «возможное» и, напротив, «невозможное», «неспособное».

Сам термин «реализм» утвердился в эпоху средневековых схоластических споров между «реалистами» и «номиналистами», причем «реалисты» унаследовали и применяли концепции Платона и Аристотеля, по-разному их сочетая. С точки зрения чистого платоновского направления, реальные умопостигаемые, вечные и неуловимые для чувств идеи (в аристотелевском варианте реальна еще и материя, но лишь в сочетании с вечными идеями-формами). А, скажем, для Демокрита, Эпикура и их последователей реально нечто прямо противоположное: многообразная, чувственно постигаемая материя, составленная из атомов. Хотя это материалистическое (эмпирическое) направление и принижает значение ума, переходя в своих крайних формах к сенсуалистической иррациональности, его умеренные (они же и самые распространенные) проявления можно считать гибкими разновидностями рационализма.<sup>3</sup>

Две противоборствующие концепции «реальности» сохраняются на протяжении веков, а вместе с ними — и попытки их примирения, когда, по примеру Аристотеля, духовная, умопостигаемая действительность принималась за высшую, но не отрицалась и реальность вещественного мира. В современной Грибоедову философии эта точка зрения с особой силой была явлена у Шеллинга и Гегеля. Она свойственна и развитым жизнеспособным мифологиям, интересовавшим Грибоедова (христианской, мусульманской). В литературе ее приняли многие романтики.

Итак, рационализм, с которым генетически связано понятие «реальности», издревле существует в двух разновидностях — идеалистической и эмпирической, а между ними — широкая область взаимопереходов и слияний. Во всех случаях рационализм мог быть либо скептическим, либо догматическим. Эти философские установки имели соответствие и в области литературного миропонимания. К примеру, классицизм — литературная разновидность идеалистического и догматического рационализма (хотя к этой основе в разных пропорциях примешивается эмпиризм и мистический иррационализм платонического типа), а «критический» реализм XIX века есть литературное преломление скептического и эмпирического рационализма. Или, например, в романе Чернышевского «Что делать?» эмпирический рационализм явно догматичен, поскольку навязывает действительности однозначную рассудочную схему, подобно тому как это будет позднее делать соцреализм.

Эмпиризм принижает значение ума, разума и в крайних своих формах превращается в иррациональный сенсуализм, а в художественной литературе соответственно в сентиментализм (а не реализм), т.е. в направление, озабоченное

<sup>3</sup> Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988. С. 27—46.

в конечном счете возвратом к доцивилизированной природной стихии, к чувственной жизни, не разделенной аналитически на «реальное» и «ирреальное».

Подобным образом понижен пафос поиска «реальности» и соответственно «нереального» в иррационально-мистическом мировосприятии романтиков, которые, как и сентименталисты, стремились вернуться к дорационалистическому видению жизни, но только уже не в естественно-чувственном, «природном» ее облике, а преимущественно в мистико-магическом, мифологическом. Впрочем, и мистический иррационализм романтизма, и сенсуалистический иррационализм сентиментализма не способны полностью порвать с рационализмом (сам термин «иррационализм» свидетельствует, что его суть зависима от своей противоположности и даже не может без нее существовать).

Помнить о взаимосвязи литературы и философии при изучении творчества Грибоедова необходимо не только по общим методологическим причинам, но еще и потому, что сам писатель серьезно интересовался историей философии и пристально следил за ее новейшим развитием. Даже находясь под стражей по делу декабристов, он просит Ф.В.Булгарина в письме: «...на днях дочитываю Degerando, коли еще нет продолжения, то достань мне старое издание, которое мне 15 лет тому назад подарил профессор Буле, оно доведено до Фихте и Шеллинга».<sup>4</sup> История философии, написанная Дежерандо, была популярна в начале XIX века. Упомянутый Грибоедовым И.Буле, профессор философии Геттингенского (1784—1804) и Московского (1805—1811) университетов, был кантианцем. В юности Грибоедов слушал его лекции. У профессора и студента были сходные литературные вкусы (например, они оба почитали Шекспира);<sup>5</sup> подаренная историко-философская книга также свидетельствует о духовной близости. Есть отдаленное и, видимо, не случайное созвучие между названиями комедии Грибоедова и основного труда Канта: «Горе от ума» — «Критика чистого разума». Во всяком случае, эти далекие друг от друга сочинения связаны общей темой ограниченности разума.

Тогда же, под стражей, Грибоедов прочитал трактат А.И. Галича «Опыт науки изящного» (СПб., 1825), написанный под влиянием Шеллинга и Платона. Как романтик, Галич учил воспринимать литературу и философию в единстве. «Изящное» трактовалось им как объективная духовная реальность, как порождение божественного духа.

В русской литературе начала XIX века сосуществовали пять основных направлений (стилей): классицизм, сентиментализм, рококо, романтизм, реализм. Для каждого было характерно свое особое представление о реальности. Какое же было ближе Грибоедову?

В ранних литературных опытах Грибоедова (в «Письме из Бреста Литовского к издателю», 1814; в комедии «Молодые супруги», 1815) преобладают черты рококо, на что указал С.А. Фомичев.<sup>6</sup> Рококо — стиль весьма популярный в светском (особенно «придворном») искусстве второй половины XVIII—начала XIX века. Являясь продолжением традиции эпикурейского эмпиризма, этот стиль культивирует как высшую реальность счастье чувственного, особенно любовного наслаждения в обрамлении (как бы в «раковине») красивого интерьера или ухоженного пейзажа; космос, мироздание символически сокращаются до очертаний этой «раковины».

Уже в предромантическую, а тем более романтическую эпоху плоский гедонизм рококо тяготеет к растворению в более мощном мироощущении — в вакхическом, дионисийском пантеизме, который быстро возрождался в литера-

<sup>4</sup> Грибоедов А.С. Сочинения. С. 531. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

<sup>5</sup> См.: Фомичев С.А. Указ. соч. С. 10.

<sup>6</sup> Там же. С. 11—13.

турном сознании того времени вместе с общим оживлением традиций древней мифологии. Промежуточный момент такого стилевого перехода запечатлелся в анакреонтике рубежа веков (лучшие образцы ее в России представлены у пожилого Державина и юного Пушкина). Собственно же вакхический романтизм в развитом виде запечатлелся, например, у Батюшкова в «Вакханке» (1815) и у Пушкина в «Торжестве Вакха» (1818).

В вакхическом романтизме миг экзотической любви, миг хмельного восторга осмысливается уже магически, как обожествляющее растворение души в живой природе, олицетворением которой представляется бог Дионис, или Вакх. Грибоедов отдал дань в своем творчестве и направлению вакхического романтизма, но отнесся к нему критически.

По наблюдениям С.А. Фомичева,<sup>7</sup> кризис рококо намечился в творчестве Грибоедова изначально, а в комедиях 1817 года уже вполне проявился. Уже в «Письме из Бреста Литовского к издателю» идеал рококо иронически принижается, а в одном месте и несколько оттесняется классицистическим идеалом высокого служения музам (что, впрочем, представляется доступным только «пиитам»):

Пииты же, как искони доселе,  
 Всех более шумели,  
 Не от вина, нет, — на беду,  
 Всегда они в чаду:  
 Им голову кружит другое упоенье —  
 Сестер парнасских вдохновенье.

(С. 351)

Как видно, и классицистический идеал здесь едва проблескивает сквозь дымку иронии и к тому же далее гасится новым наплывом рококо.

Классицизм и сентиментализм в то время уже исчерпали себя. Однако, как признано многими исследователями, классицизм оказал некоторое влияние на «Горе от ума». Оно сказывается в соблюдении некоторых принципов поэтики жанра (например, в соблюдении единства времени и места), в резкой обозначенности черт характера, подчеркнутой и «говорящими» фамилиями, в пространственных монологах, проникнутых желанием героев назидать и убеждать. Но в целом ценности классицизма, его характерный идеализирующий и сатирический догматизм Грибоедов не столько принимает, сколько преодолевает. По воспоминаниям С.Н. Бегичева, уже в 1813 году Грибоедов ценил более Шекспира, Гете и Шиллера, нежели Корнеля, Расина и Мольера. Классицистов он упрекал за то, что они «не дали воли своему воображению расходиться по широкому полю».<sup>8</sup>

Есть в «Горе от ума» и несомненные отсветы сентиментализма. Глубокую, но все-таки спорную трактовку этой комедии как воплощения сентиментального, руссоистского идеала дал С.И. Данелия.<sup>9</sup> В «Горе от ума» действительно ощутим иррационалистический пафос, четко зафиксированный уже в названии и многогранно явленный в сюжете (в особенности в изображении диалектичности, относительности общественных представлений об уме и безумии). Как заметил С.И. Данелия, изменение черного варианта названия «Горе уму» усугубляет горечь в авторской оценке ума, который, оказывается, приносит горе не только своему обладателю, но и всем окружающим его людям.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Там же. С. 15—16.

<sup>8</sup> А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 26.

<sup>9</sup> Данелия С.И. О философии Грибоедова // Данелия С.И. Философские исследования. Тбилиси, 1977. С. 304—382.

<sup>10</sup> Там же. С. 312—313.

Этот иррационализм при отсутствии ярко выраженных мистико-романтических тенденций действительно мог бы восприниматься как проявление сентиментального руссоизма, особенно в свете заключительного монолога Чацкого, признающего поражение своего ума и значимость чувственного начала: «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок!..» (с. 129). Однако иррационализм «Горя от ума» неустойчив, зыбок и дышит скептицизмом, совершенно чуждым сентиментализму и всегда связанным с деятельностью рассудка.

Острый аналитический взгляд на жизнь, стремление воспроизвести ее в типичных для повседневной действительности образах, уклонение от навязывания каких бы то ни было идеологических схем — все говорит о том, что в «Горе от ума» реализован особый, расцветший именно в XIX веке тип реализма. Письма и статьи Грибоедова подтверждают это авторитетом его собственного мнения.

Применительно к литературе термин «реализм» утвердился лишь в середине XIX века, но основные черты его «критической» разновидности начали складываться в 1820-х годах, и Грибоедов принял участие в этом процессе. Одновременно совершалось становление философии позитивизма, которой суждено было на протяжении нескольких десятилетий определять развитие науки. Позитивизм и литературу воспринимал как своеобразную отрасль науки, которая постигает жизнь человека с помощью специфического наблюдения, обобщения и систематизации фактов. Именно позитивистское академическое литературоведение и позитивистская литературная критика сформировали теоретическую концепцию «реализма», утвердили самый термин и ограничили его содержание кругом своих представлений о реальности, которая в ту пору, по мысли Р. Уэллека, понималась «как упорядоченный мир науки XIX века, мир причин и следствий, мир без чуда, без трансцендентного...»<sup>11</sup>

«Позитивное» мировосприятие, свойственное критическому реализму, видело истинность, реальность в непосредственных переживаниях человека, в его «опыте», как бытовом, так и научно-исследовательском. Философия стала растворяться в частных науках, доставляющих разнообразную «опытность». Считалось, что позитивное знание, нарастая, будет говорить само за себя. В литературе и науке возродился древний скептический принцип — воздержания от окончательных однозначных суждений. В науке это привело к накопительству и классификаторству, в литературе — к поиску типических характеров и к особому виду художественной образности и сюжетосложения, при которых не только допускались, но и провоцировались разнообразные, часто противоположные друг другу читательские мнения и толкования. Классический тому пример — «Горе от ума». Познакомившись с комедией, Пушкин заметил в письме А.А. Бестужеву в январе 1825 года: «Софья начертана неясно... Кстати, что такое Репетиллов? в нем 2, 3, 10 характеров».<sup>12</sup> История полуторавекового читательского и научного восприятия комедии свидетельствует об этой принципиальной «неясности» и всего сюжета в целом, и основных действующих лиц.

Однако скептицизм Грибоедова, как это свойственно и позитивизму, был умеренным. В «Горе от ума» отразилась крайняя для его творчества степень скептицизма. В письме П.А. Вяземскому от 11 июля 1824 года он осуждает Вольтера именно за крайность скептицизма, за отсутствие твердых личных убеждений: «И как неровна судьба, так сам был неровен: решительно действовал на умы современников, вел их, куда хотел, но иногда, светильник робкий, блудящий огонек, не смеет назвать себя; то опять ярко сверкает реформатор

<sup>11</sup> Welck R. Concepts of criticism. New Haven and L., 1969. P. 241.

<sup>12</sup> Пушкин. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 138.

бичом сатиры; гонимый и гонитель, друг царей и враг их... Всю жизнь провел в борьбе с суеверием — богословским, политическим, школьным и светским, наконец, ратовал с обманом в разных его видах. И не обманчива ли сама та цель, для которой подвизался? Какое благо? — колебание умов ни в чем не твердых??» (с. 500). Грибоедову, очевидно, было известно, что Вольтер отрекался от собственных произведений, писал на них антикритики. Впрочем, в этих же словах ощутимо и некоторое увлечение французским философом, приходящееся как раз на период завершения работы над «Горем от ума». К близкому другу С.Н. Бегичеву Грибоедов в письме от 18 мая 1825 года обращается «мой Вовенарг», подразумевая друга Вольтера и сближая, таким образом, самого себя с великим просветителем.

Скептицизм Грибоедова близок байроновскому. В знаменитом уже в начале 1820-х годов «Дон Жуане» Байрон рассуждает:

Возник ли мир по Ветхому завету  
Иль сам собой, без божьего труда, —  
Мыслители не вскрыли тайну эту  
И, может быть, не вскроют никогда.  
Но мы недолго странствуем по свету  
И все однажды явимся туда,  
Где очень точно все узнаем — или  
Навеки успокоимся в могиле.<sup>13</sup>

Это близко к позиции Вольтера. Но в той же поэме Байрон рассуждает иначе:

«Que sais-je?»<sup>14</sup> — сказал задумчивый Монтень;  
И он поддержан скептиками всеми:  
На всем сомненья тягостная тень,  
Любой вопрос приводит к этой теме.  
Но как же нам-то быть? Предвижу день:  
Настанет столь «сомнительно» время,  
Когда в самом сомненье буду я<sup>15</sup>  
Иметь сомненье, милые друзья.<sup>15</sup>

Известно, что за творчеством Байрона Грибоедов внимательно следил.

Позитивизм явился закономерным развитием классического эмпиризма XVI—XVIII веков. Одной из важных задач философии это направление считало разработку системы взаимосвязанных конкретных наук. Эта установка была близка Грибоедову. В 1808 году он закончил словесное отделение Московского университета и стал вольнослушателем посещать лекции профессоров этико-политического отделения — вплоть до войны 1812 года.<sup>16</sup> Интересовался он также историей и археологией. Подобный энциклопедизм был в то время нормой.

Известно, что романтизм тоже стремился к развитию целостной системы наук, но он в отличие от нарождающегося позитивизма старался воссоединить науку с искусством и религией. Романтическая философия и наука питались корнями от традиционных магических и мистических источников. В какой мере энциклопедизм Грибоедова был переходом от просветительства XVIII века к предпозитивизму, а в какой — проявлением романтизма, можно установить, лишь решив общую проблему эволюции мировоззрения писателя.

<sup>13</sup> Байрон Дж. Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1981. Т. 1. С. 406. (Перевод Т. Гнедич).

<sup>14</sup> «Что я знаю?» (фр.).

<sup>15</sup> Байрон Дж. Г. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 364.

<sup>16</sup> См.: Фомичев С.А. Указ. соч. С. 7, 9; Душбан Л.С. Из московских лет Грибоедова // А.С. Грибоедов: Материалы к биографии. Сб. научн. тр. Л., 1989. С. 26—27.

В конце 1810-х—начале 1820-х годов эмпиризм, очевидно, преобладал в душе Грибоедова. В «Горе от ума» единомышленником Чацкого оказывается племянник старухи Хлестовой, о котором она сообщает: «Он химик, он ботаник...» (с. 105). По мнению современников, у этого персонажа был прототип — родственник А.И. Герцена А.А. Яковлев-младший. Как вспоминал сам Герцен, «Химик», которого он часто навещал в детстве, много времени проводил в домашней лаборатории. Основой миропознания он считал естественные науки, медицину, математику. Герцен замечает в «Былом и думах»: «Поверхностный и со страхом пополам вольтеранизм наших отцов нисколько не был похож на материализм Химика... Влияние Химика заставило меня избрать физико-математическое отделение; может, еще лучше было бы поступить в медицинское... Без естественных наук нет спасения современному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью — где-нибудь в душе останется монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разумению».<sup>17</sup>

Зарождавшийся позитивизм, описанный у Герцена, поначалу был еще тесно связан с французским просветительским материализмом. Грибоедов же не замкнулся ни в материализме, ни в зыбком скепсисе Вольтера, воспринимая все это лишь как частные способы «опытного» миропознания. Он старался подвергнуть экспериментальной проверке все, что было возможно, включая и атеистический материализм, и мистико-магическое мировосприятие. В этом смысле Грибоедов предвосхитил расцвет русского позитивизма второй половины XIX века, когда такие великие ученые, как Менделеев и Бутлеров, не уклонялись, например, от экспериментального исследования спиритизма. «Опыт — лучшее доказательство» (с. 363), — замечает Грибоедов в статье «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады “Ленора”» (1816). Здесь же он требует от писателей изображения «натуры». В поисках истины, реальности Грибоедов словно бы экспериментировал с собственной душой — и в повседневной жизни, и в творчестве: «Вот еще одна нелепость — изучать свет в качестве простого зрителя. Тот, кто хочет только наблюдать, ничего не наблюдает... Наблюдать деятельность других можно не иначе как лично участвуя в делах...» (с. 439; «Из путевых заметок 1827 г.». У Грибоедова эта мысль изложена по-французски).

Такой поиск реальности, истины был типичным для первой половины XIX века. Вспомним судьбу В.С. Печерина, который от крайнего скептицизма через различные испытания пришел в конце концов к католическому монашеству и описал это в своих «Замогильных записках». Нечто подобное пережил и менее известный современник Грибоедова, А.Б. Голицын. Он признается: «Я всего испытал — сначала был в жестоком неверии, кощунствовал над святынею; обращен был чудом к вере в 1820 году. Наука древнего масонства подвела меня к истине... я кинулся в герметическую работу, она меня научила некоторым правилам и силам в природе; я все стремился выше и выше, в 1824 году я готов был вступить в магию и Бог меня от этого спас; я видел чудеса невероятные и от нечистой силы и устрасился их; они мне были нужны для суждения».<sup>18</sup>

Черты этого жизненного типа отразились и в литературе: отчасти у Лермонтова в характере Печорина и с большей полнотой признаков у Кюхельбекера в поэме «Ижорский». Герой Кюхельбекера в духовном развитии идет от рационалистического скепсиса просветителей через увлечение магией — к истовому христианскому мистицизму. В скептическую пору жизни Ижорскому случилось быть

<sup>17</sup> Герцен А.И. Соч.: В 9 т. М., 1955. Т. 4. С. 113—114.

<sup>18</sup> Гордин Я. «Донос на всю Россию», или Миф о масонском заговоре // Звезда. 1990. № 6. С. 121.

близким к самоубийству. Он освобождается от духовных страданий, лишь обретя подлинную веру и раскаявшись: «...душа моя Вся тает, вся дрожит, а детски верю я Святому таинству Христова заступленья...»<sup>19</sup> Ижорский осознает свой путь как типичный для эпохи:

К чудесному во всех возникла страсть  
Давно ль? кричали: «Ад и небо бредни!»  
Все просвещалось, самые передни...

Теперь взгляните на своих детей,  
Ученики, поклонники Вольтера!  
Конечно, суеверие не вера:  
Но где же, где хваленый ваш успех?  
Что ваша мудрость? И подумать! смех!<sup>20</sup>

Под суеверием здесь подразумевается вера в магию.

Под влиянием общих настроений эпохи Грибоедов пробовал освоить, испытать и художественно выразить такие крайности, как атеистический материализм (в стилизованной окраске «реализма»), просветительское эпикурейство (в окраске рококо), с одной стороны, и с другой — магию и мистику романтизма.

Сохранились свидетельства о поступках Грибоедова-«вольнодумца». Вот юный гусар играет хоралы в литовском костеле во время мессы — и вдруг переходит на комаринскую; вот в начале 1820-х годов Грибоедов вместе с Катениным в присутствии воспитанников театрального училища подтрунивает над богомольным А.А. Шаховским и доводит его до слез; вот в 1823 году Грибоедов во время венчания своего друга С.Н. Бегичева смешно комментирует проповедь священника; в 1826 году на допросе он признается, что не каждый год исповедовался и причащался.<sup>21</sup> Красноречива записка от 19 марта 1826 года, в которой арестант Грибоедов просит у Булгарина 150 рублей и взамен предлагает свой «адамантовый крест»: «...а ты его побоку» (с.530).

В творчестве Грибоедова запечатлелись резкие следы искушения атеистическим мировосприятием. В черновом, но глубоком и цельном наброске «Прости, отечество!» (1819? 1828?) выразилось проникновение в абсолютно мрачное, тупиковое, отвращающее от себя мировоззрение: вечности нет, бессмертия души нет, все тленно, а потому и бессмысленно с точки зрения житейской (и единственной) мудрости. Бессмысленна общественная, гражданская деятельность. Наивен поиск некоей иллюзорной справедливости. Радоваться этой жизни может или глупец, или, что часто случается, незрелый, неопытный юноша-мечтатель. Жизненные переживания приводят умных людей к безотрадному выводу:

Премудрость! вот урок ее:  
Чужих законов несть ярмо,  
Свободу схоронить в могилу  
И веру в собственную силу,  
В отвагу, дружбу, честь, любовь!!!

(С. 346)

Политическую лексику Грибоедов вводит в более широкий философский контекст: «чужие законы» (в начальном варианте «чужие власти») — это обозначение общих враждебных человеку жизненных сил, тождественных силам смерти; «бой», о котором говорится в горькой концовке стихотворения, — это обозначение общего сопротивления человека столь безрадостной жизни-смерти,

<sup>19</sup> Кюхельбекер В.К. Избр. произв.: В 2 т. М.; Л., 1967. Т. 2. С. 443.

<sup>20</sup> Там же. С. 296.

<sup>21</sup> Нечкина М.В. Грибоедов и декабристы. М., 1977. С. 117—118; Грибоедов в воспоминаниях современников. С. 372.

сопротивления, впрочем, безнадежного и возможного только в момент самообмана, усыпления разума и пробуждения веры. Духовное самоубийство, гораздо более страшное, чем физическое, — вот тот последовательный, мужественный и мудрый шаг, за которым раскрывается человеку безотрадная тайна бытия-смерти. Поэтому намеренно (четырежды!) правка Грибоедова снимает в тексте первоначальные упоминания «души» — ведь у лирического героя душа уже умерла: он утратил веру в бессмертие.

Столь же мрачная концепция жизни и в стихотворении «Телешовой» (1824). В этом случае Грибоедов взглянул на бытие-смерть сквозь призму одного из главных призрачных понятий-переживаний — любви. В любви фокусируются все иллюзорные верования человечества. Любовь — основание всех религиозных воззрений. Размышление о ней не случайно разворачивается на фоне разных религиозно-мифологических представлений о вечном блаженстве: христианского, мусульманского, языческого (античного и новоевропейского). Чередой проходят перед читателем образы-символы: харита, пери, нимфа, эльф, эдем. Обольщение любви сравнивается и со сновидением. Но любовь, как и всякая вера-обольщение, — огонь, сжигающий человека и оставляющий дым и чад:

Зачем манишь рукою нежной?  
Зачем влечешь из дальних стран  
Пришельца в плен твой неизбежный,  
К страданью неисцельных ран?..

Не истомляй его желаньем,  
Не сожигай его огнем  
В лице, в груди горящей страсти  
И негой распаленных чувств!

(С. 341)

Кто горит в любви, тот на миг обманывается теплотой счастья и веры («Блажен, кто верует, тепло ему на свете!»); однако в конце концов должна восторжествовать пепельно-холодная рассудочность. Горение — это лишь ускоренное тление, разложение. Горение страсти ускоряет пробуждение ума, приближает обретение мудрости. Пепел — это тлен (прах — объединительное для них понятие). Ум — пепел, образованный горением страстей. Гореть, сгорать и, главное, осознавать, постигать умом тленность, «горючесть» всего — горько. Об этом свидетельствует и мудрость языка: слова «гореть», «горький», «горе» этимологически близки. По воле автора в «Телешовой» умеренное атараксией эпикурейство существенно оттесняется магией неистового вакхического восторга, в котором сгорает душа; жертва любовных чар тоже прибегает к магии («Уже не тверды заклинаньем Броня, и щит его, и шлем» (с. 341)). Над всем этим — скептик-автор: он отвергает подобные «опыты», ведущие душу к небытию. Финал стихотворения «Телешовой» — описание последовательного разочарования в любви и во всем этом призрачном, мертвенном мире, «где сном покрыто лоно нив И небо ризой погребальной» (с. 342).

В одном ряду с «Прости, отечество!» и «Телешовой» стоит небольшой, но значительный по силе философского обобщения монолог Чацкого («Горе от ума», действие 4, явление 3):

Ну вот и день прошел, и с ним  
Все призраки, весь чад и дым  
Надежд, которые мне душу наполняли.

(С. 110)

Опять представление о призрачности любви, иллюзорности человеческого существования. «Опытность», навык анализа чувственности холодным умом рож-

дает мрачную «мудрость», но при этом и обессиливает, лишает «мочи», воли к жизни («Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь»). В сознании Чацкого возникает образ жизненного пути, ведущего к пустоте и небытию:

В повозке так-то на пути  
Необозримою равниной, сидя праздно,  
Все что-то видно впереди  
Светло, синё, разнообразно;  
И едешь час, и два, день целый; вот резвó  
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,  
Все та же гладь и степь, и пусто и мертво!..

(С.110—111)

Образ прошедшего «дня» жизни здесь глубоко символичен: в драматургической традиции, унаследованной Грибоедовым, суточные границы действия насыщены вселенской универсальностью и обозначают «жизнь» в целом.

При таком пессимизме вполне естественны периодически преследовавшие Грибоедова настроения ипохондрии, порой граничавшие с нежеланием жить. Например, 12 сентября 1825 года он пишет С.Н. Бегичеву: «Пора умереть!.. Тоска неизвестная! воля твоя, ели это долго меня промучит, я никак не намерен вооружаться терпением... Представь себе, что со мною повторилась та ипохондрия, которая выгнала меня из Грузии, но теперь в такой усиленной степени, как еще никогда не бывало... ты меня старше, опытнее и умнее; сделай одолжение, подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди» (с. 521).

В «опытах» с атеистическим и материалистическим мировосприятием Грибоедов был намного последовательнее французских просветителей. «Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот, Энциклопедии скептический причот»,<sup>22</sup> — писал о них Пушкин. Употребленное с иронией церковное слово «причет» несет в себе очень точную оценку: с точки зрения подлинного скептицизма, материализм и атеизм просветителей — это разновидность веры (т. е. неких твердых убеждений в том, чего логически доказать нельзя). Жизнерадостное эпикурейство французских материалистов Грибоедов воспринимал как свидетельство недостатка ума, как пир во время чумы, что и отразилось в весьма «неточном» творческом переложении «Пролога в театре» из «Фауста» Гете. А «Прости, отечество!» начинается словно бы обращением к оптимистам-просветителям:

Не наслажденье жизни цель;  
Не утешенье наша жизнь.  
О! не обманывайся, сердце.  
О! призраки, не увлекайте!

(С. 346)

Столь безотрадному и гибельному умонастроению Грибоедова противостояли его «опыты» по вживанию в мистико-магическое мировосприятие. В течение нескольких лет в его душе сохранялось некое неустойчивое равновесие между материализмом, традиционной магией и мистикой. А затем — чем ближе к последним годам жизни, тем больше — мистические переживания стали превращаться в личную веру.

Уже в 1816 году Грибоедов подверг себя искусу масонских верований: вступил в ложу «Соединенных друзей». Масонство могло способствовать расширению его магических представлений. Примечательно, что Т.А. Бакунина, специалист по

<sup>22</sup> Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 3. Кн. 1. С. 219.

истории масонства, увидела «следы ритуального масонского посвящения»<sup>23</sup> в следующих стихах из «Прости, отечество!»:

И что ж с тех пор? — Мы мудры стали,  
 Ногой отмерили пять стоп,  
 Соорудили темный гроб  
 И в нем живых себя заклали.

(С. 346)

Надо только заметить, что если это наблюдение и соответствует действительности, то все равно в контексте стихотворения, вопреки мнению Т.А.Бакуниной, масонское посвящение предстает скорее в отрицательном, чем положительном освещении: для Грибоедова это еще один тупиковый «опыт», который срастается с атеизмом в единое целое, обнаруживая, как бы проблеском, глубинное парадоксальное родство этих внешне столь непохожих систем мировосприятия, представляющих собой отдаленно, косвенно связанные ответвления единой всечеловеческой магии — волевого, «ученого», «технического» господства человека над мирозданием.

По свидетельству Кюхельбекера, Грибоедов верил в заговаривание крови.<sup>24</sup> Уверенность в данном случае может быть объяснена сравнительной легкостью экспериментальной проверки. Коротко знавший Грибоедова А.А.Жандр утверждал, что он был «порядочно суеверен» и «верил существованию какого-то высшего мира и всему чудесному».<sup>25</sup> Жандр вспоминает, что однажды Грибоедов рассказал историю, которая случилась с ним в Тифлисе: ему привиделся в конце улицы знакомый — и тут же этот человек нагнал его, а через три дня умер. Рассказав, Грибоедов сообщил, что недавно сходным образом ему привиделся Жандр, а Жандр, как выяснилось, был в то самое время дома. Мемуарист посчитал все это «галлюцинацией», но все-таки с облегчением заметил, что с ним ничего худого после рассказа Грибоедова не случилось.<sup>26</sup> Из этой истории видно, как Грибоедов пытался буквально ставить «опыты» с ясновидением, желая удостовериться в его возможности и природе.

Знакомые Грибоедова, общавшиеся с ним накануне его отъезда в Персию в 1828 году, свидетельствуют, что он предсказывал свою близкую смерть. Бегичев передает его слова: «Предчувствую, что живой из Персии не возвращусь» — и продолжает: «То же рассказал мне при свидании А.А. Жандр».<sup>27</sup> Пушкин в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года» пишет о том же: «Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге перед его отъездом в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия... Пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб...»<sup>28</sup>

Рождение замысла «Горя от ума» также овеяно мистическими переживаниями. Булгарин, со слов Грибоедова, передает: «Будучи в Персии... он лег спать в киоске, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечество... Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш... и в ту же ночь начертывает план “Горя от ума” и сочиняет несколько сцен первого акта». Сам Грибоедов описывает это событие в черновом письме неизвестной от 17 ноября 1820 года.

<sup>23</sup> Бакунина Т.А. Знаменитые русские масоны: Вольные каменщики. М., 1991. С. 86.

<sup>24</sup> Грибоедов в воспоминаниях современников. С. 258.

<sup>25</sup> Там же. С. 236.

<sup>26</sup> Там же. С. 236—237.

<sup>27</sup> Там же. С. 31.

<sup>28</sup> Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 8. Кн. 1. С. 460.

Интерес Грибоедова к магии и мистике созвучен времени. М.П. Погодин, принадлежащий к числу ключевых для русского романтизма фигур, собрал и классифицировал множество свидетельств веры и «суеверия» людей эпохи.<sup>29</sup> Мистические «опыты», переживания Грибоедова нашли воплощение в творчестве, подобно тому как это случилось с его «материализмом» и «магизмом». Лирика особенно чутко улавливает момент перехода от экспериментальной проверки мистицизма (и тем более от атеистического неверия) к подлинной вере, художественно выражаемой (а следовательно, и от реализма к романтизму). Переход совершается тогда, когда в произведении исчезает скептическое отношение к описываемым таинственным событиям, чудесам. Реалист же (или, например, сентименталист) обязательно найдет способ указать на «нереальность» переживаемых его героями или повествователем чудес.

Когда Грибоедов увлечен изображением мистико-магических представлений, он объективно становится романтиком. В таких случаях он совершенно серьезен. В его романтических произведениях нет даже той особой иронии, с помощью которой ранние романтики иногда защищали свои новые духовные ценности от скептицизма просветителей.

Характернейшая черта романтизма — стремление возрождать древнее мифопоэтическое видение мира. С этой целью романтики усваивали и воспроизводили творческие принципы, сохраненные в фольклоре и в древней литературе разных народов. Романтики верили, что в языке, мифологии, фольклоре, государственной истории, нравах и даже манере одеваться, словно в сосуде, хранится неповторимый дух каждого народа, его жизнетворческая вера, его ведение вечности.

Этим высвечиваются романтические оттенки в любви Грибоедова к языкам и культуре разных европейских и «экзотических», восточных народов. Его занятия этнографией, историей, археологией также соответствуют духу эпохи. Даже патриотизм Чацкого приобретает на этом фоне некоторую романтическую окраску. Примечательно и то, что Грибоедов, подобно В.К. Кюхельбекеру и П.А. Катенину, с сочувствием относился к теории А.С. Шишкова, предлагавшего питать корневую жизнь русского языка, освободить ее от излишних иностранных влияний и сделать это прежде всего с помощью литературного творчества.

У Грибоедова есть стихотворные опыты, связанные с языческой мифологией разных народов. Стихотворение «Хищники в Чегеме» (1825) передает темную, хаотичную кровно-родовую мифологию кавказских народностей. А стихотворный отрывок «Домовой» (созданный, вероятно всего, во второй половине 1820-х годов) свидетельствует об интересе к древнеславянской языческой мифологии, сохраненной в фольклоре. В этом стихотворении воспроизводится не просто первобытное, наивное, неиспорченное цивилизацией народное сознание, но к тому же еще и сознание детское, наиболее приспособленное, с точки зрения романтиков, к постижению тайны мифа. Интерес Грибоедова к точности воспроизведения народного духа, верований проявился уже в 1816 году в статье «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады “Ленора.”».

Для всего европейского романтизма свойственно постепенно нарастающее внимание к национальным вариантам христианской мифологии (в ее соединении с местными формами язычества) — ведь христианская мифология была в то время наиболее яркой, живой и влиятельной, ее не требовалось возрождать, она просто существовала и учила на своем примере, что такое стихия мифа. Этот поворот к христианству ощутил и в творчестве Грибоедова.

По воспоминаниям Кюхельбекера, они с Грибоедовым в 1821—1822 годах на Кавказе изучали Священное писание и любимыми стихами Грибоедова были

<sup>29</sup> Погодин М.П. Простая речь о мудреных вещах: Сочинение. 2-е изд. М., 1874. Отд. 2-е. С. 1—120.

тридцать первых глав пророка Исаяи. Грибоедов дал почувствовать их духовную силу и Кюхельбекеру.<sup>30</sup> Видимо, Исаяя привлек Грибоедова неистовостью и твердостью своей веры, выраженной к тому же со всею мощью поэтического вдохновения. Вникал Грибоедов и в стиль, слог другого великого поэта-пророка — Давида. Е.П. Соковнина вспоминает: «Я обязана Кюхельбекеру тем, что он познакомил меня с красотою поэзии, а Грибоедову тем, что научил меня понимать высокопоэтическое достоинство псалмов Давида, заставляя переводить некоторые из них».<sup>31</sup> Свидетельством этого обращения Грибоедова к Псалтыри стало стихотворение «Давид» (1823).

Грибоедов словно готовил себя к роли вдохновенного поэта-пророка. С.Н. Бегичев вспоминает: «Он был в полном смысле христианином и однажды сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в Персию пророком и сделать там совершенное преобразование; я улыбнулся и ответил: “Бред поэта, милый друг”. — “Ты смеешься, — сказал он, — но ты не имеешь понятия о восприимчивости и пламенном воображении азиатцев. Магомет успел, отчего же я не успею.” И тут заговорил он таким вдохновенным языком...»<sup>32</sup>

Романтический интерес Грибоедова к теме пророчества и образу поэта-пророка подтверждается еще и тем, что в одном году с «Давидом» он создает стихотворный набросок драмы о Ломоносове под характерным заглавием: «Юность вещего». Очевидно, Грибоедову были известны предания о ясновидческих способностях Ломоносова.<sup>33</sup>

В отрывке из трагедии «Грузинская ночь» (1828) изображается столкновение в душах, в судьбах людей христианской мистики и черной языческой магии. Ситуация классическая: женщина, отчаявшаяся в достижении справедливости на земле, отступает от своей христианской веры и полагается на помощь адских духов, становясь таким образом ведьмой. В самый момент своего духовного преступления она зывает:

...Прочь совесть и боязнь!  
Ночные чуда! Али! Али!  
Явите мне свою приязнь,  
Как вы всегда являли  
Предавшим веру и закон,  
Душой преступным и бессильным...

(С. 316)

И духи слетаются, «плавают в тумане у подошвы гор» (с. 317). Все здесь изображено абсолютно серьезно, как проявление реальности.

С поразительной открытостью христианский мистицизм Грибоедова выражается в набросках драмы («1812 год»). Вот описание сцены из нее: «С о б о р А р х а н г е л ь с к и й. Трубный глас архангела; на его призыв возникают тени давно усопших исполинов — Святослава, Владимира Мономаха, Иоанна, Петра и проч., из разных стихий сложенные и с познанием всего от начала века до днесь... Хор бесплотных провожает их...» (с. 319). Этот набросок, по убедительному предположению С.А. Фомичева, был сделан в конце творческого пути Грибоедова, в 1828 году.<sup>34</sup> Об этом говорит и напряженность мистицизма, достигшего у Грибоедова такой силы лишь на последнем году жизни.

<sup>30</sup> Грибоедов в воспоминаниях современников. С. 257—258.

<sup>31</sup> Там же. С. 95.

<sup>32</sup> Там же. С. 29.

<sup>33</sup> См.: *Погодин М.П.* Указ. соч. С. 35—36. «Рассказ Ломоносова, записанный другом его Штелиным с его слов, находится у меня в подлиннике», — замечает Погодин и приводит известную историю о вещем сне Ломоносова, увидевшего тело своего умершего отца на необитаемом острове.

<sup>34</sup> См.: *Грибоедов А.С.* Сочинения. С. 683—684.

Краткое послание «А. Одоевскому», написанное после июля 1826 года, увенчивается подлинной молитвой:

О, мой творец! Едва расцветший век  
Ужели ты безжалостно пресек?  
Допустишь ли, чтобы его могила  
Живого от любви моей сокрыла?..

(С. 344)

В первой половине 1820-х годов романтическая и реалистическая тенденции в лирике Грибоедова находятся в неустойчивом равновесии. Во второй половине начинает преобладать романтизм, причем в романтизме, как видно из рассмотренных текстов, к 1828 году усиливается христианская направленность. Процесс запечатлелся и в письмах Грибоедова: в них чаще появляются выражения типа «Бог даст», «Слава Богу», которые являются отнюдь не штампами в речевом сознании автора.

«Горе от ума» создавалось как раз в переломный для духовного развития Грибоедова период. Вот почему преобладающие реалистические черты в этом произведении оказываются в противоречивом единстве с иными, романтическими. И.Н. Медведева указывает, например, на черты романтического жанра «сценической поэмы» в «Горе от ума», на внутреннюю свободу автора от каких бы то ни было духовных догм, на влияние мотивов творчества Байрона.<sup>35</sup> Есть в «Горе от ума» мощный пласт христианской мифологии. Он лежит на самой глубине, под слоями скепсиса и иронии. Эта мифология, что характерно для романтизма, существенно влияет на реализацию авторского замысла. На поверхности сюжета она проявляется в именах Чацкого, Софьи, Молчалина, в отдельных репликах.

Первоначально фамилия главного героя писалась «Чадский». Перемена не только прибавила «реализма» (поскольку «Чацкий» — фамилия натуральная, невымышленная) и не только завуалировала намек на дурное смысловое значение фамилии («чад»), но также, и это главное, добавила очень существенные новые оттенки значения. М.Д. Эльзон, например, уловил связь фамилии с «чаять», сочетающим понятия «думать» и «надеяться».<sup>36</sup> А надежда — это преддверие веры. В характере главного героя, в его переживаниях действительно фокусируется диалектика разума и веры, хотя вера только зачинается в его душе, и он еще с иронией говорит: «Блажен, кто верует...» (с. 47). Впрочем, Грибоедов заставляет героя собственными устами указать и на «чадное» значение фамилии: «Ну вот и день прошел, и с ним Все призраки, весь чад и дым Надежд...» (с. 110). Да и сама перемена фамилии сохранила намек на этот отрицательный смысл: ведь «Чадский» на слух воспринимается как «Чацкий». «Чадным» в характере героя автору представлялся, конечно, рационализм (в данном случае догматический). Догматический рационализм воспринимался в эпоху романтизма как духовное падение, грех гордыни.

Грибоедову вняты эти ассоциации, о чем свидетельствует, например, его записка от 17 февраля 1826 года: «Друзья мои Греч и Булгарин... нет ли у вас "Чайльд-Гарольда"? Меня здесь заперли, и я погибаю от скуки и невинности» (с. 529). В слове «невинность» при сочетании с образом Байрона сразу же оживляются библейские оттенки значения: Грибоедов намекает на невозможность вольномыслия (блудомыслия, нарушающего невинность) при недоступности такого запретного плода, как произведение Байрона. Телесный блуд, с точки зрения

<sup>35</sup> Медведева И.Н. «Горе от ума» А.С. Грибоедова. М., 1974. С. 67—77.

<sup>36</sup> Эльзон М.Д. «Чад» и «чаять»: (О смысле фамилии Чацкого) // Русская литература. 1981. № 2. С. 182—183.

христианской мифологии, — это всего лишь частное следствие духовного блуда, заблуждения, отступления от истинного пути, предначертанного Богом.

Грибоедов «алчет» вкусить Байрона, и это знаменательно. Герои Байрона — это люди, для которых воля (и прежде всего вольнодумие) — главное в жизни. Грибоедову близко и то, что Байрон вернул проблему вольнодумия в родную для этого понятия область библейской мифологии. Предел устремлений для героев Байрона — богоробчество, прообраз — падший Люцифер. В мистерии «Каин», которую Байрон завершил в 1822 году, когда Грибоедов работал над «Горем от ума», изображается, как сатана искушает второе поколение людей. С. Булгаков замечает: «Люцифер у Байрона, обогатив Каина множеством ненужных ему и мертвых знаний, но тонкой клеветой отвратив его от прежней веры, приводит его лишь к сознанию, что он — ничто».<sup>37</sup> Представление о мире и о себе как о «ничтожестве» — не этот ли итог рассудочного миропознания обозначен и в «атеистической» лирике Грибоедова?

Любопытно, что параллельно с работой Грибоедова над «Горем от ума» идет работа Байрона над «Дон Жуаном». В поэме Байрона «блудность» (мотив блудного сына), «богопротивность» героя намеренно переводятся с уровня плотской похоти (который является главным в легенде о Дон Жуане) на уровень духовного своеволия, самоутверждения, свободного странничества. Этому есть параллель в «Горе от ума»: Чацкий не столько жаждет любовных отношений с Софьей, сколько получает удовольствие от своих умствований. Гордое играние ума, утверждение своего умственного превосходства — вот истинная страсть Чацкого. В первоначальной редакции текста Софья говорит о нем: «Всем в прихоть жертвует уму».

Возлюбленную Чацкого зовут Софьей, что в переводе с греческого значит «мудрость». Чуткому читателю, воспитанному на русской культуре, в этом имени при определенных условиях может послышаться библейский оттенок значения: «София, премудрость Божия». И такие условия возникают в тексте «Горя от ума». В сфере христианского мифа божественная премудрость — источник и цель всякой человеческой мудрости и всякого ума. Это именно вся совокупность бытийственного смысла, к которой человек некогда, до возбуждения «ума», был приобщен. Кривая блуждающего отпадения от целокупности бытия, зиждущегося на Любви, символически означена в комедии путешествием Чацкого. Мудрость устами Софьи осуждает Чацкого: «Вот о себе задумал он высоко... Охота странствовать напала на него, Ах! если любит кто кого, Зачем ума искать и ездить так далеко?» Здесь есть некое соответствие известным словам апостола Павла о любви как истинной реальности, на которой зиждется все бытие мира: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто» (I Кор., 13, 1—2).

Миропонимание Грибоедова эволюционировало к христианству постепенно, с отступлениями, с некоторым опережением на уровне художественного сознания, и лишь в 1828 году в этом направлении совершилась резкая подвижка. Перемена показательно отразилась в письме к В.С.Миклашевич, написанном в два подхода: начав его в сентябре, Грибоедов со скептической иронией пишет о своей юной жене, но, продолжив письмо 3 декабря, он возвращается к этой теме в совсем другом настроении — со смиренным покаянием, окрашенным в христианские тона: «И это кроткое, тихое создание, которое теперь отдалось мне на всю мою волю, без ропота разделяет мою ссылку и страдает самую мучительную беременность, кто знает: может быть, я и ее оставлю, сперва по необходимости, по так называемым делам, на короткое время, но после время продлится... что

<sup>37</sup> Булгаков С. Интеллигенция и революция // Наука и религия. 1989. № 11. С. 26.

проку, что чувства мои во мне неизменны, когда видимые поступки тому противоречат. Кто поверит!!!.. Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать?.. в Эрмитаже... есть Богородица в виде пастушки Murillo — вот она» (с. 649—650). В том же письме Грибоедов сообщает о своем желании помочь другу, декабристу А.И. Одоевскому: «Сейчас пишу к Паскевичу; коли он и теперь ему не поможет, провались все его отличия, слава и гром побед, все это не стоит избавления от гибели одного несчастного, и кого!!! Боже мой! пути Твои неисповедимы!» (с. 649).

В тот же день, 3 декабря, Грибоедов пишет И.Ф. Паскевичу: «Вспомните, на какую высокую степень поставил вас Господь Бог... Кто дал вам способы для таких заслуг? Тот самый, для которого избавление одного несчастного от гибели гораздо важнее грома побед, штурмов и всей нашей человеческой тревоги... Сделайте это добро единственное, и оно вам зачтется у Бога неизгладимыми чертами небесной Его милости и покрова... Я видал, как вы усердно Богу молитесь... Спасите страдальца» (с. 654—655). Возможно, именно в это время написаны молитвенные строки, посвященные А. Одоевскому.

Начало этого высокого религиозного настроения Грибоедова приблизительно обозначается признанием в письме к П.Н. Ахвердовой в ноябре 1828 года: «...назначение мое вышло неудачно. Я не уверен, что сумею выпутаться из всех дел, которые мне поручены... Одна моя надежда на Бога, которому служу я еще хуже, чем Государю, но которого помощь действительная со мной всегда была» (с. 630). Теперь и празднование Рождества впервые в переписке Грибоедова находит задушевный отклик. 24 декабря, в сочельник, он пишет жене: «Завтра Рождество, поздравляю тебя, миленькая моя, душка. Я виноват... что ты большой этот праздник проводишь так скучно... » (с. 660).

Таким образом, в 1820-х годах Грибоедов проходит типичный для своего времени духовный, творческий путь: от просветительского материализма и атеизма — через увлечение языческой мифологией, магией и мистикой — к христианскому мистицизму. По этому пути шли многие выдающиеся люди первой половины XIX века (некоторые — опуская те или иные стадии): А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, В.А. Жуковский, Н.М. Языков, В.Ф. Одоевский, В.К. Кюхельбекер, П.Я. Чаадаев, славянофилы, В.С. Печерин и многие другие, гораздо менее известные, как, например, А.Б. Голицын. Движение в обратном направлении, совершенное А.И. Герценом, В.Г. Белинским, было весьма редким тогда. Оно стало типичным позднее, во второй половине XIX века.

## К ПРОБЛЕМЕ НИГИЛИЗМА В РОМАНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»

До сегодняшнего дня, вопреки историческим данным, во многих публикациях можно прочесть, что Тургенев не только распространил или же «провозгласил» понятие нигилизм, но и «утвердил», даже «открыл» его. Согласно другим высказываниям, Тургенев первым в России ввел это слово в обращение.

Конечно, подобные утверждения можно возвести к словам самого писателя, который в статье «По поводу “Отцов и детей”» (1869) заявил, что он «выпустил» слово нигилизм.<sup>1</sup> Так, к примеру, Ина Фукс в своей, в целом поучительной, статье о проблеме нигилизма в «Бесах» Достоевского (1987) пишет: «Сначала это был Тургенев, который в романе “Отцы и дети”, появившемся в 1862 году, впервые употребил это слово, характеризуя героя романа Базарова как нигилиста».<sup>2</sup> В.И. Кулешов заключил в 1971 году: «Слова *нигилизм* и *нигилисты* очень много характеризуют в образе Базарова. Эти термины ввел Тургенев, и во всех словарях он по справедливости считается их изобретателем».<sup>3</sup> В «Лексиконе русской истории» 1985 года значится: «*Нигилисты* — это термин, который был утвержден Иваном Тургеневым (1818—1883)».<sup>4</sup>

Заключения подобного рода наносят двойной вред: с одной стороны, они игнорируют результаты исследований, свидетельствующих об обратном (Алексеев, Чижевский, Козьмин, Батюто),<sup>5</sup> с другой — устраняют закономерный вопрос о том, не связано ли тургеневское понятие нигилизма с более старыми источниками.

А ведь даже беглый экскурс в область соответствующей лексики и тематики выявляет, что с конца XVIII века прежде всего в странах немецкого языка велась широкая дискуссия, которая базировалась на понятиях теологии,

<sup>1</sup> Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. Соч.: в 15 т. М.; Л., 1967. Т. XVI. С. 105: «Выпущенным мною словом “нигилист” воспользовались тогда многие». Там же, с. 97 о Базарове: «В этом замечательном человеке воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма». Далее ссылки на это издание даются в тексте: С — сочинения, П — письма; римская цифра — номер тома, арабская — страницы

<sup>2</sup> Fuchs Ina. Die Herausforderung des Nihilismus. Philosophische Analysen zu F. M. Dostojewskij's Werk «Die Dämonen». München, 1987. S. 32 (Slavistische Beiträge. Bd 211).

<sup>3</sup> Кулешов В.И. Об одной ситуации в жизни И.С. Тургенева как ближайшем стимуле создания образа Базарова // Проблемы теории и истории литературы. Сб. статей, посвященный памяти проф. А.Н. Соколова. М., 1971. С. 331.

<sup>4</sup> Lexikon der Geschichte Rußlands. Von den Anfängen bis zur Oktober-Revolution / Hrsg. v. H.-J. Torke. München, 1985. S. 252.

<sup>5</sup> Ср. прежде всего: Алексеев М.П. К истории слова «нигилизм» // Сб. статей в честь академика А.И. Соболевского. Л., 1928. С. 413—417; Tschizewskij D. Zur Vorgeschichte des Wortes «nihilizm» // ZsfsI Ph 18 (1942). S. 383—384; Козьмин Б.П. 1) Два слова о слове нигилизм // Козьмин Б.П. Литература и история. Сб. статей. М., 1969. С. 225—237; 2) Еще о слове нигилизм // Там же. С. 238—242; Батюто А.И. Творчество И.С.Тургенева и критико-эстетическая мысль его времени. Л., 1990. С. 138 и 193 (приведенные выдержки частично дополняют более ранние исследования Батюто). См. также: Данилевский Р.Ю. «Нигилизм» (К истории слова после Тургенева) // И.С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1990. С. 150—156.

философии и эстетики и в которой кроме собственно термина нигилизм употреблялись такие его синонимы, как аннигиляция или нигильяннизм.<sup>6</sup> Этими обозначениями характеризовались столь различные феномены, как атеизм, материализм или даже идеализм. Жан Поль в «Началах эстетики» (*Vorschule der Ästhetik*, 1804, 2-е изд. — 1813) говорит даже о «поэтическом нигилизме» (1 отд., 1 прогр., § 2). Примечательно во всей этой предыстории, что термин везде носит пейоративное значение.

Абсолютно верно заключение недавно ушедшего от нас А.И. Батюто: «Итак, вопрос о конкретном подсказчике слова *нигилизм* Тургеневу неясен».<sup>7</sup> Конкретный источник до сих пор не установлен, так как изучение концентрировалось почти исключительно на относительно скудных фактах внутрирусского бытования этого термина. Такая односторонняя ориентация довольно рискованное дело при обращении к «европейцу Тургеневу», который считал себя «коренным, неисправимым западником», а Германию — своей «второй родиной» (С, XIV, 100; XV, 101).<sup>8</sup> В настоящем исследовании мы покажем, что тургеневское понятие нигилизм может быть связано не только с русской, но и с немецкой литературой. Возможные источники находим прежде всего в острых дискуссиях вокруг Людвига Бюхнера, чье наследие явно играет в романе «Отцы и дети» программную роль.

Людвиг Бюхнер (1824—1899), наряду с Карлом Фогтом (1817—1895) и Якобом Молешоттом (1822—1893), принадлежал к наиболее ярким и ведущим представителям мощно распространявшегося материализма середины XIX века. Его главное сочинение «Сила и материя» появилось в 1855 году во Франкфурте-на-Майне и в короткий срок выдержало множество переизданий, так что даже считалось «библией материализма».<sup>9</sup> Среди авторов, наиболее усердно цитируемых Бюхнером, были Молешотт, Фогт, Либих и Вирхов.

Но если Фогт и Молешотт занимались в основном психологией, т. е. «учением о жизни» в его связях с анатомией, химией и физикой,<sup>10</sup> то Бюхнер довел свои

<sup>6</sup> Vgl. u. a. *Riedel M.* Nihilismus // *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland* / Hrsg. v. O. Brunner et al. Bd 4. Stuttgart, 1978. S. 371—411; *Historisches Wörterbuch der Philosophie* / Hrsg. v. J. Ritter u. K. Gründer. Bd 6. Basel, 1984. Sp. 806—836 (s.v. Nichts, Nichtseiendes) und Sp. 846—854 (s.v. Nihilismus); *Kohlschmidt W.* Nihilismus der Romantik // In.: Ders. *Form und Innerlichkeit. Beiträge zur Geschichte und Wirkung der deutschen Klassik und Romantik*. Bern; München, 1955. S. 157—176 (Wiederabdruck in: *Peter K.* (Hrsg.). *Romantikforschung seit 1945*. Königstein / Ts., 1980, S. 53—66), *Hof W.* Pessimistisch-nihilistische Strömungen in der deutschen Literatur vom Sturm und Drang bis zum Jungen Deutschland. Tübingen, 1970; *Arendt D.* (Hrsg.). *Nihilismus. Die Anfänge von Jacobi bis Nietzsche*. Köln, 1970; ders. *Der „poetische Nihilismus“ in der Romantik*. Bde. I—II. Tübingen, 1972; ders. (Hrsg.). *Der Nihilismus als Phänomen der Geistesgeschichte...* Darmstadt, 1974 (Wege der Forschung. Bd CCCLX), *Schwan A.* (Hrsg.). *Denken im Schatten des Nihilismus*. FS für W. Weischedel. Darmstadt, 1975; *Weier W.* *Nihilismus. Geschichte, System, Kritik*. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1980; *Benz E.* (Hrsg.). *Der Übermensch. Eine Diskussion*. Zürich, 1961; ders. *Westlicher und östlicher Nihilismus in christlicher Sicht*. Stuttgart o.J. (Evangelischer Schriftendienst, Heft 3); *Kraus W.* *Nihilismus heute*. Wien, Hamburg, 1983; *Weischedel W.* *Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus*. 2 Bände in einem Band. Darmstadt, 1983 (zuerst 1971/72); *Новиков А.И.* Нигилизм и нигилисты. Опыт критической характеристики. Л., 1972; *Кузнецов Ф.Ф.* Нигилисты? Д.И. Писарев и журнал «Русское слово». 2-е изд., М., 1983.

<sup>7</sup> *Батюто А.И.* Указ. соч. С. 194.

<sup>8</sup> Ср. также высказывания Тургенева в письмах: я — «европеус»; русские принадлежат к «европейской семье» — «genus Europaeum» (П, V, 67 и 73; в частности, письма к Герцену от ноября 1862 года).

<sup>9</sup> *Bücher die die Welt verändern* / Hrsg. J. Carter, P.H. Muir. Darmstadt, 1969. S. 614 ff.

<sup>10</sup> Vgl. *Rothschuh K.E.* *Geschichte der Physiologie*. Berlin; Göttingen; Heidelberg, 1953, где приложены многочисленные факты истории психологии. К вопросу о духовной истории см. также: *Ritter von Srbik Heinrich.* *Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart*. Bd II. München; Salzburg, 1951, 2., unveränderte Aufl. 1964. S. 213 ff. (Kap. «Naturalismus und Positivismus»).

рассуждения до резких выпадов против спекулятивной философии. Его позицию можно охарактеризовать как радикально материалистическую. Вступление к первому изданию «Силы и материи» автор сопроводил эпиграфом: «Now what I want, is — facts» («Все, что мне теперь требуется, это факты»).

Действительно, в жизненном процессе Бюхнер видит только эмпирические «факты» и «механические законы», причем не определенные «идеи творения». Любой «супернатурализм и идеализм» должен быть полностью отклонен, бытие постигается только через «наблюдение», «позитивное знание» и «неопровержимые законы индукции». Эта закономерность, по категорическому утверждению Бюхнера, действительна повсюду и «для всех». В литературе «времена романтизма» безвозвратно миновали, и вера в сверхчувственные явления — «полная бессмыслица». Вечные идеи или абсолютные понятия не существуют, и истинные знания можно получить, только изучая химию и физику. Прославляемая романтиками любовь в основе своей не что иное, как чисто физиологический процесс. Особенное возмущение вызывало заключение Бюхнера о том, что человеческий дух является лишь «продуктом обмена веществ» и каждое живое существо — прежде всего «химическая лаборатория», поэтому «душа человека и животного в фундаментальном смысле одно и то же». <sup>11</sup> Разумеется, Бюхнер склонялся к спорному изречению Молешотта: «Без фосфора нет мысли». <sup>12</sup>

Венчает эти теории восторженная вера в познаваемость, закономерность и тем самым прогнозируемость всей человеческой жизни. Новые материалисты были убеждены в необходимости обладать истинными знаниями и шествовать во главе прогресса. Совершенно иначе, нежели Шопенгауэр и пессимистическая философия, проповедовали они оптимизм здешнего, земного мира. Якоб Молешотт писал в своей популярной в то время книге «Цикл жизни» («Kreislauf des Lebens»): «Со всеми ее несчастьями земля была и остается раем». <sup>13</sup>

Очевидно, что наступление материализма на идеалистическую философию вело к полному отстранению от метафизики и тем самым провоцировало сомнения в правдомерности как этического, так и эмоционально-психологического измерения человека. Снижение жизненных процессов до причинно-механических и по существу физико-химических реакций навлекло на Бюхнера и его соратников упрек в *вульгарном материализме*. Почитаемый Тургеневым Шопенгауэр также излил свою иронию на Бюхнера и его приверженцев, насмехаясь над ними как над невежественными «гуляками-цирюльниками», которые вышли из «химических трактиров», и добавляя, что «чистая химия годится для аптекаря, но не для философа». <sup>14</sup>

Коротко обратимся к неоднозначному отклику, который нашли взгляды Бюхнера в России. Дискуссия начинается после 1855 года, во время реформенной эйфории и в ходе переориентации на позитивизм и естественные науки. Разность суждений издавна проводит разделительную черту между поколениями отцов и

<sup>11</sup> *Büchner Louis. Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien. In allgemeinverständlicher Darstellung, 5. Aufl. Frankfurt a. M., 1858. S. 156 und 206 (Hervorhebung im Orig.). Siehe dazu ausführlicher P. Thiergen, Nachwort zu Iwan Turgenjew, Väter und Söhne. Stuttgart: Reclam jun. 1989 (Universal-bibliothek. Nr. 718). S. 296—299.*

<sup>12</sup> *Kraft und Stoff, aaO., S. 125. Siehe zu diesem Satz auch Büchners Ausführungen im Vorwort zur 4. Auflage von Kraft und Stoff (vgl. 9 Auflage. Leipzig, 1867. S. LIX f.).*

<sup>13</sup> *Moleschott Jacob. Der Kreislauf des Lebens. Physiologische Antworten auf Liebig's Chemische Briefe. 2 Aufl. Mainz, 1855. S. 451. Здесь и далее перевод цитат мой, — Г. Тиме. В дальнейшем наиболее значительные по содержанию и объему цитаты из труднодоступных источников будут приводиться в соответствующих примечаниях в немецком оригинале*

<sup>14</sup> *Schopenhauer Arthur. Sämtliche Werke / Hrsg. v. W. Frhr. von Löhneysen. Bd. V. Darmstadt, 1968. S. 71. См. также антиматериалистические сочинения пропагандиста Шопенгауэра Юлиуса Фрауэнштедта, например: Der Materialismus. Seine Wahrheit und sein Irrthum. Eine Erwiderung auf Dr. Luis Büchner's «Kraft und Stoff». Leipzig, 1856. Тургенев соприкоснулся с именем Фрауэнштедта уже в 1840 году. Ср. II, XIII (2), 188 и 453.*

детей. По логике вещей, именно русские левые заинтересовались Бюхнером и рукоплескали ему. В особенности пропагандировали Бюхнера и вульгарный материализм сотрудники радикального журнала «Русское слово», в том числе пользовавшийся большим влиянием Писарев. Здесь они могли обратиться и к Людвигу Фейербаху, который в 1850 году объявил в рецензии на Молешотта: естественные науки восторжествуют в конце концов над туманом христианства. Не случайно и Л. Толстой в своей статье «Воспитание и образование» 1862 года сетовал на то, что основное занятие русских студентов состоит в чтении «запрещенных» авторов — таких, как Фейербах, Молешотт или Бюхнер.<sup>15</sup> П.Д. Боборыкин в бытность студентом в Дерпте тоже, как он позднее выразился, увлекся «немецким свободомыслием», прочел бюхнеровскую «Силу и материю», а также «Цикл жизни» Молешотта; вместе с В.И. Бакстом перевел на русский язык нидерландского физиолога Франца Корнелиса Дондерса (1818—1889).<sup>16</sup>

Совершенно иной была реакция официальной и консервативной сторон. Когда в 1860 году впервые в русском переводе появилась книга Бюхнера «Сила и материя», она была тотчас же запрещена на том основании, что содержит «экстремистское материалистическое и социалистическое учение». Уже годом ранее авторитетный в России «Философский лексикон» издательства Глазунова в Петербурге охарактеризовал Бюхнера как «представителя новейшего материализма», чье творчество хотя и широко распространено, но вместе с тем «исключительно поверхностно» и ненаучно. Аналогичные высказывания можно было прочесть и в русских журналах либерального и правого лагеря, упрекавших Бюхнера в низведении человека до «безжизненного скелета».<sup>17</sup>

Таким образом, можно констатировать, что Людвиг Бюхнер еще задолго до появления «Отцов и детей» занимал прочное место в научных и политических спорах России, был даже их возбудителем. Он принадлежал к актуальной «жизненной реальности» Тургенева.

Уже в 1857 году критик Василий Боткин обратил его внимание на Бюхнера. В этот период Тургенев вел острые дискуссии с материалистическим учением Чернышевского, которое в 1855 году было охарактеризовано им как «ложное, вредное», даже «мерзкое».<sup>18</sup> И до конца жизни Тургенев остается верным неприятию радикального материализма. В 1860 году он назвал физиолога Карла Фогта *expressis verbis* «гнусным материалистом» (II, IV, 83).

Попытаемся же, исходя из Бюхнера, дать интерпретацию романа «Отцы и дети» с его центральным героем Базаровым. Я намереваюсь продемонстрировать, что под крушением Базарова Тургенев подразумевал наглядное опровержение вульгарного материализма и нигилизма. Начало действия романа «Отцы и дети» обозначено точно: 20 мая 1859 года, что указывает на его злободневность. Сам Базаров, по словам Тургенева, «действительно герой нашего времени» и «выражение новейшей нашей современности» (II, IV, 302 и 303).

<sup>15</sup> Ср. немецкий текст: *Erziehung und Bildung // Tolstoj Leo N. Ausgewählte pädagogische Schriften. Besorgt von Theodor Rutt. Paderborn, 1960. S. 28—63, zu Büchner S. 49.* См. также сообщение в воспоминаниях Б.Н. Чичерина о том, что «произведения Фейербаха, Бюхнера, Молешотта и всевозможные социалистические издания» в оригинале или в переводах «ходили беспрепятственно из рук в руки» в русских университетах (цит. по: Революционная ситуация в России в середине XIX века / Под ред. акад. М.Е. Нечкиной. М., 1978. С. 64).

<sup>16</sup> Ср.: *Боборыкин П.Д. Воспоминания: В 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 273; Т. 2. С. 106 и 436.* Перевод появился в 1860 году в Петербурге под названием «Физиология человека» (см. Т.2. С. 553). По поводу Дондерса ср.: *Rothschuh К.Е. Op. cit. S. 213* (а также в настоящих примечаниях сноски 39).

<sup>17</sup> Ср.: *Философский лексикон. 2-е изд. СПб., 1859. Т. 1. С. 429,* а также дополнения П. Тургенева — указ. соч. С. 298 (сноска 11 в настоящих примечаниях).

<sup>18</sup> *Тургенев. С. VIII, 614; II, II, 287 («мерзость и наглость неслышанная»); 293 («поганая мертвечина»); 296, 301.*

В десятой главе Базаров и Аркадий Кирсанов как представители современного поколения «детей» ведут следующий разговор об отце Аркадия, представляющем старое поколение: «Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, — продолжал между тем Базаров. — Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. ... И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать. — Что бы ему дать? — спросил Аркадий. — Да я думаю, Бюхнерово “Stoff und Kraft” на первый случай. — Я сам так думаю, — заметил одобрительно Аркадий, — “Stoff und Kraft” написано популярным языком...» (С, VIII, 238—239).<sup>19</sup>

В тот же день Николай Петрович получает «пресловутую брошюру» Бюхнера, причем в немецком издании (там же, 239).<sup>20</sup> Он сразу же комментирует прочитанное: «Либо я глуп, либо это все — вздор. Должно быть, я глуп» (там же, 240). Дальнейшее действие романа выносит свой вердикт: это «вздор».

Когда Базаров дает совет поколению «отцов» читать вместо Пушкина Бюхнера, то выражает тем самым свое материалистическое мировоззрение. Подобно Бюхнеру, Базаров — студент-медик, чьи основные интересы отданы физике. Он называет себя «физиологом» и считает предшествующих немецких натуралистов своими «учителями». Когда же его антагонист Павел Петрович Кирсанов пренебрежительно отзывается о всех этих «химиках и материалистах», Базаров возражает ставшим знаменитым изречением: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта» (С, VIII, 219). Базаров отрицает не только искусство и идеалистическую философию, но и вообще все «загадочное» и «романтическое», все индивидуальное и эмоциональное. В «таинственные отношения» любви он не верит, о женщинах отзывается пренебрежительно. Природа для него лишь «мастерская», и, как полагается физиологам, скальпель и микроскоп становятся символами его деятельности. Он режет лягушек, так как считает, что в конечном итоге человек «та же лягушка» (С, VIII, 212). Он пользуется индуктивным методом, который позволяет утверждать, что знание одного «человеческого экземпляра» достаточно для суждения обо всех людях.

Наконец, когда Базаров провозглашает, что полагается на факты, а не на авторитеты, то он повторяет общее место тогдашних материалистов. Карл Фогт писал во вступлении к своим «Физиологическим письмам»: «Авторитеты не имеют больше того веса, что прежде; факт приобретает значение не потому, что он открыт тем или иным исследователем, но потому, что действительно существует».<sup>21</sup> С той же определенностью Бюхнер высказывается о естественных науках, которые, слава Богу, чужды «любого рода веры в авторитеты» и наконец вынуждают мысль подняться до действительности из «туманных и бесплодных религий спекулятивных мечтаний».<sup>22</sup>

<sup>19</sup> К проблеме заглавия «Сила и материя» и «Материя и сила» см.: Турген П. Указ. соч. С. 258.

<sup>20</sup> Значение слова «пресловутый» явно претерпело некоторые изменения. В качестве немецкого эквивалента Павловский дает лишь: hochberühmt, ruhmlich, bekannt (в высшей степени известный, прославленный); современный Русско-немецкий словарь, напротив, обозначает это понятие как berüchtigt или же sattsam bekannt (Bielfeldt, Leping u. a.). В тургеневское время в значении явно преобладали одобрительные оттенки; я же даю компромиссный перевод. В одной из дискуссий Николай Жекулин (Калгари) обратил мое внимание на то, что «дети» действительно должны были иметь брошюру Бюхнера при себе — иначе они не смогли бы так быстро передать ее Николаю Кирсанову. Судя по этому, «Сила и материя» была для Базарова поистине «карманной книгой».

<sup>21</sup> Vogt Carl. Physiologische Briefe für Gebildete aller Stände. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Gießen, 1854. S. 11: «Die Autoritäten haben nicht mehr Gewicht wie früher; eine Thatsache gilt heut zu Tage nicht demal, weil sie von diesem oder jenem Forscher ist aufgerunden worden, sondern darum weil sie wahr ist».

<sup>22</sup> Kraft und Stoff. 5. Aufl., aaO., S. X. (из предисловия к 3-му изданию 1855 года). В России проводниками «отрицания авторитетов» были среди прочих Чернышевский и Писарев. Ср.: Шаталов С.Е. Роман Тургенева «Отцы и дети» в литературно-общественном движении // Литературные произведения в движении эпох. М., 1979. С. 91. См. также: Тургенев. П, IV, 356.

Отсюда можно заключить следующее. Если собрать разрозненные высказывания Базарова в одно теоретическое целое, то получится явный концентрат вульгарно-материалистического учения. Эти соответствия касаются не только отдельных мыслей и концепции в целом, — их можно проследить вплоть до словесных формулировок. Базаровское понимание мира, как и его понимание Бюхнером, Фогтом и Мошоттом, причинно-механистично, утилитарно и чисто функционально.

Правда, мы тотчас должны сделать существенное ограничение. Этот вывод касается лишь *первой* половины романа — только до его середины можно рассматривать Базарова как крайне радикального вульгарного материалиста. Все до сих пор цитированные изречения и поучения Базарова взяты из первых шестнадцати глав произведения. Вторая его половина, напротив, согласуется с авторским намерением поставить под сомнение и наконец отклонить материалистическое понимание мира.

Такая перемена является следствием встречи Базарова с Анной Одинцовой, вторжения страсти в жизнь героя. Власть эмоционального и случайного подчеркивает его надменную самоуверенность, которая отрицала все романтическое и загадочное и желала бы свести любовное переживание к простому физиологическому процессу. В конце Базаров приходит к мнению, что каждый человек все-таки «загадка», что и в нем, Базарове, прячется «романтик» (гл. 17). С типологической точки зрения можно заключить: в базаровской картине мира теория Бюхнера сменяется философией Шопенгауэра.

Во второй части романа Базаров, несмотря на свое крушение, приобретает известное величие. Уже сама способность к пересмотру ошибочных суждений выделяет его. Это ни в коей мере не второй Бюхнер, но искатель правды, который из самоуверенного зачинщика споров и конфликтов превращается в злобный скептик и, наконец, в смертельную борьбу — почти в мученика.

И конечно же не случайно Тургенев обращается в этой связи к образу поверженного титана. Когда в двадцать седьмой главе Анна Одинцова в последний раз посещает умирающего Базарова, он говорит о себе следующим образом: «Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично...» (С, VIII, 396). Подобно мифическому гиганту, Базаров сначала — борец против авторитетов и порядка и одновременно искатель знания, потом, в своей пошатнувшейся самоуверенности, все-таки преступник, чья вина требует исправления и наказания.

В перспективе Базаров становится идиолом для различных героев романа, что соответствует мифической стилизации его образа. Отец «обожествляет» его (гл. 21), другие молятся на него. В девятнадцатой главе Аркадий думает про себя над его словами: «Мы, стало быть, с тобой боги? то есть — ты бог, а олух уж не я ли?» (С, VIII, 304).<sup>23</sup> Судьба Базарова — это история высокомерия, которое приходит к падению. То обстоятельство, что крах происходит в момент, когда надменная самоуверенность героя начинает колебаться, означает поворот к трагическому.

С образом поверженного титана связаны особые ассоциации. Материалисты вокруг Бюхнера стремились изобразить свою полемику со спекулятивными науками как борьбу, которая ведется настоящими гигантами. Сочинения Людвига

<sup>23</sup> Диалог героев звучит следующим образом: «Эге, ге!.. — подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. — Мы, стало быть, с тобой боги? то есть ты бог, а олух уж не я ли? — Да, — повторил угрюмо Базаров, — ты еще глуп».

Фейербаха выразительно превозносились в качестве «Геркулесова деяния», а Бюхнер восхвалял своих коллег Фогта и Мошотта как «героев науки».<sup>24</sup>

Противники материалистов не задержались с ответом. В 1855 году критик и писатель Карл Гуцков (1811—1878) заклеил Бюхнера и его соратников ироническим определением «титанизм силы и материи», которое сразу же было подхвачено и пущено в оборот. Его распространению способствовал и сам Бюхнер, вступивший в предисловии к третьему изданию «Силы и материи» в подробную полемику с этой насмешливой формулировкой.<sup>25</sup> Годом позднее, в 1856 году, в Гисене появилась еще одна полемическая работа, направленная против Бюхнера, под названием «Новейшее обожествление материи». Ее автор, врач и натуралист Август Вебер (1804—1857), начал предисловие к своему труду следующими словами: «Мнимые успехи естественных наук служат некоторым новым писателям, “титанам силы и материи”, как их метко назвал Гуцков, основанием для провозглашения царства грубейшего материализма; перед их фанатичным неистовством беззащитно все идеальное в природе и человеческой жизни, даже сам Бог...»<sup>26</sup>

Вебер называет физиологов не иначе как «героями материи» или же «титанами силы и материи», чьи произведения — «уродливое порождение обезумевшего рассудка» — содержат чудовищные заблуждения.<sup>27</sup>

Таким образом, когда Тургенев изображает своего Базарова поверженным гигантом, он обращается к метафорическим средствам, которые уже получили распространение в немецких дискуссиях. Так как Тургенев с 1856 года часто бывал в Германии и демонстрировал повышенный интерес к спорам вокруг материализма, можно предположить, что он знал выражение «титаны силы и материи». Это тем более вероятно, что произведение Августа Вебера вскоре получило освещение в уже упомянутом «Философском лексиконе» издательства Глазунова.<sup>28</sup> Сам Бюхнер в предисловии к четвертому изданию «Силы и материи» (1856) разразился резкой тирадой против Вебера, чем невольно способствовал известности его сочинения.<sup>29</sup>

Однако обратимся непосредственно к проблеме нигилизма. Его наиболее часто цитируемое определение в пятой главе «Отцов и детей» гласит: «Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип» (С, VIII, 216). Подобное сомнение в принципах и авторитетах понималось русской критикой и как полный отказ от любой традиционной иерархии ценностей. Тем более что Базаров признает безусловное отрицание как разрушение и категорически отрицает созидательную работу нигилистов (гл. 10). На упрек Николая Петровича:

<sup>24</sup> Moleschott. Der Kreislauf des Lebens, aaO., S. 373; Büchner. Kraft und Stoff. 5. Aufl., aaO., S. XLIII (aus dem Vorwort zur 4. Aufl.).

<sup>25</sup> Vgl. ebda., S. XVIII f.; siehe auch S. LV f.

<sup>26</sup> Weber August. Die neueste Vergötterung des Stoffs. Ein Blick in das Leben der Natur und des Geistes, für denkende Leser. Gießen, 1856. S. III (Hervorhebung im Orig.): «Angebliche Fortschritte der Naturwissenschaft dienen einigen neueren Schriftstellern, den “Kraft-und Stoff-Titanen”, wie sie Gutzkow so treffend genannt hat, zum Vorwande, ein System des krassesten Materialismus zu verkündigen, vor dessen fanatischem Ungestüm aller Ideale In- und Gehalt der Natur und des Menschenlebens, ja Gott selber nicht mehr Gnade findet». Вебер происходил из Рейхельсхайма в Оденвальде, изучал в Гисене медицину и работал позднее в различных мелких гессенских городках физиотерапевтом. (За эти данные я приношу благодарность Гессенскому Государственному архиву в Дармштадте).

<sup>27</sup> Ebda. S. VI u. VIII

<sup>28</sup> Философский лексикон. Т. 1. С. 439. В конце статьи «Büchner» (L. Büchner) указание: «см. еще А. Вебер» — там же, с. 429. Свидетельство того, что и такие публикации, как Вебер, не остались в России без внимания. В связи с формулировкой «Kraft und Stoff» ср. также первоначальный эпиграф к «Отцам и детям» (об этом — см.: Турген И. Указ. соч. С. 249).

<sup>29</sup> Vgl. Kraft und Stoff. 9. Aufl. Leipzig, 1867. S. LXV f.

нельзя только «отрицать», нужно и строить, — он возражает: «Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить» (С, VIII, 243).

К 1860 году понятие «нигилизм» в России уже вошло в частое употребление (Жуковский, Надеждин, Пушкин, Белинский, Катков, Берви и др.).<sup>30</sup> Однако точная история этого понятия и его рецепции отсутствует. В ней, наряду с названными авторами, особенную роль играл Добролюбов. Уже в 1858 году в рецензии для «Современника» он не только пропагандирует эмпирические естественные науки вместо традиционных спекулятивных теорий, но и видит заслугу молодого поколения в том, чтобы не признавать «устаревших авторитетов» и вместо них читать таких авторов, как Фогт или Мошотт. По Добролюбову, это и есть новое достижение «скептиков» или же «нигилистов».<sup>31</sup>

Здесь следует вспомнить, что прежде всего выступления Добролюбова побудили Тургенева в 1860 году к демонстративному разрыву с редакцией «Современника». Несмотря на попытки достичь какого-либо взаимопонимания, умеренный либерал Тургенев не мог согласиться с сугубо материалистической прогрессистской ориентацией Добролюбова и Чернышевского. Вскоре после этого разрыва в том же году Тургенев сделал первые наброски к роману «Отцы и дети».

Большой важностью для нашей темы обладает то обстоятельство, что Тургенев уже в самых первых черновых планах, относящихся к августу-октябрю 1860 года, с полной определенностью характеризует своего героя как натуралиста, а также «нигилиста» и «бесплоднейшего субъекта» без всякого энтузиазма и веры; кроме того, писатель в довершение указывает: одним из прототипов Базарова является Добролюбов.<sup>32</sup> Аркадий же, друг Базарова, назван лишь «прогрессистом», а Одинцова получает ярлык «эмансипёр», эмансипированной женщины. Не менее показательно и то, что уже в черновых набросках «дети» рекомендуют читать вместо произведений Пушкина «Силу и материю» Бюхнера!<sup>33</sup> Таким образом, очевидно — Тургенев и в самом начале работы над романом имел намерение связать нигилизм с вульгарным материализмом и обозначить оба направления как ложные.

Здесь представляется возможность подкрепить нашу аргументацию. Собственно говоря, исследователи обычно не обращали внимания на бросающиеся в глаза соответствия между тургеневской критикой нигилизма и немецкими дебатами вокруг Молодой Германии предмартовской эпохи и позднее вокруг Людвига Бюхнера в особенности. Так, уже упомянутый Карл Гуцков опубликовал в 1853 году повесть под названием «Нигилисты», герой которой описывается как полу-

<sup>30</sup> Особую ценность приобретает статья Н.И. Надеждина «Сонмище нигилистов» (1829), опубликованная им в «Вестнике Европы» в связи с резкими нападками на Пушкина и русских байронистов («псевдоромантический деспотизм», «мрак ничто»). На этот текст ссылался потом среди прочих и Пушкин (его ответ был опубликован лишь в 1857 году. Ср.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. VII. С. 151 и 680) и Чернышевский (см.: Батюто А.И. Указ. соч. С. 194).

<sup>31</sup> Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 328. Добролюбов перенимает термин «нигилисты», вероятно, из рецензированной им брошюры В. Берви «Физиологическо-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни» (Казань, 1858). В ней, на с. 14, Берви пишет: «Позволяю себе думать, что эти нигилисты, будучи укушены собакой в ногу или порезавши себе палец, не примут боль, от этого происходящую, за призрак, а станут прибегать к вещественным средствам, чтобы избавиться от боли». Базаров заражается тифом, порезав себе палец. (Ср. его диалог с отцом в 27-й главе: «Нужно... ранку прижечь ... Вот тут, на пальце ... порезался» — С, VIII, 386).

<sup>32</sup> Vgl. die Nachweise bei Patrick Waddington «Turgenev's sketches for *Ottsy i deti* (Fathers and Sons)» // New Zealand Slavonic Journal. 1984. S. 66 f. В связи с употребленной здесь характеристикой «бесплоднейший субъект» (с. 57) ср. также: Тургенев. П, IV, 303 («пуст и бесплоден»).

<sup>33</sup> Vgl. Waddington, аО., S. 68 und 71. Несмотря на многочисленные запросы, мне не удалось ознакомиться с хранящейся в Пушкинском доме в Петербурге рукописью «Отцов и детей». Текст ее уже потому чрезвычайно важен, что, по словам самого Тургенева, именно спор между Павлом Петровичем Кирсановым и Базаровым «совсем переделан и сокращен» (П, IV, 302).

чивший естественнонаучное образование скептик и демонический «ироник», поставивший, как там говорится, «свое дело на ничто». Его подруга, героиня романа, приверженка Фейербаха и проповедница эмансипации, постепенно приходит к выводу, что отречение, чувство долга и любовь важнее, нежели «свободное самоопределение». В предпоследней главе она признается: «Теперь я знаю его прекрасно, — это чванство нигилизма!»<sup>34</sup> Согласно авторской концепции, роман Гуцкова — опровержение материалистического и нигилистического жизненного выбора. Как мы видим, уже за десять лет до появления романа «Отцы и дети» термин и содержание нигилизма стали предметом художественной литературы. Так как Тургенев еще с сороковых годов неоднократно обращался к Гуцкову, можно предположить, что роман «Нигилисты» не остался ему неизвестным,<sup>35</sup> хотя, насколько я знаю, русский писатель нигде не упоминает об этом произведении. (Подробное обращение к вопросу о Тургеневе и Гуцкове последует в другом исследовании).

И еще одно, вероятно, самое значительное обстоятельство: в полемических сочинениях, направленных против «Силы и материи» Бюхнера, буквально дословно повторяются упреки в нигилизме. Уже цитированный Вебер сводит все учение так называемых «титанов силы и материи» к «евангелию грубейшего материализма», который протекает не только из «интеллектуального», но и из «религиозного и морального нигилизма».<sup>36</sup> Уже в предисловии к своему сочинению Вебер говорит о «нравственном нигилизме некоторых незрелых умов»<sup>37</sup> и далее даже клеймит «нигилизм душевной силы». В противовес этому Вебер вступает за созидательную веру и «метафизический принцип» идеализма, к которому он причисляет бессознательное и страдание.

Упреки в адрес нигилизма Фогта, Мошотта и Бюхнера находим также у других авторов 1850-х годов. Так, Вильгельм Шульц-Бодмер в 1856 году насмехается над излюбленным у физиологов занятием — препарированием лягушек, обрушивается на «физиологических пророков современной лягушечьей морали» и на «нигилизм» вообще, констатируя: «Материализм и нигилизм ... должны постоянно производить друг друга».<sup>38</sup>

Итак, когда Тургенев сочетает своего препарирующего лягушек и читающего Бюхнера героя с образом гиганта и понятием нигилизма, он переносит в Россию определенный образ мыслей, который уже сформировался в дискуссиях вокруг Молодой Германии и Людвиг Бюхнера. Более чем очевидно, что такой образ мыслей был ему знаком. Сюда добавляются и аналогичные русские споры, также, вероятно, имеющие немецкие истоки. Таким образом, нам приходится проститься с представлением о том, что Тургенев первым упрекнул вульгарных материалистов в нигилизме! Новое в романе «Отцы и дети» более заключается в том, что материалисты сами называют себя «нигилистами» и воспринимают эту самохарактеристику как похвальное и почетное звание.

Идентификация или, по крайней мере, соотнесение вульгарного материализма и нигилизма после «Отцов и детей» стали на повестку дня русской критики. В

<sup>34</sup> Gutzkows Werke. Auswahl in zwölf Teilen. V Teil. Berlin; Leipzig; Wien; Stuttgart o. J. S. 252. Тургенев знал имя Гуцкова с 1840-х годов. Ср.: II, I, 273, а также X, 120. Первое обращение к Гуцкову: Dobert Eitel W. Karl Gutzkow und seine Zeit. Bern; München, 1968.

<sup>35</sup> Это предполагает и Чижевский: Указ. соч. С. 384 (сноска 5 в настоящих примечаниях).

<sup>36</sup> Weber, aaO., S. 229 f., 238 und 240. Курсив мой. — П.Т.

<sup>37</sup> Ebd. S. XIII. Курсив мой. — П.Т.

<sup>38</sup> Schulz-Bodmer Wilhelm. Der Froschmäusekrieg zwischen den Pedanten des Glaubens und Unglaubens. Mit einer Zueignung an Professor Karl Vogt. Leipzig, 1856. S. 47 ff. und 118 f. Подобное было известно и в России: ср. среди прочих «Войну мышей и лягушек» В.А. Жуковского, появившуюся в журнале «Европеец» за 1822 год (Жуковский В.А. Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. III. С. 29 и 557). Пародийный потенциал этого материала был известен Тургеневу.

апреле 1862 года Герцен после первого прочтения романа тотчас же предположил, что тургеневское негативное изображение Базарова связано с Бюхнером и его «Силой и материей».<sup>39</sup> В статье конца 1860-х годов «Еще раз Базаров», которая в значительной мере посвящена проблеме русского нигилизма, он, ссылаясь на определение Д.И. Писарева «базаровщина», говорит о «болезни нашего времени».<sup>40</sup> Издатель «Русского вестника» М.Н. Катков видит в Базарове разрушительную силу «отрицания для отрицания», воспитанного материалистами типа Фогта, Молешотта или Бюхнера.<sup>41</sup> Славянофил Иван Аксаков с определенностью характеризует русский нигилизм как «бюхнеровщину».<sup>42</sup> Позднее Достоевский в романе «Бесы» также связывает русских нигилистов с Бюхнером (часть II, гл. 6, абз. 2; часть III, гл. 1, абз. 4 и др.).

Коротко подведем итоги и свяжем их с некоторыми указаниями на предстоящие исследовательские задачи.

В романе Тургенева «Отцы и дети» следует видеть не только источник специфических споров о нигилизме после 1862 года, но и возвращение к определенным немецким дебатам сороковых и прежде всего пятидесятых годов. Отсюда вытекает и необходимость учитывать дискуссию, которые велись Молодой Германией вокруг проблемы поколений. Вместе с тем нужно учесть и русские материалы, на что обратил внимание в своей последней книге А.И. Батюто.<sup>43</sup> К сложностям в разграничении рецепции и антипации, конечно, следует подходить с осторожностью, однако они не должны устранять саму возможность новой постановки вопроса. Необходимо основательное изучение влияния вульгарных материалистов (и Дарвина) в России, где одинаково важны вопросы как эвидентной, так и латентной рецепции.

С другой стороны, нужно принять во внимание, что тургеневское понятие нигилизма не является в первую очередь революционно-политическим, но обладает также познавательным философско-теоретическим импульсом.<sup>44</sup> Это отвечает стремлению Тургенева не быть политическим писателем, но тем не менее

<sup>39</sup> Ср.: Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1963. Т. XXVII. Кн. 1. С. 217; Т. XXX. Кн. 2. С. 883. Заключение Герцена конца 1860 года: «Книги Бюхнера, Молешотта и Фогта читаются русскою молодежью с жадностью. Все эти писатели — ученики Фейербаха, первого мыслителя нашей эпохи...» Признаки скрытой полемики с Герценом в «Отцах и детях», насколько мне известно, слишком мало обращали на себя внимание исследователей. Сочинение Герцена «С того берега» (1850—1855) в обращении «К сыну моему Александру» содержит примечательное высказывание: «Мы не строим, мы ломаем»... (VI, 7). В спорах тургеневских «отцов» и «детей» эти слова снова возникают как ключевые. Николай Петрович Кирсанов раздумчиво замечает: «Вы все отрицаете... вы все разрушаете... Да ведь надобно же и строить» (С, VIII, 243), на что Аркадий отвечает: «Мы ломаем, потому что мы сила» (с. 246). По поводу лейтмотивного употребления слова «ломать» в «Отцах и детях» см. указ. статью П. Тиргена (с. 301, в настоящих примечаниях сноски 11).

<sup>40</sup> Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XX, кн. 1. С. 335. Ср.: Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 11. Повторяющиеся высказывания Писарева о Бюхнере см.: т. 1, с. 283; т. 2, с. 27; т. 3, с. 34, 130 и др. О восприятии Писаревым Бюхнера ср.: Плоткин Л.А. 1) Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов. М.; Л., 1945. С. 218; 2) О русской литературе. Л., 1986. С. 189.

<sup>41</sup> Ср. прежде всего статью Каткова «О нашем нигилизме. По поводу романа Тургенева» (1862). См. также: Thiergen P. Wilhelm Heinrich Riehl in Rußland (1856—1886) // Studien zur russischen Publizistik und Geistesgeschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gießen, 1978 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen. Bd. 11). S. 142 ff.

<sup>42</sup> Vgl. ebda. S. 162.

<sup>43</sup> Батюто А.И. Указ. соч. Прежде всего взгляд на Надеждина, Белинского, Чернышевского и Добролюбова.

<sup>44</sup> Сосредоточенность на политической «взрывной» силе русского понятия нигилизм хотя и широко распространена, однако явно недостаточна. Формулировки типа: «Нигилизм — явление с крайними революционными убеждениями и выводами» (Краснов Г.Б., Викторovich В.А. Нигилист на рубеже 60-х годов как социальный и литературный тип // Революционная ситуация в России в середине XIX века: деятели и истории. М., 1986. С. 33) — слишком односторонне освещают замысел Тургенева.

отражать «жизненную реальность своего времени». Не подлежит никакому сомнению, что Бюхнер и вульгарный материализм в 1850—1860-е годы как в Германии, так и в России оставили в этой реальности свой заметный отпечаток.<sup>45</sup>

*Настоящая статья переведена с немецкого Г. А. Тиме.*

---

<sup>45</sup> В том, что роман «Отцы и дети» подхватил актуальную «немецкую» тему, находим подтверждение высказыванию Томаса Манна: Тургенев «по своему духовному воспитанию был немец» (Цит. по: *Wenzel G. Ivan Sergeevič Turgenev in Aufzeichnungen Thomas Manns // Zeitschrift für Slawistik.* 28 (1983). S. 889—914. Zitat S. 901).

## И.А. ГОНЧАРОВ И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ

Это огромная, практически незатронутая в науке тема. Настоящая статья лишь подступ к ней предварительно-ориентирующего характера...

В трактате «Смысл любви» (1892), опубликованном всего год спустя после смерти И.А. Гончарова, Владимир Соловьев писал: «Первый шаг к успешному решению всякой задачи есть сознательная и верная ее постановка: но задача любви никогда сознательно не ставилась, а потому никогда и не решалась как следует».<sup>1</sup> Замечание это было справедливо, однако, в отношении лишь к предшествующей русской общественно-философской мысли, касавшейся темы любви и — шире — «отношения обоих полов между собою»<sup>2</sup> действительно эпизодически (например, в статье 1843 года А.И. Герцена «По поводу одной драмы») или же в контексте собственно социальных проблем. Подлинная «важность “вопроса о поле”» русской философской мыслью была осознана не ранее конца XIX века, когда этот вопрос «сделался, наравне с другими, — “проклятым”»,<sup>3</sup> оказался в центре внимания крупнейших русских мыслителей (В.С. Соловьев, В.В. Розанов, позднее Д.С. Мережковский, П.Д. Успенский, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Е. Жураковский, Б.П. Вышеславцев, С.В. Троицкий, С.Л. Франк и др.) и породил целую научную литературу. Но свидетельство Вл. Соловьева ошибочно в свете опыта русской художественной литературы XIX века, в том числе русского романа 40—60-х годов и особенно, быть может, романной «трилогии» Гончарова. Уже в ней, и даже по преимуществу в ней, мы находим ту глубочайшую постановку названного вопроса (разумеется, в образной, а не умозрительной форме), которая не только предвосхитила, но в ряде моментов и опередила его решение последующей русской философской мыслью.

Так, Гончарову в полной мере присуще понимание любви как основополагающего начала жизни, при этом не только индивидуально-личной, но и семейно-общественной, наконец, природно-космической. Вот несколько прямых высказываний писателя на этот счет. «Вообще, — констатировал он в статье «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”», — меня всюду поражал процесс разнообразного проявления страстей, т. е. любви, который, что бы ни говорили, имеет громадное влияние на судьбу и людей и людских дел» (т. 8, с. 208—209). На попытки, скажем Н.Г. Чернышевского или М.Е. Салтыкова-Щедрина, ограничить или же социально детерминировать любовную тему в литературе Гончаров отвечал: «Правду сказать, я не понимаю этой тенденции “новых людей” лишить роман и вообще всякое художественное произведение чувства любви и заменить его другими чувствами, когда и в самой жизни это чувство занимает

<sup>1</sup> Соловьев Владимир. Смысл любви. // Русский Эрос, или Философия любви в России. М., 1991. С. 41. Далее ссылки в тексте сокращенно: Соловьев.

<sup>2</sup> Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8. С. 210. Далее ссылки на это издание в тексте.

<sup>3</sup> Гиппиус Зинаида. Влюбленность // Русский Эрос... С. 174.

так много места, что служит то *мотивом*, то *содержанием*, то *целью* почти всякого стремления, всякой деятельности...»<sup>4</sup> «...Вы правы, — пишет он в середине 60-х годов одной из самых близких своих корреспонденток, — подозревая меня... в вере во всеобщую, всеобъемлющую любовь и в то, что только эта сила может двигать миром, управлять волей людской и направлять ее к деятельности и прочее. Может быть, я сознательно и бессознательно, а стремился к этому огню, которым греется вся природа...» (т. 8, с. 362).

Различные герои «Обыкновенной истории», «Обломова», «Обрыва» по-разному разумеют и исполняют дело любви. Однако при всех отличиях их между собою все они солидарны в том пункте, что любовь — «главное в жизни». Вполне концептуально, при этом в духе самого автора «Обломова», формулирует это мнение Андрей Штольц. Посвятив «много мыслительной работы» «сердцу и его мудреным законам», он «выработал себе убеждение, что любовь, с силою Архимедова рычага, правит миром; что в ней столько всеобщей неопровержимой истины, сколько лжи и безобразия в ее непонимании и злоупотреблении» (т. 4, с. 461. Курсив мой. — В.Н.).

Уже приведенные признания дают, думается, основание утверждать, что любовь, верно понятая и исполненная, выступает у Гончарова, так же как затем у Вл. Соловьева, условием и средоточием добра, истины и красоты, а гончаровская философия этого чувства, опять-таки подобно его трактовке у позднейших русских мыслителей, «оказывается одновременно и этикой, и эстетикой, и психологией, и постижением божественного».<sup>5</sup>

И еще двумя общими положениями мы можем предварить дальнейшие наблюдения.

Первое вытекает из одной важной особенности романа «Обрыв» как «эпоса любви», в котором Гончаров, по его словам, «исчерпал... почти все образы страстей» (т. 8, с. 209). Дело в том, что обрисованные здесь разнородные типы любви не только характеризуют современное общество (человечество), но представляют собою и основные периоды человеческой, по крайней мере европейской, истории. Такова даже «дикая, животная» страсть, точнее, страсти дворовой крестьянки Марины, не случайно именуемой романистом «крепостной Мессалиной» (т. 8, с. 209). В этом сугубо физиологическом понимании отношения полов отразилась, по Гончарову, наиболее ранняя пора еще языческого, природно-телесного человечества. Две контрастные женские фигуры романа призваны «возродить» для читателя дохристианскую греко-римскую античность. Это физически совершенная, но столь же безучастная к окружающей жизни и людям Софья Беловодова, напоминающая холодную мраморную статую (данная метафора постоянно сопровождает Софью), и, напротив, открытая и не ведающая стыда Ульяна Козлова, в которой в свою очередь сквозил «какой-то блеск и колорит древности, античность формы» (т. 5, с. 204). Если первая побуждает вспомнить Афродиту небесную, то вторая — Афродиту простонародную. Взаимоотношения Тита Никоньча Ватутина — этого «русского маркиза» (т. 8, с. 120) — и Татьяны Марковны Бережковой — аналог средневековой рыцарственности с ее высоким платонизмом и поклонением Прекрасной Даме-избраннице. Чувства Марфиньки и Викентьева и «роман» этих героев, названный в «Обрыве» «мещанским» (т. 5, с. 190), персонифицирует бюргерско-филистерский семейно-общественный уклад и период истории. Любовь «бедной Наташи» (т. 5, с. 124) к Райскому оживляет относительно недавнюю эпоху сентиментализма, а увлечения Райского — и романтизма. И т. д.

<sup>4</sup> Гончаров И.А. Валуеву П.А. (6 июня 1877 г. Петербург) // Гончаров И.А. Собр.соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 428. Курсив мой. — В.Н.

<sup>5</sup> Шестаков В.П. [Вступительная статья] // Русский Эрос... С. 7.

Черета разнородных «образов страстей», изображенных романистом, следовательно, непосредственно отражает многовековую путь, по крайней мере, духовно-нравственной эволюции человечества. То или иное решение отношения полов для автора «Обрыва», по существу, равнозначно собственно гуманитарному содержанию и своеобразию данной эпохи. Иначе говоря, Гончаров — опять-таки ранее русских теоретиков любви — знал и исповедовал и ту истину, что «история культуры — это «история любви»».<sup>6</sup>

С Вл. Соловьевым, Бердяевым, С.Булгаковым и другими русскими философами Гончарова единит и признание в качестве высшей формы любви не любви мистической, альтруистической, родительской или некоей «специальной» (к искусству, к науке и т.п.), изображения которых у автора «Обрыва» либо отсутствуют, либо (как видов родительского чувства) отнесены на периферию его произведений, но любви половой, т. е. любви между мужчиной и женщиной, потому что именно она представляется романисту источником и условием всех прочих. Так, в лице Ольги Ильинской, интуитивно прозревающей истину отношения полов, Гончаров по этой причине видит не просто «страстно любящую жену, не мать-няньку», но «мать-созидательницу и участницу нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения» (т. 4, с. 468), т. е. деятельную гуманистку во всех аспектах этого понятия.

Перейдем к конкретным, наиболее значимым граням гончаровской любовной концепции.

Если главная задача искусства — «довершать воспитание и совершенствовать человека» (т. 8, с. 211), то и художник, повествующий о любви, призван в конечном счете помочь людям избавиться от ее заблуждений, указать им истину этого чувства. Отсюда та иерархия различных видов любовной страсти, которая присуща практически всем романам Гончарова, но наиболее законченное выражение принимает в «Обрыве», к которому мы и будем обращаться в первую очередь. Предвосхищая аналогичные классификации любви и Вл.Соловьева и С.Булгакова,<sup>7</sup> гончаровская градация выгодно отличается от них уже тем количеством различных видов чувства, за которым просматривается и более гибкий, чем, по крайней мере, у названных мыслителей, взгляд на проблему.

Например, Вл. Соловьев фактически исключает из «человеческого пути» любви не только так называемые «аномалии» и «естественный разврат», но и влечения, в которых Эрос выступает «с одной физической его стороны» (Соловьев, с. 190, 87), т. е. в духе лишь Афродиты простонародной. Для автора «Обрыва», однако, не просто различимы, но и различны между собой уже упомянутые чисто «животные» вождления Марины-Мессалины и «дикая... но упорная и сосредоточенная страсть простого мужика Савелья», а также «почти слепая страсть учителя Козлова к своей неверной жене» (т. 8, с. 209), наконец, и страсти самой этой жены, ищущей, хотя и бессознательно, равенства в любви, пусть и сведенной к сладострастию. Этого равенства не было в союзе Ульяны с Леонтием, человеком книжным и отвлеченным, плохо понимающим интимные потребности своей жены (да и собственные) и прозревающим на этот счет только после ее утраты. Что касается Савелия, то его состояние вполне внятно и вызывает глубокое сочувствие у самого нравственно развитого и одухотворенного Бориса Райского («Тоже страсть! — думал Райский. — Бедный Савелий!» — т. 6, с. 75), увидевшего в отношениях Савелия и его жены «целую драму» (т. 5, с. 246). Не комический, а драматический элемент начинает преобладать и в облике оставленного Ульяной Леонтия Козлова, лишь с уходом жены постигающего подлинный смысл своей жизни и бессмыслицу дальнейшего одинокого

<sup>6</sup> Успенский Петр. Искусство и любовь // Там же. С. 226.

<sup>7</sup> Булгаков Сергей. Свет не вечерний // Там же. Далее в тексте сокращенно: Булгаков.

существования («Я думал, — говорит он, — что я люблю древних людей, древнюю жизнь, а я просто любил... живую женщину...» — т. 6, с. 215).

Значительное место, отведенное в гончаровском романе чисто физическим разновидностям Эроса, нельзя объяснить лишь «смягчающими обстоятельствами» вроде бессознательности, нравственной или духовной неразвитости и тому подобными особенностями каких-то героев. Вероятнее всего, что автор «Обрыва» предвидел то понимание пола, согласно которому сама его телесная сторона не исчерпывается одними физическими свойствами, но включает в себе и метафизическое начало. Это та концепция, которая в русской любовной философии после вышеназванного трактата Вл. Соловьева будет обозначена как независимым от последнего В.В. Розановым, обожествлявшим плоть, половую любовь как источник жизни, так и продолжавшими, но существенно дополнявшими Соловьева Д. Мережковским и Н. Бердяевым. Последний по-новому, в частности, взглянул на любовное сладострастие. «Сладострастие, — писал Бердяев, — не есть простое физиологическое состояние, которое вызывает отрицательное отношение у людей, настроенных спиритуалистически, и отношение положительное у настроенных материалистически. Есть сладострастие пола и сладострастие духа, и всегда оно лежит глубже эмпирических явлений, всегда есть ощущение в известном смысле трансцендентное, выходящее за грани... Если признать греховным всякое сладострастие, если видеть в нем только падение, то нужно отрицать в корне половую любовь, видеть сплошную грязь в плоти любви. Тогда невозможен экстаз любви, невозможна чистая мечта о любви, так как любовь сладострастна по существу своему, без сладострастия превращается в сухую отвлеченность».<sup>8</sup> А вот что говорит о страсти центральный герой «Обрыва» Борис Райский. Возражая Вере, повторившей господствующее спиритуалистическое представление о любви («Счастье, говорят, в глубокой, сильной любви...»), он заявляет: «Да, эта “святая, глубокая, возвышенная любовь” — ложь! Это сочиненный, придуманный призрак, который возникает на могиле страсти... Природа вложила только страсть в живые организмы, другого она ничего не дает. Любовь — одна, нет других любвей! Возьми самое вялое создание, студень какую-нибудь, вон купчиху из слободы, вон самого благонамеренного и приличного чиновника, председателя, — кого хочешь: все непременно чувствовали, кто раз, кто больше — смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, животно — смотря по воспитанию, но все испытали раздражение страсти в жизни, судорогу, ее муки и боли, это самозабвение, эту *другую жизнь* среди жизни, эту хмельную игру сил... это *блаженство!*...» (т. 6, с. 66—67. Курсив мой. — В.Н.).

Центральный герой «Обрыва» и его автор, разумеется, не одно и то же. Тем не менее редкая по однонаправленности мысли перекличка одного из крупнейших русских философов с Борисом Райским отнюдь не безотносительна и к самому Гончарову и способна пролить свет на его собственное понимание проблемы. Ведь в *художнике* Райском «угнездились» не только В. П. Боткин, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев и другие «даровитые русские люди» (т. 8, с. 400), но и сам Гончаров. И сам он не раз в духе Райского высказывался о страсти и ее месте в отношении полов между собою. «В любви, — замечает романист в одном из исповедальных писем к С.А. Никитенко, — ничего *не ищут*, если не разуместь под любовь какую-нибудь абстрактную идею, а не человеческое, живое, органическое чувство и отправление этого чувства, совершающееся в нашем организме, а не превыше облаков»; «По страстной натуре своей, — признается он ей же, — я искал наслаждений, хотя сознавал, что они не цель жизни...»; «Да, — продолжает он ту же тему, — в любви *обман* невозможен, и оттого влечение друг к другу и сближение редко доходит до любви, а оканчивается —

<sup>8</sup> Бердяев Николай. Метафизика пола и любви // Там же. С. 257. Далее сокращенно: Бердяев.

у кого страстью (у людей серьезных), у кого страстишкой (у пустых людей)...» (т. 8, с. 364, 335).

У Гончарова нет (и здесь одно из отличий его от автора «Бесов» и «Братьев Карамазовых») изображения ни разврата, ни его идеологов. Но к страсти и сопряженному с нею сладострастию романист относится как к *вакхическому* началу любви, властно покоряющему себе людей как простых, так и духовно высокообразованных. И аналогичные сцены или состояния в гончаровской «трилогии» поэтому вовсе не исчерпываются той встречей Райского с Ульяной Козловой, которая негаданно для героя обратилась в свидание «простодушной нимфы... с сатиром» (т. 6, с. 87). Близка к этому состоянию и столь полярная Козловой Ольга Ильинская во время прогулки с Обломовым в вечернем парке, где эта героиня впервые всем существом предощущает негу физического слияния с любимым и поражает его охватившим ее смущением («— Мне страшно! — вдруг, вздрогнув, сказала она... Мне страшно и тебя! — говорила она шепотом. — Но как-то хорошо страшно! Сердце замирает» — т. 4, с. 278), «изнеможением» и необычной «жаркой улыбкой», напомнившей Обломову «какую-то картину, на которой изображена женщина с такой улыбкой... только не Корделия...» (т. 4, с. 279). Ольга же в конце романа, «как безумная», бросается в объятия Штольца и, «как вакханка, в страстном забытии замирает на мгновение, обвинив ему шею руками» (т. 4, с. 475, 474). Напомним, наконец, и высокопатетический в изображении Гончарова (вопреки его драматизму или греховности в глазах самой героини и Татьяны Марковны Бережковой) момент интимной близости («падения») Веры с Марком Волоховым в «Обрыве», облитый глубоким пантеистическим светом. Вот как видится пробужденная «от девического сна» Вера Райскому: «У нее глаза горели, как звезды, страстью. Ничего злого и холодного в них, никакой тревоги, тоски; одно счастье глядело лучами яркого света. В груди, в руках, в плечах, во всей фигуре струилась и играла полная, здоровая жизнь и сила. Она примирительно смотрела на мир. Она стояла на своем пьедестале, но не белой, мраморной статуей, а живою, неотразимо пленительной женщиной, как то поэтическое видение, которое снилось ему однажды... Его гнал от обрыва ужас “падения” его сестры, его красавицы, подкошенного цветка, — а ревность, бешенство и более всего новая, неотразимая красота пробужденной Веры влекли опять к обрыву, на торжество любви, на этот праздник, который, кажется, торжествовал весь мир, вся природа. Ему слышались голоса, порханье и пенье птиц, лепет любви и громадный, страстный вздох, огласивший будто весь сад и все побережье Волги...» (т. 6, с. 277—278).

Все страстные проявления отношения полов в показе Гончарова чужды как смятения, с которым повествует о подобных сценах, например, рассказчик «Крейцеровой сонаты» Л. Толстого, так и inferнального, взаимомучительного элемента, сопутствующего им у Достоевского. Для автора «Обрыва» они, вне сомнения, причастны *поэтической* сфере воспроизводимой жизни, т. е. ее непреходящему, общечеловеческому началу, что и позволяет им выполнять в гончаровском романе аналогичную эстетическую функцию. Считая физическую страсть лишь одной из ступеней на пути человека к истине любви, Гончаров в то же время сознавал и признавал ее естественность, а потому и желательность для любящих и отделял вакхическую грань чувства от примитивного чувственного вождения. Потому что, как говорит в «Обрыве» Райский, «на остывший след этой огненной полосы, этой молнии жизни, ложится потом покой, улыбка отдыха от сладкой бури, благородное воспоминание к прошлому, тишина! И эту-то тишину, этот след люди и называли — святой, возвышенной любовью, когда страсть сгорела и потухла...» (т. 6, с. 67). «Давать страсти законный исход, — заявляет уже сам Гончаров, — указать порядок течения, как реке, для блага целого края, — это общечеловеческая задача, это вершина прогресса, на которую

лезут все эти Жорж Занды, да сбиваются в сторону. За решением ее ведь уже нет ни измен, ни охлаждений, а вечно ровное биение покойно-счастливого сердца, следовательно, вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье» (т. 4, с. 210—211).

Итак, вакхическое чувство, в случае если оно «снято» браком («Да, страсть надо ограничить... и утопить в женитьбе...» — там же), дает крепость и долголетие семье и помогает любви исполнить ее универсально-общественную гуманизирующую миссию.

Даже психологически близких Гончарову «людей сороковых годов» поражали та исключительная обстоятельность и детальность, с которыми творец «Обломова» воспроизводил сокровенную стихию любви, до самых мельчайших ее перипетий. «Она, — говорит, например, об Ольге Ильинской Н.Д. Ахшарумов, — проходит с ним (Обломовым. — В.Н.) целую школу любви, по всем правилам и законам, со всеми малейшими фазами этого чувства: тревогами, недоразумениями, признаниями, сомнениями, письмами, ссорами, примирениями, поцелуями и т. д. Давно никто не писал у нас об этом предмете так отчетливо и не вводил в такие микроскопические наблюдения над сердцем женщины...»<sup>9</sup> Используя слова Н. Г. Чернышевского о Л. Толстом, можно сказать, что Гончарова интересуют не столько даже результаты любви, сколько сам ее процесс. В этом отношении Гончарову уступает и признанный певец этого чувства И.С. Тургенев, остающийся «скрытым» психологом и в передаче интимных состояний своих героев, а сомасштабен, пожалуй, лишь А. А. Фет. Указанный феномен объясним двумя причинами.

Во-первых, любовь, как самое концентрированное и поэтому высшее проявление жизни, незаменима и невозможна никаким иным отношением, делом, интересом и в этом смысле *благоворна* для человека независимо от того, несет ли она очарование или разочаровывает, выливается в «поэму» или «драму» (т. 8, с. 385), оказывается заблуждением или ошибкой. Последние совершает сам и испытывает на себе, например, центральный герой «Обыкновенной истории». Однако не Александр Адуев, оставленный Наденькой Любецкой и в свою очередь бежавший любовного плена Юлии Тафаевой, оказывается наиболее трагичным лицом этого романа. Такова Лизавета Александровна, женщина созданная, по мысли художника, для любви и не узнавшая ее, а тем самым не изведавшая и жизни, превратившейся для нее в комфортабельное прозябание. Во-вторых, любовь, фазисы которой суть и «фазисы жизни», есть для Гончарова действительно основная, хотя и «претрудная школа жизни» (т. 4, с. 243, 245). В этой школе для человека важен и ценен любой ее урок: и прямой, и косвенный, и положительный, и негативный. Ведь если «только ею, только любовью держится и движется жизнь»,<sup>10</sup> как повторил бы вслед за Тургеневым абсолютно солидарный с ним в данном случае Гончаров, то и самые заблуждения этого чувства обязывают к внимательному рассмотрению, так как способствуют постижению его истины.

И диапазон гончаровской «трилогии» в этом плане поистине уникален не только в современной ему русской, но и в мировой литературе. Ее читатель подробно знакомится с любовью героической (Александр Адуев), уходящей своими корнями в далекие от нынешней прозаизированной эпохи «баснословные... времена» (т. 1, с. 295), и эгоцентрической (чувство Юлии Тафаевой к герою «Обыкновенной истории»); жертвенно-отреченной («бедная Наташа» в «Обрыве») и любовью как плотским обладанием (влечение Адуева-младшего к Лизе-«Антигоне»); чувством по преимуществу безлично-родовым (Марфинька и Викентьев) и

<sup>9</sup> Ахшарумов Н.Д. Русская литература. Обломов. Роман И.А. Гончарова // Русский вестник. 1860, № 25 (февраль). С. 626.

<sup>10</sup> Тургенев И.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. 2-е изд. М., 1982. Т. 10. С. 142.

индивидуализированным, но ограниченным в духе позитивизма (Марк Волохов), и т. п. В этом действительно всеобъемлющем и объективном изображении не одних идеальных, но всех и всяких «образов страстей» с Гончаровым сопоставимы не столько позднейшие русские философы, сколько автор «Анны Карениной», с той же обстоятельностью рисуящий разные типы и виды семьи.

Но та же экспозиция различных форм любви принимает у Гончарова, как уже отмечалось, смысл глубоко продуманной иерархии в свете авторской «нормы» этого чувства. И здесь романист-художник сам превращается в оригинального и крупного философа и прямого предшественника таких, например, теоретиков рассматриваемой проблемы, как Вл. Соловьев или С. Булгаков.

Читатель Гончарова, конечно, не затруднится отличить отношения, связывающие, скажем, крепостных слуг Евсея и Аграфену («Обыкновенная история») или родителей Обломова, с одной стороны, от чувства Александра Адуева к Наденьке Любецкой, Ильи Ильича Обломова к Ольге Ильинской, с другой. Важнее, однако, понять, что и все эти, а вместе и перечисленные выше разновидности любви суть, по Гончарову, в равной мере односторонние и неполные, так как проникнуты не единством, но господством лишь одного из человеческих начал: телесного или духовного, эгоистического или альтруистического, эстетического или этического, архаичного или новейшего, как, например, естественно-научный материализм Марка Волохова. А ведь истина любви там же, где и личности, — не в отрыве и преобладании одних стремлений над другими, но в их «целости» (т. 4, с. 179). Впрочем, и сама эта цельность имеет у Гончарова несколько степеней. Это любовные концепции Штольца, Райского и Веры.

Штольц — первый из героев романиста, кто ищет в «своей жизни... равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа» (т. 4, с. 167). В согласии с убеждением «любовь... правит миром», он и находит его в одухотворенном и «вечном» союзе с любимой женщиной. Получив согласие Ольги стать его женой, герой восклицает: «Дождался! Столько лет жажды чувства, терпения, экономии сил души! Как долго я ждал — все награждено: вот оно, последнее счастье человека!» (т. 4, с. 434—435). Для Штольца действительно «все найдено, нечего искать, некуда идти больше» (там же), потому что его любовные устремления не преодолевают земные пределы человека, хотя этому герою в принципе и вняты те порывы «живого, раздраженного ума... за житейские грани» (т. 4, с. 474), под властью которых оказывается в конце романа Ольга Ильинская («...все тянет меня куда-то еще; я делаюсь ничем недовольна...» — т. 4, с. 472). Штольц весьма точно указывает источники этих порываний в космическо-универсальные сферы: мифологические («Это расплата за Прометеев огонь!» — т. 4, с. 474), духовно-психологические («Это не твоя грусть; это общий недуг человечества» — т. 4, с. 475) и литературно-философские («Фауст» Гете, «Манфред» Байрона). Но разъясняя жене причины ее томления и неудовлетворенности, казалось бы, на вершине счастья, этот герой не разделяет их. «Мы, — говорит он, — не Титаны с тобой... мы не пойдем, с Манфредами и Фаустами, на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять улыбнется жизнь, счастье...» (т. 4, с. 475). «...Любить, — считал Александр Адуев, — значит жить в бесконечном...» (т. 1, с. 161). Штольц, напротив, довольствуется в любви ее конечными, земными границами и определениями, хотя и в их единстве.

Идеологом любви как сущности, сочетающей реальные потенции и интересы человека с идеально-потусторонними, божественными, выступает у Гончарова Борис Райский. «Натура артистическая» (т. 8, с. 83), т. е., согласно романисту, духовно развитая, эстетически отзывчивая и обладающая богатой способностью воображения, фантазии, Райский — русский Дон Жуан, однако не в байроновской интерпретации этого вечного характера, так как в ней «пропадал художник» (т.

б, с. 153), но в трактовке, близкой к той, которую воплотил в своей одноименной драматической поэме 1862 года, т. е. почти синхронной гончаровскому «Обрыву», А.К. Толстой. Здесь Дон Жуан не только не аморалист и безбожник, каким его рисовала традиция от Байрона до П.Мериме и А.С.Пушкина, но человек в полном смысле чистый, прекрасный, гуманный «тип *chef d'oeuvre* между людьми» (т. 6, с. 153). А его увлечение-поклонение женской красоте, как и донжуанизм Райского, — «то же в людском роде, что донкихотство» (т. 5, с. 13). Глубоко созвучно и понимание у этих героев смысла и целей любви. По словам Райского, «влечение к всякой видимой красоте, всего более к красоте женщины, как лучшего создания природы, обличает высшие человеческие инстинкты, влечение и к другой красоте, невидимой, к идеалам добра, изящества души, к красоте жизни! Наконец, под этими нежными инстинктами у тонких натур кроется потребность *всеобъемлющей* любви» (т. 6, с. 153. Курсив мой. — В.Н.). А вот монолог на ту же тему заглавного героя поэмы А.К. Толстого:

А, кажется, я понимал любовь!  
 Я в ней искал не узкое то чувство,  
 Которое, два сердца соединив,  
 Стеною их от мира отделяет.  
 Она меня родила со вселенной,  
 Всех истин я источник видел в ней,  
 Всех дел великих первую причину.  
 Через нее я понимал уж смутно  
 Чудесный строй законов бытия,  
 Явлений всех сокрытое начало.  
 Я понимал, что все ее лучи,  
 Раскинутые врозь по мирозданию,  
 В другом я сердце вместе соединив,  
 Сосредоточил бы их блеск блудящий,  
 И сжатым светом ярко б озарил  
 Моей души неясные стремленья!  
 О, если бы то сердце я нашел!  
 Я с ним одно бы целое составил,  
 Одно звено той бесконечной цепи,  
 Которая, в связи со всей вселенной,  
 Восходит вечно выше к божеству,  
 И оттого лишь слиться с ним не может,  
 Что путь к нему, как вечность, без конца! <sup>11</sup>

Подобно толстовскому герою, Райский отклоняет в качестве истины чувства любовь замкнутую и самодостаточную, этот «эгоизм вдвоем», по выражению А.И.Герцена. Не чуждый миру союз Марфиньки и Викентьева для него пример и образец. Он, в свою очередь, видит в любви первопричину и первоисточник добра и изящества, т. е. красоты человека и жизни. Его, например, долго занимали истоки «нравственной силы, практической мудрости» (т. 6, с. 412), а также и великодушия, чуткости Татьяны Марковны Бережковой. Он разъяснил их, когда узнал, что и эта женщина испытала некогда подлинное чувство. И Райского любовь роднит со вселенной, соединяет с божеством, потому что возлюбленная мыслима им в «сочетании красоты форм с красотой духа», как «венец создания» (т. 6, с. 196), «прямое, лучшее орудие Бога» (т. 8, с. 99) на земле. Точнее, любимая женщина предстает Райскому Афродитой небесной, но не в виде внешне совершенной, но внутренне безучастной к окружающей жизни мраморной статуи, как Софья Беловодова, а богиней одухотворенно живой,

<sup>11</sup> Толстой А.К. Дон Жуан // Толстой А.К. Избр. М., 1949. С. 205.

открытой природе и людям и вбирающей их в себя. Именно такой видится, как мы помним, герою Вера в момент пробуждения ее от «девического сна».

Любовная «норма» Райского, таким образом, идет дальше штольцевского равновесия материальных и духовных начал и синтезирует уже многие и разные элементы, концепции, выработанные на протяжении многовековой истории человеческой культуры. Это и платонизм, но обогащенный христианской этической тенденцией, и взгляды романтиков, видевших в любви «космическую силу, объединяющую в одно целое человека и природу, земное и небесное, конечное и бесконечное»,<sup>12</sup> и гетевская идея Вечно Женственного (*das ewig Weibliche*). Фактически в этом синтезе предчувствуется уже понимание любви как главного условия и средства того взаимопроникновения «небес, земли и человека», или «абсолютного всеединства» (Соловьев, с. 30, 31), которое, по Вл. Соловьеву, должно стать конечной целью исторического и космического процессов.

Итак, создав Райского, Гончаров оказался прямым предтечей такого блестящего русского мыслителя, как автор «Смысла любви». Сам этот факт — разительное свидетельство огромного философического потенциала гончаровского романа, лишь в пылу злободневных идеологических схваток просмотренного современного романисту критикой. Из него тем не менее еще не следует, что любовная концепция Райского и есть гончаровская «норма» этого чувства. У творца «Обрыва» здесь был и иной, высший ориентир. Это Вера.

Свою артистическую любовь Райский практически не пытается завершить семейным союзом. Да и возможен ли для этого рода чувства семейный предел, если путь к вечности, как она сама, без конца и обретение ее обусловлено вечным же бытием, т. е. бессмертием самого человека? Поэтому любовь Райского — это бесконечный процесс стремления к ней. Как говорит сам герой, «никогда ни один идеал не доживал до срока свадьбы: бледнел, падал, и я уходил охлажденный... Или сам идеал, не дождавшись охлаждения, уходит от меня...» (т. 5, с. 13). Для Веры истина и реальность любви — в любви именно *семейно-брачной*.

Здесь необходимо сделать отступление, напомнив два основных взгляда на семью, характерных для русской философии рубежа XIX—XX веков. Первый из них восходит к вышеназванному трактату Вл. Соловьева и представлен, кроме его автора, также Н. Бердяевым, З. Гиппиус, Л. Карсавиным, Б. Вышеславцевым. Второй развит в работах С. Булгакова, П. Флоренского, С. Троицкого, С. Франка и др.

Считая истинным (т. е. онтологическим) назначением любви не продолжение рода (потому что оно возможно и без любви), но «*оправдание и спасение индивидуальности*» через чуждое эгоизму слияние ее со свободно избранной индивидуальностью противоположного пола и обретение личностью таким образом своей полноты и победы над смертью (ибо «*пребывать в половой раздельности — значит пребывать на пути смерти...*»), Вл. Соловьев фактически отводит семье то же незавидное место, что и безлично-родовому влечению полов (Соловьев, с. 32, 50). «*Внешнее соединение, — заявляет он, — житейское... не имеет определенного отношения к любви*» (Соловьев, с. 46). Эта оппозиция между «*индивидуализированной любовью*» и семейно-родовым союзом у Николая Бердяева доведена уже до их прямой враждебности и несовместимости, до тезиса, что «*родовая семья — могила личности и личной любви*» (Бердяев, с. 252). Сама категория любви начинает трансформироваться в понятие «*любви-влюбленности*» (Бердяев, с. 267), о которой специально пишет, например, Зинаида Гиппиус, утверждающая, что «*только она (истинная влюбленность. — В.Н.) в области пола со всей силой утверждает личное в человеке...*»<sup>13</sup> Семейно-брачный

<sup>12</sup> Фризман Л. Глашатай истин вековых // Вопросы литературы. 1971. № 8. С. 72.

<sup>13</sup> Гиппиус Зинаида. Указ. соч. С. 179.

аспект любви здесь уже и вовсе исчезал, подобно тому как он отсутствует в увлечениях Райского, переходящего лишь от одной влюбленности (в Наташу, Софью Беловодову, Марфиньку, затем Веру) к другой.

Это обстоятельство и объясняет резкую до сарказма критику соловьевско-бердяевской концепции любви у С. Булгакова и его последователей. Людей, которые «признают влюбленность или “духовную брачность”, но гнушаются браком, и особенно деторождением», Булгаков именует существами «третьего пола», идеологами «воинствующего донжуанства и духовного “гетеризма”» и причисляет их к натурам, психо-физический склад которых отличается «нарушением духовного и эротического равновесия и ослаблением одних жизненных функций при гипертрофированном развитии других» (Булгаков, с. 312, 313). «Исчерпывающей нормой отношения полов, — заявляет философ, — не может быть одна влюбленность жениха и невесты, соединенная с отрицанием брака...»; «полный образ человека есть мужчина и женщина в соединении, в духовно-телесном браке» (Булгаков, с. 309, 313).

«В деторождении, и только здесь, — продолжает эту точку зрения Анатолий Жураковский, — человек является создателем жизни. Он созидает здесь не культуру, не дифференцированные ценности, но действительную жизнь, действительное бытие».<sup>14</sup>

Вернемся к центральной героине «Обрыва».

Уже Илье Обломову женщина «всегда грезилась... как жена и никогда — как любовница» (т. 4, с. 209). Так и для Веры истина любви — это супружество и материнство (отцовство). Вот Марк Волохов иронизирует над идеей Райского, «что женщины созданы для какой-то высшей цели...» Вера отвечает: «Для семьи созданы они прежде всего. Не ангелы, пусть так — но не звери!» (т. 6, с. 260).

В отличие от Райского, в своей основе неоплатоника и лишь затем христианина, Вера — христианка вполне. Райский — человек по преимуществу эстетический, Вера — этический. Для Райского истина (любви, женщины) возможна лишь в форме *красоты*, которую он ищет повсюду, страдая от безобразия и оставаясь равнодушным к некрасивому. Вере она введена в «вечной правде» (т. 6, с. 183) Христа, любящего и несовершенных, заблудших и падших, расслабленных и прокаженных. Райский, как «идолу» (т. 5, с. 13), поклоняется прекрасной одухотворенно-живой *статуе*; Вера в поиске опоры своему разумению любви, склоняется перед *лицом Спасителя*. Райский, разочаровываясь, мучается сам, Вера страдает и за Марка Волохова, так как не отказывает в потенциальном божественном начале и самому идеологу позитивизма и атеизма.

Героиня «Обрыва» убеждена (и отсюда второе значение ее имени), что подлинная любовь требует *веры*, крепка верой, потому что, как отмечает Вл. Соловьев, «признавать безусловное значение за данным лицом или верить в него (без чего невозможна истинная любовь) я могу, только утверждая его в Боге, следовательно, веря в Бога» (Соловьев, с. 60). Она знает также, что любовь должна быть исполнена *долга* — не в смысле только дополнения личного счастья общественными обязанностями человека, но прежде всего как нравственной обязанности любящих «за отданные друг другу лучшие годы счастья платить взаимно остальную жизнь» (т. 6, с. 261). Наконец, Вера, как христианка, видит в любви *таинство*, ибо брачная любовь, согласно позднейшей мысли С. Троицкого, «объективно соединяет нас с Богом, который и сам есть любовь».<sup>15</sup> Это таинство начально реализуется уже в обряде церковного *венчания*.

Несовместимо-полярные отношения к браку, семье и венчанию, а также любовному долгу, отличающие, с одной стороны, Веру и; с другой — Марка

<sup>14</sup> Жураковский Анатолий. Тайна любви и таинство брака // Русский Эрос... С. 72.

<sup>15</sup> Троицкий Сергей. Христианская философия брака // Там же. С. 385.

Волохова, окажутся главной преградой между этими героями «Обрыва», как и основной причиной душевной драмы Веры. Ведь не сама страсть, испытанная Верой, угнетает ее, но тот мучительный для этой женщины факт, что ее слияние с мужчиной во плоти произошло до и вне их духовно-нравственного, вообще целостного единения, т. е. вне *богочеловеческого* начала любви. Иного исхода воссозданная в «Обрыве» любовная коллизия, впрочем, иметь и не могла. Ведь, как верно заметит потом Петр Успенский, «ни в чем так резко не проявляется различие глубокого “окультурного” понимания жизни и поверхностного “позитивного”, как в вопросе о любви».<sup>16</sup>

Сказанного, думается, достаточно, чтобы считать Веру, в отличие от Райского, предшественницей не столько соловьевского, сколько булгаковского воззрения на отношения полов, ориентированного не на античную теорию Эроса, но на собственно христианские источники. При этом в «диалоге» Вериного любовного идеала с аналогичной нормой Райского верх берет первый, что признает и сам Райский. Если ранее он считал возможным для себя просвещать и наставлять Веру в деле чувства, то в конце романа он, пораженный последним, уже искусственным страданием обликом этой женщины, не гордой, как ранее, но кроткой, сам учится у нее какому-то высшему знанию. «Его, — говорит романист, — опять охватила красота сестры — не прежняя, с блеском, с теплым колоритом жизни, с бархатным, гордым и горячим взглядом, с мерцанием “ночи”... Томная печаль, глубокая усталость смотрела теперь из глаз. Горячие, живые тоны в лице заменились прозрачной бледностью. В улыбке не было гордости, нетерпеливых, едва сдерживаемых молодых сил. Кротость и грусть покоились на ее лице, и вся стройная фигура ее была полна задумчивой, нежной грации...» (т. 6, с. 368—369).

Пробудившаяся от «девичьего сна», ставшая женщиной, Вера показала Райскому пленительной ожившей *статуей*. Теперь она — *Мадонна*. «О, какая красота!» — восклицает герой, приходя к выводу, что *эту* Веру невозможно адекватно воспроизвести в рамках только изобразительных искусств («Здесь сам Грез положил бы кисть» — т. 6, с. 371), тут необходимы универсальные возможности художественного слова. И Райский задумывает *роман*: «Вера».

Итак, христианская любовь Веры в «Обрыве» выше аристократического (эстетического) идеала Райского. Значит ли это, что отношения между двумя этими гончаровскими нормами столь же антагонистичны, как впоследствии двух русских философских концепций любви и семьи? Нет. Вера не случайно называет Райского в конце романа *братом*, впервые говоря ему «ты» («— Брат, что с тобой? ты несчастлив! — сказала она, положив ему руку на плечо...» — т. 6, с. 292). Дело в том, что в эстетической по преимуществу натуре Райского не исчезает и христианин. Этот поклонник красоты способен, как он и доказывает в случае с Верой после ее «падения», к состраданию, самоотвержению, милосердию, жалости и участию. Райский, таким образом, не чужд тому «христианскому пониманию любви как *caritas*’а»,<sup>17</sup> к которому восходила любовная философия П. Флоренского, С. Булгакова и их последователей. Но и Вера, со своей стороны, отнюдь не враждебна артистическо-платонической норме Райского. Больше того, она, эта норма, живет в Вере, так как героиня остается и прекрасной статуей, а не только «духом» (т. 6, с. 113), с которым она так часто сравнивается, пусть эта статуя в последнем счете и поглощается итоговым обликом Веры-Мадонны.

Говоря о названных выше основных тенденциях русской философии любви, В. Шестаков замечает: «...было бы логичным предположить, что оба эти направления должны были бы по закону притяжения и отталкивания как-то сойтись

<sup>16</sup> Успенский Петр. Указ. соч. С. 222.

<sup>17</sup> Шестаков В.П. Указ. соч. С. 17.

друг с другом, создать какой-то новый философский синтез. Только в последних работах Н. Бердяева мы находим попытку к этому синтезу, желание соединить любовь-Эрос с каритативной любовью-состраданием».<sup>18</sup>

Задолго до Бердяева попытка такого синтеза, и, как мы могли убедиться, вполне успешная, была предпринята творцом «Обыкновенной истории», «Обломова» и «Обрыва». Она могла состояться, потому что синтезирующий пафос и метод были вообще в основе мировосприятия Гончарова, видевшего прогресс не в отрицании и разрушении настоящим культурных достижений предшествующих эпох, но в его способности интегрировать и таким образом унаследовать все жизнеспособные идеи и ценности, созданные за столетия.

Гончаров сам был в той же мере христианином, как и артистической натурой. В его концепции отношения полов поэтому плодотворно преломились в итоговом синтетическом качестве соломоновская «Песнь Песней», и платоновский идеализм, «чувственно-эротический культ Девы Марии у средневековых мужчин и такой же культ Христа у средневековых женщин» (Бердяев, с. 241), и поклонение Прекрасной Даме, донжуанство в его чувственной трактовке и в свете идеи Вечно Женственного, начала эстетические и этические — словом, фактические те же основные идеи и источники, на которые впоследствии ссылались и русские философы любви. Наряду с романами Тургенева, Л. Толстого, Достоевского, а в чем-то и полнее их, богатейшим источником для истинного понимания и исполнения дела любви стала и сама гончаровская «трилогия».

Она открывает нам любовь прежде всего как могучую онтологическую силу, «снимающую» и гармонизирующую противоречия между реальной и идеальной, относительной и абсолютной, земной и горней гранями и сферами бытия, между индивидом и вселенной. В этом своем назначении любовь сродни религии, искусству и универсальной философско-диалектической системе, высоко ценимым современниками Гончарова. Но в отличие от этих последних форм духовной деятельности человека, устраняющих дисгармонию жизни только в воображении и умозрении и в этом смысле *иллюзорным* способом, любовь способна решать эту задачу и в социально-бытовой сфере человека, т.е. и *практически*. Ведь ее высший итог — брак, являющийся и социальным институтом. Исполненный любви брак одухотворяет и универсализирует семью, преобразая ее в семью-мир (Л. Толстой), семью-храм (В.В. Розанов), семью-микрокосм. В качестве основной общественной ячейки такая семья гуманизирует затем и все общество. Так открывался выход к преодолению, в частности, той антиномии между устремлениями развитой личности (счастьем) и потребностями массы народа (долгом), которая трагически окрасила творчество И.С. Тургенева и его концепцию любви.

Примером подобной семьи *был задуман* у Гончарова союз Ольги Ильинской и Штольца, а затем, по всей вероятности, Веры и Тушина. Ни тот ни другой замысел, однако, не состоялся. Вера не выйдет замуж за Тушина, быть может и потому что никогда не была *страстно* увлечена им; семейное же счастье Штольца и Ольги не может удовлетворить нас, так как мы не видим его всеобъемлющих гуманизирующих результатов. По мере творческого углубления в поставленную задачу Гончаров в свой черед все более убеждался в трагическом жизненном (следовательно, и литературном) уделе его любовного идеала вследствие как враждебности к нему современного общества, так и несовершенства и слабости самого человека, т. е. по тем же причинам, которыми поясняли затем драматизм любви Вл. Соловьев, Бердяев, С. Булгаков и другие русские философы, в этом пункте значительно сближающиеся между собой.

Гончаровская концепция любви — одна из тех «капитальных» и заветных идей писателя, а также аспектов его наследия, на исследование которых «социаль-

<sup>18</sup> Там же.

ный заказ» многие десятилетия отсутствовал. Да и сама любовь в послеоктябрьской России была отдана на произвол стихии и изначальных инстинктов. Проблема, властно проходящая через каждую судьбу и каждую семью, загонялась на задворки общественного быта, ханжески оскоплялась в искусстве, литературе, замалчивалась в науке. Только сейчас стало возможным переиздание и издание на родине и цитируемых в настоящей статье русских теоретиков пола, хронологически совпавших, заметим, а в ряде случаев и опередивших тот переворот в научной и практической сексологии, который на Западе связан с трудами Зигмунда Фрейда. Так было угодно тому режиму и порядку, которые предпочитали и в современности и в истории отыскивать и акцентировать не любовь, но разъединение, раздор и вражду. И наш, историков литературы, долг сделать все необходимое, чтобы преодолеть эту «традицию», помогая, в частности, читателям и почитателям Гончарова, число которых, кстати сказать, во всем мире стремительно умножается, в полной мере осознать тот огромный вклад, который творец «Обрыва» внес в решение одного из первичных и основополагающих отношений человека.

## ЧТО ТАМ — ДАЛЬШЕ?

(ДОСТОЕВСКИЙ И ЗАМЯТИН)

В отличие от многих своих современников, старших и младших, Замятин сравнительно редко упоминал Достоевского даже в своих замечательных эссе, литературных манифестах, лекциях. Судя по всему, отношение Замятина к творчеству писателя, которого часто называли «пророком русской революции», было сдержанным и ровным, лишенным как эмоционально-символистских акцентов (Д. Мережковский, Вяч. Иванов и др.), так и яростного неприятия, эстетического и психологического (И. Бунин), или напряженной, неизбежно субъективной дискуссионности (П. Флоренский, а позднее и В. Шаламов в «Четвёртой Вологде» и «Колымских рассказах»).

В «Автобиографии» Замятин рассказал о впечатлении, произведенном на него в отрочестве чтением произведений Достоевского: «Много одиночества, много книг, очень рано — Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие свои щеки — от “Неточки Незвановой”. Достоевский долго оставался — старший и страшный даже; другом был Гоголь (и гораздо позже — Анатоль Франс)».<sup>1</sup> Как видим, к «друзьям» Замятин Достоевского долго не причислял: слишком «страшен»; одновременно привлекал и отталкивал. Страх и дрожь, понятно, с годами прошли, но какие-то отчужденность и настороженность, возможно, оставались и позднее. Равно не только сохранилась, но и укрепилась любовь к Гоголю. «Люблю Гоголя посейчас, — признавался Замятин в 1916 году (ответы на вопросы С.А. Венгерова), — не без его влияния явилась у меня склонность к шаржу, гротеску, к синтезу фантастики и реальности».<sup>2</sup> Вне сомнения, значительно было и влияние словесного «чудесника» Лескова, его сказовой и капризно-стернианской манеры как на Замятина, так и на А. Ремизова, писателя близкого ему по стилистическим и жанровым исканиям. А ближе всех Замятину из классиков «дормезного» XIX века был А. Чехов.<sup>3</sup>

### 1

Тем не менее тема «Замятин и Достоевский» несколько не менее важна, чем другие, на первый взгляд, гораздо более очевидные: «Замятин и Гоголь», «Замятин и Лесков», «Замятин и Чехов», «Замятин и Г. Уэллс», «Замятин и А. Франс». Существует связь, правда, чрезвычайно осложненная и «периферийная»

<sup>1</sup> Замятин Е. Избр. произв. М., 1989. С. 38. Далее ссылки в тексте с сокращением: Ип.

<sup>2</sup> Рукописный отдел ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 3. Ед. хр. 2.

<sup>3</sup> «От Чехова до современного нового реализма — прямая линия. И, конечно, такая же прямая идет от общественных взглядов Чехова к тому лучшему, что можно найти в социальных идеалах современности. От нас, от нашей эпохи Чехов не отделим никакими оврагами: он связан с нами прямой линией — кратчайшим расстоянием» (Замятин Е. Соч. М., 1988. С. 333. Далее в тексте указывается только страница).

между провинциальными «комическими» повестями Достоевского («Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели») и «уездными» произведениями Замятина. В «Алатыре» эта связь, пожалуй, особенно ясно просматривается, даже сюжетно: смятение среди алатырских дам, вызванное появлением в городе, страдающем от дефицита женихов, князя-эсперантиста, отчасти напоминает ход чрезвычайных событий в «мордасовской летописи» Достоевского. Добавлю, что и «генеалогическое дерево» незадачливого сочинителя Кости Едыткина распознать легко: среди его литературных предков естественно назвать Видоплясова и — особенно — капитана Лебядкина.<sup>4</sup>

В петербургских произведениях Замятина «присутствие» Достоевского (его тени) ощущается сильнее. Более всего — в «Наводнении». Одна характерная, бросающаяся в глаза черта: преступления в «Наводнении» и раннем (почвенническом) рассказе «Чрево» совершают именно героини Замятина. Это в их женские руки вкладывает писатель национальное орудие убийства — топор. Кстати, «Чрево» в определенном смысле можно назвать увертюрой к «Наводнению». Собственно, в рассказе, динамично и сильно начатом, хороши только отдельные детали. Отчетливо запоминается шея Пётры — «багровая, вся накрест истеганная морщинами». Как раз в «морщины накрест» и метит топором Аfirmья: убийство, конечно, не идеологическое и теоретическое, а внутреннее, вызревшее в чреве, стихийный порыв ненависти и мести. Ненависть и любовь слиты фатально и трагически. Убийство неотвратимо, иррационально. Но столь же велика жажда покаяния, искупления страшного греха. В рассказе «Чрево» дан типичный вариант народной драмы, развернутый Замятиным еще схематично и прямолинейно. Схематизм больше всего сказался в стиле — орнаментально-фольклорном. Фальшиво-слащав, что крайне редко в творчестве писателя, финал рассказа: здесь и «женский скорбящий лик», и «мудрое слово» Петровны («Людей-то, чего их бояться: себя страшно»), и земной поклон мира, благословляющего святую грешницу (Ип, 136).

В «Наводнении» Замятин как бы заново «переписал» «Чрево», вновь обратившись к триединому мотиву «преступление—наказание—очищение». Сюжетно и психологически (отчасти) рассказы близки, но эстетические различия колоссальны. «Чрево» — одна из первых «проб пера» Замятина, произведение во многом подражательное и несовершенно. «Наводнение» — в подлинном смысле шедевр Замятина-«неореалиста». Это интегрированная, сжатая, динамичная проза XX века. Искусство реалистическое, но обогащенное философскими и стилистическими исканиями символистов (в меньшей степени — футуристов): не «realia», а «realissima». Замятинский неореализм, проникающий блещеными ритмами и звуками машинно-химического XX века, определенно близок и к «фантастическому реализму» Достоевского. Это не гипотеза и

<sup>4</sup> Сам Замятин, правда, говоря о незадачливом пиите, авторе графоманского цикла «Сочинения Константина Едыткина, то есть Мои», называет не литературных предшественников, а реальное лицо: «В Лебедяни, помню, мне сделал визит некий местный собрат по перу — почтовый чиновник. Он заявил, что дома у него лежит 8 фунтов стихов, а пока он прочел мне на пробу одно. Это стихотворение начинается так:

Гулять люблю я лунною порой  
При цвете запахов герани  
И в то же время одной рукой  
Играть с красавицей младой,  
Прибывшей к нам из города Сызрани.

Пять строк эти не давали мне покоя до тех пор, пока из них не вышла повесть «Алатырь» с центральной фигурой поэта Кости Едыткина» (463). Но одно нисколько не отменяет другого: и предтечей Едыткина, как и бездарного московского поэта Сосулина («Африканский гость»), бесспорно является капитан Лебядкин.

умозрительная параллель. О преимуществах Замятин прямо говорил в своих лекциях о литературе: «...кажущаяся с первого взгляда неправдоподобность, кошмарность открывает собой истинную сущность вещи, ее реальность больше, чем правдоподобность. Недаром же Достоевский, кажется, в романе “Бесы” сказал: “Настоящая правда — всегда неправдоподобна”».<sup>5</sup>

В «Закулисах», приоткрывая дверь в свою мастерскую художника, Замятин говорил об «интегральных» образах «корабля» и «пещеры» («Мамай», «Пещера») как образах, организующих всю художественную систему произведений «от начала до конца». То же, но в более скрытом, усложненном, не столь акцентированном виде — и в «Наводнении»: «...здесь интегральный образ наводнения я пытался провести через рассказ в двух планах, реальное петербургское наводнение отражено в наводнении душевном — и в их общее русло вливаются все основные образы...» (470).

Оба наводнения — равно стихийные, все сметающие и уносящие куда-то в бездну — искусно переплетены, слиты. В Софье «будто связанная с Невой подземными жилами — подымалась кровь» (Ип, 479). И это ее регулярная женская кровь, тоскливо напоминающая о пустоте, холостой работе организма. Тем и сильна ненависть Софьи к Ганьке, что она идет из «чрева», из таинственной глубины. В самом прямом смысле «животная» ненависть: «Софья почувствовала, как в ней кругло, медленно поднималось от живота снизу, потом все горячее, быстрее, выше, она задышала часто» (Ип, 485). Бесстыдные колени, челка, шевелящаяся «верхняя губа с маленькой черной родинкой», зеленоватый кошачий взгляд (параллель с кошкой на плывущем столе), нестерпимый, тошнотворный сладковатый запах все время преследуют находящуюся в прострации, полубомороке Софью (полужизнь, почти безумие). Убийство совершается механически; оно сравнивается с выздоровлением и хирургической операцией: это она внутри себя нечто разрушает: «И будто эта кровь — из нее, из Софьи, в ней наконец прорвал какой-то нарыв, лилось оттуда, капало, и с каждой каплей ей становилось все легче... Ни страха, ни стыда — ничего не было, только какая-то во всем теле новизна, легкость, как после долгой лихорадки» (Ип, 489).

Сердце молчит, сознание отключено, а руки, эмансипировавшись, действуют, подчиняясь какой-то властной команде. Мастерски изображено Замятиным странное и страшное одновременно раздвоение личности. Потерявшее духовный контроль тело с четким автоматизмом делает то, о чем даже помыслить невозможно. Две Софьи — одна, взывающая к Богу, и другая — бьющая топором в ненавистную челку: «...было так, как будто Софьины руки совсем отдельно от нее думали и делали все, что надо, а она сама, в стороне, блаженно отдыхала, и только изредка глаза у нее раскрывались, она начинала видеть, она смотрела на все с удивлением» (Ип, 489—490). Ее (и не ее, «чужие») руки разрубают тело пополам, варят обед, разрывают на два куска клеенку к удивлению той, другой Софьи («кто же это разорвал, зачем?»).

Освобождение, даже обновление, возвращение к жизни (Софья вновь может дышать и спать) — таковы самые первые следствия преступления: «Она бросила топор, вдохнула глубоко, свободно — никогда не дышала, вот только что глотнула воздух в первый раз» (Ип, 489). Но это не освобождение, а кратчайшая временная передышка, лжевозрождение — промежуточный этап, когда убийство еще не стало «реальностью» для Софьи, воспринимается как совершенное кем-то другим, «чужими» руками. Раздвоение не только не исчезает позднее. Напротив, оно усиливается — и опять трудно дышать, и снова невозможно уснуть. Действительность все время перемежается бредом: отчетливыми видениями из прошлого, которые Софья так же не может прогнать, как ту муху, что, кажется, навсегда

<sup>5</sup> Литературная учеба. 1988. № 5. с. 133.

уселась на розовое, парное тело Ганьки. Бьет за окнами ветер, позванивает стекло (как в *тот* день) и из глубины кошмарным, давящим грузом всплывает прошлое; в ужасе кричит душа Софьи: «Это — не я, не я, не я!» В послеродовой горячке познавшая всю полноту жизни, переполненная ею до краев («из нее хлестали огромные волны, и затопляли его, всех»), исповедуется, очищается. И только после исповеди наступает великая минута свободы, покоя, счастья.

Исповедь так же стихийна, как убийство и рождение девочки, как наводнение: слово правды неудержимо вылилось из Софьи, а вместе с ним склынуло все страшное, нечистое, преступное («Теперь было все хорошо, блаженно, она была закончена, она вылилась вся»). Почти приблизившись к гибельной черте, Софья удержалась на самом краю пропасти, не канула в пустоту, не задохнулась, а «прозябала» в будущее. Суровый, но отнюдь не жестокий, а очень человечный и поэтический рассказ Замятина, завершается счастливо. Открытый финал с широко распахнутым окном в живую жизнь: «Она спала, дышала ровно, тихо, блаженно, губы у нее были широко раскрыты» (Ип, 500).

На первый и поверхностный взгляд «Наводнение» бытовой рассказ, написанный в традиционной и строгой реалистической манере. В сущности же — вечная драма, таинственная мистерия жизни: рождение человека и смерть, животное и духовное слиты в некоем нерасторжимом, нерасчлененном единстве-синтезе. Необыкновенно важная деталь: Софья из деревни, она невидимыми, но прочными узами органично связана с землей. История преступления, наказания и возрождения героини — почвенная, о чем впрямую говорится в рассказе: «Живот был круглый, это была земля. В земле, глубоко, никому не видная, лежала Ганька, и в земле, никому не видные, рылись белыми корешками зерна» (смерть и рождение здесь не рядом, а одно внутри другого). Этот земной, почвенный мотив достигает кульминации в апофеозе материнства: «Софья чувствовала, как из нее текут теплые слезы, теплое молоко, теплая кровь, она вся раскрылась и истекла соками, она лежала теплая, блаженная, влажная, отдыхающая, как земля — ради этой одной минуты она жила всю жизнь, ради этого было все» (Ип, 497).

Рождается девочка — «новая» Ганька, сливающаяся в воображении Софьи с обликом той, прежней, убитой. И эта только что появившаяся на свет девочка взывает к раскаянию, исповеди. Внутри Софьи продолжается борьба между жизнью и смертью. Муки совести уподобляются предродовым схваткам. Широко раздвинув ноги, собравшись с последними силами, Софья выталкивает из себя признание: вторые роды. Казалось бы, натуралистическая деталь. Но она не воспринимается как натуралистическая, естественно вливаясь в бесконечный круговорот всего сущего, в целеустремленный поток жизни, управляемый и оплодотворяемый любовью. Многие нити связывают «Наводнение» и «Рассказ о самом главном». Своеобразно рифмуются и концовки произведений. Точка в «Наводнении» не должна обманывать. Она тождественна финальному многоточию в «Рассказе о самом главном»: «Земля раскрывает свои недра все шире — еще — всю себя — чтобы зачать, чтобы в багровом свете — новые, огненные существа, и потом в белом теплом тумане — еще новые, цветоподобные, только тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы — ...» (Ип, 436). Ведь и «Наводнение» — рассказ о «самом главном», но написанный в иной, сдержанной и строгой манере. «Все сложности, через которые я шел, оказывается, были для того, чтобы прийти к простоте» («Ёла», «Наводнение»), — признавался, оглядываясь на пятнадцатилетний литературный путь, Замятин (472).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Разумеется, эта «простота» сложнее любых «сложностей». Не упрощение, не отказ от чего-то, а синтез и высшая реальность — вершина, восходить на которую приходится в одиночку, познавая

Несомненно, что в этом долгом и трудном движении к простоте важную роль сыграло творческое усвоение уроков Чехова, о жизни и творчестве которого Замятин так часто писал и говорил в 20-е годы. Один из самых любимых Замятиным чеховских рассказов — «Спать хочется». В лекциях о технике художественной прозы он то и дело возвращается к рассказу, восхищаясь повествовательным искусством, «импрессионизмом» и психологизмом Чехова: «“Спать хочется” — один из лучших рассказов Чехова. Тут уже нет описаний. Биографию Вареньки, и почему она в няньках — читатель узнает из сна Варьки. Обстановку автор заставляет все время чувствовать приемом лейтмотива: зеленое пятно и тени... Переход из сна в явь».<sup>7</sup> Конечно, в лекциях это яркая иллюстрация, знакомящая начинающих писателей с законами художественного творчества. Не только, однако. По сути это черновой набросок «Наводнения». Замятина — рассказа, построенного на сходных импрессионистических образах-пятнах, сквозных лейтмотивах, изнутри мотивированных (постоянных) переходов от снов и бреда к яви.

Художественные принципы прозы Чехова вообще ближе Замятину, чем повествовательное искусство Достоевского (не говоря уже о «дормезных» Толстом и Тургенева). Тем, впрочем, знаменательнее, что в представлении Замятина рассказ Чехова генетически связан с творчеством Достоевского: «Чеховская девчонка Варька в великолепном рассказе “Спать хочется” укачивала целые ночи напролет господского младенца и наконец не стерпела и задушила его — это действительно происшедший случай, и об этом случае рассказывает еще Достоевский в “Дневнике писателя”».<sup>8</sup>

И вполне закономерно, что на «чеховское» в рассказе Замятина падает «тьень» от «Преступления и наказания» Достоевского. Вздрагивает крючок в дверях — и это как бы отсылает читателя к страницам романа Достоевского: там сотрясается запор и, кажется, вот-вот дверь не выдержит. И еще одна несомненная параллель, даже реминисценция. Софья в бреду вновь и вновь убивает топором Ганьку, и не может убить (то есть не может убить в себе человеческое, совесть, память о содеянном), подобно тому как в кошмарном сне Раскольников неистово колотит топором по голове смеющуюся процентщицу, бессильный ее уничтожить: «старушонка так вся и колыхалась от хохота».<sup>9</sup>

Впрочем, эти «достоевские» детали почти и не воспринимаются как нечто уже бывшее в литературе: столь отличен от романа Достоевского «неореалистический» рассказ о народной драме с преступлением, наказанием и очищением; столь велика, наконец, стилистически-повествовательная дистанция.

тайны искусства и мироздания. Хорошо сказано о трудном пути прорастания в простоту Б.Пастернаком. Строки из его цикла «Волны» почти идеально перекликаются с признаниями Замятина:

Есть в опыте больших поэтов  
Черты естественности той,  
Что невозможно, их изведав,  
не кончить полной немотой.  
В родстве со всем, что есть, уверясь  
И зная с будущим в быту,  
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,  
В неслыханную простоту.  
Но мы пощажены не будем,  
Когда ее не утаим.  
Она всего нужнее людям,  
Но сложное понятней им.

<sup>7</sup> Литературная учеба. 1988, № 6. С. 103.

<sup>8</sup> Там же, № 5, С. 130.

<sup>9</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 213.

Детали вроде бы и схожие, а функционируют они в другой художественной системе, где все строго, геометрично вычерчено, слажено, соотнесено, совершенно исключая малейшее подозрение о влиянии и заимствованиях. Но, думаю, и «знаки», «приметы» великой классической традиции здесь также входили составной частью в замысел писателя. В рационалистической поэтике Замятина — строителя, математика, инженера, одинаково искусно владевшего пером и логарифмической линейкой, случайностей нет: у него встречаются неудачные вещи, но нет произведений «сырых», или, как говорил Лесков, «необструганных». И как будто между прочим включая в рассказ детали из романа Достоевского, он не сближал, а, скорее, соотносил (и, возможно, отчасти полемически) «Наводнение» и «Преступление и наказание».

Чрезвычайно важно и другое. «Наводнение» — поздний плод на петербургском литературно-генеалогическом дереве. Рассказ многими родственными, семейными узами связан с «Медным всадником», «Шинелью», «Преступлением и наказанием», лирикой Блока, прозой А. Ремизова и А. Белого. Замятин писал в очерке «Москва—Петербург»: «Большая дорога русской литературы до революции проходила через Петербург... Красавица Нева и на берегу ее вздыбивший своего коня медный Петр, петербургские каналы и глядящиеся в зеркало их дворцы, призрачные туманы и сумасшедшие белые ночи, и люди, носящие в себе что-то от безумия этих ночей, от разрушительных буйств Невы, внезапно выливающейся из гранитных берегов и сметающей все на своем пути — все это на века запечатлено в русской литературе, начиная от “золотого” ее века, от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, вплоть до заканчивающих “серебряный” век Блока, Сологуба, Белого, Ремизова».<sup>10</sup> Замятин, как и А. Белый, был «прямым потомком Гоголя и Достоевского» (344), петербургским писателем даже в своих черноземно-почвенных, северных, английских и исторических произведениях. Что же касается «Мама», «Пещеры», «Наводнения», то это, совершенно бесспорно, шедевры особенной петербургской литературы, в которых отразилось и безумие белых ночей, и разрушительное буйство Невы. Старые петербургские картины. Знакомые петербургские герои. И в то же время новые и незнакомые, преображенные огнем мировой войны и революции, когда жизнь отступила в пещерную, мамонтнейшую первобытность и гибнущий, выморочный Петербург превратился в символический корабль, несущийся без руля и ветрил в крошечной тьме. Да и в «Наводнении» действие разворачивается в те времена, когда «хлеб был непривычнее и редкостнее, чем смерть» (Ип, 481).

Замятин в статье «Грядущая Россия» необыкновенно тонко и в то же время деликатно-иронично оценил образ Петербурга в романе А. Н. Толстого «Сестры»: «“Сторонний наблюдатель, из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург...” — первые строки романа — и они, в сущности, нечаянная авторская исповедь: сторонний наблюдатель из московского переулка — конечно, есть Ал. Н. Толстой. Он — москвич, самарец, нижегородец неизлечимый, в его Петербурге не найдешь этой жуткой, призрачной, прозрачной души Петербурга, какая есть в Петербурге Блока, Белого, Добужинского. Ал. Толстой ходит по Петербургу, как сторонний наблюдатель острый и умный... А ведь Петербург — весь прямой, проспект, геометрия, логика, и оттого человек из кривого московского переулка тут непременно в гостях, оттого в “Хождении по мукам” — только эпос, и нет здесь лирики, какая неявной функцией непременно войдет даже в эпос петербуржца, пишущего о Петербурге — о себе».<sup>11</sup> И далее, развивая мысль, Замятин писал: «Нельзя, конечно, рассказать всего Петербурга,

<sup>10</sup> Наше наследие. 1989. № 1. С. 109.

<sup>11</sup> Замятин Е. Соч. Мюнхен, 1988. Т. 4. С. 518—519.

если в руках у рассказчика набор красок только реалистических, без всякой примеси Гоголя, Гофмана. Нужна острота, гипербола, гротеск, нужна какая-то новая реальность, которая открывается глядящему на кусочек человеческой кожи сквозь микроскоп».<sup>12</sup>

Вот этого особенного, гротескно-фантастического видения Замятин обнаруживает в романе А. Толстого. Силлогизмы, умные наблюдения, но именно только силлогизмы и наблюдения чужака, постороннего наблюдателя, взгляд извне на Петербург. «Плотин говорил: "Тот кто видит — сам становится вещью, которую видит"». По-плотиновски, Ал. Толстой Петербурга не увидел; он только написал о Петербурге отличный роман. Он рассказал о Петербурге, но не показал его».<sup>13</sup> А Замятин давно уже сросся с «жуткой, призрачной, прозрачной душой» Петербурга, стал частью города, заразившись фантастическим безумным «лиризмом», который неперменной, явной и неявной функцией вошел во все его петербургские произведения, даже проник в публицистику писателя.

Вот как он начинает эссе о романе А. Белого «Петербург»: «По весне на петербургских наших дворах жалобно заскулит шарманка, жалостная пичужка озябшая выскочит на ящик — билетики "на счастье" вынимать, звякнет бубенцами кто-то, лохмотами тряхнув, и веселую запоеет песню. Но невесело слушать, жутко глядеть на дно колодца-двора, еле терпишь — окно не закрыть. А уж как разложат там коврик, да выскочит на коврик тот — неперменный при шарманке гуттаперчевый мальчик, да начнет, голову промеж ног засунув, ходить, — тут уж нету терпенья больше глядеть: и жалко мальчонку, хоть плачь, и отвратно — окно захлопнешь».<sup>14</sup> Такова увертюра к ироническому и жесткому критическому разбору романа (позднее Замятин значительно потеплеет к «Петербургу», хотя по-прежнему многое в стилистике и поэтике Белого будет ему чуждо). Лирическая увертюра, в которой отчетливо звучат знакомые петербургские мотивы: лирика И. Анненского и А. Блока, знаменитая надрывно-болезненная и поэтическая страница из «Преступления и наказания» (пение под уличную шарманку и странный вопрос-монолог Родиона Раскольникова). Несомненно: это не рассказ о Петербурге, а увиденный Замятиным город, и следовательно, исповедь и признание — «о себе».

Среди неопубликованных при жизни Замятина произведений есть и поэтическая миниатюра, собственно стихотворение в прозе, «Белые ночи». Фантастический Петербург, увиденный глазами не скептика и «металлического человека», а мечтателя и романтика Замятина: «Но попробуйте только на минуту закрыть глаза — и опять вы во власти белой ночи, и творится что-то странное с днем, с солнцем, вашей волей, землей под ногами. Но падать не страшно — потому что сейчас с вами падает все, бредит с закрытыми глазами все кругом. Вода — разве это ее настоящий цвет — такой сверкающий, режущий, грубый? Не дневная ли это броня, а под нею ночное из нежных полутонов тело, открытое умеющим любить намеки и тени. Деревья — смешны, четкие и звонкие, как глупые воробьи; деревья разве не притворяются? Те, другие, молчаливые, недвижные, лирические, ласково-сумеречные, разве не они — настоящие майские деревья?»<sup>15</sup> «Белые ночи» Замятина — лирическое эхо сентиментального романа Достоевского. Они ведь тоже о «минуте блаженства и счастья», «целой минуте блаженства», вместившей вечность. О городе и о себе. Исповедь Замятина. Пейзаж души. Объяснение в любви Петербургу, ушедшему в далекое прошлое.

<sup>12</sup> Там же. С. 519.

<sup>13</sup> Там же. С. 521.

<sup>14</sup> Там же. С. 497.

<sup>15</sup> Новый журнал. Нью-Йорк, 1988. Т. 170. С. 83. (Публ. А. Тюрина).

Чаще всего Достоевский входит в произведения Замятина петербургской «неявной функцией» наряду (и в нерасчлененном единстве) с Пушкиным, Гоголем, Блоком. Тем более поражает педалируемая самим Замятиным идеологическая и философская близость к Достоевскому «Записок из подполья», «Бесов», «Братьев Карамазовых» в романе «Мы», — близость, которую не заслоняет, а, пожалуй, еще ярче оттеняет различие поэтических систем. «Мы», подобно научно-фантастическим произведениям Г.Уэллса, — «городская сказка», «механическая, химическая сказка», современный индустриальный миф (363). Уэллс, в глазах Замятина, не просто реформатор, а создатель, отец социально-научной фантастики, которого он считает возможным даже отчасти сопоставить с Достоевским: «...взяв форму авантюрного романа, Уэллс значительно углубил его и повысил его интеллектуальную ценность, внес в него элемент социально-философский и научный. В своей области — разумеется, в пропорционально-меньшем масштабе — Уэллс сделал то же, что Достоевский, взявший форму бульварного, уголовного романа и сплавивший эту форму с гениальным психологическим анализом» (391).

А статья Замятина «Генеалогическое дерево Уэллса» интересна тем, что в ней перечислены почти все литературные источники романа «Мы». Кроме, пожалуй, самого главного — Достоевского, который, впрочем, упомянут в романе среди других гениев (Пушкин, Шекспир, Скрябин), некогда знаменитых в варварскую эпоху. Свою благонамеренность спешит заявить строитель-повествователь: «К счастью, допотопные времена всевозможных шекспиров и достоевских — или как их там — прошли, — нарочно громко сказал я» (35). Но слишком рьяно поторопившийся откеститься от допотопных шекспиров и достоевских строитель, привилегированный «номер» Единого Государства, воспевая арифметическое счастье жизни в стерильной казарме, то и дело переходит на жаргон «подпольного человека», естественно изменяя модальность его бунта (превращая в плюс): «...все великое — просто; поймите же: незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной — пребудет только мораль, построенная на четырех правилах. Это — последняя мудрость, это — вершина той пирамиды, на которую люди — красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались веками»; «...вообще неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens — только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные, запятые и точки»; «Это противоестественно: мыслящему — зрячему существу жить среди незакономерностей, неизвестных, иксов»; «...счастье — когда уже нет никаких желаний, нет ни одного...» (81, 82, 119, 124).

Цитаты можно до бесконечности умножать, а своеобразное сродство этих мыслей с рассуждениями парадоксалистов Достоевского слишком очевидно. Разумеется, есть в романе «Мы» и стена (реальная и метафорическая). Есть Зеленая Стена. Есть и философское рассуждение о необходимости и спасительности стен. Словом, то и дело в романе Замятина возникает фигура подпольного героя Достоевского, показывающего язык механизированно-стерильному «раку».

С немалым основанием уже первые читатели (и слушатели) романа безошибочно, сразу, почти единодушно сопоставили «Мы» и «поэмку» Ивана Карамазова «Великий инквизитор». И это бесспорно. Проецируя некоторые современные ему общественно-политические процессы в будущее, Замятин создает модель тоталитарного общества с иероглифической фигурой загадочного и всемогущественного Благодетеля на самом вершине. Благодетель — богоподобен (он нисходит с небес) и устрашающе монументален (впрочем, монументальность,

возможно, оптический обман, гипнотизирующий трюк). Он — верховный жрец новой религии, или, используя терминологию Замятина-публициста, «нового католичества». Эта новая религия генетически связана со старыми (для еретика Замятина неприемлемы все виды и разновидности религий — старое и новое католичество; теории «народа-богоносца» Достоевского он также не симпатизировал). Сродство нового католичества со старым в романе (и публицистике Замятина) многократно подчеркивается. Сам Благодетель оправдывает свою роль верховного палача евангельской легендой, ссылаясь на мировую историю, идеалы и природу человека: «Я спрашиваю: о чем люди — с самых пеленок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье — и потом приковал их к этому счастью на цепь... Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи...» (143).

В сущности, это цитата из романа Достоевского, правда, до чрезвычайности сухая, выхолощенная, механизированная, освобожденная от поэзии и психологических «ненужностей». Благодетель притчи Замятина — «новый Иегова... такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних» (96). Или — Шигалев. Или — Великий инквизитор Достоевского, но без Шиллера и всяких там страданий и тайн. Впрочем, все они принадлежат к одной касте Благодетелей и Спасителей слабого, погрязшего в пороках и фантазиях человеческого стада, устроителей принудительного «рая» для тех, кто только и ищет освобождения от тягостного, невыносимого ига «свободы».

Благодетель Единого Государства и Великий инквизитор Достоевского поистине мирно «сосуществуют» в историко-литературном пространстве. Их генеалогическое родство Замятин еще более легализировал, обратившись в пьесе «Огни Св. Доминика» к самой мрачной эпохе инквизиции, когда «католических еретиков в своей непогрешимости, решило силою оружия загнать непокорных еретиков в свой рай» (Ип, 685). Рюи, еретик и вольнодумец драмы, произносит исполненные глубокого грустного смысла слова: «...я не отрекся от Христа; я только полюбил его — и возненавидел тех, кто снова распинает его, кто заставляет его быть предателем, Иудой. Тюрьмы, казни во имя Христа! Инеса, вы только представьте: Христос — сейчас там, на улицах. Неужели не ясно, что...» (Ип, 695).

Рюи не договаривает, что ясно, предоставляя догадаться читателю, а точнее, отсылая его к «поэмке» Ивана Карамазова. Замятин часто пользовался в своих произведениях (в том числе и публицистических) тем, что он называл «приемом пропущенных ассоциаций». В романе «Мы» (и «Рассказе о самом главном») «пропущенных ассоциаций», недомолвок, недосказанных, прерванных мыслей особенно много. Это шифр, тайнопись Замятина, требующая от читателя максимума внимания, соучастия, напряженной работы мысли.

«Присутствие» Достоевского в «Мы» настолько обнажено и, можно сказать, курсивом выделено, что М. Павлова-Сильванская увидела в этом разгадку, почему Замятин называл свой роман шуточным: «Не писал ли он с самого начала интеллектуальную арабеску? Не была ли его книга вольной игрой ума, вариацией на тему Достоевского?.. Облекая в плоть и кровь образов постулаты старика инквизитора, доводя их до абсурда, писатель, видимо, хотел продемонстрировать их безнравственность, антигуманность».<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Павлова-Сильванская М. Это сходное «мы», это коварное «мы» // Дружба народов. 1988. № 11. С. 260.

Предположение любопытное, по-своему логичное, но согласиться всецело с которым трудно. «Шутка» получилась у Замятина горькой, зловещей — и очень можно понять А. Воронского, так эмоционально ответившего писателю: «Какая же это “самая шуточная и самая серьезная вещь”? Самая мрачная и мизантропическая». Смутила Воронского, понятно, оппозиционность, ироничность позиции Замятина, и он, явно симпатизируя художнику, ее невольно, неизбежно упрощал, сводя содержание романа к антибольшевистской направленности.<sup>17</sup> Но сам Замятин в «Мы» менее всего руководствовался узкополитическими мотивами. Писатель отстаивал — необыкновенно последовательно, темпераментно, умно — свое право художника на свободное и независимое мнение (а не ангажированное служение старым или новым религиям). Он убежденно писал, бесконечно варьируя одну и ту же мысль: «...художник — более или менее крупный — всегда еретик. Художник, как Иегова в Библии, творит для себя свой особенный мир, со своими, особенными законами — творит по своему образу и подобию, а не по чужому. И оттого художника настоящего — никогда не уложить в уже созданный, семидневный, отвердевший мир какой-нибудь догмы. Он непременно выскочит из параграфов этой догмы, он непременно будет еретиком. Или же у него нет своего мира, своего лица — и тогда его, как художника, надо со счетов долой».<sup>18</sup> Замятину ненавистна была вечная порода «юрких» литераторов, готовых с равной безоглядностью и беспринципностью с холуйским рвением служить «хозяевам». Огосударственное искусство — это конец искусства, превращение его в жалкий инструмент пропаганды, орудие зла и произвола. Знаменитый литературный манифест Замятина «Я боюсь», возможно, определил судьбу Замятина-художника не в меньшей степени, чем роман «Мы». Несомненно, впрочем, что как роман, так и статьи Замятина проникнуты одним настроением, а эссе «Рай» просто является публицистическим постскриптумом к роману. Образцы «нового» искусства, в которых пророчески угаданы догмы и предписания «социалистического реализма», восторженно прославляются строителем «Интеграла». Это и Ежедневные оды Благодетелю, и «жуткие красные Цветы Судебных Приговоров», и «бессмертная трагедия “Опоздавший на работу”», и «Шипы», прославляющие предупреждающую деятельность Ангелов-Хранителей (этот же мотив звучит и в пьесе «Огни св. Доминика»), охраняющих «нежный Государственный Цветок от грубых касаний», и сонет «Счастье», воспевающий, естественно, «мудрое, вечное счастье таблицы умножения» (51).<sup>19</sup> (Дом Искусств. 1921. Сб. 1. С. 91—94). Творец становится частицей единого механизма, чиновником «нашего Института Государственных Поэтов и Писателей». А из произведений, созданных в варварские времена, сохранено «Расписание железных дорог» («величайшее из дошедших до нас памятников древней литературы»). Иронией Замятина, переходящей в сарказм, пронизаны все наивно-восторженные суждения Строителя, удивляющегося невежеству, слепоте древних и радующегося победе прогресса над всем стихийным, пестрым, асимметричным: «...как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова — тратилась совершенно зря. Просто

<sup>17</sup> Несомненно, однако, отрицательное отношение бывшего большевика Замятина к политике военного коммунизма и красному террору, в самой открытой форме высказанное в политических статьях и заметках 1917—1919 годов («Елизавета Английская», «Они правы», «Последняя страница», «Великий Ассенизатор», «Беседы еретика»).

<sup>18</sup> Замятин Е. Герберт Уэллс. Пб., 1922. С. 18—19.

<sup>19</sup> Ср. с ироническими перечислениями огосударственных мотивов пролеткультовской поэзии в статье «Рай»: «И поучение на тему: “Да здравствует единая трудовая школа!” И поучение на тему: “Сильнее любви, сильнее смерти — долг революционера”. И поучение на тему: “Нет старого Бога, которому служат представители тьмы, невежества, суеверия”. И поучение в день Пятидесятницы. И поучение в Великий Пяток... И поучение...»

смешно — всякий писал, о чем вздумается... у нас приручена и оседлана когда-то дикая стихия поэзии. Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность» (51).

«Записки» строителя «Интеграла» графически точно фиксируют постепенное «падение» нумера, рождение личности, отпочкование «я» от «мы» и — на последнем витке — окончательное слияние, растворение в «мы», «выздоровление». Закономерны стилистические нервные переходы, исповедальная взвинченность повествования. И жанровая смешанность, с горечью осознаваемая (элемент *selfconscious novel*) самим сочинителем: «Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строгой математической поэмы в честь Единого Государства — у меня выходит какой-то фантастический роман» (72). Отсюда и необычный, стремительный ритм романа, санкционированные постоянные перебои и «срывы» — стилистические и жанровые — фантастическая аритмичная, синкопированная проза XX века, призванная передать «огромный фантастический размах духа нашей эпохи, разрушившей быт, чтобы поставить вопросы бытия». К этой «синтетической» прозе Замятин приблизился уже в повестях «На куличках» и «Островитяне», но именно лишь приблизился. В романе «Мы» писатель с наибольшей последовательностью воплотил в художественную действительность принципы новой прозы: «от быта — к бытию, от физики — к философии, от анализа — к синтезу» (432).

Экзистенциалистский бунт парадоксалиста, теория Шигалева—Петра Верховенского, философия Великого инквизитора были органично интегрированы Замятиным, переведены на интеллектуально-международный язык, достигающий иногда удивительной выразительности, яркости, научной ясности во внутренних монологах Строителя и вырождающийся до «эсперанто» в циркулярах, «катехизисах» и газетных статьях (это официально-бюрократический стиль, стерильность и холодная безжизненность которого особенно бросаются в глаза рядом со сказовой, орнаментальной, насквозь метафоричной почвенной и «петербургской» прозой писателя). Поэтика «Мы» ориентирована на модернистскую живопись<sup>20</sup> и архитектуру, строгий научный стиль. И в то же время это традиционный авантюрный (приключенческий) роман, вобравший в себя научно-философский и футурологический трактат. «Мы» принадлежит постреалистическому искусству, сущность которого Замятин так определял в эссеистике: «Бытописание — арифметика, единицы или миллионы — разница только количественная. А в нашу эпоху великих синтезов — арифметика уже бессильна; нужны интегралы от нуля до бесконечности, нужен релятивизм, нужна дерзкая диалектика, нужно “всякую существенную форму созерцать в ее движении, то есть как нечто переходящее” (Маркс)... Сама жизнь — сегодня перестала быть плоско-реальной; она проектируется не на прежние неподвижные, но на динамические координаты Эйнштейна, революции. В этой новой проекции — сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда — так логична в сегодняшней литературе тяга именно к фантастическому сюжету или к сплаву реальности и фантастики» (432—433).

Роман «Мы» не только одно из самых значительных отражений (преломлений) художественно-философской мысли Достоевского в искусстве XX века, но и своего рода контрапункт различных литературных линий как русской, так и всемирной литературы (от Свифта и А. Франса до Акутагавы, Оруэлла, Домбровского). Именно Замятин создал новый жанр — антиутопию (генезис жанра раскрыт почти с исчерпывающей полнотой самим писателем). Синтез разных жанров, повествовательный сдвиг, «дерзкая диалектика», сплав реальности и

<sup>20</sup> Интересно о словесном кубизме и супрематизме Замятина писал в своих воспоминаниях художник Ю. Анненков.

научно-философской фантастики — вот художественные, идеологические и эстетические координаты романа Замятина, по мнению П. Фишера, занимающего «ключевую позицию в истории антиутопической литературы».<sup>21</sup>

Сегодня это оценивается везде как самый значительный вклад Замятина в развитие художественного, философского и политического мышления XX века. Но очень долгое время на родине писателя «еретичество» Замятина не прощали. Вот как, например, расправлялся в энциклопедической статье 1964 года с антиутопией Замятина Олег Михайлов: «Замятин написал также (это «также» бесподобно. — В.Т.) роман “Мы” — злобный памфлет на Советское государство. Его появление за границей (опубл. в 1924 в Англии) вызвало возмущение советской общественности. Роман оказал влияние на западноевропейский антикоммунистический “антиутопический” роман 20 века (О. Хаксли, Дж. Оруэлл)».<sup>22</sup> Трудно объяснить только временем столь стереотипную и всецело политическую негативную оценку. Недавно, правда, Михайлов предложил новое «актуальное» осмысление романа, которое, на мой взгляд, хотя и несравненно корректней, но в своем роде мало чем лучше традиционного: «Роман “Мы” сегодня приобретает неожиданную актуальность. Уже сейчас в ячейках электронной памяти США фиксируется каждый шаг рядового американца, что грозит невиданным порабощением насквозь “просвеченного”, “голового” человека: воистину замятинского “номера”».<sup>23</sup>

В подтексте такого осмысления: не дай Бог, если эта электронная чума достигнет пределов России. Вот где, оказывается, гнездится самая большая опасность. Довольно наивно, но вовсе не так уж невинно, весьма типично для превентивно-догматической критики, с присущим ей презрением к науке и техническому прогрессу, которые квалифицируются как нечто западническое и дьявольское, с традиционным призывом идти своим особым путем развития, с безнравственным, по сути, противопоставлением духовного и материального, экономики и культуры, национальных и общечеловеческих ценностей (а в подноготной вечные поиски «врагов счастья», — и нет этим врагам, судя по всему, конца). Позиция последовательная и давно возникшая, но очень опасная, демагогическая при всей своей архаичности и «допотопности».

Содержание романа Замятина и удивительная судьба его книги противостоят такому узкому и тенденциозному прочтению (и, конечно, «благонамеренному»). Спору нет: Замятин против «машинобожия». Он высмеивает крайности «тейлоризма». Но видеть в романе только эти мотивы — в высшей степени неточно и несправедливо. Роман «Мы» — о подмене истинных духовных ценностей, великом обмене и дегуманизации общества, чудовищной энтропии, поглотившей и поработившей личность. Наука и техническая мысль выступают в романе послушным орудием зла, служанкой новой религии, основы которой Замятин подвергает беспощадному ироническому анализу, исполняя высокое предназначение художника, верующего в то, что «настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а

<sup>21</sup> Лит. газ. 1989. № 22. 31 мая.

<sup>22</sup> Краткая литературная энциклопедия. М., 1964. Т. 2. С. 987.

<sup>23</sup> Михайлов О.Н. Мастерство и правда // Замятин Е.И. Повести. Рассказы. Воронеж, 1986. С. 18. Близка к точке зрения Михайлова и «актуализация», предложенная П.В. Палиевским в послесловии к публикации перевода романа О. Хаксли в журнале «Иностранная литература». Озабоченный тем, чтобы советский читатель «правильно» понял романы Замятина и Хаксли, критик разъясняет, что речь в них идет не о «тоталитарном социализме», а о так называемой «конвергенции» («что есть о смещении социальных систем в один технократический котел»), новом «технократическом» рабстве, угрожающем человечеству: «Невидимая смерть, наступающая изнутри, — от перестройки жизни по техническому образцу, — отсечение ее от скрытых источников, объявленных вымыслом, и помещение в быстро растущую функциональную клетку-скорлупу» (Иностранная литература. 1988. № 4. С. 125—126).

безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатолий Франс, — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло» (411).

## 3

Отклики на недавнюю публикацию романа «Мы» в советской периодической печати были, естественно, и многочисленными, и разнохарактерными. Есть среди них и глубокие прочтения, в которых современное осмысление соседствует с бережным отношением к индивидуальному художественному видению Замятина (так именно обстоит дело в статье Р. Гальцевой и И. Роднянской «Помеха — человек»). Немало и попыток использовать роман, вычленив из него некоторые мотивы, в сегодняшней полемике идей. Это откровенно политизированная критика, где «сегодняшнее» явно преобладает над «современным».

А в целом ряде суждений явственно прозвучали и нотки разочарования и недоумения, почему этот «невинный» роман так долго держали под спудом, в спецхранах. Пожалуй, в наиболее резкой форме разочарование выразил Юрий Нагибин, с суждениями которого согласиться невозможно, но и легкомысленно было бы их расценивать только как случайные и чрезмерно субъективные. Свою точку зрения Нагибин высказал, участвуя в «круглом столе» «Литературной газеты»: «Надеялся я на “Мы”, но роман мне просто не понравился. Хаксли, чей “О дивный новый мир” издан недавно под одной обложкой с “Мы”, намного лучше, изящней, литературно искусней. Да и прозорливость романа “Мы” тоже не показалась мне убедительной. Авторам антиутопий всегда представляется белый, сияющий, стерильный мир из алюминия, стекла и каких-то еще летуче дивных металлов. А что получилось? Помойка». Солидаризовался с Нагибиным и другой участник «стола», политолог А. Мигранян: «довольно скудно, неглубоко».<sup>24</sup>

Очевидно, что Нагибину органично чужд Замятин-художник, а политологу Миграняну с его тезисами о спасительности в настоящее время для России разумной автократии не очень по душе принципиальное отрицание Замятиным всех видов автократии и деспотии. Но как бы то ни было, совершенно недопустимо мелко и пренебрежительно говорить о «социологических пророчествах» Замятина в романе «Мы». Замятин нисколько не виноват, что его роман был опубликован так поздно на родине. Не виноват и в том, что его «пророчества» давно уже стали разменной монетой, дошли до советского читателя в отраженном свете бесчисленных романов-притч, романов-парабол, научно-фантастических утопий и антиутопий — после Р. Брэдли, С. Лема и братьев Стругацких. Г. Адамович еще в статье о Владимире Набокове (давней, естественно, статье) писал о фабуле романа «Приглашение на казнь», что она «не вполне самостоятельна и оригинальна по замыслу, и на ней лежит налет стереотипности, сразу понятной и знакомой, почти что вульгарно-злободневной. Фабула эта достойна бесчисленных романов-утопий, печатаемых в популярных журналах, — и если в те времена, когда Достоевский писал о “шигалевщине”, она требовала острого ума и прозорливости, то теперь, разжиженная и измельчанная, она не требует ничего. Эти нарочито “кошмарные” картины будущего, с людьми под номерами, с чувствами, разделенными на реестры, с регламентированными страстями и

<sup>24</sup> Лит. газ. 1989. № 22.

прочим, и прочим, — все это стало литературным “ширпотребом”, а главное, сколько бы все это ни было занимательно в качестве страшной сказки или кинематографического сценария, пророческая ценность подобных видений крайне сомнительна».<sup>25</sup> «Ширпотреб» — надо признать — заслонил, затенил в нашем сегодняшнем сознании «дерзкую диалектику» и отточенную иронию Замятина. При беглом и журналистски ориентированном чтении усваиваются практически одни «стереотипы» — то, что можно назвать непререкаемыми во всех антиутопиях (знаменитых и рядовых, стандартных) сюжетно-психологическими «рифмами». Вновь искажение перспективы — Замятин производит впечатление чего-то очень знакомого до банальности, скучного и «вторичного». В сущности, обычная судьба бестселлера, переведенного (множественно) на газетно-политический язык комиксов. Итак, состоялось, наконец, возвращение романа «Мы» отечественному читателю. Но, пожалуй, еще не состоялось. Роман прочитали наскоро, между прочим, как политический памфлет, показавшийся устаревшим. А «Мы» вовсе не политическая злободневная однодневка, это полисемантическое художественное произведение с характерной для Замятина иронической «тайнописью» и тщательно выверенной, до мелочей продуманной стилистической и композиционной конструкцией. Это трудная литература, которая вовсе не исчерпывается набором всем сегодня известных стереотипов и формул. Искусство Замятина, используя его же терминологию, не «сегодняшнее», а «современное»: «...“сегодняшнее” и “современное” — величины разных измерений; у “сегодняшнего” — практически — нет измерения во времени, оно умирает завтра, а “современное” — живет во временных масштабах эпохи. Сегодняшнее — жадно цепляется за жизнь, не разбирая средств: надо торопиться — жить только до завтра. И отсюда в сегодняшнем — непререкаемая юркость, угодливость, легковесность, боязнь копнуть на вершок глубже, боязнь увидеть правду голый. Современное — стоит *над* сегодня, оно может с ним диссоциировать, оно может оказаться (или показаться) близоруким — потому что оно дальнзорко, оно смотрит в даль. От эпохи сегодняшнее берет только окраску, кожу, это закон мимикрии; современному — эпоха передает сердце и мозг, это закон наследственности» (445).

Странные иногда бывают совпадения. Вот и слова Нагибина о «помойке» и стерильном мире Замятина-Хаксли (то ли дело общество сплошного дефицита Оруэлла или Москва 21-го столетия В.Войновича, где стерлась грань между первичным и вторичным продуктом) невольно напомнили претензии председателя Петербургского комитета барона Н.В.Медема к автору «Записок из Мертвого дома». Барон нашел, что картина быта острожников получилась у Достоевского очень уж «соблазнительной». Достоевский, как известно, разозленный неумными и утилитарными придирками, написал дополнение ко 2-й главе первой части книги, заодно бросив, так сказать, первый камень в будущий Хрустальный дворец: «Попробуйте выстройте дворец. Заведите в нем мраморы, картины, золото, птиц райских, сады всякие, всякой всячины... И войдите в него. Ведь, может быть, вам и не захотелось бы никогда из него выйти. Может быть, вы и в самом деле не вышли бы. Все есть! “От добра добра не ищут”. Но вдруг — безделица! Ваш дворец обнесут забором, а вам скажут: “Все твое! Наслаждайся! Да только отсюда ни на шаг!” И будьте уверены, что вам в то же мгновение захочется бросить ваш рай и перешагнуть за забор. Мало того! Вся эта роскошь, вся эта нега еще живит ваши страдания. Вам даже обидно станет, именно через эту роскошь...»<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Октябрь. 1989. № 1. С. 197—198.

<sup>26</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 4. С. 250.

Так возник мотив, или, переходя на математический язык Замятина, один из главных «интегральных образов» творчества Достоевского (художника и публициста), — всесторонне разработанный, обросший другими лейтмотивами, легший в основу бунта против стены героев писателя, неумолимо показывающих язык Хрустальному дворцу (и чем хрустальней он, тем хуже), с ретроградной усмешкой посылающих в тартарары, к черту — куда же еще? — принудительно-каторжный «рай», в котором нет только одной «малости» — свободы, волюшки, все раз и навсегда расчислено по логарифмической линейке.

Замятин в романе «Мы» подхватывает и развивает с оглядкой на последние политические и научные революции излюбленные мотивы творчества Достоевского. И во многом прав А.Кашин, определяя принципиальное отличие «Мы» от «1984» Оруэлла: «Орвелл, беря за образец сегодняшнюю коммунистическую действительность, рисует тоталитарное государство, не способное выполнить ни одно из своих обещаний. В этом государстве царят нищета, голод, лишения. Оно все берет и ничего не дает. Это — политика. У Замятина другое. Замятин идет путем Достоевского. Пусть все построено и все идеально, и все обещания выполнены, что тогда? Потому его проникновение значительно глубже. Не выходит, не выходит, а вдруг да выйдет! Вдруг заработает по-настоящему промышленность, вдруг в мире, полностью оккупированном, скажем, коммунизмом, воцарится благорастворение воздушных потоков и потекут реки меда и молока. Что тогда? Сможет ли человек за эти дешевые, земные блаженства продать свою свободу (хотя бы только потенциальную)? Согласится ли он на это? Орвелл такого вопроса не ставит, Замятин на него отвечает: нет, не согласится».<sup>27</sup>

Замятин создавал свою городскую сказку в голодном пещерном Петербурге в ту пору, когда отнюдь не редкостью были газетные сообщения о случаях антропофагии. В Едином Государстве, «счастливым» будущем, побежден голод и — в какой-то степени — укрощена, регламентирована, упорядочена любовь. Но это довольно-таки локальная победа: достатка и «стерильности» удалось добиться после невиданных потрясений и Великой Двухсотлетней Войны (погибло почти по штигалевской арифметике  $4/5$  населения земли) на маленьком клочке, отгороженном от дикого, неуправляемого, стихийного мира Зеленой Стеной (да и ее взрывают в романе). И — что особенно важно — Замятин явно из двух миров предпочитает «старый», со всеми его несовершенствами и стихийно-разрушительными явлениями. «Скифское», дикое, свободное для него бесконечно роднее и человечнее стерильного Единого Государства «идеальной несвободы»: пусть уж лучше жуткая, но и «веселая» петербургская зима 1917/1918 года, чем скучный прозрачный город с укрощенными солнцем и облаками, розово-талонной любовью и фараоноподобным Благодетелем, отцом «счастья». Замятин — с врагами такого счастья. В этом-то суть и нерв главной постановки вопроса (точнее, вечных и вековечных вопросов), сердцевина этико-философской проблематики романа, прямо и непосредственно перекликающейся с философией свободы Достоевского.

Закономерно, что Замятин вспоминает Достоевского как в интереснейшем диспуте с художником Ю.Анненковым (спровоцированном писателем, остро нуждавшемся в споре, контраргументах для апробации и «обкатки» идей), так и в замечательном письме к нему же, которое тот справедливо назвал «шуточным конспектом» романа. В равной мере этот удивительный «конспект» и серьезен. Здесь Замятин прочерчивает антиутопическую линию и далее, в то будущее, когда любовь уже не просто превратилась в строго регламентированное удовлетворение физиологической потребности, а вообще аннигилирована — дерзко-иррациональный фаллос отпал, как некогда отвалился хвост, и человек окон-

<sup>27</sup> Кашин А. Художник и человек // Замятин Е. Сочинения. Мюнхен, 1970. Т. 1. С. 19.

чательно освободился от страстей: «Детей изготавливают на фабриках — сотнями, в оригинальных упаковках, как патентованные средства; раньше, говорят, это делали каким-то кустарным способом. Еще тысячелетие — и от соответствующих органов останутся только розовенькие прыщики (вроде того, как сейчас у мужчин на груди справа и слева). Впрочем, пока кое-какие воробьиные, еще уцелели, но любовь заменена полезным, в назначенный час, отправлением сексуальных надобностей; как и отправление прочих естественных надобностей, оно происходит в роскошнейших, благоухающих уборных — нечто вроде доисторических римских терм...»<sup>28</sup>

Единое Государство — где-то накануне перехода к «воробьиной» эпохе. Уже упразднены семья и брак, но оставлено время для «любви» с опусканием штор на строго ограниченный промежуток времени. Впрочем, и этого оказывается достаточно, чтобы внести в механизированный мир нежелательный иррациональный элемент. Еще возможен «роман» со стихийными взрывами страстей, изменами, ревностью, предательством, безумием, любовью-ненавистью. До «рая» по-прежнему далеко. Ведь в «раю» будут погашены все чувства и желания, произойдет окончательное перерождение человечества. Там уже не будет «цели», нечего будет достигать, там «не женятся и не посягают».

«В человеке есть два драгоценных начала: мозг и секс. От первого — вся наука, от второго — все искусство. И отрезать от себя все искусство или вогнать его в мозг — это значит отрезать... ну да, и остаться с одним только прыщиком... Твоя формула искусства — “науки, познающей и организовывающей жизнь” — это формула искусства для скопцов... ты заразился машинобожием. Религия материалистическая, находящаяся под высочайшим покровительством — так же убога, как и всякая другая. И как всякая другая — это только стенка, которую человек строит из трусости, чтобы отгородиться ею от бесконечности. По эту сторону стенки — все симплифицировано, монистично, уютно, а по ту — заглянуть не хватит духу... А дальше, Анненков, дальше, за твоим бесконечным техническим прогрессом? Ну, восхитительная твоя уборная; ну, еще более восхитительная, с музыкой (Пифагоровы штаны); ну, наконец, единая, интернациональная, восхитительнейшая, благоуханнейшая уборная, — а дальше? — А дальше — все из восхитительнейших уборных побегут под неорганизованные и нецелесообразные кусты»,<sup>29</sup> — так с нажимом, огрубляя и «симплифицируя», отвечал Замятин Анненкову (а заодно и себе), разъясняя, почему он противник машинобожия и материалистической религии, обслуживаемой легионом Ангелов-Хранителей, т.е. могущественной тайной полицией.

Любопытно, что Замятин — уже после «шуточного» письма — устно добавил: «В дополнение к письму, вспомним фразу из “Балтазара” Анатоля Франса: “La science est infaillible; mais les savants se trompent toujours”, — “наука непогрешима; но ученые постоянно ошибаются”». <sup>30</sup> Очевидно, что не против науки направлена ирония Замятина, а против жрецов вечных и непогрешимых истин, догматиков и инквизиторов мысли. Ошибки же неизбежны. Без них нет и открытий: «Пусть ответы неверны, пусть философия ошибочна — ошибка ценнее истин: истина — машинное, ошибка — живое, истина — успокаивает, ошибка — беспокоит. И пусть даже ответы невозможны совсем — тем лучше: заниматься отвлеченными вопросами — привилегия мозгов, устроенных по принципу коровьей требухи, как известно, приспособленной к перевариванию жвачки» (449).

Мозг Строителя — мозг ученого и мыслителя. Ему, разумеется, можно вдолбить, что истинное счастье — это счастье таблицы умножения. Но он просто

<sup>28</sup> Литературная учеб.а. 1989. № 5. С. 119.

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> Там же

органически не способен («электричество человеческой мысли», которое славит Достоевский в «Кроткой») удовлетвориться столь элементарными, «аксиомными» истинами, так как противоестественно «заниматься отвлеченными вопросами». Каторжно-арифметическое счастье отвергают и мохнатая, «скифская» натура Строителя и его мозг ученого. «Философ — от математики», раз усомнившись в «разумности» и истинности стеклянного рая, далее уже не в состоянии прервать процесс мысли, все больше и больше увязает в логических дебрях и лабиринтах: «Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего  $-1$ , мы не знаем соответствующих тел, мы никогда не видели их... Но в том-то и ужас, что эти тела — невидимые — есть, они непременно, неминуемо должны быть: потому что в математике, как на экране, проходят перед нами их причудливые, колючие тени — иррациональные формулы; и математика и смерть — никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности, для них есть — неизбежно должен быть — целый огромный мир там, за поверхностью...» (71—72).

Но ведь это самый форменный, настоящий бунт. Пошатнулись основы основ мировоззрения Строителя, мозг которого взорван иррациональными формулами. И математика, «до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни — тоже оторвалась, поплыла, закружилась» (72). «Дикая логическая чаща» в романе уподоблена «невидимым и жутким дебрям» за Зеленой Стеной. Математические и логические терзания Строителя, очевидно, отражение размышлений самого Замятина — инженера и математика. Фрагмент из записного блокнота Замятина, недавно опубликованный А.Тюриным, представляющий полемический отклик на концепцию «математического идеализма» П.А. Флоренского, конвергенцию математики и христианской апокалиптики, образовавшей фундамент теории «катастрофического прогресса» В.Эрна, по сути, своеобразный научный «комментарий» к роману.<sup>31</sup>

Л. Силард справедливо обратила внимание на то, что в романе Замятина традиционное противопоставление стихийно-природного, естественного начала тоталитарному, машинно-арифметическому и химическому устройству Единого Государства углублено другим конфликтом: «...мнимая геометрия используется Замятиным для противопоставления арифметически управляемым, извне детерминируемым сознаниям Д-503 не управляемое арифметикой, иррациональное сознание 1-330, несущее в арифметически урегулированный мир Благодетеля взрывные энергии».<sup>32</sup> Высшая математика в романе восстает против элементарной арифметики.

Замятин писал Анненкову: «Какой-то мудрый астрономический профессор (фамилию забыл) вычислил недавно, что вселенная-то, оказывается, вовсе не бесконечна, форма ее сферическая и радиус ее — столько-то десятков тысяч астрономических, световых лет. А что, если спросить его: ну, а дальше-то, за пределами вашей сферической и конечной вселенной, — что там?»<sup>33</sup> Замятин слукавил. Он, конечно, не забыл фамилии «астрономического профессора». Ее

<sup>31</sup> Фрагмент из записного блокнота Е.Замятина // *Studia Slavica Hung.* 33/1 — 4. 1987. С. 238.

<sup>32</sup> Силард Л. Андрей Белый и П.Флоренский: (Мнимая геометрия как встреча новых концепций пространства с искусством) // Там же. С. 238. Абсолютно права Л.Силард, подчеркивая высокую значимость научного, логико-математического конфликта для понимания художественно-философской концепции романа: «...носителем персонализма, противостоящего тотальной унификации, в романе “Мы” оказывается персонаж, символизирующий внеположность арифметики и евклидовой геометрии: эта широко понимаемая внеположность подчеркнута тем, что в характеристике 1-330 сливаются признаки “искомой величины” («икс»), иррационального (первое появление ее в романе приравнивается к встрече с «случайно затесавшимся в уравнение неразложимым иррациональным членом») в то время как имя ее есть символ мнимого числа ( $1 = [\text{корень}]-1$ )» (Там же. С. 237).

<sup>33</sup> Литературная учеба. 1989. № 5. С. 119.

Замятин назвал в очерке «Белая любовь»: «Миллионы Чичиковых, вероятно, в неистовом восторге от того, что заблудившийся в софизмах Эйнштейн вычислил, что вселенная — конечна, и радиус ее равен стольким-то миллиардам миллиардов верст...» (323).

А следовательно, именно с Эйнштейном спорит Замятин. С великим Эйнштейном, открытиям которого были «сорваны с якорей самое пространство и время» (416). И по сравнению с ними Замятину «маленькими революционками кажутся все политические перевороты». <sup>34</sup> Не забыл Замятин «заблудившегося в софизмах» Эйнштейна и в романе «Мы». В сцене, где ирония писателя достигает особенной силы, Замятин «помещает» Эйнштейна (лаконичный портрет ученого, мыслителя: «Лоб — огромная парабола, на лбу желтые, неразборчивые строки морщин») на сиденье рядом со Строителем в одной из благоуханнейших стерильных уборных Единого Государства. Там-то и сообщает он Строителю о своем открытии: уже почти вычислил, что бесконечности нет (осталось лишь подсчитать числовой коэффициент), а следовательно совсем близка уже и «философская победа». Эта «победа» сродни той, о которой язвительно рассуждал подпольный человек: «...настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные ответы». <sup>35</sup>

Однако тоталитарное государство не заинтересовано ни в каких «философских победах» и даже благонамеренных «открытиях», тем более что они влекут за собой (неизбежно) новые вопросы, ведущие к будущим открытиям и т. д. до бесконечности. Единое Государство «идеальной несвободы» зиждется на самых простейших и только поэтому незабываемых началах: здесь уже все и навечно открыто. И в глазах Благодетеля Строитель и его исполненный самых благих намерений сосед — в равной степени еретики, сомневающиеся, что-то пытающиеся доказать, задающие вопросы.

Естественно, что их вместе прямо из благоустроенной уборной поволокут в Операционную, чтобы уничтожить «фантазию», удалить «душу». Эйнштейнам и Строителям в Едином Государстве нет места. Наука упраздняется. Мозг высыхает. Любовь устраняется как иррациональное и, по сути, преступное старозаветное занятие. И само собой, преследуется свободное искусство. Так в романе. Так и в письме к Анненкову: «Люди смазаны машинным маслом, начищены и точны, как шестиколесный герой Расписания. Уклонение от норм называют безумием. А потому уклоняющихся от норм Шекспиров, Достоевских и скрябиных — завязывают в сумасшедшие изоляторы и сажают в пробковые изоляторы». <sup>36</sup> Торжествует победу «футурология» Шигалева—Петра Верховенского: «Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! ...Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина!» <sup>37</sup>

Замятин сказал об А. Белом: «Белый был сыном этой эпохи (начала XX века. — В.Т.), одной из тех родственных героям Достоевского, беспокойных русских натур, которые никогда не удовлетворяются достигнутым. Быть модным поэтом, даже одним из вождей новой литературной школы — для него скоро оказалось мало: он искал для себя ответов на самые мучительные “вечные”

<sup>34</sup> Замятин Е. Соч. Мюнхен, 1988. Т. 4. С. 523.

<sup>35</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. С. 113.

<sup>36</sup> Литературная учеба. 1989. № 5. С. 119.

<sup>37</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 10. С. 322.

вопросы. Он искал их всюду: на заседаниях петербургского “религиозно-фило-софского общества”; в прокуренных студенческих комнатах, где спорили всю ночь до утра; в молельнях русских сектантов и на конспиративных собраниях социалистов; в чайных и трактирах, где под выкрики подвыпивших извозчиков вел тихую беседу какой-нибудь русский странник с крестом на посохе...» (345).

Жизненный и творческий путь Замятина во многом, очень во многом был иным, хотя и неоднократно пересекался с дорогой А. Белого.<sup>38</sup> И ответы на «самые мучительные “вечные” вопросы» он искал в других местах. Но поиски эти отличались тем же максимализмом, тою же ненасытностью, невозможностью успокоиться на достигнутом, поставить точку. «Идеал» же Единого Государства — именно последняя и окончательная точка (даже восклицательный знак подозрителен своей эмоциональностью). Потому-то так страшен и трагичен финал романа «Мы»: «Но на поперечном, 40-м проспекте удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить» (154).

Но лишенный «души», «фантазии» Строитель уже не ученый, а скопец и робот с погашенными желаниями и заряженным на простейшую арифметическую программу мозгом. И он уже не имеет права рассуждать о разуме. «Победа», в которой уверен герой, равнозначна смерти, коллективному самоубийству. Точка в романе — это насильственно прерванный процесс бесконечного познания, попрание «живой жизни».

Есть в романе и другой финал, который несправедливо было бы назвать «предварительным»: ликующий вопрос Строителя, обращенный к Соседу-Эйнштейну, вопрос свободного человека с «душой» и «фантазией»: «Вы должны — вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная вселенная? Что там — дальше?» (153). Не просто вопрос, а, так сказать, вопрос вопросов, прозвучавший и в письме к Анненкову и в статье-манифесте «О литературе, революции, энтропии и прочем».

Замятин на протяжении многих лет предпринимал энергичные попытки добиться публикации романа в СССР. Они не увенчались успехом. Но писатель не отчаивался, продолжал пропагандировать роман, многократно выступая перед различными аудиториями Ленинграда и Москвы с чтением глав из «Мы». Чтение сопровождалось докладами Замятина, разъяснявшего смысл романа. Допустить смерть любимого детища писатель не мог. И он с вызовом предпосылает статье «О литературе, революции, энтропии и прочем» эпиграф из текста ненапечатанного романа. А далее исключительно сжато, но в то же время эмоционально, ярко разворачивает проблематику «Мы», посылая тревожные SOS с мачты петербургского корабля: «Сейчас можно смотреть и думать только так, как перед смертью: ну, вот умрем — и что же? прожили — и как? если жить — сначала, по-новому, то чем, для чего?» (448). Вопросы, устремленные в завтра, равно «детские» и вечные: «Так спрашивают дети. Но ведь дети — самые смелые философы. Они приходят в жизнь голые, не прикрытые ни единым листочком догм, абсолютов, вер. Оттого всякий их вопрос нелепо-наивен и так пугающе-сложен. Те, новые, кто входит сейчас в жизнь, — голы и бесстрашны, как дети, и у них нет, так же как у детей, как у Шопенгауэра, Достоевского и Ницше, — “зачем?” и “что дальше?”. Гениальные философы, дети и народ — одинаково мудры: потому что они задают одинаково глупые вопросы» (448—449).

Вот на пересечении «глупых», «детских», «гениальных» вопросов, поставленных у самых последних стен (зеленых, высоковольтных, бетонных и др.) и

<sup>38</sup> Думаю, что Л. Силард сильно преувеличивает, утверждая, что «роман “Мы” откровенно ориентирован на “Петербург” как на прототекст...» (Силард Л. Андрей Белый и П.Флоренский. С.237)

состоялась встреча Замятина-Строителя с Достоевским. «В какой-то мере вся человеческая культура до сих пор остается протестом против смерти и разрушения, против увеличивающегося беспорядка или увеличивающегося единообразия — энтропии», — писал Вяч. Вс. Иванов.<sup>39</sup> Мощно звучит этот протест в творчестве Достоевского и Замятина.

---

<sup>39</sup> *Иванов Вяч.Вс.* Категория времени в искусстве и культуре XX века // Structure of texts and semiotics of culture. 1973. Mouton. P.149.

## «...СИГНАЛЫ ЛЮДЯМ БУДУЩЕГО»

(О ДНЕВНИКЕ М.ПРИШВИНА 1930 ГОДА)

Неизвестные дневниковые страницы М.Пришвина, появившиеся из-под спуда и запрета, которым сам автор определил увидеть свет в непомерно отдаленном будущем, «далеко после нас»,<sup>1</sup> представляют собою не только образцы замечательной русской прозы, но — прежде всего — свидетельство несломленного художнического духа в страшнейшие годы нашей недавней истории.<sup>2</sup>

М.Пришвин вел дневники, как известно, всю жизнь, почти ежедневно, с большой скрупулезностью и аккуратностью. Будучи страстным фотографом, он, как правило, требовал и от своей дневниковой прозы четкого, правдивого изображения быстро сменяющих друг друга, выпадающих из непрочной человеческой памяти мгновений жизни. Многое из того, что было им зафиксировано в дневниках без какой-либо преднамеренной и прагматической цели, было затем использовано в художественных произведениях. Можно сказать поэтому, что пришвинские дневники не только запечатлевали время, но и являлись обширной творческой лабораторией. Свообразие его дневников заключается также не только в подробной и обширной информации о времени, в их достоверности и т.д., но и в явной их художественности: дневниковая фраза, при всей ее летучести и эмпирической прикрепленности к злобе и нуждам дня, тем не менее образна по своей внутренней структуре, изящна по стилистике и нередко глубоко поэтична по своему духовному потенциалу.

Дневники М. Пришвина никогда не публиковались полностью, т.е. без купюр и изъятий, вызванных идеологическими и цензурными соображениями. Сама правдивость создавала непреодолимые препоны к их опубликованию в подлинном виде. Это относится ко многим годам, но в особенности к дневникам, где он фиксировал события конца двадцатых — начала тридцатых годов, т.е. время так называемого «великого перелома». Достоверно воспроизведенные эпизоды той эпохи, факты, штрихи, детали обогащают нашу историческую память бесценной информацией, полученной, так сказать, из первых рук.

Купюры, производившиеся в пришвинских дневниках, включенных в Собрание сочинений, последний том которого (именно с дневниками) вышел уже в годы перестройки, в 1986 году, поражают своей жестокостью по отношению к авторскому тексту. Из дневников изымалось все, что свидетельствовало о

---

<sup>1</sup> Пришвин М. 1930 год. Дневник писателя // Октябрь. 1989. № 7. С.177. Далее ссылки на эту публикацию даются в тексте.

<sup>2</sup> В этой статье мы рассматриваем лишь дневник 1930 года, оставляя пока в стороне дневниковые записи последующих лет, опубликованные журналом «Октябрь» в 1990 году, поскольку именно дневник, посвященный эпохе «великого перелома», зафиксировал один из самых трагических и, безусловно, кульминационных моментов в творческом и философском развитии писателя.

времени с известной прямою, а также, почти неизменно, все те места, где писатель размышлял по поводу описанных им событий.

Вот один характерный пример. В Собрании сочинений запись от 6 января 1930 года выглядит так: «Со вчерашнего дня оттепель после метели».<sup>3</sup> Однако тот же день, т.е. 6 января 1930 года, в журнальной публикации дневника выглядит совершенно иначе:

«Сочельник. Со вчерашнего дня оттепель после метели. Верующим к Рождеству вышел сюрприз. Созвали их. Набралось множество мальчишек. Вышел дефективный человек и сказал речь против Христа. Уличные мальчишки радовались, смеялись, верующие молчали: им было страшно сказать за Христа, потому что вся жизнь их зависит от кооперативов, перестанут хлеб выдавать — и крышка! После речи своей дефективное лицо предложило закрыть церковь. Верующие и кое-какие старинные: Тарасиха и другие, — молчали. И так вышло, что верующие люди оставили себя сами без Рождества и церковь закрыли. Сердца больные, животы голодные и постоянная мысль в голове: рано или поздно погонят в коллектив...» (с. 141).

И так на всем протяжении публикации дневника за 1930 год в Собрании сочинений — изъято все, что свидетельствует о напряженной обстановке в деревне, т.е. о насилии властей, о недовольстве крестьян, подавленных не только закрытием церкви и «отменой» Рождества, но и тоскливым предчувствием, что «рано или поздно погонят в коллектив». Коллективизация шла уже полным ходом, и М. Пришвин в своих дневниковых записях полностью захвачен надвигающимися событиями.

Знаток крестьянской жизни, быта и психологии мужика, этнограф, фольклорист, землеустроитель, он прекрасно знал и понимал деревенскую Россию. Надвинувшаяся со стороны «дефективных» людей беда, грозившая уничтожением традиционного крестьянского мира, принималась им близко к сердцу, и весь его дневник 1930 года пронизан острой душевной болью и тоской.

По-видимому, именно этот роковой год был для М. Пришвина самым тяжелым в его жизни, а может быть, и переломным. Пантеистический характер его мироощущения, неизменно дававший опору и устойчивость духа, поддерживавший жизнеутверждающее начало в «творческом поведении» художника, впервые за многие годы испытал серьезнейший кризис. В этом отношении его мироощущение было близким трагизму Н. Клюева (создателя «Погорельщины») и А. Платонова («Котлован», «Чевенгур», «Усомнившийся Макар», «Впрок»).

«Моя печаль в этом году, — записывал он 8 ноября, — перешла в отчаяние, потому что я ведь художник, я отдал уже этому всю свою жизнь, и вот это последнее, артист-писатель сбрасывается вниз... как последний балласт, чтобы власть могла продолжать еще немного лететь. Мое отчаяние велико, потому что вместе с этим творческое начало жизни, сама личность человека падает. Я у границы того состояния духа, которое называется “русским фатализмом”, мне стало чаще и чаще являться желание выйти из дому в чем есть и пойти по дороге до тех пор, пока в состоянии будешь двигаться, и, когда силы на передвижение себя вовсе иссякнут, свернуть с дороги в ближайший овраг и лечь там. Я дошел до того, что мыслю себе простым, вовсе не страшным этот переход, совсем даже и не считаю это самоубийством... Меня удерживает от этого перехода привязанность к нескольким людям, которым без меня будет труднее. И потому каждый раз, когда я около решения идти в овраг, меня останавливает жалость к близким и вдруг озаряет мысль: зачем же тебе еще идти в овраг, сообрази, ведь ты уже в овраге...» (с. 176).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Пришвин М.М. Собр.соч.: В 8 т. М., 1986. Т. 8. С. 209.

<sup>4</sup> Кстати, именно выбрав Овраг, начинают рыть Котлован, свою коллективную могилу будущего, герои повести А. Платонова, написанной, как и дневник М. Пришвина, в 1930 году.

Какие печальные, страшные, пронзительные слова! И какое чисто русское («русский фатализм») желание уйти от зла мира, раствориться в народе, в безымянности — желание знакомое всему миру по уходу Льва Толстого. Пусть масштабы несоизмеримы и поводы-причины очень различны, но в отчаянии М.Пришвина есть нота, сближающая его с великими и бесчисленными, малыми и знаменитыми искателями правды, всегда жившими на Руси.

Кризис духа и творчества, пережитый М. Пришвиным в 1930 году, был, что очень важно, обусловлен не столько внутренними и чисто, так сказать, художническими исканиями, сомнениями в своем «ремесле», его возможностях и т.д., но — прежде всего — ощущением страшной катастрофы, потрясшей крестьянскую Россию. Он увидел, что, подобно обреченной Атлантиде, она уже стала погружаться в небытие, в историческую пропасть, разверзшуюся на его глазах почти внезапно, во всяком случае с ужасающей душой стремительностью. Он был певец Руси, того крестьянского мира, который, по его убеждениям, подкрепленным, казалось бы, всем предшествующим многолетним жизненным опытом, ладно и почти гармонично соприкасался и жил вместе с природой. Земной, природный календарь властвовал над былинкой, зерном, брошенным в почву, и — людским вековечным обиходом. Вся жизнь он прислушивался к миру природы и находил в нем множество созвучий с миром людей. Они всегда — в его сознании — были взаимосвязаны и взаимопроницаемы, здесь — основа основ его мироощущения, несколько языческого и потому, при всем понимании им космического трагизма жизни, оптимистического.

В 1930 году, судя по дневнику, все его мысли, чувствования, переживания сосредоточились не на «природном», а на социальном. Он и прежде никогда не был только художником-пейзажистом, в чем его любила упрекать социологическая критика, но теперь именно социальное начало стало интересовать его в первую очередь и в особо обостренной форме, доходя до степени чрезвычайной и мучительной сосредоточенности.

Главное, что его интересует и потрясает, это вопросы морали и нравственности, всегда бывшие как бы вечными и незыблемыми, как звезды на небе, но теперь, едва ли не в одночасье, ставшие относительными, так как появилась «классовая мораль» и «классовая нравственность». По М.Пришвину, это жестокая нелепость, которая ведет к рекам крови и слез.

«Возможно и, вероятно, — записывает он 3 июля 1930 года, — нельзя отрицать этого, что классы в нашем обществе существуют и что классовая борьба неизбежна. И еще больше допускаю: надо не отказываться и самому от этой борьбы и, если тронет за жилу, хватать что есть под рукой и швыряться. Но жизнь в интимном мире, в творчестве, в семье, среди друзей и просто частных людей, вступающих с тобой в бескорыстные, скажем, праздничные отношения, — в этом мире всего мира надо жить так, будто никаких классов нет в обществе, люди все равны, все достойны беседы с тобой, открывая для всех двери своей хижины — и тоже сам смело иди к мудрецу и простецу за советом и радостно, не обращая ни малейшего внимания на его происхождение и его классовое самосознание.

Скажи я эти слова до революции, они бы казались обращенными к гимназистам 3-го или 4-го класса — до того уж мораль эта была общепринята. Теперь же мои слова нигде не напечатывают и ожесточенно будут ругать как отрывку мещанской морали.

Слезы и кровь в наше время, как две большие реки, бегут и почему-то, видимо, так надо, до конца должны бежать, и если родники слез и крови станут иссякать, то ты стань коленкой на живое — и еще много выжмется.

Почти прямо так и говорят и сестер милосердия наставляют классовых врагов лечить во вторую очередь, и маленьких детей ненавидеть родителей и предавать

их как классовых врагов. Воевать хорошо и нажимать коленкой на павших, но выстроить что-нибудь с такой моралью нельзя и, я думаю, продолжать жизнь людей на земле невозможно. (В твою комнату входит этот человек, будто бы новый, как друг, удивляется твоим словам, восхищается, а потом предаёт тебя, заявляя с поднятой вверх головой, что для партийца нет ничего частного, все частное есть общее)» (с.160—161).

М. Пришвин в глазах многих, в том числе и расхожей критики, казался писателем почти максимально удаленным от современности. Это обычно и ставилось ему в вину, когда упрекали за уход в природу, за созерцательность, за отсутствие интереса к текущим проблемам дня. Такой подход к художнику был вульгарен и глубоко несправедлив. М.Пришвин, начиная со своих ранних книг, всегда откликался на современность как очень чуткий и точный резонатор, но откликался по-своему, в соответствии с особенностями присущего ему таланта. Жизнь природы, в которую он вслушивался и вглядывался с неизменным вниманием и восхищенным трепетом, была для него своеобразной линзой, и через нее мир общества людей просматривался под необычным углом зрения. Эта «оптика» давала ему возможность соотносить частную жизнь не только с той «общей», о которой он только что упомянул в своей дневниковой записи, протестуя против уничтожения «частного» в классовом, а с общечеловеческими ценностями, с разумными законами бытия, на которых держится не только общество, но вся жизнь, включая Вселенную. Победа классовой морали ужасала его, так как противоречила всему его существу, была глубоко враждебна всему художественно-философскому миру. Именно в 30 году, а не в годы революции, когда подлинно человеческое еще жило ранней (но и последней) надеждой на свое торжество в недалеком будущем,— именно в 30 году М. Пришвин пережил, по-видимому, кульминацию своего разочарования в так называемом социалистическом обществе и крайнее, непримиримое, исполненное глубочайшего трагизма отчуждение от него.

Говоря об отчуждении и непримиримости М.Пришвина, надо учитывать вместе с тем важнейший момент, определявший многое и едва ли не самое существенное в его «творческом поведении». Дело в том, что и отчуждение и непримиримость никогда не затрагивали основ его отношения к природе, родной земле и народу, возделывающему землю, по которой, к несчастью, текут реки народной крови и слез. Есть природа, родная земля, народ — и есть правительство, временно и зловеще узурпировавшее власть над окружающим миром.

М.Пришвин в своем дневнике 1930 года внимательно вглядывается прежде всего в деяния власти, он хочет постичь механику, саму систему подавления и уничтожения общечеловеческой морали. Постепенное размыwanie, крушение и бесчеловечное уничтожение крестьянского мира, нарушившее, в его представлении, извечный, природный круг вещей, было признаком и началом величайшей национальной катастрофы.

Пожалуй, именно М.Пришвин в дневнике 1930 года, только сейчас вышедшем в свет, сформулировал эту мысль с отчетливостью и убежденностью. Ни одну из подобных мыслей он не мог высказать тогда ни устно, ни печатно, как, впрочем, и многие другие честные художники того времени, произведения которых лишь в наши дни выходят наконец из забвения. Свои дневники М.Пришвин по праву рассматривал как «сигналы людям будущего...» (с.144), если, правда, эти сигналы бедствия еще успеют пригодиться.

В дневнике 1930 года М.Пришвин рассматривает действительность почти исключительно с социальной и политической точки зрения: удивительно и вместе с тем характерно, что в этом дневнике, в отличие от всех других, фактически нет даже пейзажных зарисовок, таких неотъемлемых от его прозы, в том числе и дневниковой. Он по преимуществу заинтересован политическими и эко-

номическими анализами и прогнозами, и здесь у М.Пришвина немало очень точных и убийственных по своей меткости характеристик. Он, в частности, приходит к выводу, что на тринадцатом году после революции в стране сложилась и все более укрепляется «личная диктатура». Доискиваясь до причин превращения так называемой «диктатуры пролетариата» в диктатуру Сталина, он приходит к выводу, что исток трагедии следует искать в разрушении демократического принципа, с чего, по его мнению, революция, к несчастью, и началась, потому что, пишет он, «из множеств партий у нас после падения царизма в конце концов взяла верх одна и уничтожила все другие...» (с.161). Далее, развивает свою мысль М.Пришвин, начался «внутри партии... отбор личностей, исключаящий одного, другого до тех пор, пока не останется личность одна. Теперь это Сталин... Вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей своей наготе...» (с.161).

Сталин, по М.Пришвину, это апофеоз разрушительной антигуманной силы. «Мистика погубила царя Николая II, — саркастически замечает он, — словесность погубила Керенского, литературность — Троцкого. Этот гол, прям, честен, вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени...» (с.161).

Он пишет о том, как постепенно, но быстро уничтожались все «левые» и «правые» уклоны, эти странные и бессильные рудименты старых или несостоявшихся партий, чтобы после самоистребления, отпав, словно ненужные или отрубленные сучья, оставить в конце концов один — голый и прямой — ствол личной диктатуры: Сталина.

Подобные характеристики делают честь прозорливости М.Пришвина, они подтверждаются нынешними исследованиями того времени.

Вообще дневник 1930 года интересен и своеобразен тем, что в отличие даже от непосредственно примыкающего к нему дневника 1931 и 1932 года, также впервые без изъятий опубликованного лишь в наши дни, он наиболее, так сказать, политизирован и идеологизирован. Все наблюдения над жизнью, все факты, штрихи, детали, новые словечки в разговорной речи деревенских людей, пригородных или горожан служат отправной точкой для широких ассоциаций общественно-политического свойства. В дневнике 1931—1932 годов уже появляется «природа», делаются пейзажные зарисовки, даются столь характерные для М.Пришвина приметы времен года, хотя, надо сказать, что и в этих дневниках их все же исключительно мало. Но что касается рассматриваемого нами дневника 1930 года, то, кроме редких упоминаний об «оттепели», «дожде» (обычно в назывном, нераскрытом, не «философическом» виде), природа — постоянный, неизменный и прежде чуть ли не поглощавший все художественное внимание объект пришвинского наблюдения, изучения, восторга, вслушивания, собеседования — в этой своей традиционной для писателя роли, можно сказать, исчезает, уступая свое место «обществу».

Дневник 1930 года буквально переполнен, насыщен разнообразными наблюдениями, которые сейчас, по прошествии времени и с высоты наших обогащенных знаний о той эпохе, служат своеобразными документальными свидетельствами о том, что общественная жизнь людей отчаянно, хотя и безуспешно сопротивлялась учиненному над обществом бесчеловечному «эксперименту». М.Пришвин ни разу не преувеличивает ни силы, ни значения такого сопротивления, но он все же не раз подмечает его и стремится выжать из каких-то самых незначительных фактов хотя бы малую толику надежды. Главное сопротивление идет против колхозов. Всеми способами, изобретая лазейки, люди стремятся не попасть в капкан «коллектива».

«Тимофей рассказывал, — записывает М. Пришвин свой разговор с загорским мужиком, — как у них в Бабашине приезжали уговорщики, 6 человек. “Добровольно?” — спрашивали их. “Мы, — говорят, — никого не насилуем”. А когда

за коллектив поднялось только 5 рук, сказали: “Ну, мы еще приедем и посильнее нажмем. У вас и «постричь» надо”.

“Постричь” — значит, разорить более состоятельных, признав их за кулаков.

Мужики, вообще привычные к войне, к стихийным бедствиям, и готовы бы и в коллектив идти, но удерживает что: удерживает страх перед тем, что корову, лошадь отдать, сарай отдать на общий сарай, а потом, глядишь, все не состоится и вернется назад ни к чему, по миру ходить и мира не будет...

Правда, — добавляет М. Пришвин, — страшно до жути. Хотя и мелочи тоже ужасны, например, молоко от коровы: доили корову, ребятишек кормили, а тут корова пошла в коллектив, и молоко твое увезут на продажу, а если тебе надо, свое же молоко купи.

Везде на улицах только и разговору, что о коллективе. В Доме крестьянина за чаем вдруг женщина ни с того ни с сего разревелась. “Что ты?” — спрашивают. Баба отвечает: “Перегоняют в коллектив, завтра ведем корову и лошадь...”» (с.143).

Мужик относится к коллективизации как к глубочайшей несправедливости и обиде и потому ведет против нее войну, но, правда, совершенно безысходную, полную отчаяния и слез. Это — война «ползучая», эмпирическая, почти партизанская — за клочок сена, за аршин покоса, за поросенка, даже за хозяйственную утварь, которую тоже ведь «обобществляют». Народное терпение, констатирует М.Пришвин, неистощимо — к коллективизации относятся как к «стихийному бедствию»: бывали же на Руси чума, мор, голод, авось, в Кремле поймут, что «стричь» уже нечего, и если всех хозяйственных мужиков выслать, а других, вместе с бабами и детьми, уморить голодом, то кто же будет пахать и сеять?..

К наиболее выразительным и глубоким по социальному прогнозированию относятся те страницы дневника, где М.Пришвин описывает ситуацию, сложившуюся после появления знаменитой статьи Сталина «Головокружение от успехов».

Внимательно и с глубоким состраданием наблюдает он за тем, как среди крестьян, уже, казалось бы, потерявших надежду, вспыхивает радость: бабы утирают слезы, мужики принимаются за хозяйство — всем кажется, что «стихийное бедствие» кончилось: переждали, выстояли и отпартизанили.

«Манифест Сталина, — записывает М.Пришвин, — вызвал бурю радости у мужиков...» (с.146). Он фиксирует сценки, разговоры, свидетельствующие об ожившей народной надежде на справедливость, не забывая, однако, каждый раз отметить полнейшую, хотя и трогательную наивность подобного отношения к «манифесту». Загнанные в колхоз выходят из него с радостью и без опаски. В записи от 24 марта он приводит разговор со своим загорским знакомым Алексеем Михайловичем Егоровым о том, как у них тотчас после сталинской статьи распался совхоз. «...В эти дни, — рассказывает пришвинский знакомый, — когда вышла газета с первым манифестом свободы, пришел один в сельсовет и подал заявление, без всяких объяснений, молча, что он из колхоза выходит. Вслед за ним другой и тоже молча, и третий, и повалили все, и никто не сговаривался, все молча каждый за себя отказались.

И как иначе, — сказал А. М., — если в газетах было запрещено насилие: какой человек охотой пойдет в принудиловку? Осуществили у меня корову (обобществили), осуществили лошадь, свинью зарезать велели и (1 нрзб.) представить. А в газетах говорят, что корова, лошадь, изба моя, огород, все это мое и вещи все мои. На каждую вещь я имел охоту, за каждой вещью я как за лисицей охотился. И когда я остался без охоты в коллективе, стал всякую мою вещь, нажитую охотой, спускать за бесценнок, чтобы не себе и не им. Без вещей и без охоты шел я в коллектив, как на войну околевать, и вдруг читаю в газетах, чтобы никакого принуждения не было и все шли в колхозы только по доброй своей воле. Как прочитал, пошел в сельсовет и подал заявление молча...» (с.148).

Подобных примеров, с различными вариантами, М. Пришвин приводит несколько. Он старательно записывает рассказы крестьян, полностью при этом понимая, что над ними, над мужиками, над деревней свершается новый обман, причем обдуманно-коварный — с целью временно снять чрезвычайное напряжение, расслабить волю к сопротивлению, хотя бы и пассивному, внушить одновременно некоторое доверие к высшей власти, принявшей наконец-то за «перегибщиков», «уговорщиков» и наиболее ретивых так называемых «двадцатипятидесятчиков», — власти, пекущейся, дескать, о крестьянстве, но за разными великими государственными делами упустившей досадные пережесты с коллективизацией. Сейчас вся эта механика, связанная со статьей Сталина «Головокружение от успехов», уже достаточно разъяснена и историками, и экономистами, и социологами-психологами, и надо сказать, что новейшие исследования не пошли в своих выводах дальше тех, что были сделаны еще в 1930 году М.Пришвиным и другими трезво смотревшими на жизнь и близко принимавшими к сердцу народную жизнь писателями. Автора дневника не обманул действительно происшедший после сталинской статьи перелом в крестьянском мироощущении в сторону своеобразной, хотя и опасно-кратковременной эйфории. В этой связи он записывает (по свежей памяти), что было на деревне «до газеты». «В последние дни («до газеты») страх в народе дошел до невозможного. Довольно было, чтобы на улице появился какой-нибудь неизвестный человек с папкой в руке, чтобы бабы бросались прятать добро, а если нечего прятать, то с болезненным чувством ожидать какой-нибудь кары. Тимофеева Мария рассказывала, что бабы по вечерам бегали друг к дружке, сговаривались в случае беды мужиков услатить куда-нибудь в лес, а на сходку выходить одним бабам, потому что мужиков со сходки берут, а баб оставляют с детьми, а если бабу взять, то и детей надо. И обещались бабы стоять до последнего и в коллектив ничем не соглашаться. Так и ожидали этой сходки, как смерти: помрем вместе с ребятишками, подохнем с голоду, а в коллектив не пойдем...» (с.149).

Действительно, можно ли себе представить больший взрыв радости, чем известие в «газете», что все происшедшее было вроде дурного сна.

М. Пришвин внимательно слушает эту радость и глубоко, потаенно, открываясь лишь в дневнике, скорбит по поводу очередной ужасной, как бы освященной самим «рабоче-крестьянским» правительством провокационной лжи. Если 1929 год был годом «великого перелома», то 1930-й — это год великого обмана и незамедлительно последовавшей расправы с народом, доведенным сначала до «невозможного... страха», а затем до минутной расслабляющей радости. Это коварство «восточного деспота» было разгадано М.Пришвиным в самый момент появления «газеты». Для него как писателя не существовало, в отличие от массы народа и от значительной части художников, периодов «до-газетного» и «после-газетного», а был один, длившийся с 1917 года и почти без перерывов период геноцида, учиненного в угоду сначала так называемому социальному «эксперименту» по построению социализма в «одной отдельно взятой стране», а затем для утверждения верхнепартийной и личной диктатуры. Он пишет (5 марта), что «манифест» Сталина, вызвавший бурю радости у мужиков, — это «искусный прием, сдерживающий прорыв гнилого нарыва» (с.146). Фанатики-партийцы, отстаивавшие «сплошную коллективизацию» (он их называет «черносотенцами») и теперь как бы дискредитированные в глазах деревни, естественно, были недовольны «газетой», что, по мнению М.Пришвина, обнаружило лишь их недалекновидность, так как на самом деле, по его убеждению, временная передышка, умышленно и коварно созданная Кремлем, была лишь подготовкой к «большой войне», т.е. к «большому террору». «Весь вопрос, — пишет он, — когда мы хлебнем эту, верно уж, и последнюю для нас чашу горя...» (с.146).

Размышляя на страницах дневника 1930 года о том, что происходит в стране, предчувствуя «большую войну» и последнюю, может быть, предсмертную для нации «чашу горя», М. Пришвин был далек от мысли, впоследствии достаточно распространенной, что вина — в одном Сталине, в его непревзойденном коварстве и деспотичности. Он винит одновременно со Сталиным и его окружение — не только ближайшее, куда он относит всех известных тогда общественно-политических деятелей высшего ранга, но и более широкое, как бы расходящееся кругами по стране, вплоть, как ни парадоксально, до того бедняка Еремина в деревне Бабашино, который — один! — держал в страхе все население, ссылаясь на свои «особые» (поскольку бедняк) права. Но круги, расходящиеся по стране и превратившие ее вскоре в огромный Гулаг, — это, по М. Пришвину, все же следствие: он хочет доискаться до мотивов, заставивших бывших «пламенных» революционеров и передовых деятелей оправдывать истребление собственного народа, в особенности наиболее даровитой, хозяйственной и талантливой его части, названной кулаками. Раздумывая в этой связи об интеллигенции, приближенной к «верхам», упоминая разных лиц, в том числе А. Толстого, Горького, Каменева, он называет их «барами марксизма», филистерами, успокоившими свою совесть наивной, созданной для одурачивания теорией «перегибов», неизбежных заблуждений на великом пути проб и ошибок.

Здесь он бескомпромиссен, субъективен и готов к самым резким и несправедливым оценкам. Его оценки, однако, при всей их беспартийности, а подчас и известной прямолинейности, не учитывавшей подлинной внутренней трагедии отдельных лиц (Горький), постоянно корректировались, проверялись и многократно перепроверялись жизненной практикой, широким потоком входившей на страницы дневника и вдумчиво анализировавшейся писателем, как правило, всесторонне, с явную надеждою обнаружить зерна истины и хоть какого-то позитивного начала.

«После манифеста, — пишет он например, — мало-помалу определяется положение: сразу вскочили цены на деревенские продукты, это, значит, мужик стал продавать в пользу себя, а не распродавать ввиду коллективизации» (с.146). Кроме того, мужик вроде перестал опасаться «большой войны». Как ни удивительно, но подобная надежда — на мир, вместо «большой войны», — промелькнула, правда всего лишь в одной строчке и, наверно, под непосредственным влиянием беседы с мужиком, и у самого М. Пришвина. Он даже стал подсчитывать «убытки», которые принесла стране коллективизация, в особенности знаменитые «перегибы», как будто дальше никаких убытков уже не будет.

Однако сама жизнь, как сказано, постоянно корректировала М. Пришвина. Дневник интересен не только тем, что на его страницы занесено множество впечатлений, характерных штрихов и т.д., воссоздающих тогдашнюю жизнь, но и обнажением самой механики, с какою жизнь воздействует на писательское мышление, оберегая его от «догм» и «теорий».

М. Пришвин живет в Загорске, встречается там с интеллигенцией, главным образом старой, дореволюционной, даже аристократической, что в его глазах живо связывает современность со стародавней историей и с теми духовно-культурными традициями, которые отчасти еще бережно сохранялись среди «бывших», но большей частью на его же глазах варварски обрывались и уничтожались.

Этот пласт, связанный с Загорском, тоже входит в дневник и хотя не занимает там исключительного места, так как главное внимание писатель уделяет процессам и драмам, происходящим в деревне, все же очень важен: он подпитывает собою наблюдения Пришвина и дает известную устойчивость его душевному равновесию. Да, колокола сброшены с Троице-Сергиевой лавры, но ведь так бывало на Руси — горели храмы, бедствовал народ, люди запирались в крепостях, умирали или побеждали супостата, и родная земля вместе со своим народом вновь оживала. Он любит слушать бывшего князя Владимира Михайловича Голицына, сидящего

на лавочке у своего бедного домика, знающего всех окрестных ребят по имени и рассказывающего о стародавних временах: о встречах в детстве с царем Николаем Первым, с екатерининскими вельможами, о бароне Геккерне и о своем учителе по русскому языку Шевыреве... История приближалась к глазам и слуху живо и почти осязаемо. Он читает исторические книги, сохранившиеся в библиотеке Голицына, вновь перечитывает уже опального Флоренского, штудирует К.Левонтьева. М.Пришвин ищет аналогий, и аналогии — по жестокости и изуверству — всегда, к несчастью, находятся. Но такого — тотального, безумного и практически не нужного, а потому уже как бы и патологического — уничтожения духовной и материальной культуры народа, как «при большевизме», еще не было.

Загорск был важным звеном в духовной жизни М. Пришвина, но он был все же не деревня, которая интересовала писателя прежде всего или по преимуществу. И тем не менее Загорск, безусловно, помогал ему лучше понимать духовно-культурный мир деревенского люда и уклада, поскольку его размышления о российской истории, оживленные загорскими «старцами» и старинными книгами, давали возможность шире, вне расхожих и узаконенных «классовых» шор видеть и анализировать действительность. Нравственные устои, сохраненные народом, противостояли разрушениям и запретам общества «пролетарской диктатуры». М.Пришвин внимательно подмечает и фиксирует все такие факты, но сидящий в нем объективный исследователь отмечает, что общая тенденция, если иметь в виду внутреннее разрушение культуры в среде самого народа, идет к худшему. «...В области культуры, — с горечью пишет он, — молодежь подчеркнуто выступает против отца, по невежеству не понимая его дела, по мещански-индивидуальному устремлению забывая о всем, кроме себя» (с.147). Здесь речь идет, конечно, о традициях.

И снова — от страницы к странице этого необыкновенного дневника — работает пришвинская мысль, ища выхода из положения, которое он сам же то и дело называет безвыходным, тупиковым. «Мне хочется добраться, — пишет он, — до таких ценностей, из которых складывается творческая жизнь, я стараюсь разглядеть путь коммунизма и, где только возможно, указать на творчество, потому если даже коммунизм есть организация зла, то есть же где-то, наверно, в этом зле проток и к добру: непременно же в процессе творчества зло переходит в добро. Дело в том, что у меня есть общие корни с революцией...» (с.165).

Приток в жизнь добра, может, по М.Пришвину, осуществиться, следовательно, через творчество — подобно тому, как это происходит у любого ремесленника или мастера-одиночки (каковым писатель и является). Ремесленник выделяет нужную вещь, и если она пригодна к употреблению и красива, она тем самым вносит в жизнь и добро и красоту.

На страницах дневника 1930 года выразительно и драматично запечатлена им и эта его последняя надежда: вырваться из круга зла посредством творчества и тем самым сквозь массив зла, как капля точит камень, прорыть маленькое животворное русло к свету. А там, с разных сторон, возможно, побегут и еще такие же ручейки... Взять хотя, снова вспоминает он, «Погорельщину» Клюева.

Непосредственно в связи с такими надеждами на возобновление творчества, чисто художественного, а не только производственно-очеркового, возникают его поездки в Москву, а вместе с ними и записи о тогдашней литературной жизни, быте, нравах, методологических требованиях руководства и т. д. Все эти вопросы — и чисто литературные и практически организационные, связанные с издательствами, — живо интересуют М.Пришвина, и он вводит их в дневник, который становится не только документальным свидетельством жизни коллективизирующейся деревни, но и содержит немало характерных примеров тогдашней литературно-общественной жизни.

Главное, что его интересует, это вопрос вопросов: можно ли писать художественное так, как ты этого хочешь сам, а не по указке, возможно ли, несмотря

на разгул политической дикости и вульгарного социологизма, творить по законам «сокровенного мира»?

Надо сказать, что и до различных встреч в Москве, до посещения издательств, до разговоров с некоторыми из московских писателей М. Пришвин, в сущности, был уверен, что пора более или менее «свободного» творчества давно миновала. Когда М. Пришвин записывал в своем дневнике слова о «сокровенном искусстве», о необходимости для художника быть свободным, он, разумеется, не имел в виду ни так называемого «чистого искусства», которого был всегда чужд, ни какого-либо бегства от действительности в вымышленный и далекий от реальной жизни мир, но он не хотел, чтобы над ним тяготел «социальный заказ», чтобы его «организовывали» в писательские «бригады», чтобы художественное решение было ему навязано или внушено заранее. Пришвин приходит к мысли, что, подобно ремесленнику-кустарю, он вполне может дать государству часть работы, которой от него требуют, — например, как гончар, сработавший горшок, а затем ушедший в свой семейный дом, где он может заниматься своими личными делами, так и писатель Михаил Михайлович Пришвин способен сделать честный, хорошо написанный производственный очерк («горшок»), а потом уйти в свой сокровенный мир и вместо производственного «горшка» создать другое. Конечно, такое раздвоение вряд ли пройдет даром, но М. Пришвин некоторое время не видит для себя другого выхода. Более того, ему кажется, что и обычные трудящиеся, не верящие в социалистические лозунги, уставшие от карательных акций, ставшие рабами, как бы уже раздвоились. Возникла в массовом масштабе психология двух моралей: для общества, для собраний на заводе или в сельсовете и для разговора по душам — дома. «Галерные рабы социализма» — к такому выводу приходит М. Пришвин, наблюдая не только крестьян, но и рабочих на московских фабриках и... писателей, своих товарищей по перу. Его порою охватывает отчаяние: ведь даже если галерный раб взбунтуется, то он все равно не знает, ни куда вести корабль, ни как им управлять. Галерный раб может обрести некоторую свободу, вернее сказать, ее иллюзию лишь у себя в душе, незаметно от надсмотрщика. Ужас, однако, заключается в том, что, как в знаменитом стихотворении Р. Киплинга, раб уже любит свою галеру и даже гордится ею. А надсмотрщики таковы, что они видят своих рабов насквозь. «Личное уничтожается всеми средствами, чтобы рабочий находил радость свою только в общественном. Таким образом, новый раб(очий) уже не может ускользнуть от хозяина, как раньше, — в сокровенную личную жизнь под прикрытием хорошего исполнения хозяйского дела. Теперь он весь на виду, как бы просвечен рентгеновскими лучами...» (с.164).

Своеобразная (и роковая) ошибка «попутчиков», размышляет Пришвин (сам, как известно, причислявшийся к «попутчикам»), заключалась в том, что они, как в прежние времена, когда социализм был еще более-менее «наивен», думали под прикрытием хорошо сделанного хозяйского дела получить «вольную» — почти ту самую, что и выслужившиеся при крепостном праве крестьяне, особенно из дворовых или лакеев. «Они не разумели, — саркастически резюмирует М. Пришвин, — что против того темного времени рабства социализм далеко ушел вперед и обладает какой-то малопонятной способностью видеть раба насквозь. Попутчики этого не учли и, после того как отдали свои силы, были просвечены и грамоту вольности не получили...» (с.164).

Кто же «просвечивает всякую личность?» — спрашивает себя М. Пришвин и отвечает: во-первых, «ничтожнейший человек-политвошь, наполнивший всю страну», именно эта «вошь» в своей совокупности и представляет тот аппарат, который «просвечивает всякую личность», а во-вторых, сама сформировавшаяся массовая психология, когда раб радуется своему рабству и даже целует плеть, которую его загоняют в рабство социализма...

Где же спасение для писателя? Размышлениями на эту тему и наполнены главным образом те страницы дневника 1930 года, на которых М.Пришвин, временно оторвавшись от поглощающих его деревенских тем, описывает свои мытарства в литературно-издательской Москве.

Он упоминает писателя Б., интересного для него тем, что тот, в сущности, придерживается старой психологии раба, конечно, утонченнейшего, — он очень искусно закрывается усердной работой, притом без затраты своей личности: это не выслуга. Конечно, он в постоянной тревоге, чтобы его не просветили, и в этой тревоге заключается все-таки трата себя, расход: легко дойти до мании преследования, тут весь расчет в отсрочке с надеждой, что когда-нибудь кончится «господство зла» (с. 164).

Как уже сказано, сам М. Пришвин решил для себя «спасаться иначе» (с.165), т.е. прорыть в горе зла, сооруженной государством и все более и более возвышающейся над людьми, погребавшей их под собою, «проток к добру».

Однако, размышляет он далее, чтобы прорыть «проток к добру» и не быть просвеченным, а также не заболеть манией преследования, уже угрожающей «писателю Б.», надо, во-первых, для видимости установить с «горю зла» вполне официальные, дозволенные отношения, например выполнять «кустарную работу», пойти под ярмо «литературной поденщины» — для заработка, для жизни и для отвода глаз. «Надо временно вступить, — пишет он, — в детскую, вообще в спецлитературу...» (с.169).

«Если пятилетка удастся, то ценою окончательного расстройств жизни миллионов» (с.169), — подводит он итог своим раздумьям о пятилетнем плане, но поворачивает опять в свою сторону: надо все же рыть «проток к добру» — в будущее: даже если все рухнет, поскольку сам народ, «голодный, чахлый и забитый», производит впечатление «как бы исчезающего», то все же на «протоке к добру», как на живой воде, прорастет неизбежно новая жизнь.

Так, в сущности, написан весь дневник 1930 года, самый, по-видимому, трагический из всех многочисленных дневников М.Пришвина. В нем, при множестве угнетающих сознание писателя безотрадных фактов, поистине трагических ситуаций и общем ясном понимании губительной тупиковости общественного развития, все же постоянно возникают те «протоки к добру», о которых он пишет как о внутренней, глубоко скрытой цели своего творчества, направленного в далекое будущее, когда все пятилетки неизбежно, как он полагает, развалятся, поскольку они выдумка и химера, но Россия — возродится, благодаря бесчисленным протокам к добру, неискоренимо живущим в народной толще.

Задача писателя — всем своим существом, слухом, зрением, обонянием, но прежде всего словом ощущать невидимую, подземную, кротовью работу добра и света, непрекращаемую, по его мнению, никаким насилием.

Подобно тому, как Блок в свое время призывал слушать «музыку Революции», так М. Пришвин — правда, в силу деспотических условий, молчаливо, лишь на страницах дневника, но вскоре и в художественных произведениях, посвященных главным образом природе, призывает слушать «музыку гуманизма»: журчание протоков к добру.

Он не раз говорит в дневнике, что самое страшное, что произошло в послереволюционное время, это разрушение гуманизма.

Крушение гуманизма, по его убеждению, приобрело едва ли не окончательный, смертельный характер, вследствие гибели крестьянского мира, т.е. самых устоев и начал, самого монолита народной жизни.

С горечью и глубоким страданием вглядывается он в очертания этого, безусловно, самого трагического события русской послереволюционной истории, очевидцем которого ему довелось быть. Здесь — источник глубочайшего трагизма его мироощущения, с предельной искренностью и пронзительной исповедальностью запечатленного им на страницах дневниковой прозы 1930 года.

## О СОЛЖЕНИЦЫНЕ И ЕГО ЭСТЕТИКЕ

Творчество Александра Исаевича Солженицына — писателя, мыслителя, публициста — наиболее выдающееся явление современной литературы России. И дело отнюдь не в том, что Солженицын получил признание во всех странах мира и был заслуженно удостоен в 1970 году Нобелевской премии по литературе. Многие писатели, получившие в свое время Нобелевские премии, давно забыты. Уже творчество первого лауреата Нобелевской премии французского поэта Сюлли-Прюдома несоизмеримо с творчеством таких его великих современников, как Толстой, Чехов, Ибсен или Стриндберг, а имена Генриха Сенкевича и Пауля Хейзе — с именами Блока, Райнера Марии Рильке, Гуго фон Гофманстала или Станислава Выспянского. Из романов Перл Бак сохранил свое значение для современного читателя лишь один первый роман ее трилогии — «Земля». И как бы высоко мы ни оценивали ряд произведений многих других лауреатов Нобелевской премии — таких, как Синклер Льюис, Жан-Поль Сартр или Генрих Бёлль, — вряд ли их произведения можно сравнить по значению для человеческой культуры и цивилизации со значением «Одного дня Ивана Денисовича», «Архипелага Гулага» и «Красного колеса».

Некогда Гете, обращаясь к молодым поэтам, сказал — и я думаю, что он был совершенно прав, что главные достоинства писателя — достоинства его личности. И в Солженицыне мы должны, в первую очередь, отдать дань своего уважения именно могучей, титанической личности этого несгибаемого человека. Мощь личности Солженицына, которая постоянно проявлялась и проявляется в каждом его слове и поступке, позволила ему восторжествовать и над щедро выпавшими на его долю, как и на долю других людей России, тяжелыми переживаниями военных и лагерных лет, и над угрозавшим его жизни смертельным физическим недугом, и над теми гонениями, надругательствами и оскорблениями, которым подвергли его наш тоталитарный общественный и государственный строй 40—70-х годов и литературные прислужники этого строя.

С самого начала своей литературной деятельности Солженицын заявил о себе как писатель, ощущающий себя нераздельной частью нашего истерзанного народа, умеющий сочувствовать ему всем сердцем, живущий с ним одной жизнью и говорящий его голосом. Лагерный работяга, зэк «Ш-854» Иван Денисович Шухов и старая крестьянка Матрена Васильевна из всеми забытой и оставленной российской глубинки, бывший студент, а в лихую военную годину младший лейтенант железнодорожной линейной комендатуры Вася Зотов, уборщица тетя Фрося, московский интеллигент актер Тверитинов, заброшенный судьбой при выходе из окружения на станцию Кочетовка и погибший из-за того, что он по старой интеллигентской привычке назвал Сталинград Царицыным, учительница Лидия Георгиевна и ее многочисленная и разноголосая ребячья паства обрели в Солженицыне свой живой человеческий голос, так же как неведомый историкам Мамаева побоища неусыпный смотритель и хранитель Куликова поля Захар Калита. И точно так же в романах Солженицына — «В круге первом», «Раковом

корпусе» — в грандиозном многоголосье «Архипелага Гулага», а позднее в задуманном еще в юношеские годы историческом цикле романов «Красное колесо» и в его публицистике все более крупно перед нами вставала тема России, ее прошлого, настоящего и будущего, а вместе с тем все более явственно и отчетливо зазвучали голоса всех слоев ее населения, людей нескольких поколений, разных взглядов и убеждений, представителей противоположных мнений, противоборствующих позиций и политических партий.

Солженицын унаследовал от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова и других великих русских писателей-классиков в качестве главной темы своего творчества тему России. Этим определяется исключительный художественный масштаб и нравственный накал его творчества, его место в современной русской литературе.

Это вовсе не значит, что все в творчестве Солженицына равноценно и заслуживает столь же однозначной оценки. Я совершенно не согласен с утверждением, что есть два разных Солженицына — писатель и публицист — и что как публицист Солженицын неизмеримо уступает Солженицыну-писателю.<sup>1</sup> Не согласен я и с попыткой одного из талантливых современных филологов-классификаторов отнести Солженицына к лагерю «постмодернизма»,<sup>2</sup> тем более что смысл этого одного термина мне мало понятен. Но я готов согласиться с Сашей Соколовым, что «книжный» Солженицын, Солженицын «Красного колеса», несмотря на всю грандиозность замысла этой исторической эпопеи, все же уступает по художественной мощи Солженицыну — изобразителю «живой жизни», т. е. тех его произведений, в которых воображение писателя питалось непосредственным, живым опытом и причастностью к нашей современности.<sup>3</sup> И свою небольшую статью я посвящаю не «Красному колесу» и даже не романам Солженицына, а его повестям, написанным до его насильственной высылки из России.

Как известно, Солженицын начал свой писательский путь еще в лагере. В эти годы он писал и стихи, и пьесу, и, вероятно, обдумывал свой первый роман, осуществленный позднее. Однако первым его печатным произведением стал «Один день Ивана Денисовича», задуманный в 1950—1951 годах в Экибастузском особом лагере, заверченный в 1959-м и опубликованный в 1962 году. В этой замечательной повести впервые талант Солженицына достиг совершенства. Так же как Пушкин и Гоголь, Солженицын должен был пройти путь от повести к роману. В «Одном дне Ивана Денисовича» раскрылась вся мера солженицынского гения. В этом небольшом рассказе изображен целый мир. Не создав «Ивана Денисовича» и не достигнув того уровня художественного совершенства, которым отличается эта повесть, Солженицын, думается, не смог бы создать ни своих больших романов «В круге первом» и «Раковый корпус», ни «Архипелага Гулага», ни «Красного колеса».

Уже в начале своей литературной деятельности Солженицын осознал себя писателем, стремящимся прежде всего к выражению Правды живой жизни во всей ее полноте. В этом смысле характерна художественная декларация, открывающая рассказ-миниатюру «Пасхальный крестный ход» (1966).

«Учат нас теперь знатоки, — решительно и твердо пишет здесь Солженицын, — что маслом не надо писать все, как оно точно есть. Что на то цветная фотография. Что надо линиями искривленными и сочетаниями треугольников и квадратов передавать мысль вещи вместо самой вещи. А я недоразумеваю, какая цветная фотография отберет нам со смыслом нужные лица и вместе в один кадр патриарший крестный ход патриаршей переделкинской церкви

<sup>1</sup> *Воздвиженский В.* Солженицын, который? // *Огонек*, 1991. № 47. С. 28—30; № 48. С. 4—6.

<sup>2</sup> *Живов В.М.* Как возвращается «Красное колесо» // *Новый мир*. 1992. № 3. С. 248.

<sup>3</sup> *Соколов Саша.* Жизнь и книга (Интервью) // *Литературные новости*. 1992. № 7. С. 2—3.

через полвека после революции. Один только этот пасхальный сегодняшний ход разъяснил бы многое нам, изобрази его самыми старыми ухватками, даже без треугольников».<sup>4</sup>

Приверженность Солженицына правде жизни вовсе не означает, что его искусство лишено поэтического — и даже более того — символического начала. Не означает она также, что Солженицын как художник не рос и не развивался в течение своего творческого пути и что его художественная манера от одного произведения к другому не претерпевала существенных изменений. Как каждый подлинный художник, Солженицын постоянно изменялся вместе с самой жизнью, ощущал ее живые потребности и запросы и в соответствии с этим от художественного стиля рассказов и повестей переходил в своих романах к новым, более тонким формам сюжетно-композиционного построения, а от них — к таким грандиозным многоголосым романам-исследованиям эпического размаха, как «Архипелаг Гулаг» — одно из величайших достижений художественного документализма в мировой литературе XX века — и цикл исторических романов-исследований «Красное колесо», в котором от жизни послереволюционной России он обратился к изучению того исторического хода событий, который привел Россию к роковым ошибкам и неудачам первой мировой войны, а затем к имевшим для страны губительные последствия Февральской и Октябрьской революциям 1917 года.

Однако, о чем бы ни писал Солженицын и как бы ни изменялась его художественная манера в соответствии с теми задачами, которые он перед собой ставил как художник и мыслитель, он всегда стремился говорить не языком «искривленных» линий и не «сочетаниями треугольников и квадратов», а извлекать «мысль вещи» из изображения «самой вещи». Его творчество было столь же полемично по отношению к нашей официозной литературе и публицистике, сколь и к различным ухищрениям так называемого «левого» искусства XX века, стремящимся не к изображению и анализу «самих вещей», а к их деформации.

В этом смысле не случайна полемика Солженицына с Эйзенштейном, к которой он дважды обращается в «Иване Денисовиче».

В первый раз вопрос об оценке творчества Эйзенштейна всплывает в разговоре между московским интеллигентом Цезарем Марковичем (прототипом его был, по-видимому, известный московский филолог-правозащитник Лев Зиновьевич Копелев) и стариком-«двадцатилетником», который познал прелесть и царской и советской каторги.

«— Нет, батенька, — мягко этак говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. “Иоанн Грозный” — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье, — сурово отвечает старик. — Так много искусства, что уже и не искусство. И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции» (3, 54). «Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов» (там же).

Но Солженицын осуждает Эйзенштейна не только за то, что тот выполнил «собачий» заказ Сталина, изменив великому завету Пушкина: «истина выше царя».

Несколькими страницами дальше Солженицын обращается к тому фильму Эйзенштейна, который когда-то стал в глазах едва ли не всего мира классическим шедевром советской кинематографии, символом нового советского искусства — к «Броненосцу Потемкину»:

<sup>4</sup> Солженицын А.И. Малое собр. соч. М., 1991. Т. 3. С. 231. Далее ссылки в тексте.

«Уговаривает Цезарь кавторанга:

— Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните?

— М-да... — Кавторанг табачок покуривает.

— Или коляска по лестнице — катится, катится.

— Да — но морская жизнь там кукольная, — твердо и решительно отвечает кавторанг, — офицеры все до одного мерзавцы. А кто же их (матросов. — Г.Ф.) в бой водил? Потом черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели такие были?» (3, 76).

Искусство Эйзенштейна не удовлетворяет Солженицына не только с нравственной и политической, но и с художественной точки зрения.<sup>5</sup> Это не правда самой жизни; а легенда, творимая художником, готовым то с помощью любых художественных образов прославлять героиню революции, то служить тирании, не задумываясь о простом человеке и его реальной судьбе. По суровому приговору Солженицына, это искусство, но искусство «кукольное», искусство, настолько изощренное и довлеющее самому себе, что оно «уже не искусство». Зато рассказ об одном простом, будничном дне ээка «Щ-854» и его товарищей, на советской каторге, изображенном во всей своей будничной каждодневности, — это, по Солженицыну, настоящее искусство — искусство правды, а не «возвышающий обман» легенды.

«Один день Ивана Денисовича» — не просто небольшая повесть или рассказ. Это — *высокопоэтическое* произведение, поэма о жизни простого русского человека в условиях унижительного и бесчеловечного тоталитарного сталинского режима.

Солженицын прибегает в «Одном дне Ивана Денисовича» к тем художественным средствам, которыми пользуются Евангелие, «Слово о полку Игореве», великие эпические памятники мировой поэзии.

Не случайно в начале повести мы встречаем цитату из Нового Завета: «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (3, 19).

Повесть распадается на своеобразные ритмические периоды (или колонны), в каждом из которых господствует одно главное ударение, подчеркивающие поэтический характер «саги» об Иване Денисовиче. Прозаический текст ее граничит со стихотворным.

«Теми же быстрыми движениями //  
Шухов свесил на перекладину бушлат, //  
повытаскивал из-под матраса рукавички, //  
еще пару худых портянок, //  
веревочку и тряпочку с двумя рубезками //  
Опилки в матрасе чуток разровнял //  
(тяжелые они, сбитые), //  
одеяло вкруговую подоткнул, //  
подушку кинул на место — //  
босиком же слез вниз и стал обуваться, //  
сперва в хорошие портянки, новые, //  
потом в плохие поверх» (3, 19).

Эти строки написаны как бы своеобразным тоническим стихом, напоминающим стих русской былины, а порою и пушкинскую «Сказку о Балде».

<sup>5</sup> «Всякая революция любит зрелище, и любит смотреть сама на себя», — напишет Солженицын позднее в «Апреле семнадцатого» (Новый мир. 1992. № 11. С. 171).

В подтверждение сказанного приведу еще один пример, хотя число подобных примеров можно было бы умножить до бесконечности:

«Баланда не менялась ото дня ко дню, //  
зависело, какой овощ на зиму заготовят. //  
В летошнем году заготовили одну соленую морковку — //  
так и прошла баланда на чистой моркошке с сентября до июня. //  
А нонче — капуста черная. //  
Самое сытное время лагернику — июнь: //  
Всякий овощ кончается и заменяют крупой. //  
Самое худое время — июль: //  
Крапиву в котел секут» (3, 13).

В последней из приведенных цитат я бы хотел особенно отметить синтаксический повтор, напоминающий былины и другие произведения русской народной поэзии: «Самое сытное время лагернику— июнь...» И через строку: «Самое худое время — июль».

О том, что народно-песенная поэтика повторов и антонимов имеет в «Одном дне Ивана Денисовича» далеко не случайный характер, свидетельствует то, что повесть начинается утром, а кончается вечером, что в ней описываются и утренний восход солнца, и вечерняя заря. И, наконец, повесть делят на две части аналогичные фразы, произносимые двумя разными людьми: «Теплый зяблого разве когда поймет» (3, 17). И через шестьдесят страниц: «Гретому мерзлого не понять» (3, 74). Между этими двумя фразеологическими оборотами разворачивается основное действие рассказа «Один день Ивана Денисовича».

С целью подчеркнуть поэтическую природу рассказа об Иване Денисовиче, отмечу еще пронизывающие все повествование ассонансы и аллитерации: «Как это делается только в лагерях, Степан Григорьевич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером...» (3, 17).

Или:

«Шухову весело, что все сошло гладко, кавторанга под бок бьет и закидывает» (3, 72).

И далее на той же странице:

«Уж до них счет дошел. Прошла пятерка двенадцатая пятой сотни, и их двое сзади — Буйновский да Шухов» (там же).

«Месяц выкатывал все выше, в белой светлой ночи настаивался мороз» (3, 83).

«Подносы отдали. Павло сел со своей двойной порцией и Шухов со своими двумя. И больше у них разговору ни об чем не было, святые минуты настали» (3, 93).

Достоевский писал о картине художника В.И.Якоби «Арестанты на привале» в статье «Выставка в Академии художеств» (1861) и при этом вспоминая омский острог и его пестрое народонаселение: «Картина поражает удивительною верностью... Зритель видит на картине г-на Якоби настоящих арестантов, так, как видел бы их, например, в зеркале или в фотографии, раскрашенной с большим знанием дела. Но это-то и есть отсутствие художества. Фотографический снимок и отражение в зеркале — далеко еще не художественное произведение... Точность и верность нужны, элементарно необходимы, но их слишком мало... В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или, лучше сказать, видно, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически. Истинный художник этого не может; он отразится невольно, даже против своей воли, выскажется со всеми своими взглядами, с своим характером, с степенью своего развития... В старину сказали бы, что он должен смотреть глазами телесными и, сверх того, глазами души, или оком духовным... Допустим, что большею

частью арестанты так сживаются со своим безвыходным положением, что становятся ко всему равнодушны; но в то же время нельзя не допустить, что они люди. Так давайте же нам их как людей, если вы художник, а фотографиями их занимаются пусть френологи и судебные следователи».<sup>6</sup>

И в «Одном дне Ивана Денисовича», и в последующем своем творчестве Солженицын остался навсегда верен этому завету Достоевского. В «Одном дне Ивана Денисовича» не один, а множество людей, и все они — живые, и имеют свое лицо. Вячеслав Иванов признал верховным законом русской литературы принцип: «Ты еси!», т.е. признание права каждого человека — простого или сложного — жить в искусстве в своей неповторимой личной индивидуальности, со своим внутренним духовным миром. Уже Пушкин дал одинаковое право на существование, на выявление своего «я» и Пленнику, и Черкешенке, и Марии, и Зареме, и Алеко, и Старому Цыгану, и Петру, и Евгению. Он окружил лирическим ореолом образы Ленского, Онегина и Татьяны и отвел в «Онегине» равное место всем временам года. Осудив преступления Годунова и Самозванца, он показал нам также и человеческое лицо каждого из них, так же как позднее он гениально раскрыл сложный внутренний мир простого московского гробовщика Адрияна Прохорова, станционного смотрителя Самсона Вырина, дворянского «недоросля» Гринева и его странного «вожатого». В книге «Поэтика русского реализма» я постарался показать, что такая «многогеройность» — родовое свойство русской литературы, отличающее ее от значительной части литературы Запада, где в центре обычно стоит драма одного или двух главных героев. Солженицын глубоко усвоил эту родовую черту поэтики русской литературы. И при этом в своем отношении к народу он следует не традиции славянофилов или народнического направления, а традиции Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова. Его герои имеют каждый свое лицо и свой внутренний мир. Уже Пушкин показал, что в простом гробовщике дремлет и глубокая мысль, и гордость человека труда, и высокое нравственное сознание. Тем более это относится к Ивану Денисовичу, которого Солженицын наделяет глубоким чувством чести, личного достоинства, высоким чувством справедливости.

Иван Денисович — не покорная пешка, подвластная окружающей среде и обстоятельствам. Это человек со своим жизненным опытом, умный и наблюдательный, сообразительный и неумный в труде, прекрасно разбирающийся в людях. Автор любит его и побуждает нас полюбить своего героя и вместе с ним пройти его жизненный путь, вникнуть в его прошлое, настоящее и будущее.

При этом проза Солженицына необычайно плотна. Перед нами как будто бы всего лишь рассказ об ежедневной, будничной жизни «одного дня одного зэка». Однако это всего лишь иллюзия. Уже на первых страницах рассказа герой вспоминает: «как лошадей в колхоз сгоняли» (3, 11). А еще раньше перед читателем встает символический образ «Соцгородка» — «поле голое, в увалах снежных, и прежде, чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать. А потом строить» (3, 6). И дальше вокруг Ивана Денисовича возникают многочисленные образы его товарищей, каждый из которых имеет свое лицо и свой голос. И здесь же сурово и гневно обрисована вся бюрократическая свора врагов простого советского человека, во главе которой стоит «батяка усатый» (3,97) — Сталин.

Солженицына нередко обвиняют в национализме, в неприязненном отношении к другим народам. Это безусловно несправедливо. В «Одном дне Ивана Денисовича» он с уважением пишет об эстонцах и латышах, а в «Пасхальном крестном ходе» с полемической горячностью заявляет: «Евреев мы все ругаем, евреи нам бесперечь мешают, а оглянуться б добро: каких мы русских тем

<sup>6</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1979. Т. 19. С. 154.

временем вырастили? Оглянешься — остолбенеешь... Зажигают красные пасхальные свечечки — а от свечек они прикуривают, вот что!» (3, 283). Так что современные приспешники «Памяти» напрасно пытаются опереться на Солженицына — великого патриота России, однако отнюдь не разделяющего россиян внутри страны на «своих» и «чужих» и тем более не противопоставляющего враждебно русский народ другим народам Запада и Востока, несмотря на свое весьма скептическое отношение ко многим явлениям современной западной культуры (отношение, которое было свойственно — и об этом не лишним будет напомнить — также Пушкину, Достоевскому и Толстому).

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский показал, что в Мертвом Доме омского острога, вопреки насилию и унижению острожников, торжествовала жизнь, а не смерть. То же самое Солженицын в наши дни показал в «Одном дне Ивана Денисовича», в романе «В круге первом», в «Архипелаге Гулага». Каковы бы ни были преступления тоталитарного режима, они не способны убить в человеке человека. «Не стоит село без праведника» — это заключительная мысль повести «Матренин двор» (1963) и рассказа «Захар Калита» (1965—1966) лежит в основе также и других произведений Солженицына. И притом, как учит Солженицын, главное, что позволяет человеку выжить, — это отнюдь не смирение, а душевная стойкость, сила и мужество, глубокая внутренняя честность, трудолюбие, неспособность к любым компромиссам со злом и насилием, уважение к своей земле и ее прошлому, взаимная доброжелательность, способность прийти на помощь другому нуждающемуся в ней человеку.

В заключение мне хочется сказать еще два слова о рассказах Солженицына «Случай на станции Кочетовка» и «Как жаль». Оба эти произведения опровергают распространенное в некоторых кругах нашей интеллигенции представление о Солженицыне как о противнике интеллигентского слоя русского народа. Солженицын — враг «образованщины», т. е. той мнимой интеллигенции, которая считает своим долгом отказ от великих культурных традиций нашего прошлого и готова их предать во имя угождения очередной моде или во имя пустых псевдопрогрессивных и псевдодемократических фраз, никого ни к чему не обязывающих. Но он высоко ценит (и это показывает прекрасный рассказ «Как жаль», 1965) подвиг старой русской интеллигенции, не оцененной в годы царизма, а позднее униженной и поруганной советской властью, которая бросила ее на верную смерть в лагеря, вместо того чтобы по достоинству оценить ее независимый и созидательный труд на благо России и человечества. И точно так же в рассказе «Случай на станции Кочетовка» (1963) он рассматривает как величайшую трагедию тот разрыв и отчуждение, которые возникли в России между интеллигенцией и народом после октября 1917 года. Герои этого рассказа, дежурный помощник военного коменданта на станции Кочетовка Василий Зотов и случайно попавший на эту станцию актер Тверитинов, в сущности, оба хорошие люди. Но Тверитинов всю жизнь жил высокодуховной, независимой жизнью, посвященной семье и любимому искусству. И именно это побудило его пойти добровольцем на Отечественную войну, где он попал в окружение, а затем отстал от своего эшелона. Вася Зотов же, несмотря на все свойственные ему хорошие задатки, — типичный представитель и жертва современной «образованщины». «Его маленькая жизнь, — пишет автор о Зотове, — значила лишь сколько он может помочь Революции» (3, 74). 1937 год для Зотова — символ не сталинского террора, а войны в Испании. Загипнотизированный официальной советской пропагандой военных лет, Зотов готов в каждом неизвестном ему человеке подозревать шпиона или белогвардейца. И хотя Тверитинов нравится ему, а после того как он посмотрел на фотографии его дочери, жены и сына, Зотов испытал к нему на минуту сердечное сочувствие, именно благородная простота и независимость Тверитинова охлаждают его порыв. А когда обна-

руживается, что Тверитинов не знает названия Сталинграда и по-старому именуется его Царицыным, Зотов окончательно уверяется, что перед ним — переодетый враг. И он, только что горячо заботившийся о том, чтобы в поезде, за который он отвечает, не промокли одеяла, предназначенные для фронта, и чтобы на фронт были вовремя доставлены саперные лопатки, вырытые которыми окопы могли бы спасти жизнь советских воинов, отдает Тверитинова в руки НКВД, посылая его на смерть. И хотя его позднее продолжают мучить угрызения совести, спасти Тверитинова он уже и не может, и не хочет. Таков мрачный итог жизни страны, в которой народ расколот надвое, а свободная, независимая духовная жизнь вызывает подозрение и навлекает на человека смерть, навсегда губя нравственно одновременно с ним и того, чьей жертвой он стал.

Сегодня часто приходится слышать, что в русской литературе XIX века учительное начало преобладало над чисто художественным и что насущная задача современного писателя — отказаться от этой традиции русской классики и более свободно отдаться литературной игре. Нет ничего более несправедливого. Пушкин, Баратынский, Лермонтов, Тютчев, Тургенев, Островский, Некрасов, Ф. М. Достоевский, Толстой, Чехов, Блок, Ахматова, Цветаева велики именно своим искусством. Их величие состоит в том, что мысль и творчество были для них единым неразрывным целым. То же самое относится к Солженицыну. И все мы должны быть сегодня горды, что являемся современниками этого великого писателя и человека, ибо без таких людей и без таких писателей не только безнадежно оскудела бы наша великая культура, но и понизился уровень благоденствия, нравственного здоровья и человечности на всей нашей планете.

## ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Под *источниками* я понимаю отсылки к художественным и нехудожественным (научным, публицистическим, биографическим, мемуарным и пр.) сочинениям, так или иначе соотносящимся с анализируемым текстом. Они составляют или основную, или существенную часть реального и историко-литературного комментария, историко-литературных статей и книг, рассказывающих о литературных связях — традиции, преемственности, влияниях, прямом заимствовании либо скрытой и явной полемике. Без такого рода отсылок не обходится почти никакая исследовательская работа.

Суть того, чем автор собирается поделиться в настоящей статье, заключена в ее названии.<sup>1</sup> Дело в том, что указание на источник художественного произведения очень часто дается без особых доказательств, даже без мысли об их необходимости. Довольно, например, того обстоятельства, что одно произведение вышло в свет раньше другого, чтобы, по желанию исследователя и на его взгляд, первое тотчас оказалось «источником» для второго. Иначе говоря, в указании на тот или иной источник исследователь не видит проблемы. Раз высказанное мнение имеет способность укореняться, и, ничем не подкрепленное вначале, оно со временем приобретает вес в силу простого, но многократного повторенья. Вот почему представляется важным подумать об источниках художественного произведения как о теоретической проблеме.

Предлагаемые здесь соображения имеют самый предварительный характер. Они не являются четкой, обдуманной системой, которую можно было бы изложить в качестве ответа на поставленный вопрос. Речь идет именно о постановке вопроса, а не о возможном его решении. Следовательно, то, о чем будет говориться дальше, предполагает дополнения, исключения, корректировку. Если бы ответ был уже известен, работу нужно было бы назвать иначе — не «проблема...», но «критика источников художественного произведения», поскольку теоретическое осмысление указанной проблемы, доведенное до логического конца (до ответа на поставленный вопрос), должно свестись к установлению определенных принципов или правил, в соответствии с которыми можно было бы заключать о степени истинности либо ложности той или иной отсылки. Подобно тому как существует критика текста художественного произведения, должна существовать и критика его источников.<sup>2</sup> Но для этого должны быть сформулированы ее

<sup>1</sup> В основу статьи положен доклад, прочитанный на научном заседании в феврале 1989 года в ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР.

<sup>2</sup> Даже в отношении критики текста, области в высшей степени разработанной, дело обстоит далеко не просто. Из-за «порочной практики» исправлять непонятное, писал Бэкон, «издания наиболее тщательно выправленные часто являются наименее надежными» (Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1977. Т. 1. С. 380).

теоретические основы. Любые попытки, предпринятые в этом направлении, нам представляются заслуживающими внимания.<sup>3</sup>

Сейчас, пожалуй, это особенно актуально, так как в последнее время заметна очевидная тяга к «факту» в противоположность всевозможным умозрительным (спекулятивным) «концепциям». И уже одно указание на «факт» (источник цитаты, идеи, рассуждения, мотива и мотивов сюжета) кажется чем-то как бы реальным, солидным и безусловно более почтенным, чем разные «концепции», которые убежденные приверженцы «факта» склонны оценивать как более или менее добросовестное суемудрие. Проскальзывает даже крайняя мысль — мысль о том, что фактография и есть собственно наука, а остальное — досужие домыслы.

Разумеется, это не так. Если бы люди держались только фактов, они (ввиду неисчислимого множества и разнообразия этих фактов) и по сию пору их бы только описывали. Но это ничуть не подвинуло бы науку в глубину осмысления явлений, их связи и стоящих за ними закономерностей. Так обстоит дело в любой области знаний. Перебирание «фактов» напоминает, по мысли Ф.Бэкона, «хождение ощупью, как ходят ночью, трогая все, что попадает навстречу, чтобы выбраться на верную дорогу, тогда как гораздо полезнее и обдуманнее было бы... подождать дня или зажечь свет и затем уже вступить на дорогу. Истинный же метод... сначала зажигает свет, потом указывает светом дорогу: он начинает с упорядоченного и систематического опыта (т. е. с обдумывания, оценки и отбора фактов. — В.В.), отнюдь не превратного и отклоняющегося в сторону, и выводит из него аксиомы (т.е. общие положения. — В.В.), а из построенных аксиом — новые опыты (т.е. полученные общие положения служат систематизации и осмыслению новых явлений. — В.В.); ведь и божественное слово не действовало на массу вещей без распорядка!» И затем: «Правильно... построенный метод неизменной стезей ведет через леса опыта к открытию аксиом».<sup>4</sup> Наука начинается с правильного наблюдения, отбора фактов и ведет или должна вести к правильным обобщениям, устанавливающим связи и закономерности явлений. Поэтому Бэкон, будучи эмпириком (и не просто эмпириком, но и родоначальником новейшей эмпирической науки), различал «светоносные» и «плодоносные» факты (одни проливают свет, указывая путь; другие приносят прямую, непосредственную пользу) и, сопоставляя те и другие, отдавал безусловное предпочтение первым. Безграничное расширение фактического материала в любой области знаний не заменяет и не может заменить глубоких выводов и обобщений. В. Я. Пропп писал об этом применительно к сказке. По его мнению, собранного и опубликованного материала (записей сказочных сюжетов) вполне достаточно для теоретического осмысления, и новые публикации, как бы многочисленны они ни были, не способны радикально изменить уже известную науке картину. Следовательно, теоретический анализ сказки, который ученый и предпринял, можно было уже начать.<sup>5</sup>

Но в фольклоре свои проблемы. Особенности материала каждый раз определяют особенности метода и приемов научного изучения.

<sup>3</sup> Одна из последних работ на эту тему, побуждающая к размышлению, книга Р.Л.Белнапа: *Belknap R.L. The Genesis of The Brothers Karamazov. The Aesthetics, Ideology, and Psychology of Making a Text.* Northwestern University Press: Studies of the Harriman Institute, 1990.

<sup>4</sup> Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 45. Ср.: «...наукой в современном смысле слова является деятельность по получению новых знаний, а знания есть постижение истины (независимо от практических потребностей) ...К тому же, если смысл науки и право на ее существование ставятся всецело в зависимость от решения практических задач, она перестает быть наукой в строгом смысле слова и переходит в область прикладных дисциплин» (*Кессиди Ф.Х. Этические сочинения Аристотеля* // Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 10).

<sup>5</sup> Пропп В.Я. Морфология сказки. 2-е изд. М. 1969. С. 9—10.

Мы имеем дело с индивидуальным художественным текстом.<sup>6</sup> Его замкнутость всегда относительна. Произведение появляется в известное время, в известном месте, в том или ином отношении с литературной и культурной традицией. Попытки понять художественное произведение изнутри, вне исторического и культурного контекста (такие попытки, как известно, предпринимались преимущественно поклонниками структурализма), не отвечают природе исследуемого объекта и потому обречены на неудачу. Ведь прежде чем вести исследование, строго замкнутое пределами текста, необходимо доказать, что произведение ни с кем, ни с чем никак не связано. Но доказать это невозможно. Кроме того, для такого имманентного анализа необходима и абсолютная чистота исследовательского разума. Между тем любой ученый, предпринимая такой анализ, хоть что-нибудь да знает... об авторе, его эпохе, его предшественниках и современниках. Отсутствие «помех» и чистота восприятия в данном случае тоже невозможны. Поэтому гораздо плодотворнее оценить собственные знания, чем сделать вид, что их нет вообще. Да и нет никакой нужды изолировать художественное произведение от всего, что его окружает. Повторим еще раз: метод исследования зависит от природы материала, и нам не приходит, например, в голову идея подойти к художественному произведению с весами и линейкой.

Художественное произведение не существует само по себе. Другое дело, что связи этого произведения с тем, что находится вне его, могут быть и прямыми, и опосредованными. Здесь многое зависит от художника, от его эстетических и целевых установок. Л. Толстой, например, не любил «литературности» (всего, что могло бы на нее намекнуть), она его раздражала. Поэтому он, как правило, старался избегать в своих произведениях цитат, литературных отсылок. Так же поступал и Гоголь. Тот и другой стремились спрятать как можно глубже всякий литературный источник. Это же делал Поль Валери. Он говорил: «Работа поэта в значительной степени состоит в том, чтобы скрыть подлинные источники... Завершить работу означает... сделать как можно более непонятным процесс создания, преградить доступ к нему».<sup>7</sup> И дело здесь не только в своеобразной щепетильности творца, не желающего впускать кого бы то ни было в неприбранную мастерскую; по убеждению П. Валери, творец всегда, при всех обстоятельствах, «хочет оторваться от своих источников, отказаться от прежней почвы и стать в достаточной степени самим собой».<sup>8</sup>

Иначе думал и действовал Достоевский. Он не боялся обвинений в «литературности». Напротив, его произведения насыщены цитатами, реминисценциями, литературными именами. Источники были необходимы Достоевскому не только на стадии предварительной работы, но и в ее результате — готовом, законченном тексте. Ведь если у писателя нет нужды быть правильно понятым на стадии черновиков и набросков, то невнятность для читателя законченного произведения вряд ли бывает целью серьезных усилий. Обилие отсылок у Достоевского продиктовано самым существом его художественных принципов и задач: сложные мысли и вся их система в целом были бы читателю непонятны, если бы автор не указывал прямо в тексте, из каких положений он исходит, с кем или с чем соглашается, с кем или с чем спорит. Напомним, например, в этой связи роль «Станционного смотрителя» Пушкина и «Шинели» Гоголя в «Бедных людях». В отличие от П. Валери Достоевскому, для того чтобы оставаться самим собой,

<sup>6</sup> Под «текстом» мы понимаем основное словарное значение этого слова: «Слова, предложения в определенной связи и последовательности, образующие какое-либо высказывание, сочинение, документ и т.д., напечатанные, написанные или запечатленные в памяти» (Словарь русского языка: В 4 т. М., 1984. Т. IV (С-Я). С. 346).

См. в кн.: Генезис художественного произведения: Материалы советско-французского коллоквиума. М., 1986. С. 27.

Там же. С. 125.

нужно было сплошь и рядом не скрывать свои источники, а по возможности ясно обозначать их.

Но многочисленность отсылок имеет свои следствия. Благодаря этой многочисленности создается впечатление, будто произведения Достоевского, начиная с деталей, фраза за фразой, ситуация за ситуацией, не говоря уже о способах выражения, могут быть разнесены по разным источникам. Именно в этом направлении и к крайнему его пределу движется мысль американского ученого Р.Л.Белнэпа. Зная русскую литературу и творчество Достоевского очень основательно и из первых рук, исследователь, естественно, видит в произведениях писателя гораздо больше «источников», чем это кажется менее искушенному взгляду. Правда, источники ученый понимает в широком смысле: они охватывают весь жизненный опыт писателя, не оставляя ничего или почти ничего на долю частного разумения и фантазии. Главное соображение, которым он руководствуется при изучении генезиса романа «Братья Карамазовы» и которое он формулирует в виде общего правила, представляет собой своеобразное применение к явлениям литературного порядка известного закона о сохранении и превращении энергии: ничто не возникает из ничего и ничто в ничто не превращается.<sup>9</sup> К сожалению, указанный закон, приспособленный к решению задач литературоведческой работы, никак не связан со спецификой исследуемого материала — ни с искусством слова в частности, ни с искусством вообще. Формулировка общего правила здесь служит усложненной перифразой другого утверждения: все элементы художественного произведения имеют тот или иной источник. Но такое утверждение не является «законом»: оно не выведено из анализа хотя бы одного произведения в живой последовательности его мотивов и ситуаций. На самом деле это утверждение предшествует анализу и является не столько «законом», сколько постулатом, общей посылкой, воодушевляющей исследователя в его работе. В границах этого широкого постулата ученый действует, однако, с заметной осторожностью, которую диктует ему исследовательское чутье и уважение к изучаемому предмету. Конкретные сближения, сделанные в книге Р.Л.Белнэпа, не лишены оснований, и если, строго говоря, они часто и не относятся, на наш взгляд, к разряду источников, то не чужды менее изученной и потому более туманной и неопределенной области психологии творчества, обнимаемой понятием «генезис». Однако ясно, что там, где берутся на вооружение слишком широкие постулаты и где в конце концов решает дело чутье и осторожность, — там открываются возможности для самой безбрежной субъективности. Известно: чем более общий характер имеет утверждение, тем менее оно плодотворно в качестве руководства для каждого отдельного случая: «...мы знаем, что слишком общие положения... дают слишком малую информацию; более того, они даже делают науку объектом насмешек со стороны практиков, потому что приносят так же мало пользы в практической деятельности, как всеобщая география Ортелиа для поездки из Лондона в Йорк».<sup>10</sup>

В самом деле, из утверждения, что всякий мотив имеет тот или иной источник, отнюдь не следует правильность конкретного указания, конкретной отсылки. Даже, по-видимому, бесспорные случаи могут оказаться или сомнительными, или неверными. Например, «стишок», процитированный Макаром Алексеевичем Девушкиным в первом письме к Вареньке, Р.Л.Белнэп вслед за другими увязывает с началом стихотворения Лермонтова «Желание» («Зачем я не птица, не ворон степной...»)<sup>11</sup>. Комментируемый текст «Бедных людей» выглядит так:

<sup>9</sup> Белнэп Р.Л. Указ. соч. С. 103—104.

<sup>10</sup> Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 333.

<sup>11</sup> Белнэп Р.Л. Указ. соч. С. 32—33. Ср.: Белецкий А.И. Достоевский и натуральная школа в 1846 году // Білецький. Зібрання праць у 5 т. Київ, 1966. Т. 4. С. 330.

«А вот теперь весна, так и мысли все такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные; все в розовом цвете. Я к тому и написал это все; а впрочем, я это все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стихах и пишет —

Зачем я не птица, не хищная птица!

Ну и т.д. Там еще есть разные мысли, да Бог с ними!»<sup>12</sup>

Несмотря на очевидную близость сопоставляемых мотивов, отсылка к Лермонтову весьма сомнительна. Дело в том, что «Бедные люди» вышли в свет в 1846 году, написаны были примерно годом раньше, а стихотворение Лермонтова впервые появилось в печати много лет спустя (Отечественные записки, 1859. Т. 127. № 11). Может быть, Достоевский знал произведение Лермонтова по какой-нибудь рукописи (стихотворение датируется 1831 годом). Но чтобы установить этот факт, необходимы специальные разыскания. Без них указание на Лермонтова теряет под собой всякую почву. Если же учесть, что герой Достоевского говорит о «книжке», т.е. о стихотворении уже напечатанном, то никаких разысканий и предпринимать не нужно: ясно, что «рукописный» Лермонтов не имеет отношения к «стишку» Макара Алексеевича. И комментатор академического издания Достоевского поступил правильно, не упомянув о мнении А.И.Белецкого, впервые, кажется, связавшего слова Макара Алексеевича со стихотворением Лермонтова, и оставив эти слова без всяких пояснений. В качестве вполне вероятного допущения (но именно допущения) здесь скорее следовало бы назвать В. Г. Бенедиктова — прежде всего стихотворение «Порыв», опубликованное в «Одесском альманахе на 1839 год» и использованное позднее Н. А. Степановым для насмешливой подписи под одной из его карикатур, изображавшей самого поэта.<sup>13</sup> «Стишок», пародирующий Бенедиктова, случайно совпал с началом стихотворения Лермонтова, которое во всех прочих мотивах никак не соотносится с «Бедными людьми». Более косвенная, на первый взгляд, связь в действительности может оказаться ближайшей. Но затронутый здесь частный вопрос заслуживает отдельного и подробного разговора.

Я не думаю, что произведения Достоевского, как и любого другого художника, можно разложить на мотивы, отыскав для каждого подходящий источник. Но предположим, что кому-то удалось это сделать. Что из этого следует? Какой вывод? Разумеется, тот самый, которого опасался П.Валери, — вывод, что художник неоригинален. Однако такое заключение (если даже оставить в стороне степень обоснованности привлеченных «источников») было бы слишком поспешным и ничем не оправданным. Ведь оно предполагает, что читатель или исследователь, разделяющий эту мысль, убежден (разумеется, без доказательств), что сказанное в источнике вполне адекватно сказанному в новом тексте. Иначе говоря, собственную неспособность увидеть оригинальное в оригинальном произведении читатель или исследователь приписывает творческому бесплодию автора. Забавное великодушие — наделить другого собственной ограниченностью!

А между тем это одно из самых распространенных предубеждений, одна из самых распространенных ошибок. На ней, как правило, основывается сплошь и рядом или к ней сводится вся теория так называемых «влияний»: например, Державин, Батюшков, Жуковский «влияти» на Пушкина; Пушкин «влияти» на Гоголя; Гоголь «влияти» на Достоевского; Пушкин, Гоголь, Достоевский «влияти» на Чехова или Блока и т.д. Все на всех «влияти» — и никто не оригинален. Вот идея! Хотя, казалось бы, если никто из писателей не оригинален, то в чем

<sup>12</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 14.

<sup>13</sup> См. в кн.: Бенедиктов В.Г. Стихотворения. 2-е изд. Л., 1983. С. 731. (Библиотека поэта. Большая серия; комментарий Б.В.Мельгунова).

бы могло тогда выразиться их «влияние»? Неразрешимая загадка. Из этого затруднения невозможно выпутаться, не прибегнув к помощи софизмов.

В чем же здесь дело? Дело в том, что нельзя говорить о тождестве того, что сказано в источнике, и того, что сказано в новом произведении, *до* и *независимо* от анализа одной и другой художественных систем в целом, поскольку смысл любого фрагмента текста определен ближайшим и более широким контекстом, границы которого отмечены началом и концом художественного произведения — от заглавия до последней точки. Часть всегда зависит от целого. Поэтому *до* анализа и *независимо* от него было бы вернее, вопреки обыкновению, предположить не тождество по видимости совпадающих слов, фраз, предложений и т.д., а их различие, потому что целое (те произведения, в которые эти слова и фразы включены) уж точно не совпадает, не совпадает безусловно.

Итак, прежде чем говорить о «влиянии» и отсутствии оригинальности, нужно доказать, что идеи одного и другого художника ничем не отличаются, что они не претерпевают никаких изменений, будучи вовлеченными в новую цепочку отношений, и далее (если предположить тождество как-нибудь доказанным), что сумма частей (т.е. всех мотивов, к которым подсыкается источник и отсылка) равна целому, т.е. что смысл произведения исчерпывается содержанием отдельных фрагментов, заимствованным из самых разных «источников». Последнее доказать невозможно. Мы оставляем в стороне *порядок* высказывания (композицию), который никогда не бывает безразличным для смысла.

То, что мы именуем «влиянием», самим этим понятием чрезвычайно упрощая проблему, имеет прямое отношение к очень сложным явлениям — явлениям литературной или, шире говоря, культурной традиции. Известно, что вне традиций нет культуры. Она сохраняет живую связь поколений, преемственность духовного наследия, допускающего те или иные видоизменения, которые становятся в дальнейшем опорой для новых трансформаций. Общим источником для любого художественного произведения служит та или эта культурная традиция. И было бы ошибкой указывать без особых на то оснований какой бы то ни было случайный источник для традиционных идей и положений. Было бы вообще грубейшей ошибкой исследователя (не дилетанта) неумение разграничивать традиционные и нетрадиционные идеи, ситуации, темы, мотивы. Во время одного из публичных выступлений, транслировавшихся по телевидению, В.И.Белову задали вопрос (спрашивавшая представилась аудитории искусствоведом, т.е. специалистом, профессионалом), который должен был уличить писателя либо в невежестве, либо в недобросовестности: почему в романе «Все впереди» он, используя метафору «жизнь — театр», не сослался на Шекспира?

Очень странный вопрос для специалиста. Будто в художественном произведении обязательны отсылки! Да они и в научном трактате не всегда обязательны, иногда даже было бы лучше, если бы их там вовсе не было, потому что (случается и такое) они просто путают и сбивают с толку. Однако еще никому не приходило в голову требовать в качестве приложения к художественному произведению справочного аппарата. Что же бы в таком случае делали комментаторы, искусствоведы и специалисты? Мы не можем припомнить также, чтобы кто-нибудь упрекнул Пушкина за то, что он в первом же стихе «Евгения Онегина» слегка перефразировал Крылова («Мой дядя самых честных правил» вместо «Осел был самых честных правил»), если такая перифраза вообще входила в его намерения. Ю.М.Лотман пишет: «Встречающееся в комментариях к «Евгению Онегину» утверждение, что выражение “самых честных правил” — цитата из басни Крылова “Осел и мужик” («Осел был самых честных правил»), не представляется убедительным. Крылов использует не какое-либо редкое речение, а живой фразеологизм устной речи той поры (ср.: «он набожных был правил...» в басне «Кот и повар»). Крылов мог быть для Пушкина в данном случае лишь образцом

обращения к устной, живой речи. Современники вряд ли воспринимали это как литературную цитату».<sup>14</sup> Действительно, распространенный фразеологизм нет особой нужды комментировать. Но в этой конкретной ситуации решить вопрос не так-то просто. Первая фраза произведения слишком ответственна, Пушкин же (как и многие его читатели) знал Крылова наизусть. Если бы Пушкину нужно было избежать возникающей здесь ассоциации с Крыловым (ведь речь идет не только о фразеологизме, но о фразеологизме, уже использованном в широко известном стихотворном тексте), он мог бы приискать другое выражение. Вероятно, ассоциация с Крыловым Пушкина чем-то устраивала.

Однако вернемся к метафоре «жизнь — театр». Спрашивается, при чем здесь Шекспир? «Жизнь — театр» относится к области традиционных тем и мотивов. Если искать начало этой темы, мы дойдем до греческой и римской античности, древних драматургов (которых, естественно, подхватывают новые и новейшие), должны будем упомянуть Платона, Сенеку, Марка Аврелия и т.д. Эта метафора настолько была актуальной для древности, что разыгрывалась в самые, казалось бы, неподходящие для игры моменты. Так, Август, «умирая, попросил друзей, стоявших у его ложа, аплодировать ему, когда он испустит последний вздох, как бы сам сознавая, что он удачно сыграл в жизни свою роль».<sup>15</sup> Вот как об этом рассказывает Светоний: «Попросив зеркало, он велел причесать ему волосы и поправить отвисшую челюсть. Вошедших друзей он спросил, как им кажется, хорошо ли он сыграл комедию жизни? И произнес заключительные строки:

Коль хорошо сыграли мы, похлопайте  
И проводите добрым нас напутствием.

Затем он всех отпустил».<sup>16</sup> Специалист-искусствовед всех этих фактов не знает. Она знает Шекспира. И того не вполне, а отчасти. Например, ей неизвестно, что на театре, в котором играл Шекспир, была латинская надпись: *Totus mundus agit histrionem* («Весь мир актерствует»). Или она полагает, что эта латинская надпись сочинена Шекспиром? Напрасно. Это широко известное и часто цитируемое изречение Петрония (? — 66 н.э.). Воистину, Бэкон прав, сводя к краткому афоризму мысль Аристотеля: «Тот, кто обозревает немногое, легко выносит суждение».<sup>17</sup> Чем больше поле для сопоставлений, тем труднее бывает указать источник. Может случиться (и этой ошибки чрезвычайно трудно избежать), что, делая ту или иную отсылку, мы знакомим читателя не с писателем, а с собой.

Когда в произведении возникает традиционная тема, мотив и мотивы, нужно, по-видимому, указать в комментарии на эту традиционность, а затем отослать или к началу традиции (обычно это фольклор, либо греческая и римская античность, либо Библия), или к ближайшему для комментируемого текста ее проявлению. Так, если называть ближайший источник традиционной темы «жизнь — театр» в романе В. И. Белова, то нельзя обойти «Дон Кихота» Сервантеса, который не раз упомянут автором по ходу рассказа. Дон Кихот говорит Санчо: «Нет, правда, скажи мне: разве ты не видел на сцене комедий, где выводятся короли, императоры, папы, рыцари, дамы и другие действующие лица? Один изображает негодяя, другой — плута, третий — купца, четвертый — солдата, пятый — сметливого простака, шестой — простодушного влюбленного,

<sup>14</sup> Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1980. С. 121.

<sup>15</sup> Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 449.

<sup>16</sup> Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1991. С. 101.

<sup>17</sup> Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 114. Ср.: Аристотель. О возникновении и уничтожении // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 3. С. 385.

но едва лишь комедия кончается и актеры снимают с себя костюмы, все они между собою равны.

— Как же, видел, — отвечал Санчо.

— То же самое происходит и в комедии, которую представляет собою круговорот нашей жизни, — продолжал Дон Кихот, — и здесь одни играют роль императоров, другие — пап, словом, всех действующих лиц, какие только в комедии выводятся, а когда наступает развязка, то есть когда жизнь кончается, смерть у всех отбирает костюмы, коими они друг от друга отличались, и в могиле все становятся между собою равны.

— Превосходное сравнение, — заметил Санчо, — только уже не новое...<sup>18</sup> Любопытно, в свете последней реплики «простоватого», не искушенного в книжной премудрости Санчо, как бы выглядел профессионал и книжник, решивший, комментируя традиционную тему в романе В. И. Белова, всерьез сослаться на Шекспира?

Традиционные мотивы и темы, вероятно, не всегда заслуживают пояснений. Но возможны ситуации, когда такие пояснения, на наш взгляд, не были бы излишни. Возьмем Тютчева:

Как дымный столп светлеет в вышине! —  
Как тень внизу скользит неуловима!..  
«Вот наша жизнь, — промолвила ты мне, —  
Не светлый дым, блестящий при луне,  
А эта тень, бегущая от дыма...»

Думается, что Р.Л.Белнэп счел бы это стихотворение достаточно убедительным примером для доказательства мысли, что художественное произведение демонстрирует не столько новизну, сколько ее подобие.<sup>19</sup> Стихотворение построено на двух традиционных мотивах (обращение к подобным мотивам обычно для Тютчева): «жизнь — тень» и «жизнь — дым». Они (с различными вариациями) повторяются и у Тютчева. Ср.:

Как грустно полусонной тенью,  
С изнеможением в кости,  
Навстречу солнцу и движенью  
За новым племенем брести!..  
(«Как птичка раннею зарей...»)

И, ли:

И ты с веселостью беспечной  
Счастливый провожала день;  
И сладко жизни быстротечной  
Над нами пролетала тень.  
(«Я помню время золотое...») и др.

А также:

Так грустно тлится жизнь моя  
И с каждым днем уходит дымом;  
Так постепенно гасну я  
В однообразье нестерпимом!..  
(«Как над горячею золой...»)

<sup>18</sup> Сервантес Сааведра Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1979. Ч. 2. С. 92 (перевод Н.М.Любимова).  
<sup>19</sup> Ср., например: Белнэп Р.Л. Указ.соч. С.10.

Или:

И жизнь твоя пройдет незрима,  
В краю безлюдном, безымянном,  
На незамеченной земле, —  
Как исчезает облак дыма  
На небе тусклом и туманном,  
В осенней беспредельной мгле...

(«Русской женщине»)

Говоря о литературных источниках тех традиционных мотивов, которыми воспользовался Тютчев в стихотворении «Как дымный столп светлеет в вышине!..», следует назвать Библию. Не исключено, что это отдаленное от поэта во времени начало традиции было вместе с тем для него и ближайшим. Вот некоторые характерные примеры:

«Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень?» (Екклесиаст, гл. 6, ст. 12);

«...ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Соборное послание св.апостола Иакова, гл. 4, ст. 14);

«Человек подобен дуновению: дни его — как уклоняющаяся тень» (Псалом 143, ст. 4).

Интересующие нас мотивы появляются в текстах Библии или отдельно один от другого (первые два примера), или рядом, по принципу соположенности (пример последний). Точно так же ситуация выглядит, например, у Шекспира, где один из взятых нами мотивов дан в ряду иных традиционных уподоблений (слова Макбета):

...Завтра, завтра, завтра, —  
А дни ползут, и вот уж в книге жизни  
Читаем мы последний слог и видим,  
Что все вчера лишь озаряли путь  
К могиле пыльной. Дотлевой, огарок!

Жизнь — это только тень, комедиант,  
Паясничавший полчаса на сцене  
И тут же позабытый; это повесть,  
Которую пересказал дурак:  
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.<sup>20</sup>

Соединив традиционные мотивы тесной связью и противопоставив их, Тютчев в стихотворении «Как дымный столп светлеет в вышине!..» увлекает читателя не видимостью новизны, а именно новизной: жизнь — это тень от дыма. Вполне оригинальная мысль, к которой, разумеется, не сводится содержание произведения, возникает на основе обыгрывания традиционных мотивов. Ради этого неожиданного эффекта и стоит, возможно, комментировать тютчевский текст, поскольку сходный образ, использованный, например, Джоном Донно<sup>м</sup> (1571—1631) в ином применении («Алхимия любви»), не имеет отношения к указанной традиции.

Но в других случаях лучше опустить комментарий, чем неоправданно выделять в нем какой-нибудь один источник из ряда многих. Ведь одна из распространенных ошибок, как говорилось, заключается в том, что *общее место* подается как некая *частность*. Отсылки к тому или иному источнику на основании внешнего подобия грешат этим довольно часто. На самом деле одного сходства (иногда

<sup>20</sup> Шекспир У. Макбет // Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 7. С. 93—94 (перевод Ю.Корнеева).

даже буквального, как в примере с «Бедными людьми») здесь мало. Так, вряд ли было бы правильным известные слова предсмертного монолога Анны Карениной («И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла») <sup>21</sup> пояснять отсылкой к началу приведенного выше монолога Макбета, хотя там и тут использованы одни и те же уподобления — «жизнь — книга» и «жизнь — свеча», там и тут жизнь исполнена «тревог, обманов, горя и зла»; вряд ли было бы правильным потому, что перечисленные мотивы слишком традиционны.

О возможности случайных совпадений (вне зависимости от заимствований и влияний) применительно к фольклорному материалу А.Н.Веселовский писал: «Что единство культурных условий, одинаковая степень умственного развития могут приводить различные народные среды к одинаковым или сходным выражениям мысли в форме мифа, обряда, эпической песни, в этом не может быть сомнения, и остается только пожелать, чтобы, например, наука сравнительной мифологии более обращала внимания на это теоретическое положение. Но нельзя не заметить, что такому объяснению сходства — вследствие общности культурных условий — подлежат лишь первичные факты: первичные мифы, простейшие эпические сюжеты; к фактам сложным, представляющим целую последовательность моментов, это объяснение едва ли приложимо». <sup>22</sup> По мнению А.Н.Веселовского, достаточным основанием для сравнения и возведения одного культурного явления к другому служит не просто близость нескольких моментов, но близость «нескольких... моментов, расположенных в известной последовательности». <sup>23</sup>

В принципе так же обстоит дело и с произведениями индивидуального творчества. Если совпадение единичных и простейших мотивов может быть объяснено принадлежностью разных писателей одной и той же (скажем, общеевропейской) культурной традиции, то ряд таких совпадений и их единообразная последовательность заставляют думать о сознательной ориентации одного художника на другого.

Разумеется, чем более удаляются от первичной простоты сходные элементы сопоставляемых явлений, тем более убедительной выглядит мысль о непосредственной связи, о влиянии и заимствовании. Так, в свое время было замечено сходство между греческой теогонией (Гесиод) и вавилонским мифом о сотворении мира. «Гипотеза о заимствовании, сформулированная Ф.Корнфордом, была подтверждена... недавним открытием двойного ряда документов: с одной стороны, финикийскими табличками из Рас Шамра (начало XIV века до н.э.), а с другой — хетскими клинописными текстами, которые воспроизводят старый хурритский эпос XV века до н.э. Почти одновременное восстановление этих двух теогонических мифов обнаружило целый ряд новых совпадений, которые объясняют появление в ткани Гесиодова повествования деталей, представлявшихся неуместными или казавшимися ранее необъяснимыми. Таким образом, проблема восточных влияний на греческие мифы о сотворении мира, о степени распространения этих влияний и их границах, так же как проблема путей и времени их проникновения, представляется вполне обоснованной». <sup>24</sup> В примере с Гесиодом важна вся совокупность фактов — и ряд совпадений, и их характер. Может показаться, что и одного какого-нибудь загадочного или слишком оригинального

<sup>21</sup> Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. Т. 19. С. 348.

<sup>22</sup> Веселовский А.Н. Византийские повести и Варлаам и Иоасаф (рец. на работу: Кирпичников А. Греческие романы в новой литературе. Повесть о Варлааме и Иоасафе. Харьков. 1876) // ЖМНП. 1877. Июль. С. 152.

<sup>23</sup> Там же. С. 153.

<sup>24</sup> Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. С. 135 (французское изд. 1962 года).

мотива, проясняемого или обнаруживаемого в «источнике», вполне достаточно для того, чтобы этот «источник» был беспорным. Однако это не так.

В романе «Герой нашего времени» есть такие строки: «Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером».<sup>25</sup> Комментируя эти строки, В.А.Мануйлов указывает на два трактата Цицерона («Об угадывании» и «О природе богов»), где речь идет, правда, не об авгурах (гадателях по полету и крику птиц), но о гарусниках (гадателях по внутренностям жертвенных животных). Например, в первом трактате: «Кажется удивительным, что один гарусник может без смеха глядеть на другого. Еще удивительнее, что вы можете удержаться от смеха, глядя друг на друга. “Не тело, а как бы тело!” Я бы понял, как это, если бы речь шла о фигурах, вылепленных из воска, или глиняных, но что такое “как бы тело” и что такое “как бы кровь” у бога, — понять не могу».<sup>26</sup>

А.И. Гербстман заметил, что сказанное Лермонтовым совпадает с черновой строфой «Путешествия Онегина»:

Святая дружба! — глас природы — !!  
Взглянув друг на друга потом  
Как Цицероновы авгуры  
Мы рассмеялись тишком - - -

Одна и та же ошибка (авгуры вместо гарусников) заставляла предположить, что возможным источником Лермонтова в «Герое нашего времени» был Пушкин. В.А.Мануйлов по размышлении отказался от этого предположения: «Лермонтов не мог знать этого отрывка из “Евгения Онегина”, так как эти стихи были выброшены Пушкиным из текста путешествия Онегина и были впервые опубликованы уже после смерти Лермонтова. Показательно, что первоначально в рукописи у Лермонтова отсутствовало имя Цицерона; рукописный вариант: “По словам Вергилия”... Если бы Лермонтов знал пушкинский текст, он не допустил бы такой ошибки. Вложив в уста Печорина широко распространенное сравнение с авгурами, Лермонтов заставил себя проверить текст и уточнить указание, кому из древних принадлежит это сравнение. Совпадение упоминания об авгурах у Пушкина и у Лермонтова объясняется общностью античного источника».<sup>27</sup>

А. И. Гербстман думал в ином направлении. Он пытался доказать, что черновые стихи Пушкина, не опубликованные при жизни Лермонтова, тем не менее Лермонтову были известны.<sup>28</sup> Такое доказательство заслуживало бы всяческих усилий, если бы ему, как правильно отметил В. А. Мануйлов, не противоречили черновики романа (в размере стихотворной строки Пушкина, которую Лермонтов должен был бы помнить, Вергилий не заменяет Цицерона) и если бы оно решало вопрос по существу: был или не был именно Пушкин и только Пушкин источником комментируемых слов в «Герое нашего времени». В. А. Мануйлов в своих пояснениях осторожнее и точнее. Вполне вероятно, что у Пушкина и Лермонтова в конечном счете действительно был какой-то общий (и даже античный) источник. Но, разумеется, ничто не мешает раз сделанной ошибке в дальнейшем повторяться. Исправляя Вергилия на Цицерона, Лермонтов,

<sup>25</sup> Лермонтов М.Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 270.

<sup>26</sup> Цицерон. Философские трактаты. М., 1985. С. 82—83 (ср. с. 261).

<sup>27</sup> Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»: Комментарий. М.; Л., 1966. С. 188—189.

<sup>28</sup> Гербстман А. И. «Цицероновы авгуры» // Проблемы поэтики. Ташкент, 1968. С. 20—24.

как ясно, к самому Цицерону не обращался. У него под руками был какой-то другой текст. Для времени, близкого и Пушкину и Лермонтову, назовем возможные источники. Они связаны с кругом сенсимонистских идей, восходящих к идеям и событиям Великой французской революции. Прежде всего — трактаты самого Сен-Симона. Так, в трактате «Письма к американцу» (вышел в свет в 1817 году) читаем: «Цицерон говорил, что он не понимает, каким образом два авгура могут смотреть друг на друга без смеха. Эти слова в устах такого человека, каким он был, доказывают, что уже в его время религиозные учреждения народов древности совершенно обветшали...»;<sup>29</sup> затем в трактате «О промышленной системе» (вышел в свет в 1821 году): «Цицерон не представлял себе, чтобы два авгура могли смотреть друг на друга без смеха...»<sup>30</sup> На слова Сен-Симона, которые тот вообще любил повторять, намекают и ученики французского утописта (в лекциях, излагавших доктрину учителя и вышедших в свет первым изданием в 1830 году, именно тогда, когда Пушкин работал над «Путешествием Онегина»):<sup>31</sup> «Ученики Вольтера насмеваются над священниками, но разве Цицерон не насмеялся над авгурами?.. Мы обходим церковь, чтобы бежать в театр, и похожи в этом отношении на римлян, когда они устремлялись в цирк».<sup>32</sup>

Однако для того, чтобы говорить о Сен-Симоне как единственном источнике для Пушкина и Лермонтова, необходимо было бы исключить все остальные.

По-видимому, это *общий принцип для критики источников*, когда на них нет прямых указаний в самом тексте (или иногда за его пределами: в черновиках, письмах и т.д.). Принцип этот можно сформулировать так: некий *x* (комментируемая деталь) *есть то-то и то-то и ничто другое*. Сходства даже характерных мотивов *без учета необходимости исключений* недостаточно для определенной отсылки. В тех случаях, когда у нас нет доказательств верности именно нашего указания на источник, нам следует сослаться на него в той форме, которая допускает возможность иных сближений. Время (новые данные, новый взгляд) может в дальнейшем или подтвердить нашу догадку, или ее опровергнуть.

Вот почему, комментируя частности, *необходимо учитывать всю совокупность относящихся к ним сведений, а также роль и функцию этих деталей в художественной системе*. Мотивы и положения, взятые сами по себе, в отрыве от целого, расширяют поле для различных сближений; мотивы и положения, взятые вместе с их функциями и в конкретном контексте, ограничивают это поле и часто даже направляют мысль в сторону от того, что поначалу казалось бесспорным.

В «Братьях Карамазовых» есть такой эпизод. Федор Павлович Карамазов, старый шут и безбожник, паясничая в келье старца Зосимы, говорит: «Старец великий, кстати, вот было забыл, а ведь так и положил, еще с третьего года, здесь справиться... справедливо ли... то, что в Четъи-Минеи повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру, и когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову и “любезно ее лобызаше”, и долго шел, неся ее в руках, и “любезно ее лобызаше”. Справедливо это или нет, отцы честные?

— Нет, несправедливо, — сказал старец.

— Ничего подобного во всех Четъих-Минях не существует. Про какого это святого, вы говорите, так написано? — спросил иеромонах отец библиотекарь.

<sup>29</sup> Сен-Симон. Избр. соч. М.; Л., 1948. Т. 1. С. 327.

<sup>30</sup> Там же. Т. 2. С. 75.

<sup>31</sup> Второе издание этих лекций, как и работы Сен-Симона, было в библиотеке Пушкина. См.: Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С.Пушкина (библиографическое описание). СПб., 1910. С. 226, 320; ср. также с. 270.

<sup>32</sup> Изложение учения Сен-Симона. М.; Л., 1947. С. 449.

— Сам не знаю про какого. Не знаю и не ведаю. Введен в обман, говорили. Слышал, и знаете кто рассказал? А вот Петр Александрович Миусов... вот он-то и рассказал.

— Никогда я вам этого не рассказывал...

— Правда, вы не мне рассказывали; но вы рассказывали в компании, где и я находился... Я потому и упомянул, что рассказом сим смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович...

Федор Павлович патетически разгорячился, хотя и совершенно ясно было уже всем, что он опять представляется. Но Миусов все-таки был больно уязвлен.

— Какой вздор, и все это вздор, — бормотал он. — Я действительно, может быть, говорил когда-то... только не вам. Мне самому говорили. Я это в Париже слышал, от одного француза, что будто бы у нас в Четьи-Минеи это за обедней читают... Это очень ученый человек, который специально изучал статистику России... долго жил в России... Я сам Четьи-Минеи не читал... да и не стану читать... Мало ли что болтается за обедом?.. Мы тогда обедали...»<sup>33</sup>

Рассказ о каком-то святом чудотворце, который нес в руках свою отрубленную голову, идет из уст людей некомпетентных и атеистически настроенных — Федора Павловича, Миусова, и если верить Миусову, в конце концов — из уст француза. Этот француз если и знал статистику России, то уж конечно не знал ни Четьих-Миней, ни православия, иначе Миусов не говорил бы о статистике, не имеющей отношения к делу. То, что француз долго жил в России, тоже в данном случае ничего не значит: Федор Павлович не въезжал из России всю жизнь, а Четьих-Миней и православия узнать не удосужился. Старец Зосима и отец-библиотекарь, люди компетентные, отрицают существование такого рассказа в Четьих-Минях. И действительно, его там нет. Нет в том виде, в каком Федор Павлович передает донесшиеся до него слухи.

Однако среди повествований о святых мучениках сходный сюжет, напоминающий эти слухи, в России существует. Это легенда о св. Меркурии Смоленском (память 24 ноября ст.ст.). Она имеется в разных вариантах-редакциях, в том числе и в редакции Великих Четьих-Миней митрополита Макария.<sup>34</sup> Вот эта легенда. В Смоленске живет молодой человек, праведный и боголюбивый, именем Меркурий. Злочестивый Батый мучает христиан и собирается захватить Смоленск. Люди, собравшись в храме Пречистой Богородицы, молят Господа и Богоматерь спасти город. Богородица является пономарю одного монастыря вблизи Смоленска и приказывает ему позвать Меркурия. Когда Меркурий приходит в храм, Богородица говорит ему, что он ее избранник и должен победить Батю и его войско. Но после этого, продолжает она, «придет к тебе человек, прекрасный лицом: отдай ему в руки все оружие свое, и он отсечет тебе голову; ты же возьми ее в руку свою и ступай в свой город; там примешь кончину, и положено будет твое тело в моей церкви».<sup>35</sup> Так и происходит. Когда Меркурию отсекают голову, он, взяв ее в одну руку, а другой держа под уздцы коня, приходит в город, где и умирает. Три дня не могут поднять его тела с земли, наконец Богородица и архангелы Михаил и Гавриил его поднимают и переносят в церковь.<sup>36</sup>

Некоторые мотивы этой легенды и рассказа Федора Павловича (Миусова, француза) совпадают: отсеченная голова святого и то обстоятельство, что, будучи обезглавлен, он шел и нес ее в руках. Но в легенде о Меркурии Смоленском

<sup>33</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. С. 42.

<sup>34</sup> Эти редакции приведены Ф.И. Буслаевым в работе «Смоленская легенда о св. Меркурии и ростовская о Петре царевиче Ордынском» (Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 2. С. 156 и след.).

<sup>35</sup> Там же. С. 173.

<sup>36</sup> Там же. С. 174—175.

нет других важнейших мотивов: отсечение головы здесь не венчает ряд предварительных долгих мучений, а главное, здесь ничего не говорится о «лобзаниях» (наиболее соблазнительная для Федора Павловича подробность). Все мотивы рассказа Федора Павловича (Миусова, француза), включая долгие мучения и лобзания, содержатся в другом житии — в житии католического святого Дионисия Парижского. Оно не раз служило поводом для насмешек французских вольнодумцев. Например, в «Орлеанской девственнице» Вольтера св.Георгий (патрон Англии), браня св.Дионисия (патрона Франции), говорит:

Уже твоя трясучая башка  
С убогих плеч однажды отлетела;  
Ее вторично отделить от тела  
Не постесняется моя рука;

Достойный пастырь воровского края,  
Которому ты милости творишь,  
Снеси ее еще разок в Париж,  
Держа в руках и нежно лобызая.

(Песнь одиннадцатая)

Знал ли Достоевский легенду о Меркурии Смоленском? Безусловно, знал. Именно поэтому он ввел в свой текст мотивы, которые эту связь исключали: ответ на вопрос Федора Павловича компетентных лиц (старца, отца-библиотекаря), ссылка на француза (источник сведений), дважды повторенный мотив «и любезно ее лобызаше». Все это вместе взятое должно было направить мысль читателя только в одну сторону, в сторону жития французского святого.<sup>37</sup> Вот почему упоминание о св. Меркурии Смоленском, требовавшее развернутых пояснений, опущено в комментариях к «Братьям Карамазовым» в 30-томном академическом издании.

По поводу приведенного примера заметим: непозволительно, следуя логике ученого француза, героя Достоевского, из совпадения части (некоторых мотивов и их последовательности) заключать о сходстве целого. Ведь, судя по всему, француз, услышав нечто для себя знакомое, восполнил сказанное по образу, который был ему хорошо известен.<sup>38</sup> Тем не менее это заключение отчасти к целому характерно. И если бы Достоевский не постарался исключить ассоциации с легендой о Меркурии Смоленском, ссылка на нее была бы необходима — по крайней мере, для указания тех мотивов, которые совпадают. Разумеется, ближайшим к комментируемому тексту остается источник, где совпадающие

<sup>37</sup> Подробнее об этом см.: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 15. С. 530—531. Ср. слова Иоанна Златоуста в «Похвальной беседе о святых мучениках Иувертине и Максимиане», пострадавших при Юлиане Отступнике: «...царь наконец повелел в полночь отвести их на место казни. И выведены были эти светильники среди мрака и обезглавлены. Тогда головы их сделались еще более страшными для дьявола, нежели когда они издавали голос, подобно голове Иоанна... потому что и кровь святых имеет голос, не ушами слышимый, но охватывающий совесть убийц... Будем же постоянно приходить к ним, прикасаться к гробнице их и с верою обнимать их останки, дабы получить отсюда некоторое благословение. Как воины, указывая на раны, полученные ими от врагов, с дерзновением беседуют с царем, — так и они, неся на руках отсеченные головы свои и выставляя их на вид, легко могут получить все, чего ни пожелают, от Царя небесного» (Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста. СПб., 1896. Т. 2. Кн. 2. С. 622—623).

<sup>38</sup> Анализируя легенду о св. Меркурии Смоленском, Ф.И.Буслаев замечает в литературных ее редакциях очевидное западное влияние (см.: *Буслаев Ф.И.* Указ. соч. С.194 и след.). Он пишет: «...весь характер смоленского героя проникнут рыцарством: это крестоносец, совершающий чудеса храбрости, это Божий дворянин, поборающий за христианство против поганых мусульман, это паладин из полчищ Карла Великого, и вместе с тем благочестивый рыцарь, посвятивший себя на служение Мадонне» (там же. С. 197).

мотивы представлены в наибольшей полноте, остальные отсылки — область детализации и уточнений.

Подчеркнем еще раз существенный момент. Говоря об источнике, мало заметить сходство мотивов и их последовательности, нужно, как всегда, оценить и их характерность: насколько то и другое оригинально. Это особенно важно, например, при ссылках на конкретное житие, ведь в данном случае мы имеем дело с произведением, жанровая природа которого отвечает определенному канону и предполагает повторы. Именно это обстоятельство (помимо прочих) не учтено, на наш взгляд, В.Н.Криволаповым, пытающимся увязать св. Серафима Саровского со старцем Зосимой в «Братьях Карамазовых».

Во-первых, старец Зосима нигде, ни в черновиках, ни в окончательном тексте, не назван Серафимом (св. Серафима Саровского Достоевский вообще нигде не упоминает). Старец Зосима дважды назван Pater'ом Seraphicus'ом — наименование, отличающее, согласно католической традиции, св. Франциска Ассизского. Неоправданно тесное сближение латинского определения с именем русского подвижника, в ту пору еще не канонизированного (канонизация 1903 года), — уже натяжка. Какие доводы исследователи еще приводят? Он пишет: «Достоевскому имя этого подвижника было известно: бесспорное свидетельство тому находим в хорошо знакомом писателю “Сказании о странствии... инока Парфения”, где имя Серафима упомянуто трижды и где воспроизведены отрывки из его поучений. Кроме того, к началу систематической работы Достоевского над “Братьями Карамазовыми” в 1878 году библиография работ о Серафиме Саровском насчитывала внушительное число изданий, некоторые из них, надо полагать, были известны писателю. Помимо созвучия имен... Зосиму и отца Серафима сближало многое. Прежде всего: и тот и другой были “старцами”, а потому и место, занимаемое Серафимом в Саровской пустыни, было тем же самым, что занимал Зосима в “подгородном монастыре” или Амвросий, ближайший прообраз героя Достоевского, в Оптиной пустыни. В одном из жизнеописаний Серафима, написанном ближайшим его учеником, встречаются ситуации, предвосхитившие отдельные сюжетные моменты “Братьев Карамазовых”».<sup>39</sup>

Итак, Серафим Саровский среди других (и многих) упомянут в книге, которую Достоевский безусловно знал и использовал в «Братьях Карамазовых». Далее гипотеза: Достоевский заинтересовался этим подвижником и замечаниями, которые его касались. Возможно. Следующая гипотеза: писатель стал наводить справки о Серафиме Саровском, читать о нем (хотя никаких следов этого не осталось). Тоже возможно. Третья гипотеза: писатель решил использовать то, что он узнал, в тексте романа применительно к одному из главных героев. И это возможно. Однако вся эта цепь гипотетических суждений может быть прервана на любом месте: писатель прочитал о подвижнике, но не заинтересовался; заинтересовался, но не стал (или ему было недосуг) наводить справки и выяснять подробности; навел справки и выяснил подробности, но не счел нужным использовать то, что он узнал, в своем романе. Почему возникла эта цепь допущений? Только потому, что нет таких мотивов и ситуаций в жизнеописаниях Серафима Саровского, которые принадлежали бы исключительно этому жизнеописанию (и никакому другому) и которые были бы отражены в тексте «Братьев Карамазовых». Вот и все. Если бы можно было назвать такие ситуации и мотивы, не нужно было бы ни о чем гадать, вопрос решался бы сам собой.

Возьмем, например, наиболее характерную подробность в житии св. Серафима. Живя в лесу, старец делился с лесными обитателями своим хлебом, птицы и

<sup>39</sup> Криволапов В.П. Традиции древнерусской культуры в творчестве Ф.М.Достоевского («Братья Карамазовы»). Автореф. канд. дис. Л., 1985. С. 8—9.

звери часто его навешали. По этому поводу биограф пишет: «В народе давно уже известно и пользуется любовью изображение преподобного Серафима, кормящего медведя. Вот сидит он на колоде близ келии и кормит хлебом из своих рук огромного медведя, который послушен ему, как кроткий агнец, удаляется по его слову в лесную чащу и возвращается опять. Лицо подвижника при этом светло, спокойно, радостно».<sup>40</sup> В рассказах старца Зосимы о своей жизни встречаем сходный мотив: «И рассказал я ему, как приходил раз медведь к великому святому, спасавшемуся в лесу, в малой келейке, и умилился над ним великий святой, бесстрашно вышел к нему и подал ему хлеба кусок: “Ступай, дескать, Христос с тобой”, и отошел свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделал».<sup>41</sup> Заметим: старец говорит об одном святом. В черновиках к роману он назван. Ср. запись: «Люби животных, медведь и Сергей» (имеется в виду эпизод из жития св. Сергия Радонежского).<sup>42</sup> Умолчание о Серафиме Саровском в этой связи нам представляется достаточно красноречивым.

Сближая рассказ о старце Зосиме с повествованиями о Серафиме Саровском, исследователь не оценил с должной трезвостью природы привлеченного им материала: он пренебрег явлением повторяемости, свойственной канону жизнеописаний праведников.

Бывает и так, что эта трезвость проявляется в избытке. В тех же «Братьях Карамазовых» среди других, требующих комментария и не прокомментированных деталей встречаем две цитаты. К ним прибегает игумен монастыря, отвечая на шутовские выходки Федора Павловича Карамазова: «Было сказано издревле: “И начат глаголати на мя многая некая, даже и до скверных неких вещей. Аз же вся слышав, глаголах в себе: се врачество Иисусово есть и послал исцелити тщеславную душу мою”. А потому и мы благодарим вас с покорностью, гость драгоценный!» И еще: «Претерпи смирительне находящее на тя невольно бесчестие с радостию, и да не смутишия, ниже возненавидиши бесчестящего тя».<sup>43</sup> Среди просмотренного мной материала именно эти цитаты мне не попались, хотя подобными высказываниями можно было бы исписать страницы. В конце концов показалось слишком расточительным для времени педантизмом выискивать слова, которые в огромном море христианских поучений могли обнаружиться где угодно. Результат (точная отсылка) не заслуживал, как казалось, долгих усилий. И напрасно. Первая из приведенных цитат восходит к беседам и поучениям блаженного аввы Зосимы (Палестинского), записанным его учеником. Вот в каком она идет контексте: «Один брат из числа живших со мною и схиму от меня получивших, которого я старался обучить всякой добродетели и которому снисходил иногда, по причине немощи его, так как он был нежного сложения, сказал мне в один день: Авва мой! я сильно люблю тебя. Я ответил ему: я еще не встречал человека, который бы любил меня так, как я его люблю. Вот ныне ты говоришь, что любишь меня, — и я верю тому, но если случится тебе что-либо неприятное от меня, ты не останешься таким же. Я же, что бы ни потерпел от тебя, всегда останусь одинаково расположен к тебе и ничто не может отторгнуть меня от любви к тебе. Прошло немного после того времени, — и он, не знаю что с ним сделалось, начал говорить на меня многое, даже до срамных речей; и я все то слышал. Тогда сказал я в себе: он прижигатель Иисусов и послан вылечить тщеславную душу мою. От таковых внимающий себе может снова приобрести то, что теряет чрез ублажающих его... И я всегда

<sup>40</sup> Преподобный Серафим, Саровский чудотворец / Составил свящ. К.Ивановский. СПб., 1903.

С. 20.

<sup>41</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. С. 268.

<sup>42</sup> Там же. Т. 15. С. 244.

<sup>43</sup> Там же. Т. 14. С. 83, 84.

поминал его как врача и благодетеля своего» и т.д.<sup>44</sup> Среди прототипов старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» блаженный авва Зосима Палестинский не назывался,<sup>45</sup> а между тем он, судя по всему, должен быть отнесен к их числу. Однако этот вопрос заслуживает специального обсуждения.

Высказанными в статье соображениями тема далеко не исчерпывается. Но, как уже говорилось, нам представлялось небесполезным этот разговор начать.

---

<sup>44</sup> Блаженного аввы Зосимы Собеседования // Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 3. С. 121.

<sup>45</sup> О прототипах старца Зосимы см., например: *Альтман М.С.* Достоевский: По векам имен. Саратов, 1975. С. 123—126 и капитальную монографию Свена Линнера: *Linnér S.* Starets Zosima in The Brothers Karamazov. A study in the mimesis of virtue. Hylaea Prints. Second edition. Stockholm, Sweden, 1981.

# ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Г. П. ФЕДОТОВ

## «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПЕРЕВОД И ПРИМЕЧАНИЯ  
С.С.БЫЧКОВА)

### ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ И ЕГО ВЗГЛЯД «НА СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Поэтическая красота древнерусской поэмы привлекала к себе внимание отечественных и зарубежных исследователей на протяжении двух столетий. Создано немало монографий и исследований, посвященных «Слову о полку Игореве». Порою кажется, что изучена каждая строчка, каждое слово. Но по-прежнему поэма продолжает чаровать нас неисследимой глубиной образов, красотой метафор и завораживает звучанием имен славянских божеств.

Г. П. Федотов (1886—1951), один из видных отечественных мыслителей Зарубежья, проделал жизненный путь, во многом схожий с тем, который прошли его современники — Петр Струве, Николай Бердяев и Сергей Булгаков — от социализма к христианству. В отличие от своих сподвижников, он покинул СССР гораздо позднее — в 1925 году. Некоторое время преподавал в Париже, а с 1939 года жил и работал в США. Преподавая в Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке, он задумывает и осуществляет двухтомное фундаментальное исследование «Русское религиозное сознание». Первый том увидел свет еще при жизни мыслителя — в 1946 году, на английском языке, второй — лишь после его смерти, в 1960 году.

Профессор-протоиерей Иоанн Мейендорф, подготовивший к печати второй том, писал автору этих строк: «...в начале 60-х годов я издал оставшуюся от него (Г.П.Федотова. — С.Б.) английскую рукопись под заглавием «The Russian Religious Mind». Рукопись представляет собой расширенную версию его же русской книги „Святые Древней Руси“.<sup>2</sup> Главы о преп. Сергии, Иосифе Вол(оцком), Ниле Сорском, Пафнутии Боровском дословно совпадают в английском и русском текстах. Основная прибавка в английском — главы об „этике рядового христианина“ в Древней Руси — интересно, но довольно специально. Во всяком случае русского текста этих глав не существует».<sup>3</sup>

Прежние труды Г.П.Федотова — «Святой митрополит Филипп», «Святые Древней Руси», «И есть и будет», «Стихи духовные» — выходили на русском языке.<sup>4</sup> В новой книге мыслитель пытается рассказать американцам о русской духовной культуре. Этой книге не суждено было увидеть свет в России.<sup>5</sup> Мы хотим познакомить отечественного читателя с XI главой первого тома «Русского религиозного сознания»,<sup>6</sup> посвященной анализу «Слова о полку Игореве». Во «Введении», объясняя цель предпринятого труда, Г.П.Федотов пишет: «В мои намерения входит описание субъективной стороны религии в противовес ее объективным формам... Меня интересует сам человек, и прежде всего — человек религиозный, его отношение к Богу и к миру, к своим собратьям; причем отношение не столько эмоциональное, но также рациональное и волевое, отношение человека, взятого во всей целокупности. Эта цельность религиозной личности является тем невидимым центром, с помощью которого основной феномен не только религиозной, но и культурной жизни обретает свое подлинное лицо и значение. История богословия, церковных служб, канонического права перестает быть собранием памятников старины лишь в том случае, если на них брошен луч света, исходящий от религиозного человека или от религиозного сознания. Сердцевиной этих исследований является, безусловно, изучение „духовной жизни“, с точки зрения аскетически-мистической, формами которой могут по праву считаться и богословие церковных служб, и каноническое право...»

Г.П.Федотов был не только талантливым исследователем Древней Руси, он был самобытным мыслителем и культурологом. Говоря о современном богословии, он весьма точно подметил его основной просчет: «Вера рассматривается как обращение Бога к человеку,

нежели как ответ человека на Божественный призыв. Такой подход делает упор на объективные, неизменяющиеся элементы религии. Человеческая сторона религии с легкостью отбрасывается прочь со всеми атрибутами психологизма. Я не отрицаю сверхъестественного пророческого характера христианства как религии апокалипсиса. Однако я верю, что ее претворение в жизнь начинается с ответа человека на Божественный призыв. История христианства — история такого ответа; его культура — это культура обретения такого опыта. История и культура являются, по существу, человеческими составными религии».<sup>8</sup>

Принимаясь за этот труд, Г.П.Федотов понимал, насколько трудна задача, которую он поставил перед собою. Он писал: «Означает ли это, что проблема открытия русской религиозной души должна быть отвергнута как нереальная или мифическая? Напротив, по религиозным и культурным причинам я верю, что феномен как русской души, так и русского религиозного сознания существует. Но их чрезвычайно трудно сделать предметом научного исследования, иными словами, облечь в точные научные концепции. Всякая коллективная жизнь представляет собою единство в многообразии; она проявляется лишь в индивидуумах, каждый из которых отражает лишь отдельные черты, присущие всем. Мы не можем рассматривать отдельного индивидуума как представителя общества, как не можем суммировать конкретные свойства, которые противоречат друг другу и трудносовместимы. Единственный путь, на котором можно преодолеть эти трудности, видится в том, чтобы отобрать определенные типы, которые являются представителями различных духовных групп и которые в своей совокупности, если они правильно отобраны, могут представить все общество».<sup>9</sup>

Отдавая отчет в трудности поставленной задачи, мыслитель все же взялся за осуществление этого труда. Говоря о предшествующих исследованиях в этой области, он отмечает их общий недостаток: «Я все же взялся за это дело, будучи убежденным, что в исторической науке отправным пунктом служит не анализ, а синтез, некоторый тип предварительного синтеза, пусть даже интуитивного и субъективного. Анализ становится вторичным, предназначенным для проверки и модифицирования первичной формы синтеза. Наука о русской религии еще не достигла завершающей стадии. На протяжении более чем столетия лучшие умы в области истории литературы и Церкви изучали источники, собирали материалы и писали превосходные монографии, а в результате проблемы истории духовной жизни даже не были поставлены. А если нет проблем, то нет и ответов. Но исторические проблемы обнаруживаются лишь благодаря предварительному, четко очерченному и содержащему вызов синтезу».<sup>10</sup>

Предваряя свое исследование, Г.П.Федотов говорит как о цели, так и о том, что именно станет предметом исследования: «Духовная жизнь и этика, несмотря на глубинные связи с традицией, развиваются более свободно, нежели объективные элементы, и в этом плане они сродни религиозному искусству. Степень субъективности различных сфер религиозной жизни определяет их ценность как исторических источников. Это различие между объективными и субъективными элементами чрезвычайно велико у христианских народов, унаследовавших догматы и богослужебную практику, Таинства и обряды от иноземных и давно почивших цивилизаций. В обществе, каким была Древняя Русь, не имевшая собственного богословия, сохранявшая в неприкосновенности литургический строй и молитвы, которые она унаследовала от Византии, богословие и церковное богослужение не могут послужить историческими источниками для исследователя русского религиозного сознания. Поэтому собственно духовная жизнь, этика, искусство и религиозно окрашенные социальные нормы станут главными предметами данного исследования».<sup>11</sup>

Несколько раньше, в одной из своих статей 1932 года Г.П.Федотов отмечал: «Науки о духовной жизни не существует или она только рождается на наших глазах. Есть много вероятий (порядка метафизического), что эта будущая наука, собрав огромный опыт духовного, „сверхъестественного“ мира, все-таки не сможет установить его законов: если царство духа есть царство свободы, если дух не подвластен природе — на вершинах своего восхождения».<sup>12</sup> И тем не менее исследователь все же попытался очертить абрис этой науки будущего в своем исследовании. Насколько удачна эта попытка — судить нам, его потомкам. При цитировании «Слова о полку Игореве» использовано издание: Слово о полку Игореве. Л., 1990 (реконструкция древнерусского текста и научный перевод Д.С.Лихачева). Тексты летописей даны по изданию: Памятники литературы Древней Руси. XII век. М.1980.

Двухтомное исследование Г.П.Федотова охватывает период с X века по наши дни. Напомним, что книга «Святые Древней Руси» обрывается на XVIII столетии, как впрочем и «Очерки по истории Русской Церкви» А.В.Карташева. Именно поэтому столь важна

сегодня для нас эта книга нашего соотечественника. Первыми читателями и рецензентами книги были друзья ученого — профессора Михаил Карпович, Георгий Вернадский и Роман Якобсон, благодарность которым приносит Г.П.Федотов, предворяя первое издание.

### «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Слово о полку Игореве» остается уникальным произведением в древней русской литературе. Это единственное в своем роде произведение чисто светского содержания, сознательно облеченное в художественную форму. Это поэма, и она вполне заслуживает этого наименования, но лишь благодаря внешней форме, которая звучит скорее как ритмическая проза, нежели как стихи. С точки зрения художественной ценности, оно возвышается как гора среди плоской равнины современной ему литературы. Неизвестный автор, живший в конце XII века, несомненно гениальный поэт. Прошло семь столетий, пока в XIX веке не появился Пушкин, поэт равный ему. В западной поэзии «Слово» можно сравнить лишь с «Песней о Роланде» и «Песней о Нибелунгах», а с точки зрения русского оно, быть может, даже превосходит их по своей поэтической мощи.

Древняя Россия, однако, была незаслуженно сурова к лучшим литературным творениям. «Слово о полку Игореве», хотя оно читалось и цитировалось некоторыми авторами вплоть до XV века, дошло до нас лишь в одном списке, к несчастью сгоревшем во время пожара Москвы в 1812 году. Очевидное пренебрежение этим шедевром средневековыми читателями, возможно, объясняется его чисто светским — в чем-то даже языческим — содержанием и формой. Оно, видимо, шокировало благочестивых москвичей.

Было ли «Слово о полку Игореве» всегда столь неповторимым в русской литературе, или скорее принадлежало к тем литературным явлениям, которые гремели в свое время, но потом полностью исчезли из монастырских библиотек, единственных хранилищ древних документов? Сам автор обращается к старой поэтической традиции, согласно которой он сравнивает себя с Бояном — поэтом, творившим в конце XI века. Во всяком случае, согласно тому, что говорится о Бояне в «Слове о полку Игореве» — единственном источнике, рассказывающем об этой личности, — Боян был и поэтом и певцом, исполнявшим свои песни, сопровождая их игрой на музыкальном инструменте. Автор «Слова о полку Игореве» — писатель, человек литературный, сочетавший эпические традиции Бояна с историческим стилем византийских хроник. Он прекрасно знаком и с русскими летописями. Благодаря этому соединению русской устной поэтической традиции с греческой письменной, «Слово» и тогда, видимо, оставалось уникальным произведением. Сплав этих двух разнородных форм был осуществлен автором «Слова» с поразительным совершенством: читатель не только не замечал этого, но даже и не догадывался о стилевой двойственности поэмы.

Содержание «Слова» — лишь один эпизод вековой борьбы русских князей с половцами, кочевниками в южных степях. Точно следуя историческим событиям, поэма описывает незначительный и в то же время бесславный эпизод. Князь Игорь, правивший в небольшом южном городке Новгороде-Северском, предпринял поход со своим братом Всеволодом, а также с сыном и племянником. Они потерпели поражение и были взяты в плен кочевниками. Через некоторое время Игорю удалось бежать. Это суть исторического содержания «Слова». Автор мог принадлежать к избранному кругу дружинников или к свите князя Игоря и придать этому бесславному событию традиционное эпическое звучание. Основной лирический мотив — оплакивание и горестные стенания о павших русских воинах и всей Русской земле, раздираемой набегами кочевников и распрями между князьями. К русским князьям обращен призыв прийти на помощь и спасти Игоря от поругания. В конце поэмы трагическое напряжение сменяется радостью и ликованием.

Анализируя религиозное содержание «Слова о полку Игореве», следует учитывать стилистическую форму произведения. «Слово» описывает то же феодальное общество, что и современные ему летописи, однако оно принадлежит совсем к иной литературной школе. Переход от церковной атмосферы летописей того времени — не говоря уже об остальной современной им литературе — в светский или даже слегка языческий мир «Слова о полку Игореве» не вызывает большого удивления. Не будь чудесного спасения этой поэмы — у нас было бы совершенно иное представление о силе воздействия христианства и Византии на домонгольскую Русь.

Исходя из религиозного и нравственного мировидения «Слова о полку Игореве», в его художественной ткани можно выделить три слоя: христианский, языческий и чисто светский. Если руководствоваться доподлинными критериями, то христианские мотивы представлены наиболее слабо. Всего в поэме четыре предложения, которые явно свидетельствуют о том, что автор христианин. Но даже ни все эти четыре предложения, ни каждое из них, не являются достаточно весомыми и не дают нам полной уверенности в этом. Одно из этих предложений — афористическое высказывание Бояна: «Ни хитрому, ни умелому, ни птице умелой суда Божьего не миновать!»<sup>13</sup> Говоря о бегстве Игоря из плена, автор замечает: «Игорю-князю Бог путь указывает».<sup>14</sup> Достигнув Киева, счастливый князь «едет по Боричеву ко храму святой „Богородицы Пирогщей“», названному в честь почитаемой иконы, привезенной из Константинополя. Слово «христианин» появляется в предпоследнем предложении: «Здравы будьте, князья и дружина, борясь за христиан против нашествий поганых».<sup>15</sup> Все это свидетельствует о принадлежности автора к христианству. Можно добавить еще два выражения: оскорбительное обозначение половцев как «поганых», которое проходит через всю поэму, а в одном случае они названы «дети бесовы». С другой стороны, трудно быть полностью уверенным в религиозном значении русского слова «поганый», заимствованного из латинского «*paganus*» и встречающегося в «Слове о полку Игореве». В русском языке это иностранное слово изменило свое первоначальное значение «языческий» и стало употребляться как «нечистый», «грязный» в физическом или физиологическом смысле. При изучении значения этого слова в «Слове о полку Игореве» возникает вопрос, употреблялось ли оно с самого начала этого превращения в канонических вопросах Кирика, поколением раньше. В большинстве случаев это слово, похоже, носило характер прямого оскорбления в таких фразах, как «поганый раб», «поганый предводитель половцев» или «ты, черный ворон, поганый половец». Если бы религиозный смысл слова «поганый» всегда памятовался автором, было бы удивительно, но еще более удивительно, что русские воины не обозначаются как «христиане», за исключением последнего предложения; они называются просто русские или «русичи», что означает «сыновья России».

Христианский словарь не только скуден, но в поэме отсутствуют действия, жесты и мысли, которые обязательно присущи христианскому социуму. Молитвы не упоминаются. Русские воины, отправляясь в рискованные походы, не творят молитв; не молятся перед битвами и даже в смертельной схватке. Смерть не сопровождается размышлениями о судьбе души, покинувшей воина. Среди столь большого числа предзнаменований природы полностью отсутствуют видения или откровения христианского небесного мира: ни ангелы, ни святые не благословляют христианскую дружину, идущую в поход на чужие земли.

Средневековый французский эпос «Песнь о Роланде» также содержит немного христианских элементов. В большом количестве наличествуют внешние признаки и символы; автор восторженно противопоставляет «закон Христов» «закону Магомета», который находится под угрозой в этой священной войне. Достаточно вспомнить сцену смерти героя, когда сам архангел Михаил опускается из рая, чтобы принять душу Роланда. Умирающие воины Игоря остаются среди скорбящей природы, в одиночестве, лицом к лицу встречаясь с беспощадным роком.

Различие между христианским провидением и языческим роком не всегда четко выражено. Многие христиане и в наши дни продолжают верить в слепую судьбу. Новообращенные язычники легко сохраняют глубоко укоренившуюся веру в судьбу, прикрывая ее именем Бога. Упомянутые речения Бояна слишком отрывочны, чтобы уяснить, в каком значении поэт использует фразу «Божий суд». Но следует заметить, что русское слово «суд» означает и суд, и судьбу. Современные русские слова «судьба», «суждено» включают содержание этого понятия, а слово «суженый» означает также — «предопределенный супруг». Но, с другой стороны, «суды Божьи» — это перевод библейского «Советы Божьи».

Столь же скудные сведения извлекли мы, рассматривая использование автором слова «суд» в описании боя и смерти на поле битвы. «Бориса же Вячеславича похвальба до суда додела»<sup>16</sup> (или к своей судьбе). Мы видели, что в русских летописях князья часто отправляются на битву, чтобы восторжествовал Божий суд. В некоторых христианских славянских рукописях, таких как «Житие святого Константина—Кирилла», слово «суд» употребляется как синоним слова «смерть». Но в тех случаях, когда опускается имя Бога, слово «суд» звучит достаточно неопределенно, особенно в «Слове о полку Игореве». Это понятие или просто лингвистический рудимент, или все же заключает некую религиозную идею — христианскую или языческую.

Позже мы вернемся к христианским выражениям в «Слове о полку Игореве», чтобы более внимательно рассмотреть влияние христианства на этические взгляды и чувства автора. Но мы справедливо отмечаем, что влияние христианства, и это более чем очевидно, проявляется в поэме весьма слабо.

Несравнимо богаче в противовес христианству звучит языческое начало, понимание которого вместе с тем связано с немалыми трудностями. Скептицизм современных ученых, высказываемый по отношению к славянской мифологии, прослеживается в оценках языческого мира в «Слове о полку Игореве», который часто расценивается как некая поэтическая условность. Один солидный ученый сопоставлял употребление языческих образов в «Слове» с мифологическими символами классической поэзии XVIII века. Преувеличение, конечно, очевидно. Средневековый поэт жил в те времена, когда христианство на Руси вело ожесточенную борьбу с пережитками язычества, когда, согласно признаниям церковных проповедников, народ все еще оставался «двоеверным». Подобная историческая ситуация, возникшая на стыке двух религиозных миров, требует более тщательного исследования религиозной основы творчества поэта.

Языческие элементы в «Слове» звучат в именах великих богов русского Олимпа, в упоминаниях ряда менее значимых духов или личностей, а также в общем взгляде поэта на природу и жизнь.

Среди великих языческих богов, известных по другим источникам, поэт называет четырех, причем три из них упоминаются как предки или как повелители людей и стихий. Упоминания стереотипны: внуки Стрибога, внуки Дажьдбога, внуки Велеса. Рисуя отношения между поколениями, поэт чаще использует выражение «внук», нежели «сын». Внуками Стрибога выступают ветры, внуком Велеса является сам Боян, что же касается автора, то мы не знаем, с кем он состоит в родстве. Велес (или Волос) вместе с Перуном — один из величайших русских богов. Часто он упоминается как покровитель скота и богатства, но в данном случае он — покровитель поэта, «волшебного» поэта. Возможно, для кудесника покровительство языческого бога или родство с ним не совсем подходяще. Мы не знаем, кто является внуками Дажьдбога, бога солнца; содержание «Слова» позволяет предположить, что это или русские князья, или русский народ в целом, а может быть, даже все человечество. Поэт говорит, что из-за вражды князей «погибало достойное Дажьдбога внука».

Бог Хорс, который тоже, согласно языческой мифологии, является сыном солнца, по всей вероятности, иранского происхождения; назван прямо, но, видимо, синонимичен самому солнцу. Князь Веслав «великому Хорсу волком путь перерыскивал».<sup>18</sup> Слово «великий» вновь напоминает нам, что божественное призвание Хорса не умалено: он намного превосходит само светило. Какой же смысл вкладывает в эти имена христианский автор, используя их столь эмоционально?

Как поэт и ученик Бояна, он является наследником поэтических традиций, уходящих в глубь языческих времен. Эти традиции, по-видимому, диктовали необходимость употребления имен богов, которые в свое время были полны жизни и почитания и свет которых померк под натиском новой веры, для того чтобы передать их новым поколениям. Но и для официального глашатая христианства древние боги еще не утратили своей значимости и не канули в небытие. В отличие от современного богословия древняя церковь не отрицала существование богов. Средневековое богословие рассматривало их либо как демонов, либо как обожествленных людей. Вторая теория, известная как эвгемеризм, была весьма популярна на Руси. Так, в Ипатьевской летописи (1114), которая частично пересказывает греческую хронику Малалы, можно обнаружить повествование о том, как египетские фараоны становились богами. Фараона Феоста «называли богом Сварогом... После него царствовал его сын, именованный Солнцем, которого называли Дажьдбог...». Важно отметить, что летописец дает египетским богам-фараонам славянские имена. Как и летописец, поэт, воспевший князя Игоря, вполне мог верить в историческое существование богов. Но в то время как у христианских проповедников их имена вызывали отвращение, он упоминает их почтительно, как сын или внук. Возможно, он вообще не был привержен ни к одной из богословских версий о происхождении богов: были ли они духами стихий, как солнце или ветер, или же являлись предками людей. Основные идеи христианского богословия воспринимались русским народом весьма своеобразно, даже в XIX веке. Для нас важно то обстоятельство, что эти имена вызывали у поэта глубокие и магические ассоциации. Он пользовался ими как символами, но символами вполне реальными, весьма значимыми в системе его мифического мировоззрения.<sup>19</sup>

Это мировоззрение на самом деле можно назвать мифическим. Для религиоведа интересно наблюдать совершающийся в творчестве поэта живой процесс мифотворчества. В мировоззрении большинства великих поэтов укоренены мифологические элементы, но в примитивной поэзии подчас почти невозможно провести границу между религиозной мифологией и образами, созданными поэтом. Певца князя Игоря нельзя причислить к творцам примитивной поэзии, однако он укоренен в примитивном мире язычества. Он сплавляет народные мифологические традиции со своим собственным более или менее пантеистическим символизмом. Нет ни одной абстрактной идеи, которая не была бы им одушевлена или превращена в живой символ. Например, «обида» — поругание, один из его излюбленных символов. Это символ, столь необходимый для певца скорби, поэта горя. Согласно недавним открытиям профессора Р.Якобсона, образ «обиды» заимствован русским поэтом из перевода греческого труда Мефодия Патарского (порушение, обида, абиксия). Обида рисуется поэтом в образе девицы: «Встала обида в войсках Дажьдбожа внука, вступила девою на землю Трояню, всплескала лебедиными крыльями на синем море у Дона, плеча прогнала времена изобилия». <sup>20</sup> Но русский фольклор всегда персонифицировал «горе», рисуя его как существо, которое преследует проклятого человека, следует за ним по пятам, сопровождает его до могилы. Лихорадка или даже Лихорадки воспринимались всяким русским в образе демонических женщин, воздействия которых он пытался избежать с помощью заклинаний и колдовства.

Персонифицированная обида не остается в одиночестве в поэме. Ее окружают олицетворения горя и лжи — два женских существа, Карна и Желя, имена, которые можно истолковать как воплощение горестного плача и скорби: «По нем кликнула Карна, и Желя поскакала по Русской земле, огонь мыкая в пламенном роге». <sup>21</sup> Среди этих демонических существ, олицетворений судьбы и рока, мы находим существо совершенно иного происхождения и неясного значения. Это Див, природа которого до сих пор полностью не разъяснена. «Див — кличет на вершине дерева», предвещая неудачу. Тот же Див бросается на землю, когда происходит катастрофа. Большинство комментаторов трактует его как демоническое птицеподобное существо, созданное славянской или иранской мифологией, олицетворение зловещих, приносящих несчастье сил. Следовательно, этот образ близок символическому изображению горя и обиды.

Все эти божественные или демонические существа обитают и действуют в лоне природы, которая таит в себе более глубокий смысл. В поэме она не просто пейзаж, на фоне которого разворачиваются события. Природа живет своей жизнью и всецело одухотворена. Без преувеличения можно сказать, что природа и природные явления занимают в «Слове о полку Игореве» такое же важное место, как и человек. Природа, естественно, не совсем свободна от человека: она с любовью принимает его в свои объятия, но порой она бросает вызов, угрожая ему. Она предупреждает его знаменами, она разделяет человеческое горе и радость. Так, вступление, которое повествует о походе князя Игоря, открывается сценой затмения солнца — дьявольским предзнаменованием, и в этом нет ничего необычного. Русские летописи, в отличие от западных средневековых хроник, всегда наполнены описаниями астрономических явлений, которые истолковываются в пророческом смысле. Но в «Слове о полку Игореве» природа не изображается как орудие Божественного откровения. Она несет в себе самостоятельное жизненное начало. Когда князь Игорь ведет своих воинов на битву: «Солнце ему тьмою путь заступало; ночь стонами грозы птиц пробудила; свист звериный встал, вострепнулся див, кличет на вершине дерева, велит прислушаться — земле неизвестной...» Предвещая кровавую сечу, «волки грозу накликают по оврагам, орлы клекотом на кости зверей зовут, лисицы брешут на червленые щиты». <sup>22</sup> После поражения русских: «никнет трава от жалости, а дерево с горем к земле приклонилось». <sup>23</sup>

В созвучии с общим трагическим характером «Слова» природа являет себя в поэме главным образом как носитель скорби. Но вместе с тем она может и ликовать, сочувствуя человеческому счастью. В момент бегства князя Игоря из плена «дятлы стуком путь кажут к реке, да соловьи веселыми песнями рассвет возвещают». <sup>24</sup> Природа не только свидетель человеческих судеб. Она может быть не только мощным защитником, но и врагом человека. Во время бегства князя Игоря река Донец помогает, «легла князя на волнах, постила ему зеленую траву на своих серебряных берегах, одевая его теплыми туманами под сенью зеленого дерева». <sup>25</sup> Игорь благодарит Донец, своего спасителя, поэтически беседуя с рекой. Но река предстает злобной и зловещей, как Стугна, чья коварность противостоит кроткому Донцу. «Не такова, говорит он, река Стугна: скудную струю имея, поглотив чужие ручьи

и потоки, расширенная к устью, юношу князя Ростислава заключила»<sup>26</sup> (он утонул в Стугне в 1083 году).

Князь Игорь вступает в беседу с рекой. Его жена, дочь Ярослава, стоя на стене города Путивля, горестно плача по своему плененному супругу, обращается к ветру, реке Днепру и к солнцу с жалобами и заклинаниями, которые звучат как языческие молитвы. Следует отметить, что в обращении к этим стихиям звучит слово «владыко», которое свидетельствует не столько о сопереживании природы, сколько о благоговейном трепете перед нею и почитании:

«О ветер, ветрило! Зачем, господин, веешь ты навстречу? Зачем мчишь хиновские стрелочки на своих легких крыльицах на воинов моего милого? Разве мало тебе было высоко под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковылю развезял?.. О Днепр Словутич!.. Ты лелеял на себе Святославовы насады... Прилелей же, господин, моего милого ко мне, чтобы не слала я к нему слезы на море рано... Светлое и трижды светлое солнце! Всем ты тепло и прекрасно; зачем, владыко, простерло ты горячие свои лучи на воинов моего лады?»<sup>27</sup>

До сих пор, как мы видим, природа персонафицирована и активна в «Слове о полку Игореве». Но в поэме бесчисленное количество раз природа включена в состав метафор и поэтических символов. Князь Всеволод постоянно упоминается в сочетании с эпитетом «тур». Воины сравниваются с волками, князя — с соколами, пальцы певца на струнах — с «десятью соколами, напущенными на стаю лебедей».<sup>28</sup> В человеческом, даже политическом мире поэт не покидает мира природы. Он живет воспоминаниями о природе, пользуется ее образами, ее возвышенным духом. По всей видимости, нет ни одной такой поэмы или другого произведения в европейской культуре, в котором бы единение с природой было столь совершенным и религиозно значимым.

Большинство русских историков литературы рассматривают мир «Слова о полку Игореве» как чисто поэтическое произведение. Глубокое пантеистическое чувство пронизывает насквозь русскую поэзию, как письменную, так и устную, как художественную, так и народную. Выросшие в таких поэтических традициях, русские не придают этому никакого значения и не задумываются над их истоками. В устном народном творчестве русских крестьян пантеистический пантеизм сосуществует бок о бок с остатками древнего язычества. Русская поэзия XIX века подверглась сильному влиянию устного народного творчества, хотя слишком часто игнорировались его языческие истоки. В XII веке, когда в деревнях еще приносились жертвы богам, воздействие богатого образами и чувствами языческого мира на народное творчество должно было быть значительно более глубоким, нежели в наши дни.

Мы не считаем, что поэт, создавший «Слово о полку Игореве», не говоря уже о самом князе Игоре и его жене, поклонялся древним богам. В душе они наверняка были добрыми христианами. Однако поэт, по крайней мере в глубинах подсознания, созвучно с душой народа жил в другом, вряд ли христианском мире. Вероятно, большинство созданных им образов природы — продукт поэтического вымысла. Но, говоря о природе, он не может не начертать образ живого существа, и его воображение сразу же вступает в область мифологического мироздания. В этом природно-сверхприродном мире имена древних богов, сохранившиеся, быть может, лишь благодаря поэтической традиции, обретают то место, в котором на раннем этапе развития русской поэзии отказывают святым и ангелам христианского неба. Поэт тонко чувствует, что имена архангела Михаила или святого Георгия могут разрушить поэтическую ткань, в которую влетены имена Велеса и Дажьбога. Это — торжество язычества, которое преобладает в «Слове о полку Игореве».

Если мы только можем предполагать, насколько глубоко певец князя Игоря разделяет языческую веру и суеверия русского народа, то, по крайней мере, мы твердо можем говорить о его вере в волшебство. Более того, он относится к волшебству без какого-либо подозрения и даже с почтением. Несколько раз он называет Бояна, своего учителя, «вещим» поэтом. Это слово, которое позже обрело в русском языке значение «мудрый» и даже — «ясновидящий», «пророческий», означало, согласно древним документам, «волшебный». Слово «вещий» поэт прилагает к древнему полоцкому князю Всеславу, о котором говорит: «Всеслав — князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам в ночи волком рыскал: из Кудева дорыскивал до петухов Тматороканя, великому Хорсу волком путь перерыскивал».<sup>29</sup> В образе Всеслава-оборотня рационалисты-критики усматривали лишь метафору. Но древний монастырский летописец, современник князя Всеслава, который умер за сто лет до написания «Слова», упоминал о том, что мать Всеслава зачала его с помощью волшебства (1044). Такое же поверие существовало в Болгарии по отношению к одному князю, жившему в X

веке. Вряд ли кто в Средние века сомневался в существовании оборотней. Удивительно то, с каким глубоким уважением поэт к одному из них — князю Всеславу.

Если природа в «Слове о полку Игореве» пронизана языческими символами, которым трудно подыскать параллели в русских летописях, то во взглядах на общественную жизнь, социальную или политическую этику «Слова» и летописи весьма близки друг другу. Однако нельзя говорить и о полной идентичности взглядов. Основное различие заключается в том, что социальная этика поэта полностью секуляризована. Она чисто светская или даже нейтральная — на первый взгляд ни христианская, ни языческая, где бы ни был тот тайный источник, который питают оба религиозных мира. Стоит прежде всего рассмотреть номинальную ценность этики, безотносительно к ее религиозной значимости.

Изучая нравственный мир летописца, мы видим постоянную борьбу двух точек зрения: церковного автора и истолкователя, а с другой стороны феодального общества, которое он рисует. Мы уяснили, как второй уровень ценностей проглядывает сквозь благочестивое повествование и наиболее откровенно именно в XII веке. Тот же самый феодальный мир смотрит на нас со страниц «Слова о полку Игореве», но он высказывает свои взгляды свободно, не стесненный цензурой истолкователя. Эти взгляды высказываются совершенно неподцензурно, они свободны от какого бы то ни было влияния христианства, и это наиболее ощутимо в языке и символах, которые должны были бы стать обязательными и неизбежными для каждого члена христианского общества, каким бы приземленным или нечестивым оно ни было. Отсутствие христианских символов продиктовано, быть может, той же стилистической потребностью, что и использование образов языческой мифологии в описании ландшафта.

Три основных социальных этических течения пронизывают «Слово о полку Игореве» — те же самые, что легко обнаруживаются и в мирских повествованиях летописей: этика а клана или кровного родства, этика группы или феодального и военного достоинства и этика а отчества, связанная с приверженностью к Русской земле. Клановое или родовое сознание в «Слове о полку Игореве» прослеживается столь же часто, что и в летописях, но оно достаточно сильно и весьма красноречиво выражено. Князь Всеволод обращается к своему брату в начале пехода: «Один брат, один свет светлый — ты, Игорь! Оба мы Святославичи!»<sup>30</sup> Родовые имена, образованные от имени предка, используются поэтом весьма часто вместе с основными: Ярославна, Глебовна — когда он говорит о женщинах, или «храбрые сыновья Глеба».

Князь Игорь и его брат, неудачливые герои «Слова», принадлежали к великой черниговской ветви русских княжеских династий, ведущих род от знаменитого Олега Святославовича, умершего в 1116 году. Поэт осознает общность судеб и присущее этому клану чувство гордости. «Дремлет в поле Олегово храброе гнездо... Далеко залетело! Не было оно в обиду порождено...»<sup>31</sup> — так он описывает русский лагерь в степи. Он посвящает трогательные строки памяти Олега, неудачливого, но славного предка. Мы видим также, как этика клана побуждает поэта наделять родовыми именами природные стихии: ветры — это внуки Стрибога, Днепр — Словутич; русские князья — это внуки Даждьбога или, иными словами, русичи — наиболее излюбленное родовое сравнение, обычно используемое поэтом и, видимо, им самим созданное.

Клановая этика тесно связана и находится под сильным влиянием феодальной или военной этики, элементы которой мы также отмечали, анализируя летописи.<sup>32</sup> Здесь все виды воинских добродетелей прославляются без каких-либо ограничений: смелость, храбрость, отвага. В стиле исторических повествований (и летописей) поэт воздает хвалу князю Игорю, «который скрепил ум силою своею и оострил сердце свое мужеством; исполнившись ратного духа, навел свои храбрые полки на землю Половецкую...». Повествование течет еще в рамках разумной храбрости, описывая поведение христианского князя, исполненного чувства долга: «И сказал Игорь-князь дружине своей: „О дружина моя, братья! Лучше ведь убитым быть, чем плененным быть“». В этих строках прослеживается параллель с описаниями летописей и, что важно подчеркнуть, с источниками X века, описывающими деяния великого языческого воина Святослава. Даже неблагоприятная, безумная храбрость, выходящая за рамки мыслимого, является предметом прославления. Таковым был поход князя Игоря, оправданием которого служат следующие слова князя: «Хочу, — сказал, — копьё преломить на границе поля Половецкого с вами, русичи, хочу либо голову свою сложить, либо шлемом испить из Дона».<sup>33</sup>

Героическое поведение Всеволода в последней отчаянной битве описывается образами, напоминающими русские народные эпические сказания — былины, известные благодаря записям, сделанным в начале нашего столетия:

«Ярый тур Всеволод! Бьешься ты в бою, прыщешь на воинов стрелами, гремишь о шлемы мечами булатными! Куда, тур, поскачешь, своим златым шлемом посвечивая, там лежат поганые головы половецкие. Рассечены саблями калеными шлемы аварские тобою, ярый тур Всеволод!»<sup>34</sup>

Нигде в русской литературе, письменной или устной, не найти описания подобной высоты воинского накала, такой сверхчеловеческой или животной ярости, с какой запечатлены воины князя Всеволода, куряне:

«А мой-то куряне — опытные воины: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены, пути им ведомы, овраги им знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены; сами скажут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю — славы».<sup>35</sup>

Этот последний мотив, воспевающий «честь» и «славу», раскрывает иную сторону того же самого феодального идеала. Слава во имя реального величия, особенно приходящая после смерти, и честь на низших социальных ступенях составляют нравственное благо, плод и преимущество воинской добродетели, доблести. Слава достигается не удачей или политической мощью, но бесстрашием. Вот почему поэма завершается «славословием» князю Игорю и его родичам, хотя с политической точки зрения их поход был обречен на неудачу и завершился поражением. В этом же духе поэт прославляет предка княжеского рода Ольговичей, которого он нарицает Гориславичем, именем, в котором сочетаются слова «горе» и «слава». Он прославляет также древнего Всеслава-«кудесника», дедовской славы которого лишились его слабые потомки. Оба они — Олег и Всеслав — оставили после себя печальную память в анналах Руси, которые были хорошо известны нашему поэту. Они были главными «кузнецами вражды», героями гражданских войн. Если для поэта или князя Игоря они таят еще отблеск славы, как Олег для Бояна, то это лишь в силу их личной храбрости, тяги к рискованным приключениям, которые отличали самого князя Игоря, а также потомков князя Олега.

То, что составляет славу князей, является честью для дружины, их слуг и воинов. Рефрен: «ища себе чести, а князю — славы»,<sup>36</sup> повторяется дважды в сценах битвы. Идея «чести» как личностная ценность, покоящаяся на осознании воинского достоинства, весьма важна для исторической оценки культуры Древней Руси. Эта идея была особенно значимой на средневековом феодальном Западе. Несомненно, понятие о чести легло в основание аристократических свобод и, соответственно, стало основанием современной демократии. С другой стороны, широко было распространено мнение, что идея чести была чужда русскому национальному характеру и православному пониманию христианства. И действительно, тщетно искать истоков этой идеи в византийской социальной этике, или в более позднем московском обществе, где под «честью» понималось социальное положение, даруемое государственной властью. На нехристианском Востоке, в исламском мире и Японии сознание личной чести развито столь же сильно, хотя оно лишено той религиозной поддержки протиприказаний государства, которую даровала личности средневековая Католическая Церковь.

Истина в том, что концепция личностной военной чести мало чем связана, если связана вообще, с особенностями национального характера тевтонских народов. Она легко обнаруживается в любом обществе, где военная служба коренится в феодальной или похожей на феодальную организации. Древняя, или Киевская, Русь была именно таким феодальным обществом, и именно поэтому в нем получила развитие идея воинской чести — возможно, не без влияния варягов. На страницах летописей мы обнаруживаем, что эта идея по-прежнему скрывается под глухим покровом, лишь спорадически прорываясь сквозь византийский идеал смиренного православного воина. В «Слове о полку Игореве» эта идея звучит свободно и красноречиво.

Третьим источником социальной этики для пещца князя Игоря является стойкий патриотизм, который охватывает не отдельные русские княжества, а всю Русскую землю. Это панрусское сознание, как мы проследили, находилось в упадке в конце XII столетия, и лишь немногие следы этого упадка можно обнаружить в современных тому периоду летописях. В «Слове о полку Игореве» патриотизм занимает столь же важное место, как и в XI веке; фактически поэт — автор «Слова» — является верным наследником эпохи Бояна. Нет ни одной фразы в поэме, которая повторялась бы столь же часто, как «Русская

земля». Это выражение воспринимается не в том узком смысле, — включая лишь Киев и окружающие его земли, что было характерно для того времени, — а в более широком понимании. Это понятие включало все княжества и земли, населенные русскими людьми. Набег князя Игоря, являющийся по сути лишь незначительным эпизодом приграничного сражения, рассматривается как национальная трагедия. Игорь ведет свои полки на битву за «Русскую землю», он сражается за «Русскую землю». Его поражение вызывает национальную скорбь. Поэт идет еще дальше и завершает словами Бояна: «Тяжко голове без плеч, беда телу без головы — так и Русской земле без Игоря».<sup>37</sup> Эти слова звучат так, словно для него князь Игорь был реальным главой или вождем всей Руси.

Выражение «Русская земля» в устах поэта не только гипербола для усиления славы князя Игоря, оно — плод его политического мировоззрения. Носителем политических идеалов в поэме является князь Святослав Киевский, глава рода Ольговичей. В своем горьком и страстном обращении ко всем русским князьям Святослав требует, чтобы они выступили в защиту Русской земли, «за раны Игоревы, буйного Святославича!». Смоленск и Полоцк, Галич и Суздаль, самые отдаленные окраины у границ Руси — все обьяты этим страстным призывом. В хвалебном перечне русских князей поэт делает все, чтобы избежать умаления отдельных ветвей рода Рюриковичей. Мономаховичам, традиционным врагам Ольговичей, отводится доминирующее место ввиду политической значимости занимаемых ими позиций. Напротив, один из сильнейших представителей клана Ольговичей — Ярослав Черниговский подвергается порицанию за свое неблагодарное поведение: он воздерживался от всех совместных походов против половцев.

Национальное сознание поэта перекликается с сознанием его рода. Но оно перекликается также и с его феодальной этикой безграничной чести. Поэт, будучи патриотом, не может не видеть губительных последствий вражды, и он недвусмысленно осуждает их: «Борьба князей против поганых прекратилась, ибо сказал брат брату: „Это мое, и то мое же“. И стали князья про малое „это великое“ говорить и сами на себя крамолу квать. А поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую».<sup>38</sup>

Здесь скорее жадность, чем гордыня, политический первородный грех, противоречащий понятиям феодальной этики. Слова «это великое» указывают на преувеличенную щепетильность в понимании личной чести. Поэт вполне осознает национальный ущерб, причиненный погоней за славой, говоря о великом герое, древнем Олеге:

«Тот ведь Олег мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял... Тогда, при Олеге Гориславиче, заседалось и прорастало усобицами, погибало достояние Дажьбожа внука; в княжеских крамолах сокращались жизни людские».<sup>39</sup>

Это политическое осуждение Олега не преуменьшает восхищения поэта «славой» и храбростью князя. Такой же дуализм в оценке мы обнаруживаем и по отношению к князю Игорю. Говоря от себя, поэт старается не произнести ни одного слова осуждения в адрес авантюристического и опрометчивого набега, который окончился бедствием для «Русской земли». Но политическая оценка преподана устами Святослава Киевского, который сквозь слезы и стенания шлет слова осуждения плененным двоюродным братьям:

«О мои дети, Игорь и Всеволод! Рано вы начали Половецкой земле мечами обиду творить, а себе славы искать. Но не с честью вы одолели, не с честью кровь поганую пролили. Ваши храбрые сердца из крепкого булата скованы и в смелости закалены. Что же сотворили вы моей серебряной седине»<sup>40</sup>

Перед нами этический конфликт, который поэт оставляет неразрешенным. Его сердце в равной мере откликается и на призыв к «славе», и на призыв страдающей Руси. Он, по всей видимости, не сочувствует домашним распрям. Он предпочитает видеть проявление обожаемой им воинской доблести на поле брани против общего врага Руси, язычников. В этом он единодушен с лучшими традициями летописей.

Интересно сравнить прославление певцом князя Игоря, высокую оценку этого князя и его похода с оценками, содержащимися в летописях того времени. До нас дошли повествования об этом походе, сохранившиеся в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. Они дают весьма неоднозначные трактовки образа князя Игоря. Лаврентьевская летопись (1186), которая создавалась в городе Владимире, отражает политические тенденции, характерные для северной ветви рода Мономахов, взгляд противников князя Игоря. Этот взгляд довольно суров. Летописец клеймит авантюристический дух и бесшабашную дерзость, которые обернулись для князя Игоря и его дружины бесславным поражением. Иной раз тон повествования приобретает иронический оттенок:

«В том же году надумали внуки Ольговы пойти на половцев, так как не ходили в прошлом году со всеми князьями, но сами по себе пошли, говоря: „А что, мы разве не князья? Такую же славу себе добудем!“»<sup>41</sup>

После первой легкой победы их воодушевление возросло безмерно. Три дня они провели в развлечениях и бахвальстве:

«Братия наша ходила со Святославом, великим князем, и билась с половцами на виду у Переяславля, те сами к ним пришли, а в землю Половецкую не посмели за ними пойти. А мы в земле их, и самих перебили, и жены их полонены, и дети их у нас. А теперь пойдем следом за ними за Дон и перебьем их всех без остатка. Если же и тут одержим победу, то пойдем вслед за ними и до лукоморья, куда не ходили и деды наши, а славу и честь свою возьмем до конца», «но не знали о предначертании Божьем»,<sup>42</sup> добавляет автор. Поведение русских воинов во второй битве не отличалось храбростью:

«Наши же, увидев их (половцев), ужаснулись и забыли о похвальбе своей, ибо не ведали сказанного пророком: „Тщетны человеку и мудрость, и мужество, и замысел, если Бог противится“... И были побеждены наши гневом Божиим».<sup>43</sup>

Оплакивание автором неудач русского войска перемежается с благочестивым изображением карающего Бога. Побег князя Игоря, естественно, описывается с чувством удовлетворения и толкуется как знак божественного прощения. «Вскоре бежал Игорь от половцев, ибо Господь не оставит праведника в руках грешников».<sup>44</sup> Характеристика князя Игоря как праведника довольно неожиданна в контексте летописи, но она вполне объяснима с позиций христианства, противопоставляемого язычеству; помимо всего прочего, это библейская цитата.

Ипатьевская летопись, составлявшаяся в Киеве, настроена к князю Игорю более чем дружелюбно и повествует о неудаче князя более детально и тщательно разработано с религиозной точки зрения. Весьма вероятно, что эта часть Ипатьевской летописи включает анналы, созданные в самом доме князя Игоря. Игорь представлен в ней как мудрый, благочестивый князь, прошедший через очистительные страдания и достигший высокой степени христианского смирения.

Его размышления о значении затмения солнца сильно отличаются по тону от его гордого вызова этому предзнаменованию, который звучит в «Слове». Так, согласно летописи, он говорит: «Братья и дружина! Тайны божественной никто не ведает, а знамение творит Бог, как и весь мир Свой. А что нам дарует Бог — на благо или на горе нам, — это мы увидим». Когда разведчики предупреждают его о готовности врага, он отвечает: «Если нам придется без битвы вернуться, то позор нам будет хуже смерти; так будет же так, как нам Бог даст». Подчеркивается мысль о чести и достоинстве, смягченная, однако, покорностью и верой в Бога. Вот его размышления после первой победы: «Вот Бог силой Своей обрек врагов наших на поражение, а нам даровал честь и славу».<sup>45</sup>

Вторая, несчастливая битва описывается значительно более детально, нежели в «Слове о полку Игореве». Мы узнаем, что сам Игорь был ранен. Один летописный штрих напоминает нам яркую эпическую картину — летописец говорит о любви, связующей князя Игоря с его братом Всеволодом в момент смертельной опасности: «И уже схваченный, Игорь видел своего брата Всеволода, ожесточенно бьющегося, и молил он у Бога смерти, чтобы не увидеть гибели брата своего».<sup>46</sup> Пленение князя Игоря сопровождается длинным монологом князя, в котором он приписывает свою неудачу справедливой Божьей каре и молит о покаянии. Один из его грехов особенно тяжелым грузом лежит на его совести — жестокое разграбление им русского города:

«Вспомнил я о грехах своих перед Господом Богом, что немало убийств и кровопролития совершил на земле христианской: как не пощадил я христиан, а предал разграблению город Глебов у Переяславля. Тогда немало бед испытали безвинные христиане: разлучаемы были отцы с детьми своими, брат с братом, друг с другом своим, жены с мужьями своими — старцев пинали, юные страдали от жестоких и немилостивых побоев, мужей убивали и рассекали, женщин оскверняли. И все это сделал я... и не достоин я остаться жить! И вот теперь вижу отмщение от Господа Бога моего...»<sup>47</sup>

Конкретный эпизод разграбления города Глебова указывает на самого князя Игоря, это его личные воспоминания, хотя общее благочестивое изложение событий приписывается летописцу.

Тот же дух раскаяния не покидает князя Игоря во время его пребывания в плену. Он повторяет: «Я по делам своим заслужил поражение и по воле Твоей, Владыка Господь мой, а не доблесть поганых сломила силу рабов Твоих».<sup>48</sup> В то же время Игорь далек от чувства

подавленности. Сознание чести, даже в этом состоянии повышенной чувствительности, не покидает его. Это находит яркое подтверждение в описании обстоятельств побега. Сначала князь Игорь возражал против плана побега, предложенного ему половцем Лавром (Овлур с «Слове»). Он лелеял дерзкую надежду, как это свойственно юности, что отразилось в последующих его рассуждениях: «Я, страшась бесчестия, не бросил тогда дружину свою (на поле битвы), и теперь не могу бежать бесславным путем». Его бояре, которые разделяли с ним плен, не одобрили гордого решения: «Не угоден Богу твой дерзкий замысел».<sup>49</sup> Настойчивость его советчиков и неизбежная угроза смерти помогли Игорю в конечном итоге преодолеть колебания, диктовавшиеся чувствами чести или гордости.

В обеих летописях особо отмечен мотив чести в поведении князя Игоря, но они истолковывают его по-разному. Лаврентьевская летопись не испытывает к нему никакой симпатии, высмеивает и видит именно в искании чести причину катастрофы. Ипатьевская же летопись пытается смягчить этот мотив и влить его в общий поток благочестия, который преобразует нрав Игоря в святость христианского подвижника.

У автора «Слова о полку Игореве» не находится слов осуждения в адрес князя; он сам восторженно отзывается о чести и славе. Он не считает необходимым ни оправдывать их с точки зрения религиозной, ни как-то ограничивать их. Он лишь отваживается устами Святослава указать на губительные последствия для Русской земли безоглядной опрометчивости Игоря.

Возвращаясь к воинственному пылу поэта, мы обнаруживаем еще один ограничительный фактор, но отнюдь не социального, а скорее эмоционального порядка. Поэт проявляет такой высокий уровень понимания добра, чувствительности и деликатности, который совершенно не совместим с оргией убийств. Он пленен проявлениями смелости, стремительности и даже опьянен стихией битвы. Но, по всей видимости, ему претят убийства и кровопролитие. Об этом можно судить по его отношению к битвам. Смертельная схватка на реке Каяле — основная тема его эпического повествования. Описание этой битвы составляет первую и наиболее значительную часть поэмы. Но само сражение изображено им скорее косвенно. Вначале следует описание серий предзнаменований, предчувствий, предсказаний. Затем оно переходит в изображение сцен скорби, картины губительных последствий поражения. Что же касается самой битвы, то для ее отображения ему достаточно нескольких строк. Первое сражение, успешное для русских, передано весьма просто: «Спозаранок в пятницу потоппали они поганые полки половецкие...»<sup>50</sup> Второе же сражение, с трагическим концом, описывается через призму подвига князя Всеволода, на которого уже были ссылки: «...там лежат поганые головы половецкие. Рассечены саблями калеными шлемы аварские тобою, ярый тур Всеволод...»<sup>51</sup> К этому можно добавить третий эпизод, передающий всеобщий ужас схватки: «...летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копыя булатные в поле незнаемом... Черная земля под копытами косями была засеяна и кровью полита: горем взошли они по Русской земле!»<sup>52</sup>

Действительно совсем немного сказано о неистовстве битвы, которая является кульминацией, первой кульминационной точкой поэмы. Упоение убийством, сладострастное удовлетворение при виде текущей крови характерны для наиболее ранних эпических произведений большинства национальных литератур. Но ничего подобного нельзя обнаружить в «Слове о полку Игореве», если сравнить его с известными строками «Илиады»:

Голову с шлемом, сотрясши, поверг; из костей позвоночных,  
Выскочил мозг; обезглавленный труп по земле протянулся.<sup>53</sup>

Или со строками из «Песни о Роланде»:

Ужасна сеча, бой жесток и долог.  
Французы бьются смело и упорно,  
Арабам рубят руки, ребра, кости  
И сквозь одежду в них вгоняют копыя.  
Зеленая трава красна от крови.<sup>54</sup>

Мягкость и кротость повествования русского поэта может быть подтверждена и другими сравнениями. Вся композиция поэмы с ее трагической напряженностью и ликующим финалом, похоже, нуждается после пережитого ада и мрака поражения в компенсации, она, казалось бы, требует мести или, по крайней мере, окончательной победы. Но поэт, а вместе с ним и читатель довольствуются изглавлением из плена, бегством князя Игоря. С

точки зрения строгих правил, феодальных понятий о чести, бегство не может считаться компенсацией. Без отмщения герой почитался бы обесчещенным. Но по каким-то неведомым причинам идея мести даже не приходит на ум читателю. Именно князь Игорь, а не половцы, согласно действию поэмы, начал сражение, поэтому Игорь сам виновник поражения и плена. Половцы не совершали каких-либо жестоких действий, а один из язычников даже помогает князю совершить побег. Из уст преследующих его ханов мы узнаем о планах женитьбы молодого Владимира, сына Игоря, на половецкой княжне. Половцы, в конечном итоге, выглядят не так уж плохо. Похоже, что поэт, увидев князя снова свободным, на радостях прощает их.

Примечательно, что в «Слове» само слово «месть» встречается только один раз и то в высказываниях врагов: «И вот готские красные девы... лелеют месть за Шарукана»<sup>55</sup> (это один из половецких ханов). Анализируя летописи, мы видели, что на протяжении самых лучших времен русской историографии слово «месть» использовалось лишь в тех случаях, когда речь шла о языческих временах и героях. Только с середины XII века оно стало употребляться применительно к христианским князьям. Певец князя Игоря по характеру своего мировидения более сдержан и мягок, нежели многие духовные писатели из числа его современников.

Сердечной нежностью проникнуты те строки поэмы, в которых поэт говорит о женщине. Его, конечно, трудно назвать поэтом, воспевающим любовь, он не певец романтической любви или рыцарской, хотя он часто употребляет эпитет «красные» применительно к девушкам, даже если они принадлежат вражескому стану: «красные девушки половецкие», «готские красные девы». Он любовно отбирает слова, выражающие различные оттенки любви и дружбы: «лада», «хоть» (любовник, любимый, супружеский, друг и т.д.), но употребляет их в большинстве случаев лишь как метафоры. «О девице ему милой» — речь идет о честолюбивой мечте Всеслава, Киевском престоле. Но особенно дорога поэту женщина в ореоле страданий. Если все «Слово о полку Игореве» можно назвать горестным плачем, то наиболее выразительно в ней звучит голос женщины. Все русские женщины разделяют скорбь по князю Игорю и его воинам: «Уже нам своих милых лад ни мыслию не осмыслить, ни думою не сдумать, ни глазами не повидать, а золота и серебра совсем не потрогать!»<sup>56</sup>

Вторая кульминационная вершина «Слова» — плач Ярославны, жены князя Игоря. С поэтической точки зрения эта сцена всегда расценивалась как лучшая часть всего эпического полотна поэмы. Мы уже ознакомились с выразительными заклинаниями, обращенными к силам природы: ветру, реке Днепру и солнцу. Неужели же случайно, что сразу же после почти магических заклинаний Ярославны поэт рисует князя Игоря и его побег? Создается впечатление, что заклинания Ярославны оказывают необходимое воздействие на силы природы, которые спешат возратить княгине оплакиваемого ею мужа. И действительно, следующая часть поэмы, описывающая побег, открывается парадом стихий: «Прыснуло море в полночи, идут смерчи тучами. Игорю-князю Бог путь указывает из земли Половецкой...»<sup>57</sup> Благодаря этому художественному приему поэт отводит Ярославне — в равной степени со старым Святославом — центральное место в своей поэме. Святослав пытался спасти князя Игоря с помощью политических обращений, но его призыв не был услышан. Ярославна же своим плачем, идущим из глубин сердца, мощью чувств, с которыми она обращается к стихиям, достигает успеха.

Сердечная нежность и мягкость, удерживающие воинственный пыл, не исчерпывают сполна чувствительности певца князя Игоря. Именно в нем ярко проявилась та черта национального характера, которая, по-видимому, является ключом к познанию глубинных пластов русской души. Она созвучна с общей трагической тональностью поэмы и нуждается в более внимательном изучении.

Трагический характер отличает почти каждое великое эпическое произведение любой исторической нации: «Илиада», «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах». Не случайно и то, что великие эпические поэты, почитающиеся носителями глубочайших поэтических традиций древних народов, выбирают темой своих «песен славы» какое-либо трагическое событие: поражение в битве, разрушение государства, смерть юного героя. Общим нравственным законом в жизни, как и в художественных произведениях, является констатация того, что величайших людей рождает не счастливая жизнь, а героическая смерть. «Слово о полку Игореве» не является исключением. Но все же оно обладает некоторыми конкретными чертами, свойственными только русскому характеру. Во-первых, легко заметить, что на-

гнетание трагических событий не получило достаточного обоснования в раскрытии темы. «Слово о полку Игореве» — это драма со счастливым концом. Обилие зловещих сцен выглядит несколько необоснованным. Во-вторых, трагический эффект достигается не вследствие смерти сражающегося и обреченного на гибель героя (как в случае с Ахиллом, Роландом, Зигфридом), а в результате его страданий и унижений: в лице князя Игоря страданиям и унижениям под гнетом половцев подвергается вся Русская земля.

Особенно сильное и неожиданное впечатление производит возвращение автора к трагической теме незадолго до счастливого конца. Когда князь Игорь возвращается в свое отечество, убежав из плена, он воздает хвалу реке Донцу за свое спасение. И именно в этот момент, движимый странными ассоциациями, поэт вспоминает другую, враждебную, реку — Стутну, в волнах которой утонул молодой князь Ростислав. Этот эпизод не имеет никакого отношения к князю Игорю. Произошло это за сто лет до описываемых событий. Однако поэт почему-то посвящает ему целую строфу. Используя свой излюбленный прием, он рисует скорбящую женщину — мать юного князя и облекает в траур все силы природы: «Уныли цветы от жалости, и дерево с тоской к земле преклонилось».<sup>58</sup> Поэт повторяет один из своих лучших приемов, который использовал ранее при описании поражения князя Игоря, но в этом контексте он явно выпадает из общей композиции поэмы. Поэт просто не мог удержаться от того, чтобы не добавить капли печали в заключительную сцену триумфа. Но как отсутствие в финале чувства мести или обещаний ее, так и чрезмерное включение темы скорби само по себе весьма показательно. Мерило страданий как высшего нравственного критерия, как почти абсолютной нравственной вершины является наиболее драгоценной чертой русского религиозного сознания. Здесь мы обнаруживаем в эстетическом претворении то, чего можно менее всего ожидать от барда, прославляющего воинскую доблесть и честь, — поэта, который испытывает отвращение к христианским символам и христианским понятиям.

Это открытие вынуждает нас снова вернуться к вопросу о религиозных влияниях в «Слове о полку Игореве», которое мы оценивали до сих пор, по крайней мере, с точки зрения содержащихся в нем христианских вкраплений, главным образом исследуя внешние их формы. Если вполне закономерно проследить степень влияния язычества на отношение поэта к природе, то вполне уместно задать вопрос и о воздействии христианства на его этическую позицию. Этот вопрос проще поставить, чем отыскать ответ на него. Это та сфера, в которой руководствуются более интуицией, нежели фактическими данными.

Как правило, все глубинные этические или социальные нормы и взгляды, даже те, которые кажутся нам скорее светскими, таят под собой некую религиозную подпочву и подпитываются религиозными убеждениями или ее пережитками. Можно предположить, что и в русской клановой этике, с ее мощным и ранимым чувством кровного родства, обнаруживаются языческие корни или языческое освящение древних племенных связей и организаций. В христианские времена они были заново переосмыслены в духе евангельской любви и остались навечно одним из краеугольных камней русской социальной этики. Вполне закономерно также предположить о существовании связей язычества с воинской отвагой, хотя социальное обоснование эта добродетель получила благодаря феодальным институтам времен христианства. Здесь, однако, исследователь «Слова о полку Игореве» испытывает смущение, столкнувшись с полным отсутствием в поэме языческих славянских богов войны, подобных Перуну, которые соответствовали бы образу Дажьбога и другим божествам природы. Это напоминает теории некоторых современных ученых, которые усматривают в воинском культе Перуна, но не в самом Перуне, отражение культового поклонения скандинавскому Тору. Если бы Перун как бог войны был искусственно создан во Владимиро или варягами в Киеве, то он, по всей вероятности, был бы вычеркнут из поэтической памяти нации после обращения в христианство. В этом случае следует признать, что у русских отсутствовал конкретный бог войны и, соответственно, у славян не было языческого освящения воинской этики. Некоторое религиозное обоснование этой гипотезы может быть заимствовано из скандинавских источников.

Признавая языческое влияние на воинскую этику, следует более внимательно рассмотреть вопрос о воздействии христианства, о тех проявлениях мягкости и нежности, которые отличают творчество певца князя Игоря. Два столетия евангелизации не могли пройти даром. Они до основания изменили не только нравственные взгляды людей, но даже их чувства. Певец князя Игоря не охвачен жадной мщеница, но для языческой русской княгини (святой Ольги), до ее обращения в христианство, месть в ее наиболее жестоких проявлениях

составляла неотъемлемую часть славных традиций. Об этом спокойно и объективно поведал монах-летописец, и, видимо, это хранилось в устной эпической традиции древности.

Итак, не одним только влиянием христианства объясняется спокойный характер русских эпических повествований, это могло быть обусловлено также и языческим прошлым. На основании имеющихся скудных свидетельств о русском язычестве можно сделать вывод, что оно было значительно более мягким по своему характеру, нежели как о том повествуют эпические произведения многих других племен, например тевтонцев. Благая весть о любви упала на особо благотворную почву Древней Руси. И на самом деле, византийское понимание христианской этики абсолютно лишено какой-либо мягкости. Впрочем, так же как и западное понимание жизни в эпоху раннего Средневековья. На Руси дух милости отличает те литературные документы, которые менее подвержены влиянию византийской культуры; чаще в светских и реже в официальных церковных трудах.

И все же следует иметь в виду, что предположение о мягкости нравов русского язычества можно признать лишь относительным. Не только княгиня Ольга, но и Владимир (оба причислены к лику святых) изображаются как жестокие правители вплоть до их обращения в христианство. Об актах жестокости сообщают также языческие кудесники, жившие в XI веке. А язычники-вятичи убили христианина-миссионера, святого Кукшу в 1100 году. Так Евангелие реально воздействовало на грубые сердца язычников, пересоздавая их, и свидетельством этого благотворного влияния являются наиболее трогательные и нравственно чистые черты в единственном дошедшем до нас эпическом произведении древней Руси.

### Примечания

- <sup>1</sup> Fedotov G. The Russian Religious Mind. Harvard College, 1946, 1960. Vol. 1, 2.
- <sup>2</sup> Федотов Г.П. Святые Древней Руси. Париж, 1931.
- <sup>3</sup> Мейендорф И.В. Письмо от 27 августа 1982 года / Архив автора.
- <sup>4</sup> Св. Филипп, митрополит Московский. Париж, 1928; Святые Древней Руси. Париж, 1931; И есть и будет. Размышления о России. Париж, 1932; Стихи духовные. Париж, 1935.
- <sup>5</sup> Уже переизданы на Родине автора три книги: Святые Древней Руси. М., 1990; Стихи духовные. М., 1991; Св. Филипп, митрополит Московский. М., 1992.
- <sup>6</sup> Глава XI занимает с.315—343.
- <sup>7</sup> Fedotov G. The Russian Religious Mind. Harvard University Press, 1966 (second printing). Vol.I.
- P. IX.
- <sup>8</sup> Там же. PP. X—XI.
- <sup>9</sup> Там же. P. XIV.
- <sup>10</sup> Там же. P.XV.
- <sup>11</sup> Там же. P.X.
- <sup>12</sup> Федотов Г.П. Православие и историческая критика // Россия, Европа и мы. Париж, 1973.
- C. 204.
- <sup>13</sup> Слово о полку Игореве. Л., 1990. С. 86.
- <sup>14</sup> Там же. С. 87.
- <sup>15</sup> Там же. С. 90.
- <sup>16</sup> Там же. С. 75.
- <sup>17</sup> Там же.
- <sup>18</sup> Там же. С. 85.
- <sup>19</sup> Употребляя понятие «миф», Г.П. Федотов вкладывает в него отнюдь не уничижительный смысл. Для него миф — это, согласно трактовке известного русского богослова С.Н.Булгакова, — «встреча мира имманентного — человеческого сознания... и мира трансцендентного, божественного...» (Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1917).
- <sup>20</sup> Слово о полку Игореве. С. 77.
- <sup>21</sup> Там же.
- <sup>22</sup> Там же. С. 72.
- <sup>23</sup> Там же. С. 76.
- <sup>24</sup> Там же. С. 89.
- <sup>25</sup> Там же. С. 88.
- <sup>26</sup> Там же. С. 89.
- <sup>27</sup> Там же. С. 86—87.
- <sup>28</sup> Там же. С. 69.
- <sup>29</sup> Там же. С. 85.
- <sup>30</sup> Там же. С. 71.
- <sup>31</sup> Там же. С. 73.
- <sup>32</sup> Речь идет о главах, предшествующих анализу «Слова о полку Игореве».

- 33 Слово о полку Игореве. С. 70.  
 34 Там же. С. 74—75.  
 35 Там же. С. 71—72.  
 36 Там же. С. 72—73.  
 37 Там же. С. 90.  
 38 Там же. С. 77.  
 39 Там же. С. 75.  
 40 Там же. С. 80.  
 41 Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 367.  
 42 Там же.  
 43 Там же. С. 369.  
 44 Там же.  
 45 Там же. С. 353.  
 46 Там же. С. 355.  
 47 Там же. С. 357.  
 48 Там же. С. 361.  
 49 Там же. С. 363.  
 50 Слово о полку Игореве. С. 73.  
 51 Там же. С. 75.  
 52 Там же. С. 76.  
 53 Гомер. Илиада, Одиссея. М., 1967. С. 355.  
 54 Песнь о Роланде // Песнь о Роланде; Коронавание Людовика; Нимская телега; Песнь о Сиде; Романсеро. М., 1976. С. 77.  
 55 Слово о полку Игореве. С. 80.  
 56 Там же. С. 77.  
 57 Там же. С. 87.  
 58 Там же. С. 89.

## Л.П. КАРСАВИН. РУССКАЯ ИДЕЯ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПЕРЕВОД И ПРИМЕЧАНИЯ  
 А.А.ЕРМИЧЕВА)

«...Все общие высказывания о русской идее, судьбах культуры и т.д., — писал Лев Платонович Карсавин, — не только привлекательны, а и неизбежны, являясь самим существом жизненного идеала ...»<sup>1</sup> Вопрос же этот — о «существом жизненного идеала» — с особенной силой звучит в кризисную эпоху народной истории, каковой и явился для России XX век. Л.П.Карсавин (1889—1952) оттого не мог не написать своей «русской идее», что был современником, участником и свидетелем трагических событий этого времени.

Как личность, как ученый-медиевист и религиозный мыслитель Л.П.Карсавин вырос и сложился в «двоящейся» (Н.А.Бердяев) атмосфере «русского духовного ренессанса», когда, по замечанию Е.Ю.Кузьминой-Караваевой, «глубина и смелость» творческих поисков его носителей сочеталась — увы! — с «неизбежным тлением, с духом умирания, призрачности, эфемерности».<sup>2</sup> Это было время, когда сплелись «концы и начала» и никто не мог сказать, где и как кончались концы и начинались начала. Чтобы ответить на вопрос, чем был «ренессанс» для нашей истории и культуры, нужно увидеть его в одном ряду с «декабризмом», «славянофильством», «западничеством» и т.п. Все они — явления социокультурного порядка и, значит, характеризуют образ и стиль жизни эпохи как некоей соборной личности, налагающей свой отпечаток на все виды ее деятельности, ее, выражаясь языком Л.П.Карсавина «качествования», включая, быть может, и экономическую. А животворящим нервом этого организма была проблема исторических путей и предназначения России. Все сказанное сказано и о «русском духовном ренессансе». В конце XIX — начале XX века Россия вновь оказалась перед выбором, и та часть русского общества, которая искала для страны узкий коридор между Сциллой западноевропейского капитализма и Харибдой русского коммунизма, своей общественно-культурной деятельностью образовала «русский духовный ренессанс».

<sup>1</sup> Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея. Пб., 1922. С.4.

<sup>2</sup> Кузьмина-Караваева Е.Ю. Избранное. М., 1991. С. 368.

В воображении его творцов русский путь рисовался особым, но не обособленным от общеевропейского развития. Он должен был вместить в себя и ценности западноевропейской секуляризированной культуры (а среди них первые и главные — право и права личности), и христианские ценности русской жизни. Чаиния синтеза были спроецированы очевидной, лично переживаемой каждым из участников «ренессанса», антиномией личности и обществу, которая уже привела к разложению западноевропейскую культуру, всегда сближавшую русских и всегда отталкивавшую их своей «буржуазностью». В поисках решения антиномии авторы «ренессанса» обращаются к христианству, к православию, которые уже имели искомое разрешение. Было же оно соборным, церковным, — в пользу индивидуума и не против обществу, но — церковной обществу. Разрешение давалось не на рационально-функциональном уровне социально-ролевого поведения, а на уровне психологически-духовного единства личности и общества как общения. Но при этом для большинства представителей (хотя, разумеется, не для всех) «ренессансной» интеллигенции земными гарантиями религиозно утверждаемой ценности личности выступила система политико-правовых учреждений европейского либерального происхождения. Сочетание религиозно-культурного «славянофильства» и социально-культурного «западничества» делало предполагаемый путь России не западным и не восточным, а путем «национального европеизма» (по выражению П.Б.Струве), и регион представил в виде великого «Востока-Запада». Потому не случайно в «русском ренессансе» могли возникнуть замыслы «евразийства», геополитическая конструктивность которого была, правда, определена позднее — после Октября и после краха «национального европеизма». Внутри рамок «ренессансного» решения вопросов о судьбе России возникли различные варианты «русской идеи» и карсавинский — также.

Предлагаемая читателю статья Л.П.Карсавина была опубликована в журнале «Der Grab» в 1925 году, когда автор ее уже был привлечен евразийцами к сотрудничеству с ними, а само согласие философа «евразийствовать», видимо, уже было подготовлено сложившейся у него метафизической конструкцией, что давало ему уверенность в правоте практического шага. Следовательно, статья может быть рассмотрена только в контексте его метафизики и философии истории, предложенных, например, в «Философии истории» (1923) и других, менее объемных работах, таких как «Восток, Запад и русская идея» (1922), «Достоевский и католичество» (1922), «Путь православия» (1923), «Европа и Евразия» (1923), «О сущности православия» (1924), «Уроки отреченной веры» (1925), «Религиозная сущность большевизма» (1925) и других, по времени следующих уже за 1925 годом. Множество из великого богатства содержащихся в них идей служат незримым фундаментом «Русской идеи», и во вступительной статье их даже не следует перечислять, чтобы не допустить псевдонаучного скорого проговаривания. Поэтому, упомянув, что понимание Л.П.Карсавиным православной русской идеи существенно связано с его интерпретацией догмата о Filioque (см. его работу «Уроки отреченной веры» в «Евразийском временнике», кн. IV), я вынужден ограничиться указанием на два ряда обстоятельств, придавших особенность карсавинскому варианту «русской идеи».

Первый из них образует особая трактовка отношения Бога и человека, что послужило методологией рассуждений философа о русской истории — «очевидно без методологии не обойтись, а ей ставится задача: указать принципы анализа действительности...».<sup>3</sup> Другой ряд обстоятельств связан с его осмыслением революций 1917 года и гражданской войны, в которой победу одержали большевизированные народные массы. Советский режим, Советская власть стали реальностью мировой истории, а Л.П.Карсавин более всего дорожил реализмом своего мировоззрения и отступать от него не хотел. В одной из статей евразийского содержания он писал о необходимости «найти в действительности точку приложения для активного развития одобряемого в ней и включиться в нее».<sup>4</sup>

Помня, что слово есть дело философа, начнем с обстоятельств первого ряда. Особенное в метафизике Л.П.Карсавина выявляется сразу же, в его решении вопроса об отношении Бога и мира. Один из современных православных авторов, игумен Геннадий (Эйкалович), в качестве «проверочного камня христианского учения, не допускающего каких-либо исключений» называет «инакоприродность Бога и мира», и даже Боговоплощение не представляет исключения из этого правила, «так как в Богочеловеке Бог и мир не становятся одно по

<sup>3</sup> Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея. С. 4

<sup>4</sup> Карсавин Л.П. Оценка и задание // Евразия. 1928. 8 дек. № 3.

природе, но, сохраняя разность природ, отождествляются в ипостаси».<sup>5</sup> Л.П.Карсавин же настаивает на другом, полагая, что «особенное христианское понимание абсолютного» заключается в признании сотворенного сразу же «и существующим и несуществующим, и отличным от абсолютного и единым с ним».<sup>6</sup> Каждый момент мира по-своему, а именно — «стяженно и умаленно», содержит в себе целое мира; оно же в своей абсолютности является Богом. Следовательно, Бог содержательно присутствует во всем, в бесконечном многообразии собственных моментов («качественный»), не приглушая их самостоятельного значения. Мир во всех своих проявлениях оказывается Богом, «но не в себе и не в полноте и неизменности своей», а как «умаленный» Бог. Мир есть «умаление Божества» и вне этого статуса есть ничто; он — теофания и как таковой существует как единовременное и всевременное действие двух субъектов целого — Бога и твари, которая до той поры существует, пока свободно приемлет Творца. Грубо говоря, мир в его абсолютности есть Бог, а Бог в его умаленности есть мир. Мир (он же Бог) существует, по Л.П.Карсавину, в трех способах бытия — как первичное единство, как единство разделенное в себе самым и как вторичное единство. Мир предстает как процесс пульсации Абсолютного — распада первоначального Единства на множество и его нового становления из наличной множественности, причем два этих встречных процесса, сосуществуя или противоборствуя во времени и пространстве, выступают в качестве всевременного и всепространственного «вдоха-выдоха» «симфонической личности» мира. Таким образом, весь космос, все «тварное всеединство» признается за единый развивающийся субъект, моментом которого является человечество, в свою очередь состоящее из исторических субъектов (человек, семья, народ и т.д.), проникающих друг в друга. При этом высший субъект (им выступает Церковь как наиболее совершенная реализация всеединого человечества здесь, в эмпирическом мире) актуализирует себя в низших различно — в одном так, такой гранью, в другом — по-иному. Но в любом случае и как раз по этой причине каждый из субъектов исторического действия равноценен любому другому.

Такова в общих чертах метафизика Л.П.Карсавина, из которой следует некий руководящий принцип в отношении обстоятельств второго рода, принадлежащих к числу эмпирических. Суть его — в понимании, что мир не есть абсолютное зло, но и не является абсолютным добром. Мир есть совершенствующийся к добру: «...все существующее может быть только добром, а злым является лишь в отношении к своему совершенному бытию».

Однако, прежде чем перейти к другим названным обстоятельствам, сделаем два вывода из представления о «симфонической личности», «всеедином субъекте» истории. Первый из них касается характера зависимости между элементами всеединства — она же оказывается не детерминированной, а свободной. Для саморазвития субъекта чужда идея прогресса как движения от несовершенного настоящего к совершенному будущему, когда цель развития переносится в будущее, а причина задается извне. На самом деле, история есть осуществление возможностей субъекта здесь и теперь. Второй вывод — о ценности личности и об оценке индивидуализма. При полноте осознания абсолютной ценности каждого субъекта истории, Л.П.Карсавин совсем не индивидуалист, а воззрение его — аперсоналистическое. «Индивидуализм, — пишет Л.П. Карсавин, — догматическая вера в индивидуального обособленного человека как последнюю и единственную подлинную реальность. Индивидуализм, — отрицание универсализма, т.е. отрицание объективной реальности за сверхиндивидуальными идеями и сверхиндивидуальными «социальными» личностями». Свобода личности, предполагает Л.П.Карсавин, возможна не как индивидуалистическая свобода, а только в составе социальной личности, в свою очередь являющейся ступенью всеединого субъекта, т. е. только в признании сверхиндивидуальных ценностей.

Эти два вывода существенно важны для понимания места русского идеала Л.П.Карсавина среди прочих «русских идей» в истории нашей мысли. По Л.П.Карсавину получается, что «идеал или цель развития переносится уже не в какое-либо другое будущее или прошедшее, а в надэмпирическое бытие так, что каждый момент имеет свое собственное совершенство, а совершенствование располагается на перпендикуляре к горизонтали временного развития».<sup>8</sup> Здесь мы имеем некое особое совмещение идеального и реального, будущего и настоящего,

<sup>5</sup> Игумен Геннадий (Эйкалович). Родословная Софии. Adelaide, Australia, 1986. С.2.

<sup>6</sup> Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея. С. 31—32.

<sup>7</sup> Карсавин Л.П. Идеократия как система универсализма // Евразия. 1929. 9 февр. № 12.

<sup>8</sup> Karsawin L.P. Der russische geschichtsphilosophische Gedanke // Ethos. Vierteljahrsschrift für Soziologie — Gesellschafts — und Kulturphilosophie. 1925. H. 2. S. 273.

земного и небесного, совмещение, которое не может быть вписано в эсхатологические решения «русского духовного ренессанса» и чуждо безбожному рационалистическому хилиазму русского коммунизма. И первому и второму Л.П.Карсавин противопоставляет свой исторический реализм, но высший, освященный религиозно.

Оттого для Л. П. Карсавина религиозная «русская идея» есть еще идея инструментальная! Одно не исключает другое. Она, как и любая другая социальная идея, есть «система ценностей, определяющая нашу оценку действительности и наше воздействие на действительность»<sup>9</sup> и потому выступает в качестве «метода, способа подхода к действительности и способа действия в ней».<sup>10</sup> Таким неким выражением идеи-метода в России были марксизм и большевизм, сами бывшие православными исканиями, но не осознавшие себя таковыми.

Какова же русская идея по содержанию? Это христианская, православная идея, то есть идея просветления всей жизни, но не жизни вообще, а этой конкретной жизни. Русский Христос принимает весь космос, все человечество как подлинное, хотя несовершенное тело Христово. Свою религиозную задачу православие видит в том, чтобы, приняв мир во всей его греховности, видеть его совершенствующимся и способствовать этому совершенству.<sup>11</sup>

С 1924 года Л.П.Карсавин привлекается к евразийскому движению в качестве, так сказать, официального философа, и эту задачу он исполняет с тщанием и, быть может, с энтузиазмом, о чем свидетельствует множество его публикаций евразийского содержания. Дух творческого активизма, присущий евразийству, заразил и его. Л.П.Карсавин, видевший революцию как народное, в сущности, религиозное движение и принимавший данность как добро, лишь нуждавшуюся в совершенствовании, не мог разделить позиций правого крыла эмиграции, мечтавших о реставрации прошлого, равно как и непредрешенцев, выполнявших в отношении сложившегося в России социально-политического строя лишь разрушительную работу; и он не принял левых эмигрантов, ориентированных на образцы западной демократии. Она была ему чужда, потому что философ не увидел в ней «соборности», универсализма; он оценил ее как отрицание сверхиндивидуальных идей, как систему всепроникающего и всеразлагающего релятивизма, нашедшую свое выражение в индивидуализме социальном, культурном и политическом. Универсалистское начало в коммунизме и даже в фашизме сделало Л.П.Карсавина терпимым к этим идеократическим системам. «В современном большевизме, — писал он, — есть положительное содержание, которое лежит в глубине нелепой, мнимонаучной и явно социалистической формулировки его конечных целей и которое можно определить как стремление к благу человечества, к справедливости и правде и готовность жертвенно это благо осуществлять».<sup>12</sup> Но в идеологической оболочке коммунизма Л.П.Карсавин увидел некую ложь, внутреннее противоречие между гадательным будущим и вполне реальным настоящим, когда оно, настоящее, постоянно приносится в жертву будущему; причем более привлекательное будущее требует для своего осуществления больших жертв. Последнее он относил за счет материалистического и детерминистского содержания марксистской идеи. Собственной сферой общественно-культурной и политической деятельности он выбрал евразийство. Л. П. Карсавин полагал, что «православие, как начало соборное, по преимуществу, особый типологический уклад евразийских народов и особенности их исторической судьбы предохранили природный русский универсализм от индивидуалистического разложения».<sup>13</sup> Но евразийство, выдвигая «общее дело» и ценность материи, подобно тому, как это делает марксизм, при этом преодолевает материалистическую ограниченность марксизма и его псевдонаучность.

Таким образом, метафизические основания, с одной стороны, а с другой, история и современность, принимаемые Л. П. Карсавиным-историком в ее фактической данности, вынуждают к выводу, что «национально-культурное бытие получает смысл и оправдание лишь в том случае, если оно осуществляет абсолютно ценную миссию; всякий момент развития приобретает смысл лишь через связь с этой миссией».<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Карсавин Л.П. Оценка и задание // Евразия. 1928. 8 дек. № 3.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> См.: Karsawin L.P. Das religiöse Wesen des Bolschewismus // Der Staat, das Recht und die Wirtschaft des Bolschewismus. Darstellung und Wertung seiner geistigen Grundlagen. Berlin, 1925. S. 48.

<sup>12</sup> Карсавин Л.П. О сущности православия // Проблемы русского религиозного сознания. Сборник статей. Париж: YMCA-Press, 1924. С. 151.

<sup>13</sup> Карсавин Л.П. Идеократия как система универсализма // Евразия. 1929. 9 февр. № 12.

<sup>14</sup> Карсавин Л.П. Без догмата // Версты. 1927. № 2. С.133.

«Русская идея» — это идея совершенствования истории здесь и теперь. Но в таком ее осуществлении только и может быть реализована и реализуется мечта России — стать православным царством. Осуществлять собственное в истории не походя, — как это началось с Петровских времен, а целенаправленно и сейчас — вот задача евразийского движения. «Так евразийство видит задание России в раскрытии нового и небывалого, предстоящего как выражение русского гения и смыкающего Москву с Москвою, через пропасть, в которую провалилась империя. Но это новое является и заданием эпохи, заданием мировой культуры, и потому общеисторическим предназначением России, собирающей около себя живые силы иных культур».<sup>15</sup>

Предлагаемая читателю статья является рассказом Л.П.Карсавина о гении народа, которому выпала эта великая задача.

<sup>15</sup> Карсавин Л.П. Оценка и задание // Евразия. 1928. 8 дек. № 3. С.3.

Л. П. Карсавин

## РУССКАЯ ИДЕЯ

Идея России есть религиозная идея. Теоретически она предполагает абсолютно полное и абсолютно истинное познание Абсолюта; практически — абсолютное осуществление Абсолюта, то есть обожение всего существующего, которое явлено, совершенно и прояснено должно будет возвышаться над бытием, становлением и небытием. Итак, русская идея ни в коем случае не соединяет эмпирическое и относительное; она, скорее, рассматривает их как нечто становящееся, совершенствующееся, обожествляющееся, и тем не менее как самое вечное в своей бытийственности и ограниченности. Ограниченное должно стать совершенным; оно понятно и действительно только как совершенствующееся, как «момент» своей собственной полноты, обладая в себе самой абсолютной ценностью. Это понимание эмпирии далеко от католического, склонного толковать эмпирическое бытие в смысле преходящего средства достижения высшего, надэмпирического бытия. Оно ближе протестантскому восприятию с его представлением о «призвании», но отличается от протестантизма тем, что последний понимает призвание только как земное, то есть эмпирически, в то время как русское религиозное сознание старается не отделять эмпирическое от сверхэмпирического. Этим земная жизнь превращается в чудо, так что границы между эмпирией и метаэмпирией исчезают. Становится уже невозможно говорить будь то о необходимости, которая не знает никакого чуда и обосновывает современную науку, будь то о свободе. Мы начинаем понимать, что мы живем в одном-единственном действительном мире, который из эмпирического и необходимого становится сверхэмпирическим и божественно свободным. Но быть божественно свободным значит быть свободным не эмпирически (то есть мнимо); это означает перерасти различие необходимости и свободы, подняться в высшие сферы бытия, из которых вытекает как необходимость, так и свобода — односторонние и эмпирически ограниченные обнаружения истинной реальности. «Мы не понимаем наш мир», — утверждает русский. Наша необходимость, непреодолимая разделенность необходимости и свободы — только иллюзия. Поэтому «близко Царствие небесное», растет оно в наших сердцах и распространяется в мире, возникая из ничего. Все в мире — чудо, являясь ничем иным как переходом к Царству Божьему, его становлением. Ничего не пропадает, ничего не уничтожается, даже если все живущее только смертью приобретает вечную жизнь; это непонятно и неназываемо, невыразимо словами «смерть» и «жизнь».

Все это звучит весьма пантеистически, в чем нередко упрекают русских. Но это не пантеизм, а подлинное христианство и первохристианство.<sup>1</sup> Созданный мир существует не сам собой. Посредством Божественного «света» он свободно возникает из ничто, становится и расцветает как нечто иное, чем Бог, совершенствуется и становится Божественным с тем, чтобы, став Божественным бытием, снова сорваться в ничто. Пантеизм можно преодолеть только тем, что мы усматриваем высшее: Бога, непонятно превосходящего бытие и небытие,

жизнь и смерть. И в понимании смерти и страдания, в познании их абсолютной ценности, — потому, что Сын Божий Иисус Христос действительно умер и воскрес, — русский избегает пагубной опасности и пантеизма и дуализма.

Русское мировосприятие нормальному и разумному западноевропейцу кажется «скандальным», приводящим его к «безумию». Как возможны основания такой фантастической теории, которая, по-видимому, делает всю ученость невозможной? Я не имею намерения защищать современную науку, но я уверен, что русское мировоззрение вполне обосновано, а именно — верой, как это понятие было изложено и развито А. Хомяковым, выдающимся русским богословом и вообще одним из великих русских мыслителей, и И. Киреевским. Согласно православно-христианскому мировоззрению, вера не является знанием, совершенно содержа его в себе как одностороннее и слабое выражение себя самой. Вера совершеннее и несомненнее знания со всеми его сомнениями, вместе с целостным процессом его развития, и она является еще «чем-то». Однако это «что-то» становится малопонятным, если мы усмотрим, что вера является нашим восприятием абсолютной истины, то есть Бога, или также нисхождением Бога в нас и его единства с нами. Абсолютная, то есть всеединая, истина может быть доказана не только теоретически; чтобы быть всеединой, она должна быть обоснована также нравственно, практически. Живая, то есть действительно существующая, вера необходимо одолевается в добрых делах; вера без дел мертва. Поэтому-то русский не принимает чисто теоретическую истину; и коль скоро он таковую вообще признает, то стремится к тому, чтобы актуализировать ее во всей своей жизни. И вера не знает никакого соблазна и не боится безумия; то и другое беспокоит только иудеев и эллинов.<sup>2</sup>

Из всего этого как из первоначала возникает и развивается русская душа. Она устремлена к абсолютному, ищет его всегда и повсюду, сознательно или несознательно наслаждаясь этим. Она прежде всего стремится увериться в абсолютном, тем возвышаясь над всеми сомнениями. Абсолют должен быть доказан абсолютно, то есть всеедино, и, следовательно, также теоретически. Чтобы возвыситься над всеми сомнениями, должно иметь эти сомнения в себе самом и побороть их. Поэтому сомнение тоже имеет абсолютную ценность и путь к познанию абсолютного пролегает через него.

Русские — сомневающиеся и скептики. Они пытаются все отрицать: все извне идущее так же, как и свое собственное. Они проверяют все общепринятое, все последние основания бытия и знания. Они ничего не хотят уступить слепой вере, «мнению», как говорили древние греки, не отступая перед кричащими парадоксами мысли и дела. Сомневающейся мыслью и делом они пытаются доказать все, как бы абсурдно и невозможно это ни казалось; потому что — мы уже знаем это — абсолютная истина должна быть также практически истинной. В сомнении раскрывается первосущность рационального познания, которое всегда только ищет и никогда не находит. Таким образом, русские становятся последовательнейшими и решительнейшими рационалистами и, не желая признавать границу своей рационалистической страсти, превращают абсолютно законное рациио как один из моментов познания в единственный его путь. Обыкновенно, но особенно за последнее время, многие русские писатели считают рационализм единственной в своем роде болезнью русского духа, при этом упуская из вида его сущность, абсолютную ценность, делая саму болезнь типично русской. Рационалистические излишества свойственны русским. Петр Великий был величайшим русским рационалистом. В расколе (схизме русской церкви, начавшейся в XVII веке) мы можем наблюдать талмудистский рационализм в комментариях к Священному писанию и в культе. В русском еретичестве мы видим сильное движение рационализма (штундисты, молокане). В мировоззрении невежд вплоть до последнего времени рационализм был сильнейшей и торжествующей тенденцией, представленной так называемыми «интеллектуалами». Русское народничество (народовольцы и народники), русский нигилизм и атеизм, русский марксизм, которому должно было резко отличаться от европейского, окрашены рационалистически. После Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Михайловского истинно русским рационалистом выступил Толстой. Достаточно прочитать его «религиозно-философские» произведения, чтобы ощутить безграничность и пошлость русского рационализма. Несомненно, что рационалистический характер и рационалистически расчлененная и потому фантастическая и материалистическая психология исказили многие страницы его лучших произведений. Достоевский, другой корифей русской литературы, величайший после Пушкина, вместе с Хомяковым был самым значительным и самым острым диалектиком вообще. Но диалектика невозможна без рационализма, даже если она совсем не исчерпывается

им. Ни в коей мере не случайно влияние Гегеля и Маркса на наших западников: оно определилось их избирательным родством.

Если рационализм и является болезнью нашей души, то все же в нем содержится нечто совершенно особенное — его абсолютистский характер, вынудивший русских принимать рационализм за абсолютную истину или становиться скептиками. В последнем случае он теряет, или думает, что потеряны, все критерии истины и бытия и, не усматривая абсолюта, склоняется к абсолютной пассивности, которая блестяще отразилась в поэтических персонажах Пушкина (Онегин), Гончарова (Обломов), в «лишних людях» Тургенева и, особенно, у Чехова.

Чем собственно является сомнение? Болезнью интеллекта и, одновременно, болезнью воли. Мы уже знаем, что вера является последним основанием истины и знания и что не может быть живой веры, необходимо не осуществленной в делах. Поэтому сомнение как немочь знания есть немочь дела. Сомнение — это безволие или расстройство воли, ибо наша немочь свободна, являясь поэтому нашим нехотением. Уже Пушкин тонко и глубоко изобразил это состояние души в чудесном стихотворении (от 26 мая 1828 года).<sup>3</sup> Если мы захотим воспользоваться термином аскетической литературы, то этот первофеномен сомнения и безволия можем назвать «Acedia», отсутствие мужества. В этом состоянии мы не находим у себя никакой цели, никаких сильных волевых импульсов, хотя непрестанно возникают и пропадают малые движения воли и ничтожные мысли. Мы ничего не хотим, мы ничего не знаем, и нас мучают эти мерцания и дрожания нашего сознания. Мы уже не являемся едиными и духовными, мы разделяемся на части, распадаемся, мы атомизируемся, как если бы были материальными телами. Мы умираем, потому что акедия — это дурная бесконечность умирания без возможности умереть, разложение души.

Итак, рационалистически ограниченная мысль, поиск истины через сомнение ведет нас к смерти. Это искание, саморазрушающее в сомнении, в скептическом «эпохе»,<sup>4</sup> отрицает себя пассивностью. И все же в нем остается изначальное стремление к абсолютному, которое вынуждает русских уходить или в сомнение и пассивность, или в механическую, беспринципную и бессмысленную деятельность, но не к покою. В умирании сомнения русские вновь возвращаются к своей сущности, чтобы из нее черпать новые силы. Эту мысль выразил Дмитрий Карамазов, когда он в разговоре со своим братом Алешей цитирует Шиллера:

Чтоб из низости душою  
Мог подняться человек,  
С древней матерью Землею  
Он вступил в союз навек.<sup>5</sup>

Но так возникшее новое течение является иррационалистическим. Иррационализм противопоставляется рационализму, причем рационалистический скептик превращается в точно такого же решительного и фантастического иррационалиста. Все немотивированное, все непонятное и парадоксальное начинает казаться истинным и единственно истинным. Начинают презирать рациональную (не только рационалистическую) мысль, рациональное ведение доказательства, так что рациональное становится синонимом ложного; иррациональное утверждают последним основанием истины, вынуждая выступить на первый план религиозный опыт и особую одаренность. На первый взгляд иррационализм кажется самоуничтожением человека перед непонятным, самоуничтожением тем большим, что иррационалисты заявляют о невыразимости абсолютного в рациональных формах. Но фактически не раз, если не всегда, иррационализм является ничем иным, как гордым сознанием своего собственного непогрешимого, то есть «абсолютно истинного», опыта и наивной абсолютизацией релятивного, которая соответствует абсолютизации рационального. С другой стороны, абсолютизация «собственного», индивидуально-ограниченного или субъективного исключает всякую возможность найти подменный критерий истины. Иррационалист теряет способность различать между субъективной и объективной данностью. Он принужден все, что ему кажется истиной, принимать за самую истину, абсолютизацией антиномизма прикрывая внутренние противоречия своей мысли, и не видит абсолютного, от которого он думал исходить. Ему остается только один-единственный путь спасения — а именно путь слепой веры и традиционализма. Он перестает быть русским человеком: или он возвращается к предписаниям традиционного христианства, которые будут восприняты им уже не по-русски, а скорее всего, «римско-католически», или он уже формально переходит в католицизм.

Последнее можно пояснить на примерах русских католиков Гагарина,<sup>6</sup> Печерина<sup>7</sup> и, особенно, новых «католиков восточного обряда», первого, к примеру, П.Флоренского, который является одним из остроумных и большей частью рационалистически настроенных современных русских богословов от С.Булгакова и частью также Вл.Соловьева. Первая, потенциальная, еще бессознательная стадия русского иррационализма лучшим образом представлена Н.Бердяевым в его философско-публицистических сочинениях.

Все-таки верно, что чувство парадокса, любовь к антиномии и бессмыслице содержат в себе нечто от абсолютного. Но в процессе развертывания иррационального сознания абсолютное исчезает, чтобы уступить место абсолютизированному относительному.

Рационализм и иррационализм, которые особенно обильно живут в наших мистических сектах (хлыстов, скопцов), в то же время являются односторонними и несовершенными обнаружениями подлинной сути русской души. После самоуничтожения рационализма в русском коммунистическом движении, которое завершило развитие русского западничества и призвало нас к обновлению истинно русской традиции, иррационализм приготовился праздновать победу. Эта победа была бы очень опасна, быть может, даже гибельна для русской культуры, потому что при господстве иррационализма нормальная жизнедеятельность, разумная и научная мысль не более возможна, чем при господстве коммунистов. Как вы можете что-либо исследовать и понимать, если вам на каждом шагу будут говорить: «Здесь имеется нечто иррациональное! Чтобы ответить на этот вопрос, должно иметь духовный опыт» и тому подобное? Но, к счастью, победа иррационализма кажется невероятной. Иррационалисты большей частью безбидные мечтатели и болтуны, которые после хорошего обеда любят побеседовать о конце света и апокалиптических временах, но которые пренебрегают осуществлением непостижимого. Слабость иррационализма коренится в самой его природе. В то время как рационализм признает абсолютную законность доказательств посредством рациональной мысли, иррационализм не имеет никаких осязаемых оснований для своих утверждений, потому что непонятное остается непонятым и эмпирические примеры всегда могут быть истолкованы в субъективном смысле.

Как на рационалистическом пути мы останавливаемся перед проблемой окончательного и полного обоснования истины, на эту же проблему мы наталкиваемся в нашем иррационалистическом шатании. Это значит, что русское сознание приступает к религиозной вере как последнему основанию истины и бытия, если даже эта вера понимается крайне несовершенно и ошибочно. Во всяком случае русские-рационалисты, точно так же как и иррационалисты, очень хорошо понимают необходимость того, что абсолютная истина не может остаться никаким индивидуальным утверждением, а должна быть общепринятой. Но это не совпадает с абстрактно-всеобщим, с какой-либо ясной логической формулой, всеми принимаемой и одинаково понимаемой. Истинно всеобщее не может быть выражено как нечто для всех идентичное и однородное и не исключает индивидуального. Напротив, оно возможно и мыслимо только как совершенное единство его бесконечно многих индивидуальных аспектов. Истиной является всеединство его «моментов», каждый из которых есть целая истина и ничто иное. Это возможно потому, что каждый момент возникает из ничто, достигает полного и единственного бытия и возвращается в ничто, в то время как так же возникают другие и так же достигают полного и единственного бытия. Истина становится возможной в реальной диалектике бытия и небытия, в возвышении бытия реальности и только в сфере, которая, содержа в себе всю действительность, возвышается над ней. В нашем эмпирическом ограниченном бытии мы можем достигнуть лишь некоторого приближения к этому всеединству. Эмпирически истина является только симфоническим единством ее индивидуальных восприятий и осуществлений, причем единство стремится к всеединству и совсем исключает какую-либо иную формулу, хотя эмпирически их взаимное дополнение не может быть сведено к полному согласованию. Симфоническое единство или «соборность»,\*\* со стороны индивидуума предполагающая и требующая сознания своей ограниченности и признания крупинки истины во всех других ее пониманиях и поэтому актуализируемая только во взаимной любви и самопожертвовании, является эмпирически высшим осуществлением истины. Все правы, хотя не все в равной мере.

\* См. изданный Н. Бубновым и Г. Эренбергом 1—2 тт. «Восточного христианства» (Мюнхен).

\*\* Можно «соборность» (от «собор», т.е. «Konzil») перевести как «вселенскость». Но «собор», «соборность» означает нечто совсем иное, чем «Konzil», «вселенскость», почему я предпочитаю слова «симфония», «симфонизм». Православное понимание церкви точнее всего изложено в «Церковном праве» д-ра Зомы (Sohm).

Итак, русские видят высшее свидетельство истины в симфоническом, «соборном» единстве всех своих индивидуальных восприятий, которое может быть достигнуто только в симфоническом единстве людей, то есть в экуменической, католической церкви. Они стараются ничего не отрицать, во всем стремясь утвердить нечто от абсолютной истины, и хотят привести все противоположности к согласию. Но и это еще не все. Православное понятие веры соответственно должно необходимым образом осуществить истину еще практически и тем обосновать ее. Иначе она не была бы живой, полной и действительной истиной. Так русское мировоззрение развивается в род прагматизма, который, однако, принципиально отличается от англосаксонского. А именно, англосаксонский прагматизм<sup>9</sup> признает последним и высшим удостоверением истины ее названную практическую сторону, ее жизнедеятельное осуществление. Для русских осуществление истины в жизни и делах — это только одна ее сторона, необходимая, но ни в коем случае не исчерпывающая. Истина, если она не актуализирована в нашей действительности, остается абстрактной и несовершенной. Истина требует истинной деятельности, что в русском языке выражаемо словом «правда», причем оно обозначает равно и истину как правильность, которая познается, и «истину» как справедливость (правда, праведность, справедливость). Истина исполняется в справедливости, ею удовлетворяется, полностью обосновывается. Поэтому критерий истины лежит в деятельности, которая раскрывает значение земной жизни и земной деятельности Христа и смысл авторитета. Истина всегда приносит только добрые плоды. Это значит, что она открывается только в добрых делах; злые, напротив, показывают, что исходный пункт деятельности (ее идеал, ее цель), которым руководится тот или иной деятель, ложен. При этом нужно иметь в виду, что деятельность должна быть абсолютной; она должна обнаруживать себя во всех сферах жизни, каждый отдельный поступок развивать из себя самой, не имея права пренебрегать ничем, как бы мало оно ни было. Абсолютное дело может быть только всеединым делом.

С этим связана проблема зла. Эмпирически существующее, наш мир является приближением к абсолютному бытию, которое он содержит в себе. Каждый «момент» эмпирии стремится и близится к своему совершенству, которое всегда существует в Боге, и содержит несовершенство и совершенство момента как свой собственный уже совершенный момент, как себя самого. Поэтому все существующее может быть только добром и злым является лишь в отношении к своему совершенному бытию. Достоевский, который спускался до глубочайших слоев зла, всюду находил добро тем, что он все оправдывал и всем понимающе все прощал. Однако зло существует еще в другом смысле — в смысле отсутствия воли совершенствоваться, преодолевать собственную ограниченность. Это — зло как наша вина, которая совпадает с нашей леностью, но с нашей свободной леностью. Эта свободная леность превращается как будто во внешнюю необходимость и, как всеединая леность мира, становится демонически привлекательной силой. Она не может быть преодолена ни индивидуальным усилием, ни усилием всего мира. Она будет преодолена Иисусом Христом тем, что он примет необходимость (ропа), созданную свободной человеческой виной (culpa), превратит ее в преодолимую и тем самым дополнит или спасет наше свободное нехотение нашим свободным хотением.

Так в русской душе струятся, по-видимому, друг друга исключаящие течения. Глубокое сознание вины — причем русский свою собственную вину признает виной всего мира, наследственным грехом, потому и непреодолимой, а вину всего — как свою собственную — идет у русского рука об руку с сознанием, что все будет спасено и что все есть доброе и божье. Пессимистическое и отрицательное восприятие мира, который кажется погрязшим в грехе и смерти, сменяется пониманием его как божественного, благого и прекрасного. Отрицание космоса, которое в основе своей понималось как отрицание своей ограниченности, своей духовной необходимости и вины, идет рядом с утверждением и оправданием космоса, то есть мира совершенного и действительного, хотя и существующего несовершенным. Смерть сама имеет абсолютное значение: смерть признается необходимым моментом совершенного бытия и путем к совершенному всеединству. Поэтому русские любят смерть и страдания. Поэтому они ясно видят, что самопожертвование является высшим принципом бытия и совершенства. Смерть божественна. Смертью Божьего Сына Бог спас мир и создал его ради спасения.

Показанные нами типичные черты русской души, которые стоят в тесной, необходимой внутренней связи друг к другу, объясняют нам многие конкретные особенности русского национального характера. В своем стремлении к абсолютному русские презирают и пренебрегают всем относительным и, значит, всем эмпирическим, причем они смешивают

отрицаемую ограниченность относительного с относительным как существующим, которое ни в коем случае не должно быть отрицаемо. Они сомневаются в истине науки, культуры вообще, поскольку культура дана в ее конкретном бытии. У них есть род боязни конкретного, будь конкретное русским или иностранным. Русские интеллектуалы не имеют устойчивого жизненного порядка, образа жизни; стилем их жизни является зачастую отсутствие стиля. Русский крестьянин пренебрегает внешними условностями жизни. Он работает много, очень много, но он живет, не содержа свой дом в порядке и чистоте, не заботясь о необходимом достатке. Когда обученная ведению хозяйства дочь какого-либо попа пыталась рационально и научно вести свое маленькое молочное хозяйство, крестьяне ее высмеивали: «Смотри, поповна ухаживает за коровой, как за барышней». И еще знал крестьянин, что «поповна» права, как он признавал также преимущества рационального хозяйства, хотя он сам довольствовался старыми обычаями и не был в состоянии привести в порядок свою полуразрушенную изгородь. Конкретная сторона жизни вообще потеряла для русских свое значение и привлекательность. Жизнь, кроме строго необходимого, становилась отвлеченной и пассивной, а сами русские превращались в вялых мечтателей и лентяев.

С другой стороны, русский очень хорошо чувствует, что абсолютное всеедино и, следовательно, должно быть конкретным. Он подозревает, что в эмпирическом имеется что-то абсолютно правильное. Он знает, что это правильное должно быть осуществлено. Поэтому он часто принимает скорее всего чужую идею за абсолютную истину и стремится всеми возможными силами осуществить ее. Так он признает нигилизм, социализм, коммунизм и тому подобное. Парадоксы воспринятой теории не пугали его. Он не отказывается от ее крайних следствий, от зла, проистекающего из нее, от самопожертвования, которого она требует. Он хорошо знает, что относительное несовершенство греховно, несправедливо, что осуществление абсолютного должно быть чудом и отрицанием ограниченно-эмпирического. Он сознает, что страдания и смерть суть необходимые пути к абсолюту. И разве не является предрассудком, ложным «мнением», что злую волю других нельзя сломать, уничтожить насилем? Разве нельзя приказать осуществить добро при помощи злых средств? Разве мы не можем во имя высшего пожертвовать другими людьми, если самопожертвование является первопринципом бытия и совершенствования, а каждый из нас является только индивидуальным осуществлением всеединого человека? Если я убиваю других, то, в сущности, я убиваю себя самого. Так пассивные мечтатели превращаются в лихорадочно деятельных... большевиков. Таким большевиком был Петр Великий. Такими большевиками были русские нигилисты, русские революционеры, как они представлены в «Бесах» Достоевского, в сочинениях Бакунина, в «Катехизисе революционера» Нечаева, в «Что делать?» Чернышевского. Такими большевиками являются сегодняшние насильники России, верой которых является коммунистическая доктрина. Их стремление к благу всего человечества, причем человечество они понимают только как пролетариев будущего, их готовность отдать русский народ и самих себя для блага мира и сделать из России опытное поле в высшей степени характерны для русских. Само собой разумеется, малоизвестный русский писатель Федоров был последовательнее, когда он мечтал о воскресении всех мертвых при помощи магических методов. Легко видеть, что при активистски-относительной деятельности русская идея сама себя разрушает. Благо всех как последняя цель отвергает ограниченное определение его как преходящего царства пролетариев будущего, которые могут оказаться немислимыми негодьями. Кто может доказать, что люди будущего стоят наших усилий, наших страданий? Или кто докажет, что они должны быть настолько бессильны и непонятливы, что ничего не смогут сделать для себя без нашей предварительной работы? Пусть даже будут существовать самые лучшие экземпляры и сила новых методов обновления старших людей, но этим еще не оправдывается принесение в жертву хотя бы одного человека. Всеединство без всех людей является неполным. Слезинка ребенка перевешивает блаженство всех (смотри Карамазовых у Достоевского). В конце концов, как это уже показал Герцен, блаженство других, из которых был бы исключен я, не стоит моих усилий. Кроме того, нет никакого истинного блага (что значит всеединого блага), которое не было бы благом также в средствах его достижения. Я вовсе не говорю о том, что идеал будущего блаженства является только нашей, ничем не доказуемой гипотезой. Но жертвование другими ради проблематичного глубоко безнравственно, самопожертвование — по меньшей мере бессмысленно. Никто не может опровергнуть гипотезу о близком конце света. Эта гипотеза возможна точно так же, как и любая другая; и последовательные социалисты, которых я когда-либо видел,

были теми русскими устроителями мира, которых в начале нашей революции называли «немедленными социалистами».

Если русская идея вообще реализуема, то она не может быть мыслима как идея прогресса, будь он представлен в смысле бесконечного развития или в смысле тысячелетнего царства. Точно так же она может представляться не только как будущее, не только как современность, не только как преходящее. Она охватывает все существующее, все времена, потому что она сама является абсолютной, то есть всеединой. Я не верю, что абсолютное может быть осуществлено эмпирически. Но я признаю эмпирически возможным любое большое приближение к абсолютному. Однако это приближение, которое никогда не может быть абсолютизировано, своей сущностью и в целом оно должно отражать абсолютное. Приближение к благу может и должно быть благом.

Из этого следует, что русскую проблему будет отрицать пассивное поведение людей не меньше, чем дело, которое абсолютизирует относительное и самого себя превращает в абстрактное, то есть несуществующее дело. Исходным моментом русской активности должна быть конкретная современность, настоящее и здешнее. Понимать и осуществлять будущее мы должны из этого «здесь и теперь», абсолютным устремлением нашей воли, поднимая его к высшим сферам бытия. Нашим идеалом должно быть абсолютное добро и по целям, и по средствам, будущее благо, пока оно кажется реализуемым в добрых делах. Но если наши цели оказываются недостижимыми из-за силы зла, то нам остаются страдания и смерть, так как в страдании и смерти побеждает нестигаемая и неизменная воля, стоящая над эмпирическим.

История России с XV века трагична. Мечтой России было стать православным государством, истинно православным царством — Третьим Римом. В ней начало христианской жизни, которая все преобразует и сущность которой концентрируется в старой вере, которая определилась в расколе XVII века и стала вне церкви. Но с Петром Великим русский народ вступил на другой путь. Он думал, что русская идея может быть полностью выражена и реализована в формах западноевропейской культуры или даже в приближении к ней. И так длилось и до сих пор длится собственное развитие в чужом облике, что Шпенглером<sup>10</sup> удачно названо псевдоморфозой. Народ придерживается западноевропейского идеала, уваивает себе чужие нравы и разрушает свой собственный уклад, образ жизни, то есть исходный пункт своего собственного развития. Ради мечты народ напрягает все свои силы, а собственное осуществляет только походя. Из-за абсолютизации релятивных целей он забывает цель абсолютную и впадает в состояние пассивности или становится «абсолютно» активен в стремлении к относительному. Так Петр Великий, первый большевик, начал дело, которое ищет своего завершения у большевиков-коммунистов. Однако неосознанный национальный порыв к самоосуществлению, который еще жил и действовал в Петре, исчерпан у них и дух России должен или умереть, или почерпнуть свой идеал и свои силы из глубины самосознания. Станет ли он творческим на этот раз? Восстанет ли он от смерти к новой жизни? Мы верим в это. И за заблуждениями, за отживающим мы думаем ощутить несомненные черты новой жизни, новой русской культуры, которая должна быть не западноевропейской и не азиатской, а евразийской или русской.

### Примечания

Литературно-художественный ежемесячный журнал «Der Gral» издавался в Равенсбурге (Германия) с 1906-го по 1937 год. Основателем его был Франц Ксаверий Эйхерт (1857—1926) — журналист и поэт, католический публицист, удостоенный от Пия XI звания «певца Креста» (Sänger der Kreuz). Статья Л.П.Карсавина была опубликована в 8-м номере этого журнала за 1925 год (с. 351—360).

<sup>1</sup> В брошюре «Восток, Запад и русская идея» Л.П.Карсавин пишет, что «возможно тройное понимание абсолютного бытия или Бога в отношении Его к миру: теистическое (включающее в себя монотеизм, дуализм и политеизм), пантеистическое и христианское, которое не вполне удачно, видимо из склонности к внешнему наукоподобию, называют пантеистическим» (с.18). Стало быть, Л.П.Карсавин стоит на позиции пантеизма, религиозно-философского учения, согласно которому мир пребывает в Боге, однако Бог не растворяется в мире, как в пантеизме, и является личностью; пантеизм есть синтез теизма и некоторых аспектов пантеизма. Термин введен Карлом Христианом Фридрихом Краузе (1781—1832).

<sup>2</sup> Парафраз 23 стиха Первого послания коринфянам Св.апостола Павла.

<sup>3</sup> См.: Пушкин А.С. Полн.собр.соч. [Л.], 1949. Т.3. Ч.1.С.104.

<sup>4</sup> Скептическое «эпохэ» — принцип воздержания от суждений, выработанный скептической школой древнегреческой философии, существовавшей с конца 4 века до н. э. до 2—3 веков. Учение скептиков известно более всего из «Трех книг Пирроновых положений» Секста-Эмпирика.

<sup>5</sup> См.: Достоевский Ф.М. Полн.собр.соч.: В 30 т. Л., 1976. Т.14. С.99.

<sup>6</sup> Гагарин Иван Сергеевич (1814—1882) — основатель славянской библиотеки (с русским отделением) в Париже; в 1843 году перешел в католичество и вступил в орден иезуитов. Основатель журнала «Etudes de theologie, de philosophie et d'histoire» (с 1857 года), автор ряда работ по истории религиозных движений в России.

<sup>7</sup> Печерин Владимир Сергеевич (1808—1885) — профессор кафедры греческой словесности в Московском университете; уехав из России в 1836 году, он в 1841-м перешел в католичество, став монахом ордена иезуитов. Автор «Замогильных записок» (см.: Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников / Под ред. И.А.Федосова. М., 1989).

<sup>8</sup> Отнесение П.А.Флоренского к «католикам восточного обряда» кажется странным. Впрочем, если «путь слепой веры и традиционализма», по Л.П.Карсавину, является достаточным основанием для такого суждения, то, конечно, П.А.Флоренский был таким. Однако, думается, что данное выражение, да еще взятое в кавычках, вызвано к жизни какими-то иными, возможно, личными причинами, включая сюда и всегда сугубо пристрастное отношение Л.П.Карсавина к конфессиональным различиям в христианстве. Что касается его отношения к католицизму, то эволюция философа от неприятия последнего, до, возможно, личной унии (см. «Штрихи к портрету Льва Платоновича Карсавина» в газете «Ленинградский университет» от 18 января 1990 года. Эта статья представляет собой запись выступления Ю.К.Герасимова на семинаре по истории русской философии в Ленинградском университете 30 ноября 1990 года). Сравните с таким утверждением Л.П. Карсавина: «Когда русский человек отрекается от православия и переходит в католичество, а затем неизбежно утрачивает и прочие русские качества — в нем умирает русская культура и рождается европейская» (Философия истории. Берлин, 1923. С.167).

Англосаксонский прагматизм — философское учение, возникшее в 70-х годах прошлого века и распространившееся в наибольшей степени до II мировой войны трудами Ч. Пирса, Дж. Дьюи, У. Джемса и др. Философия должна стать методом практического действия — учат прагматики, но саму практику понимают как сферу значений для субъекта и отождествляют истину с успешностью и полезностью.

<sup>10</sup> Шпенглер, Освальд (1880-1936) — немецкий философ, один из отцов философии культуры в XX веке. Главная его книга «Закат Европы» (1920) вызвала быструю и очень сочувственную реакцию у русской интеллигенции. См. сборник статей Н.Бердяева, Я. Букшнана, Ф. Степуна и С. Франка «Освальд Шпенглер и закат Европы» (М., 1922).

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. Ф. Лурье

### «СВЯТЫЕ ПИСЬМА» КАК ЯВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ФОЛЬКЛОРА

Редко кто в России (да и за ее пределами) не обнаруживал в почтовых ящиках рукописных «Святых писем» или, по крайней мере, не слышал о них. Реакция на них разная: одни выбрасывают анонимные послания, другие старательно исполняют все содержащиеся в них указания. Современные исследователи оставляют это явление без внимания, а оно интересно и в фольклорном, и в социально-психологическом аспекте.<sup>1</sup>

«Письма» можно считать специфическим жанром письменного фольклора. Одновременно — памятником истории культуры, коренящимся в традиции, и фактом современной массовой духовной культуры. Это бытующий письменно миф, распространители которого (переписчики) — кто активно, кто пассивно — живут в нем. Думается, на него уместно взглянуть с позиций культурной антропологии, которая реконструирует картины мира, типичные для различных человеческих общностей.

Но прежде коснемся структуры современного «Святого письма». В произведениях рассматриваемого жанра можно выделить следующие составные элементы: 1) название; 2) молитва-заклинание; 3) легенда о происхождении и обретении «Святого письма»; 4) тезис (и доказательство его) о сверхъестественной силе текста; 5) требование переписать и разослать письмо в определенный срок; 6) обещание удачи за своевременную отправку копий и кары, если письмо откажутся распространять дальше.

В вариантах структура письма остается неизменной или меняется несущественно. Действие письма, как утверждается в текстах, фатально, от него можно получить конкретную материальную пользу. Собственно, все письмо сводится к элементу второму (молитва-заклинание), все же остальное — его обрамление.<sup>2</sup>

Особая форма подобных посланий имеет заглавие «Письмо-счастье». Оно рождает и распространяет слухи и мифы, утверждая свою — и вместе с тем высшую — силу и подчиненность человека этим силам. Не исключено, что некоторые из новых переписчиков вносят в текст то, что они слышали или читали в подобных «письмах», т.е. здесь действует закон мифотворчества по аналогии. Существенную роль, однако, играют и ошибки, связанные с неправильным прочтением неразборчивых мест. Наиболее типичные и заметные искажения — это ошибки в именах, датах, цифрах и т.д., например Артур Новал Далинь — вместо Артур Конан Дойль, «3» вместо «9», «7» вместо «4». Смысл и цели «Письма-счастья» в главном сходны со «Святым письмом» — попытка помощи нуждающимся в поддержке и надежде. Но если «Святое» письмо искренне религиозно, то второе связывает свою силу с мистикой и оккультизмом. «Спасение души», «святость» заменяются простым «счастьем».

«Святое письмо» — молитва, но одновременно и проповедь. «Проповедность» его проявляется в разных редакциях различно, в одних — усилена, в других — едва намечена. Форма «Святого письма» используется и для настоящей проповеди, рассылаемой наряду с «письмами». Авторы проповедей — современные миссионеры, стремящиеся влиять на среду язычников-атеистов. Те, кто проникается их идеями, также встают на путь распространения «Божьего слова».<sup>3</sup>

Кроме выделенных, можно упомянуть и о «языческой» форме «писем». Последние, начинаясь словами: «Эта игра принесет вам счастье!», для убедительности уверяют адресата в древности этого текста, его общеизвестности и безусловной достоверности. Однако за

<sup>1</sup> Образцы современных текстов даны в приложении.

<sup>2</sup> Если, как это бывает в некоторых списках, главный компонент отсутствует, «Письмо» приобретает парадоксальный характер: оно есть и его нет.

<sup>3</sup> См. в приложении третий образчик «Писем», слогом и отчасти содержанием сходный с баптистской проповедью.

преамбулой следует достаточно прозаическое материальное предложение послать по указанному ниже адресу 5 (или 10) рублей, с тем, якобы, чтобы через некоторое время, пошлав еще несколько писем аналогичного содержания со своим адресом, получить со своих корреспондентов по 5 (10) рублей. Те, в свою очередь, пошлют письма дальше — и так практически все участники игры будто бы тоже получают прибыль.<sup>4</sup> Фигурируют в «письмах» и иные варианты быстрого обогащения. Но вернемся к «Святým письмам», известным в научной литературе также под названием «небесных посланий».

История жанра уходит в прошлое Востока и Европы. «Еще и теперь этот стих («небесное послание». — В.Л.) остается во многих отношениях загадочным, особенно в отношении происхождения, источников и среды, его создавшей», — писал М.Беляев, изучавший дохристианскую историю «небесных посланий»,<sup>5</sup> Однако он сумел выделить три наиболее вероятных источника их происхождения: 1) греческая философия; 2) древние восточные религиозные представления и религиозные книги (ассиро-вавилонские, египетские), содержавшие, в свою очередь, рассказы о небесных книгах и сказания о богат; 3) иудейская апокалиптика, развивавшаяся под влиянием несбывшихся надежд на освобождение. Основной источник — книга Еноха, донесшая древнейший апокриф. Говоря о «листах небесных» времен первохристианства, Беляев замечает, что «христианские предания продолжали предания еврейские, причем известный элемент приходил сюда и от греческой философии».<sup>6</sup> Истории «посланий» в христианскую эпоху посвящена статья А.Н.Веселовского «Эпистолия о неделе», из которой необходимо привести некоторые существенные темы нашей темы факты.

Древнейшее упоминание о «посланиях», своего рода предвестиях будущих безымянных писем, весьма отдалившихся от архаических «эпистолий», относится к 584 году, когда «карфагенский епископ Лициниан упрекал другого епископа в излишней доверчивости к отреченному письму».<sup>7</sup> Достаточно частые упоминания «посланий» («отреченных писем») встречаются по всей Европе, в том числе и славянской ее части.

«Послания» имели характер проповеди, в большинстве из них настойчиво звучал один и тот же мотив: людей убеждали праздновать воскресенье, а не другой день недели, и не занимать его обыденными трудами, а посвящать Богу.

«Введение воскресенья, как нового христианского праздника, не исключало для первых веков христианства чествования субботы. В апостольских постановлениях говорится от имени Петра и Павла, что люди должны делать 5 дней в неделе и отдаваться покою в субботу в память 7-го дня творения, а в воскресенье — в память воскресения Христова».<sup>8</sup>

Впрочем, через некоторое время праздновать субботу запрещают. Ее строгий обиход переносится на воскресенье.

Церковные постановления подкреплялись в некоторых странах эдиктами светской власти. Например, «по законам короля Ины (689 г.) было разрешено рабу работать по воскресеньям, если принуждал его к тому хозяин, но сам хозяин подвергался пене в 30 фунтов; свободный человек в таком случае лишался свободы»<sup>9</sup>

Священство выступало за то же, за что ратовали «письма»: за празднование, причем осознанное, воскресенья. Одновременно оно выступало против культа пятницы. На Руси распространению этого культа способствовала популярная в народе святая Параскева Пятница, в житии которой говорилось: родители ее чтили пятницу и дочь свою называли в ее честь (по-гречески). Образ Пятницы, модифицируясь, сохранился в России вплоть до XIX века: «В настоящее время Пятница в представлении народа не святая, а какое-то особое существо: простоволосая, в грязном одеянии женщина, которая ходит по дворам и

<sup>4</sup> Перед нами — типичная афера в форме письма-рекламы, приглашающей к «беспроигрышной» игре. В молодежной прессе даже публиковались математически обоснованные опровержения этого «бизнеса». В «Живой математике» Я.И.Перельмана (М., 1967. С.80) рассказывается о предпринимателях начала века, оригинально сбывавших свой товар. Они продавали 50-рублевые велосипеды по 10 рублей таким образом: соблазнившись рекламой, вы присылаете 10 рублей и получаете 4 билета, которые должны продать по 10 рублей, вовлекая в торговлю новых участников покупки. Тем самым фирма принуждала четыре пятых клиентуры оплачивать товар, приобретаемый пятой ее частью.

<sup>5</sup> Беляев М.В. Книги небесные // Известия Бакинского гос. ун-та, № 1, второй полутом. Баку, 1921. С.219.

<sup>6</sup> Там же. С.230.

<sup>7</sup> Веселовский А.Н. Опыты по истории развития христианской легенды. Эпистолия о неделе // ЖМНП. 1876. Март (№ 184). С.117.

<sup>8</sup> Там же. С. 53.

<sup>9</sup> Там же. С. 57—58.

наблюдает, чтобы бабы не работали по пятницам».<sup>10</sup> Следовательно, и в XIX веке была необходимость напоминать людям о дне воскресном. И Неделя (воскресенье) ходила, показывая «скрытое под вуалью лицо, изрытое глубокими язвами, поясняя, что это раны, нанесенные ей людьми, не почитающими ее, работающими, пьянствующими и бесчинствующими в день, ей посвященный».<sup>11</sup> Аналогично в западноевропейских сказках Берта обходит дома в дни, посвященные ее чествованию, и наказывает тех, кто работает.<sup>12</sup>

«Небесное послание», или «Эпистолия о неделе», рано получило известность на Руси и «стало одним из самых популярных апокрифов, оказавшим, к тому же, влияние на народную словесность».<sup>13</sup> Его осуждала русская церковь.

«Эпистолия» часто сопровождалась «ложной молитвой»: начинаясь по образцу церковной, молитва переходила в заговор или заклятье.<sup>14</sup> Не то ли самое наблюдается в современных «Святых письмах»?

«Эпистолия» в народе бытовала и распространялась различно. Исходя из обнаруженного материала, можно выделить следующие ее типы в русской культуре:

1. Сказание, поощряющее или рассказываемое.
2. Письменный текст, имеющий функцию и форму спасительной молитвы-оберега. Входит и в устную традицию. Сохранялся в крестьянских тетраджах.<sup>15</sup> Его брали с собой на охоту, в дорогу, носили беременные для облегчения родов.
3. Письменный текст, распространявшийся среди городских жителей. Он наиболее близок к современному «Святому письму».

Чаще всего в легенде об обретении письма говорится об упавшем с неба камне. После прочитанных над ним молитв он раскрывается, и в нем находят послание Иисуса Христа, «писанное собственной рукою его золотыми буквами на еврейском языке».<sup>16</sup> Иногда о происхождении письма не упоминается, об одном же из писем сказано так: «Письмо сие найдено семилетним мальчиком сиротою, который до того ничего не говорил».<sup>17</sup> Этот мотив присутствует и сегодня в большинстве современных «писем»: там говорится, что его (письмо) находит семилетний (реже — двенадцатилетний) мальчик, который был болен и выздоровел после переписывания письма. И само письмо сократилось в современной редакции до зачина (молитвенного обращения). Переписывая «Святое письмо», человек в древней Руси как бы молился, прославлял Бога. Это вполне вероятно, ведь в древнерусской культуре «литература — священнодействие. Читатель был в каком-то отношении молящимся. Он предстал произведению как иконе, испытывая чувство благоговения. Оттенок этого благоговения сохранялся даже тогда, когда произведение было светским».<sup>18</sup> Эти слова, разумеется, нельзя распространять на современность, но они могут быть в известной мере справедливыми по отношению к переписчикам «Святых писем».

Задача посланий была конкретна: приучить праздновать воскресенье, т.е. соблюдать христианский обычай, нередко нарушаемый, а также отучить от некоторых привычек, занятий, считаемых наследием язычества.<sup>19</sup> Ту же роль играли произведения русской нравоучительной литературы, исходившие от пастырей церкви: «Слово о неделе блаженного

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Сумцов Н.Ф. Очерки истории южно-русских апокрифических сказаний и песен. Киев, 1888. С.120.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же. С.119.

<sup>14</sup> «Ложные молитвы», гадательные и астрологические книги — составляющие питательной среды «Эпистолии».

<sup>15</sup> Виноградов Н. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч. // Живая старина. 1907. № 1. С. 19.

<sup>16</sup> Российская национальная библиотека. Ф. 608 (Помяловский И.В.). Оп.1. Ед.хр. № 4390.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Лихачев Д.С. Первые 700 лет русской литературы // О филологии. М., 1989. С.117.

<sup>19</sup> «Русские люди обыкновенно не унижали святости воскресного дня повседневными работами, но при этом день воскресный, или, как тогда называли, «неделя», праздновался у нас далеко не по-христиански... Воскресенье часто проходило в грубых развлечениях, совсем по-язычески. Пастырям церкви и ревнителям благочестия приходилось разъяснять верующим святость воскресного дня и настойчиво убеждать по-христиански проводить этот день» (Гальковский М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916. Т.1. С.335).

В советское время, с его принудительным атеизмом (особенно в первые революционные годы), к работе в воскресенье вынуждала и нищета, и распоряжения власти (ср. конфликт между женщинами и Семеном Давыдовым в «Поднятой целине»). Однако та же участь, что и воскресенье, постигла

Евсевия архиепископа», «Слово святого отца Иакова о дни святых недели», «Слово о неделе Иакова, брата Господня, епископа Иерусалимского» и другие.

В XV—XVI веках «ревнители благочестия» сочиняли и распространяли свои с той же целью созданные произведения «в духе Номоканона и на основании его... так называемые худые номоканунцы. Таковы, например, постановления против употребляющих чай, кофе, табак». <sup>20</sup> О том же речь шла в одном из многочисленных вариантов «послания» — «Свитке Иерусалимского знамения» <sup>21</sup>: «Чтобы люди на гармонике бы не играли, не крутились бы, чаю, кофию не пили бы, а то я им наказание пошлю».

Мотив наказания, угрозы конца света — кары за грехи человечества — буквально преследовал человека в подобных «посланиях Иисуса Христа». «Аще бы за вас грешных и окаянных не просила бы возлюбленная мати моя, то давно бы я вас убил и голодной смертию вы померли бы за вашу матерную брань и злое дело. Но аз на вас потерплю для Пречистой Матери моея». <sup>22</sup> «Побужду короля на короля, место на место, пана на пана, один на другого, отца на сына, брата на брата, дщерь на мать свою, невестку на свекруху свою, и кровопролитие будет и ненависть меж вами будет, а если и по том каранию не покается... то препущу на вас птахи черные, сромливые, которые прилетаючи будут вас кусать, же и един из вас скрывается, и от тих птахов злое поветрие начнется, а гды не покается, еще буду вас карать голодом, и нетерпеливым мором, и блискавицею, и градом огненным и иншими карностями...» <sup>23</sup>

Как видно из новейших текстов «Святых писем», древняя традиция обещания кары, угроза страшных проклятий, в рассматриваемом жанре письменного фольклора дошла до наших дней. Изменилось общее содержание «писем» (хотя, по воспоминаниям пожилых людей, еще в 1930—1940-е годы списки посланий напоминали о необходимости праздновать воскресенье). <sup>24</sup> Незыблемым осталось их главное назначение: «внушать людям страх Божий». <sup>25</sup>

Перейдя в устную, «низовую», традицию, «эпистолия о неделе» серьезно изменилась, в том числе этически и эстетически, не утратив за века своего существования структурного «механизма» текста. Народные духовные стихи, в основе которых лежит «эпистолия», имеют несколько иную этическую направленность. Это — как бы народный катехизис. В них чаще звучит не угроза, а укор неправедным, и обещает Христос нередко не «счастье и прибыль», а полное отпущение грехов перед смертью.

В старых списках «Святых писем» выделяются как бы два мифа: первый и главный — о послании Бога-Сына людям, явлении слов Господа; второй — о волшебной силе его слов, переписанных человеком. В силу слов написанных верят так же, как и в силу произнесенных в молитве. Это для верующих — реальность. Разговор же Иисуса Христа от первого лица — Откровение, способное поразить воображение (ср. Откровение Иоанна). В письмах современных первенство отдается мифу о волшебной силе текста. И про них можно сказать то же, что и о рецепте средневекового мастера, получавшего золото из пепла василиска: «...при толковании рецепта совершенно не обязательно делать выбор между версиями. Ведь автор рецепта (насколько можно вообще говорить об индивидуальном авторстве) не сочинял его, читая или слушая конкретное повествование. Он жил в мифе». <sup>26</sup> В каком же мифе живут переписчики «Святых писем»? В убеждении, что от страха кары за неповиновение, от ощущения себя рабом можно прийти к любви, стать истинно верующим и милосердным. Тот, кто пишет письмо, и жертва, заложник письма, и палач, готовящий жестокою участь другим. За это и не приемлет современная православная церковь подобные письма.

Напомним в этой связи мысль историка Церкви протоиерея Георгия Флоровского: «Бог был для Толстого не столько Отец, сколько Хозяин, и человек работник у него. Это шаг

на Руси многие другие праздники, в том числе любимые народом святки — дни перед Рождеством, обозначенные церковью как «Святые вечера», когда особой святостью поведения и исключительным благочестием христиане готовят себя к одному из важнейших двенадцатых праздников.

<sup>20</sup> Гальковский М. Указ. соч. С.103.

<sup>21</sup> Балов А.В. Свиток Иерусалимского знамения // Этнографическое обозрение. 1901. № 3. С.91.

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> Сумцов Н.Ф. Указ. соч. С.118.

<sup>24</sup> По устному свидетельству И.Г.Левина, подобные тексты на немецком, эстонском и русском языках в 1930-х годах тщательно сохранялись в архиве Дерптского (Тартуского) университета.

<sup>25</sup> Веселовский А.Н. Указ. соч. С.113.

<sup>26</sup> Харитонович Д.Э. В единоростве с василиском // Одиссей. Сб. ст. М., 1989. С.89.

назад, возврат от сыновства к рабству».<sup>27</sup> Нет смысла искать конкретные секты и религиозные течения, исповедующие идеологию «писем» и распространяющие их. Достаточно обозначить психологические контуры мифа «Святых писем»: нет — свободе, любви, состраданию. «Сострадание — все христианство», — утверждал Достоевский,<sup>28</sup> который «веровал от любви, не от страха. В этом он так не похож ни на Гоголя, ни на Конст. Леонтьева, одинаково стесненных в их духовном опыте каким-то нерасходящимся испугом, почти отчаянием...»<sup>29</sup>

Свободы не обнаружить и в «Письме-счастье». Обращенное к «братьям и сестрам», оно заканчивается угрозой. Люди несвободны. Призывая к Вере, Надежде, Любви (главным христианским добродетелям), к счастью, благодетели людей грозятся смертью, болезнью, уничтожением человеческого рода. Иисус Христос в таких посланиях напоминает Иисуса в Евангелии от Фомы, который умерщвляет детей — своих сверстников и превращает их в свиней. И если Христос в Евангелии от Матфея говорит: «Не судите, да не судимы будете; Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить» (Матф., 7, 1—2), то переписчики писем не похожи на людей, исповедующих эту заповедь.

Ожидание конца света, периодически потрясающие русское общество на протяжении многих веков религиозные кризисы поддерживали и поддерживают существование «Святых писем». Сегодня работает не только феномен «конца века» — кончается тысячелетие. В катастрофе же Чернобыля видят именно ту «траву полынь» (чернобыльник), о которой сказано в Откровении св. Иоанна. Встречается даже мысль, что конец света уже происходит. К тому же в обществе усиливается стремление к религиозному (духовному) возрождению, и бытование «Святых писем» в наши дни вовсе не кажется случайным. А публицисты отмечали тот факт, что религиозное возрождение не раз уже принимало формы принуждения.

«Ментальности изменяются чрезвычайно медленно» — свидетельствуют современные историки Средневековья.<sup>30</sup> Эволюция «Святых писем» и их переписчиков, диктаторов и жертв, в течение почти двух тысячелетий — тому подтверждение. «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» (Матф., 5, 43) — мораль древнейшая, и человечество сделало огромный шаг вперед к идее христианских заповедей. Но исполнять их сложнее, чем следовать этике «око за око». Сознает это и современная Церковь: «Христианский нравственный закон не веление, а призыв, несовместимый ни с принуждением, ни со ссылкой на авторитет. Это закон свободы и закон любви, это мораль принципов, а не мораль принуждения».<sup>31</sup>

В нашей цивилизации уже несколько поколений живут не так, как жили их родители — меняются внешние условия, меняются и сами люди. Но большинство традиционных жанров устного и письменного фольклора не исчезло в современном мире, а обрело новую форму. Обнаружить традицию — одна из главных задач исследователя современного фольклора.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Тексты

#### 1. «Святое письмо».

Святое письмо. Слава Богу, Святому Духу, Святой Богородице! Аминь. Двенадцатилетний мальчик был болен. На берегу реки он встретил Бога. Бог дал ему святое письмо и сказал: «Перепиши его 12 раз». Мальчик сделал это и выздоровел. Одна семья переписала письмо и получила большое счастье. Другая порвала и получила горе. Перепишите письмо 22 раза и через 30 дней вы получите большое счастье. Это проверено. Если вы не перепишите его в течение трех недель, то получите большое горе и неизлечимую болезнь. Это тоже проверено. Это письмо обошло весь свет, переписка началась с 1936 г. Обратите внимание через 36 дней.

(Ленинград, 1990)

<sup>27</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Paris, 1983. С. 408.

<sup>28</sup> Цит. по: Горичева Т., Мамлеев Ю. Новый град Китеж (философский анализ русского бытия) // Беседа. Париж, 1989. С. 24.

<sup>29</sup> Флоровский Г. Указ. соч. С.300.

<sup>30</sup> Гуревич А.Я. Предисловие к сб. «Одиссей». С.8.

<sup>31</sup> Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Московской Патриархии. 1988. Т.8. С.615.

## 2. «Письмо-счастье».

Письмо-счастье. Это письмо принесет вам счастье! Подлинник письма находится в Голландии. Оно начато в 1855 г. За это время оно обошло вокруг света 800 раз, но с одним условием — письмо надо отправить дальше. Счастье придет к вам и не надо никаких денег — ведь счастье не купишь. Отправьте письмо тому, кто нуждается в счастье, или вручите его родственникам, друзьям, знакомым. С ответом не задерживайтесь, отправьте 20 экземпляров в течение 96 часов и ждите, что будет на 4-й день после отправки. Если даже вы не верите в колдовство, вы убедитесь, что счастье пришло к вам. К.Дойль получил письмо и поручил секретарю размножить его — он выиграл 2 млн., служитель Берг получил письмо и забыл о нем — через несколько дней он потерял работу; барон фон Виллингольд получил письмо и разорвал его — он попал в катастрофу. Письмо не рвите ни в коем случае, отнесите к нему серьезно.

(Ленинград, 1989).

## 3. Письмо-проповедь.

Братья и сестры! Безверие опустошает наши души и ведет к общей гибели, ибо в пустой душе рождается Зло, а Зло способно только к разрушению. Тяжкие испытания ожидают нас, если не обретем опоры и веры. Поверьте в бессмертие наших душ, и пусть эта вера объединит нас и даст опору и надежду. Свой путь мы не пройдем дважды, а все содеянное нами останется в бессмертной душе нашей.

Будьте честны перед зеркалом души своей, когда взвешиваете дела свои на весах Добра и Зла, и завтра уменьшится Зло, а Добро возрастет. Не творите Зла в душах ваших, отверните души ваши от Зла и не потворствуйте Злу, и в мире иссякнет Зло, а Добро приумножится. Только доброта и красота наших душ могут спасти нас и этот мир. Пусть же каждый из нас построит в душе своей храм, а в храме обретет Бога, и да поможет ему Бог!

Прочитавший это письмо свободен в выборе. Он может посмеяться над письмом, обругать или порвать его и остаться прозябать в своем безверии, ибо можно существовать и без веры, подобно животному. Он может передать другим свое стремление к единению и спасению, для чего в течение 36 дней переписать письмо 72 раза и разослать разным людям. Он может просто передать его другому, не совершая ни злых, ни добрых усилий.

Каждому возраста по словам его и делам, и после 36 дней, отпускаемых для размышления, каждый почувствует ответ.

(Ленинград, 1990).

К. В. Чистов

## ФОЛЬКЛОР В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII века

Я буду говорить<sup>1</sup> о фольклоризме русской литературы XVIII века, и только отчасти театра и музыки, потому что в сфере литературы мы располагаем наибольшим количеством выразительных фактов и потому что я филолог и этнограф. В кратком докладе я не могу подробно описывать происходившие процессы и тем более сообщать историографические сведения, а попытаюсь обсудить некоторые итоги изучения проблемы и сформулировать некоторые методические идеи.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Доклад, подготовленный к XI Съезду славистов в Братиславе (август 1993).

<sup>2</sup> Важнейшие библиографические сведения см.: Русская литература и фольклор (XI-XVIII вв.). Л., 1970. С.87-430, а также: Трубицин Н.Н. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. СПб., 1912; Азадовский М.К. История русской фольклористики. М., 1958. Т.1 (гл. «Фольклористика XVIII века», с. 42-111); Токарев С.А. История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966 (гл. «Русские этнографические материалы и исследования в XVIII в.», с. 75-110 и «Рост этнографических знаний в 1770-1800 гг.», с. 111-141). О публикациях после 1970 года см.: Мельц М.Я. Русский фольклор. Библиографический указатель. 1966-1975. Л., 1984-1985. Т.1-II и Иванова Т.Г. Русский фольклор. Библиографический указатель. 1976-1980. Л., 1987.

Термин «фольклор» я употребляю так, как это принято в нашей научной традиции. Это — устная словесность, преимущественно народного происхождения. В XVIII веке она сохраняла в основном свой архаический характер. «Фольклоризмом» принято называть факты и механизм воздействия фольклора и — шире — архаической традиции народной культуры на литературу, музыку и другие виды так называемой «высокой культуры».

Тема доклада обширна, как обширен и насыщен событиями был XVIII век в России. От начала царствования Петра I до убийства Павла и первых наполеоновских войн прошло не столетие в обычном измерении, а несколько эпох. Особенно верно это в отношении русской культуры XVIII века.

В.Г.Белинский когда-то писал: «Петр I бросил вызов России и она ответила ему Ломоносовым». Действительно, XVIII век был веком ускоренного развития русской культуры, веком преодоления ее отставания от культуры западноевропейских стран, доставшегося в наследство от времен татаро-монгольского ига и борьбы с ним. То, на что в некоторых странах ушло 200—250 лет, в России было пережито немногим более чем за половину столетия (барокко, классицизм, просвещение, сентиментализм и др.) — с 30—40-х до 1790—1800 годов.

Необычайная интенсивность развития предопределяет многие трудности, с которыми сталкиваются исследователи XVIII века. Постоянно обнаруживаются факты, которые с равным успехом можно отнести к разным этапам развития литературного процесса, если его конструировать отвлеченно-логически. Не однажды возникал спор: следует Ломоносова считать классицистом или литератором барочного направления? Ученики Сумарокова были как бы одновременно сентименталистами и, по крайней мере, какой-то разновидностью преромантиков. Державин и Радищев не укладываются ни в одну историко-литературную типологию. Классицист Крылов в равной мере реалист. Так же обстоит дело и с фольклоризмом — он с трудом уместится в типологические схемы. Все это отражает не только реальную сложность социальной структуры тогдашнего общества, но и (и, может быть, прежде всего) сложность стратиграфии его культуры.

В сфере книжной культуры, сформировавшейся относительно недавно, уже действуют не только дворяне, но и разночинцы, духовенство, чиновничество, крестьянство. Многое в культуре XVIII века трудно объяснить, если не учесть многослойность и переплетенность типов общественной коммуникации, ее несоответствие социальной структуре. Так, рукописная традиция продолжала обслуживать (разумеется, в разной мере) различные группы населения — определенные слои дворянства и чиновничества и, конечно, духовенство, купечество и некоторую часть крестьянства (например, старообрядцев).

Книг постепенно издается все больше и больше. С середины XVIII века развивается журналистика, которой не знала старая Россия. Если за петровское время было издано около 650 книг, что было огромным достижением по сравнению с XVII веком, а в первые два послепетровских десятилетия только 175, то с 1761 по 1800 год уже 9500 названий, причем одним Н.И.Новиковым — более 1000 книг. По описи В.С.Сопикова, было издано примерно 13250 книг;<sup>3</sup> в то же время, по оценке специалистов, на Руси с X по XVIII век было создано и функционировало более 100 000 рукописей и рукописных книг.<sup>4</sup> Далеко не все дожили до XVIII века, и вообще трудно сказать, сколько из них продолжало читаться или переписываться в XVIII веке, но это безусловно все еще был гигантский резервуар, из которого продолжали черпать как церковные, так и светские произведения разного назначения. Несомненно, что рукописная традиция все еще оставалась фактом культурного быта и в обеих столицах, и в провинции. В XVIII веке, несмотря на начавшуюся публикацию печатных песенников, продолжали создаваться и переписываться рукописные. Они далеко еще не все выявлены. Однако только А.В.Позднеевым было изучено более 500 русских и 110 украинско-русских песенников, в которых содержится до 5000 песен.

Что же касается устной традиции, то она тоже обслуживала (в той или иной мере) все слои тогдашнего общества. Мы не располагаем достоверной статистикой, но сохранилось множество свидетельств, относящихся как к XVIII, так и к началу XIX века, которые ясно говорят об активном бытовании фольклора не только в крестьянской и нижней городской среде, но и в купеческих домах, домах столичного и провинциального дворянства и даже при дворе. Я имею в виду не псевдорусский маскарад при дворе Екатерины Второй, но

<sup>3</sup> См.: Издательское дело в России // Книговедение. Энциклопедический словарь. М., 1982. С. 194—198.

<sup>4</sup> Там же. С.470.

обычное при царском дворе и в поместьях наличие народных хоров, музыкантов, танцоров и сказочников. Они только постепенно вытеснялись профессиональными актерами и музыкантами (причем часто тоже из обученных крепостных крестьян).

Из этих фактов следует по крайней мере два вывода: 1) предложенная в свое время П.Н.Сакулиным социальная стратификация культуры XVIII века нуждается в значительном уточнении; 2) обычное для литературоведческих и фольклористических работ словосочетание «обращение к фольклору» требует весьма осмотрительного употребления. Большинство литераторов и музыкантов XVIII века (если иметь в виду не иностранных гастролеров) не «обращалось к фольклору»: они обладали бытовым или, как выразился один исследователь, «физиологическим» знанием фольклора. Только от эстетических и всяких иных взглядов и обыкновения каждого из них зависело, хотел ли он и мог ли в тех или иных формах использовать фольклор в своем быту и в своем творчестве. Кроме того, у литераторов XVIII века еще не было и не могло быть четкого представления о границах, природе и жанровом составе того, что мы теперь называем фольклором. Это был фольклоризм до и без фольклористики. Также, когда говорят о народности какого-либо литературного явления этого времени, надо иметь в виду, что это была «народность» без народа. Необходима была эстетическая и социальная дистанция, без которой фольклоризм немислим. Она создавалась только позже.

Все сказанное ни в коей мере не снижает значения петровских реформ, спор о которых длился весь XIX век и не вполне угас еще и в наше время. Они, бесспорно, положили начало тому бикультурализму, которым сопровождалось знаменитое «прорубание окна в Европу». Однако этот процесс раскола национальной культуры был не единовременным актом, а длительным процессом, который захватил, с одной стороны, Капнистов, Сумароковых и Паниных и, с другой стороны, Простаковых и Скотининых из «Недоросля» Фонвизина в разное время и, конечно, с разной глубиной. Только Грибоедов скажет, что крестьяне принимают бар за иноземцев, хоть те иной раз и говорят на французско-нижегородском наречии, как «мадам де Курдюков» И.Мятлева.

Характерно, что в сохранившихся рукописных (как, впрочем, и печатных) сборниках сказок, как показывают исследования, содержится поразительно мало подлинных устных сказок, а в рукописных и печатных сборниках песен отсутствуют многие песни, которые, судя по записям XIX века, несомненно широко бытовали в XVIII веке. Из этого можно сделать один вывод: видимо, и те и другие были «на слуху» и записывать их не было необходимости. Подобное явление известно и по рукописным песенникам XX века, распространенным до появления магнитофонов.

И наконец, последнее методологическое соображение. Литературные произведения, в которых обнаруживается нечто сходное с фольклором, оцениваются подчас в меру их близости к фольклору. Отсюда как бы следует, что идеалом так называемого «обращения к фольклору» должен быть просто фольклорный подлинник. Но в этом ли состоит и состояла проблема? Как говорил один публицист, должен ли скульптор, вылепивший собаку, стремиться к тому, чтобы она бегала и лаяла? Даже если это произойдет, станет ли одной собакой больше? При этом забывается и то, что, переводя то или иное явление из сферы коммуникации устной в книжную сферу, писатель не может не заботиться о том, чтобы приспособить его для зрительного восприятия, освобождая от того, что прямо связано с восприятием слуховым. Совершенно так же, если стихи сочинялись не для того, чтобы быть прочтенными, а спетыми, а сказка для чтения вслух, это тоже имело свои последствия.

Кроме того, какова мера близости и какова относительная ценность фольклорной ритмики, лексики, фразеологии, сюжетов, образов действующих лиц и пр.? Писатели того времени, как уже говорилось, еще довольно смутно представляли себе границы и природу фольклора. Отсюда одна из важнейших особенностей их восприятия фольклора — оно было условным. Нередко фольклорным считалось то, что в наше время вызывает сомнение (особенно специалистов) или просто протест. Одним словом, условный фольклоризм встречался гораздо чаще, чем подлинный. Впрочем, это нередко случается и в наше время, но по совершенно другим причинам. Разумеется, все это не снимает ни одну из интересующих нас проблем. Выяснить, что в то или иное время считалось фольклорным, каковы были способы маркирования или стилизации «под фольклор», не менее важно, чем договориться, что по нашему мнению и в наше время воспринимается как ориентированное на фольклор. Очень важно определить, каковы были стимулы использования различных фольклорных жанров и какова была их реальная функция в эстетической системе того или иного литературного направления.

Обратимся к основным жанрам, использовавшимся литераторами в XVIII веке.

Когда мы обращаемся к песне, то возникает вопрос не только об использовании самой песни, но и более крупная по своим масштабам проблема. Она известна. Я имею в виду проблему ритмических возможностей русского стиха, как она стояла на рубеже нового времени. Известно, что раннее стихотворство XVII века находилось под сильным влиянием польской и польско-украинской силлабической поэзии. Параллельно с этим издавна существовала та разновидность стиха, который мы теперь назвали бы «верлибром» (vers libre). Разумеется, название условно: этот «верлибр» был не постсиллабическим и тем более не постсиллаботоническим, а бесхитростным, выраставшим из естественной интонации на почве ораторской или молитвенной эмфазы.

Тредиаковский, а вслед за ним Ломоносов, опираясь на особенности акцентологической системы русского языка (подвижность ударения, редуцированность безударных гласных и др.), при помощи примеров, заимствованных из народных песен и — шире — фольклорной речи, доказали, что ритмические возможности русского языка и стихосложения значительно богаче, чем у тех языков, для которых характерно фиксированное ударение (в польском на предпоследнем слоге, во французском — на последнем). Теоретическое предположение было практически реализовано Ломоносовым. Начало развиваться двух- и трехслоговое силлаботоническое стихосложение с многовариантным расположением ударения в клаузуле (окончании строки). Подтверждение открытию Тредиаковского (и своего) Ломоносов видел в практике немецкой поэзии.

Открытие Тредиаковского—Ломоносова было сразу же принято поэтами, даже крупнейшим силлабистом в истории русской поэзии А.Д.Кантемиром. Силлабика оказалась на периферии, а XVIII век предстает нашему взору как грандиозная лаборатория стихотворных ритмов. В.М.Жирмунский справедливо писал, что до начала XX века, до символизма не появилось ни одного принципиально нового ритма, не опробованного в XVIII веке.

Песня — один из популярных литературных жанров в XVIII веке. Длительное время в меру фольклорной традиции стихи сочинялись преимущественно для пения, т.е. были рассчитаны не на визуальное, а на аудиальное восприятие. Именно сходство функций объединяло книжную, литературную песню и песню с фольклорными элементами или элементами фольклорной стилизации. Подтверждение этого обнаруживается даже в названии известных печатных песенников — от «Собрания разных песен» через «Собрание российских песен» к «Собранию народных песен с их голосами» (Львов-Прач). Даже первый рукописный сборник Державина, изданный только в 1933 году, был сборником песен. Печатные песенники прямо унаследовали традицию рукописных песенников.

Вместе с тем, казалось бы, единая функция пения была достаточно сложной — бытовое пение было распространено в разных социальных слоях и выступало в разном культурном контексте. Кроме того, существовало салонное пение, пение на сцене (драма, опера, комическая опера — этот своеобразный мюзикл XVIII века). Нельзя не предположить, что при этом соотношение фольклорных, условно фольклорных и всяких иных составных элементов (включая подражание французским, немецким, итальянским салонным и не-салонным песням) было различным.

По недостатку времени отмечу только, что эволюция фольклорной и нефольклорной песни привела к симбиозу — русскому романсу и позже — русской балладе и, с другой стороны, к так называемой «русской песне» как особому жанру русской поэзии, который предназначался для чтения, но мог быть и положен на музыку. Побочным продуктом этого симбиоза был так называемый «русский стих», сформировавшийся на рубеже XVIII и XIX века. Он воспринимался как фольклорно окрашенный и специфически русский. Важнейшие вехи его развития — «Бова» Радищева, «Илья Муромец» Карамзина и затем — до «русского стиха» Пушкина, Лермонтова, Кольцова, позже — Некрасова и наших современников. Это специальная и интересная проблема. Замечу только, что «русский стих» не имеет точного соответствия в фольклорном стихосложении, «просодическом», как его называл еще Востоков, т.е. реализующем свою ритмическую основу только в пении за счет соотношения долгих и кратких слогов. Это именно не фольклорный, а фольклорно маркированный стих — достижение и наследие XVIII века.

И наконец, отмечу, что статья Н.А.Львова в сборнике, который я упоминал, без преувеличения положила начало научной фольклористике в России.

Когда мы обращаемся к сказкам, то находим сходную картину. Печатные сборники сказок тоже унаследовали традицию рукописных сборников. Представление о сказке как

жанре было еще более смутным, чем о песне, — она была еще не отдифференцирована от других сюжетных прозаических произведений: рукописных оригинальных и переводных повестей, преданий и легенд, былин и мифологических сказаний. Многие сборники сказок тоже явно предназначались для чтения вслух, что влияло и на отбор текстов и на их стилистику. Характерно, что рядом со сборниками сказок, рукописными и печатными, появляется лубок с развитой визуальной функцией и то, что позже будет называться серобумажной литературой.

Особенностью русской литературы XVIII века было специфическое соотношение прозы и поэзии. В новое время русская книжная поэзия сформировалась на сто лет раньше художественной прозы, которая долго не могла высвободиться из цепких рук средневековья. Когда в поэзии уже блистали имена Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, в прозе только появились Эмин, Чулков, Ив.Новиков, Комаров. С началом интенсивной журналистики публицистика тоже стала стремительно обгонять беллетристическую прозу.

Особенно следует выделить воздействие на литературу сатирической фольклорной прозы и поэзии — сатирической и бытовой сказки, анекдота, небылицы, сатирических песен. Согласно поэтике классицизма, элементы народной сатиры, как и вообще элементы быта, могли найти свое место только в так называемых низких жанрах — басне, сатире, эпиграмме, бытовых стишках, а отнюдь не в трагедии, оде, эпистоле и т.п. Мы их и находим в особенном изобилии в баснях Сумарокова, Майкова и др., прямо подготовивших басню Крылова — одно из высших достижений русской литературы начала XIX века, в комедиях и в сатирической публицистике.

Публикации сказок отражали не только интерес к занимательности и сюжетности. В сознании русских литераторов был пример публикации сказок, начавшейся в некоторых странах, особенно во Франции (Ш.Перро, «Bibliothèque bleue», «Bibliothèque de feès» и др.). Эти издания стимулировались постепенно нарастающим интересом к сказке как явлению искусства, идущему из древности, от природного, безыскусственного состояния. Так же как и в сфере песни, здесь формировались элементы руссоистского или иного сентиментализма, которые взаимодействовали (и в определенной мере противоборствовали) с идеями Гердера, также получившими распространение в России.

Если было бы время, следовало бы специально поговорить о функции пословиц — жанра очень популярного в XVIII веке, к которому прибегали и в комедии, и в басне, и в публицистике. Пословицы служили часто заглавиями-тезисами для пьес и рассказов, выражали сентенции действующих лиц и т.д. Они публиковались в традиционной форме или обработках (Богданович и др.).

Особую проблему составляет использование былин и сочинение псевдомифологических конструкций (русских и древнеславянских при отсутствии необходимых фактов) в духе древнегреческого пантеона, позже — с явными оссианистскими мотивами.

В целом же движение фольклоризма русской литературы XVIII века было от неосознанного использования фольклора (особенно в тех случаях, когда у самой литературы не хватало опыта стилистического, эмоционального, сюжетного и т.д.) и от «склонения на русские нравы» переводных произведений до создания русских литературных жанров, опирающихся на национальные традиции. Уже тогда возник вопрос о создании национальной литературы, воспринимаемой именно как национальная. Значение русской культуры в Европе в это время не соответствовало ее политическому и военному влиянию.

Наивысшими достижениями фольклоризма русской литературы XVIII века, добытыми как способами, о которых мы говорили, так и способами иными (я далек от мысли, что подлинная народность связана только с использованием фольклора), ознаменовалось творчеством Державина, Крылова и Радищева. Карамзина, оказавшего огромное влияние на всю последующую литературу, я оставляю в стороне. От сентименталистского (впрочем, довольно умеренного) использования фольклора зрелый Карамзин обратился к фундаментальной разработке русской истории. Фольклорные памятники приобрели для него прежде всего ценность исторических источников. Всеобщая популярность карамзинских исторических сочинений имела свои литературные последствия и одновременно способствовала подготовке умов к созданию в России фольклористики как историко-культурной науки.

Характерен путь Державина. Его ранний сборник песен, который уже упоминался, как и его ранние казарменные стишки, мало сказался на его дальнейшем творчестве. Державин далек от рассуждений об естественном человеке и ценности его поэзии (в духе Руссо или Лафита), он сам как бы естественный человек. Дело не просто в том, что он был значительно

менее образован, чем его высокопросвещенные друзья — Львов, Хемницер, Капнист и др., и что он вышел из очень провинциальной мелкопоместной среды. Как личность он энергично развивался и многое воспринял от своих друзей. Однако он был человеком своенравным и своеобразным, «диковатым», и его не могли смирить ни его друзья, ни сама Екатерина II. В 36 лет он еще начинающий поэт и начинает по-своему, хотя и считает, что следует Ломоносову. Народность была как бы воплощена в самом его характере. Знаменательно, что, вступив в XIX век, он тем не менее остался в XVIII веке, и только в последнее десятилетие своей жизни начал размышлять о проблеме фольклоризма, захотел стать нарочито народным поэтом и...потерпел жестокое поражение. Его не спасли ни фольклорные сюжеты, ни оссианистские мотивы, ни цитаты из песен, ни теоретические размышления. Литература за это время ушла далеко вперед. Великий поэт пережил свою эпоху.

Совсем иная судьба была предназначена Крылову. Начав с активного участия в развитии сатирического направления и дав блестящие образцы современной прозы в «Почте духов», он, после возвращения в Петербург из провинциального укрытия в годы расправы Екатерины с Новиковым и Радищевым, стал прежде всего баснописцем, одним из самых замечательных в мире. В его баснях нет натужных и искусственных попыток стилизации, все естественно, органично и все в лучшем смысле этого слова народно. Он прямо продолжил в своих баснях Сумарокова (который, не будь Крылова, считался бы великим русским баснописцем). О народности Крылова, полагаю, нет нужды говорить более пространно. Она очевидна и о ней написано достаточно много.

И наконец, Радищев. О нем тоже написано много. Я не буду говорить о его неоконченной поэме «Бова» с характерным подзаголовком «повесть богатырскими стихами». Особенно интересны фольклорные эпизоды в «Путешествии из Петербурга в Москву». Радищев, прошедший школу и классицизма, и сентиментализма, европейски образованный литератор, первый в русской литературе прибегает к фольклору для познания крестьянства, уйдя в этом отношении далеко от Гердера. Его тревожит и интересует крепостное крестьянство, его социальная судьба, его мироощущение, менталитет. Вместе с Львовым — автором предисловия к сборнику песен — и участниками великих академических экспедиций XVIII века Радищев был ранним предтечей научной фольклористики, сформировавшейся в России в 30—80-е годы XIX века. Его интересовал фольклор не как совокупность памятников древности, что, разумеется, тоже достаточно ценно, а как возможность проникнуть в эмоциональный мир современного ему крестьянства. Он, в отличие от многих писателей, не использует элементы фольклора в авторском тексте (стилистика его авторского текста предельно удалена от фольклора) и не просто цитирует нечто фольклорное, как это было в пасторальных дивертисментах комических опер XVIII века, а передает подлинные тексты и реальную обстановку, в которой они могли звучать. Это лирические и свадебные песни, крестьянские рассказы-мемораты, причитания (особенно интересны рекрутские причитания). Радищев не исчерпал всех фольклорных жанров, но уже довольно четко обозначил их круг, их смысл и значение. Так же, как Крылов, и в отличие от Державина он целиком вышел из XVIII века, но сумел преодолеть его, по крайней мере в том отношении, которое нас в данном случае интересовало.

*Йоле Станишич*

## ЛЕВ ТОЛСТОЙ О БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ

В романах, повестях и рассказах, публицистике и письмах Толстого упоминаются Сербия, Черногория, Босния, Герцеговина, Дубровник, а также выдающиеся личности южнославянской истории и культуры. Отдельные персонажи толстовских произведений участвуют вместе с сербами в вооруженной борьбе против османских поработителей.<sup>1</sup> Глубокую заинтересованность в судьбах сербов и других славянских народов на Балканах Толстой пронес в сущности через всю жизнь.

<sup>1</sup> В 1960 году Л.Захаров опубликовал на страницах белградской «Политики» (10-20 ноября) довольно обширную хронологическую работу о жизни Толстого («Живот Лава Толстоја»). К разделу «Март 1883 г.», которым отмечено начало работы над «Анной Карениной», сделано примечание: «Герой Толстого граф Алексей Вронский, потрясенный самоубийством Анны Карениной, уехал в 1876 г. добровольцем на войну в Сербию и погиб 20 августа 1876 г. недалеко от Алексинца. Этот Вронский — не кто иной, как полковник Николай Раевский (1840—1876), о котором писали в своих воспоми-

Сербы, после греков, были первыми переводчиками Толстого.<sup>2</sup> Произведения Толстого в среде южных славян сразу обрели блестящих переводчиков и восторженных популяризаторов.<sup>3</sup> В конце XIX — начале XX века во всех южнославянских землях было опубликовано немало хвалебных статей о Толстом. «Россия и славянство должны гордиться тем, что породили такого гения во славу себе и всему человечеству»,<sup>4</sup> — подобного рода восторженная символика, смелые эпитеты встречаются во многих изданиях того времени.

Критика многократно отмечала влияние Толстого на сербских реалистов Л.Лазаревича, М.Глишича, Св.Ранковича, Б.Станковича, на хорватов Д.Шимуновича, К.Ш.Джалевского, на далматинцев Й. Косора и И. Войновича.<sup>5</sup>

В конце XIX века во всех южнославянских странах широкое распространение получили этико-философские произведения Толстого, оказавшие интенсивное идейное и эстетическое воздействие на многих художников слова.<sup>6</sup> Некоторые интеллигенты, в основном крестьянского происхождения, становились идейными последователями Толстого; в Хорватии братья Радичи, Анте и Степан, известные критики, восхищались толстовской этикой человеколюбия, усвоили идеи крестьянского альтруизма.<sup>7</sup>

Незадолго до кончины, в 1910 году, Толстой был избран почетным членом Сербской Академии наук. В связи с этим Академия получила авторизованную Толстым его подробную биографию, написанную П.И.Вилюковым. От имени Толстого оживленную переписку с Академией вел Д.П.Маковицкий.<sup>8</sup> Важно отметить, что в личной библиотеке писателя было много книг на русском языке о южных славянах, а также переводов произведений из их литератур. На некоторых из этих книг — пометки рукой Толстого, например на книге, изданной в 1908 году по-русски в Белграде: «Босния и Герцеговина в Народной Скупшине королевства Сербии на заседании 29 сентября». В библиотеке Толстого были также собраны десятки книг того времени на сербскохорватском языке — от научных изданий, художественных произведений до народного эпоса.<sup>9</sup> В янополянской библиотеке сохранились книги сербских поэтов с посвящениями авторов.<sup>10</sup> Это, например, «Поезија неба и земље»

даниях Пера Тодорович и Владан Джорджевич. Версию эту следует учесть исследователям, изучающим генезис «Анны Карениной». (Политика, 1960, 20 ноябрь). П.Тодорович и В.Джорджевич — известные сербские критики, популяризаторы русской классической литературы. Как следует из воспоминаний Тодоровича, он лично знал Раевского.

<sup>2</sup> См.: *Погодин А.* Русско-српска библиографија 1800-1925. Београд, 1932. Кн. 1.

<sup>3</sup> «В конце XIX в., — пишет Й.Бадалич, — когда Толстой в основном был уже переведен, отмечаются признаки интенсивного художественного и идейного воздействия Толстого на литературное творчество южных славян... Интенсивность резонанса и соответственно влияния художественных, философских и политических произведений Толстого были и остались неодинаковыми у разных южнославянских народов» (*Badalić J.* Rusko-hrvatske književne studije. Zagreb, 1972. S.274).

<sup>4</sup> Народне новине. 9 септембар 1898.

<sup>5</sup> См.: *Максимовић Ј.* Руска књижевност. Мостар, 1902. С.40-67; *Продановић Ј.* Лав Толстој и наша реалистичка проза // Српски књижевни гласник. 1922. Бр.5. С.315-333; *Badalić J.* Op. cit. S. 240-292; *Бабовић М.* Русский роман в творчестве Светолика Ранковича и Бориса Станковича // Русско-югославские литературные связи. М., 1975. С.164-173.

<sup>6</sup> См.: *Петронијевић Б.* Филозофија Лава Толстоја // Српски књижевни гласник. 1907. Бр.8. С.53-60.

<sup>7</sup> На принципах толстовской этики братья Радичи выработали политическую программу, которая осуществлялась в деятельности созданной ими в начале века Хорватской крестьянской народной партии. Подробнее об этом см.: *Радић С.* Мој политички живот. Загреб, 1926. Многим южным славянам были близки слова Радича в толстовском духе: «Идеалы не рождаются там, где звенят бокалы с шампанским; там пробуждаются лишь темные страсти. Не возникают они и на гладком, блестящем паркете, на пестрых столетних мозаиках... Высокие и светлые идеалы вырастают чаще всего в низких хижинах бедняков, в камерах невинных арестантов» (*Радић С.* Хрватски идеали // Хрватска мисао. 1897. С.421).

<sup>8</sup> Об этом см.: *Дмитриев П., Сафронов Г.* Лев Толстой — член Сербской Академии наук // Русская литература. 1960. № 4. С.185-187; *Порочкина И.М.* Сербские, хорватские и словенские книги в личной библиотеке Л. Н. Толстого // Русско-югославские литературные связи. С.308-310.

<sup>9</sup> В сербской прессе неоднократно указывалось, что Толстой знал сербский язык (см.: *Летопис Матице српске.* 1908. Бр.12. С.110).

<sup>10</sup> О южнославянских книгах и автографах в библиотеке Толстого более подробно см.: *Сестринска И.* Книги на български език в личната библиотека на Л.Н.Толстой // Българо-съветска дружба. 1960. Бр.21. С.10; *Порочкина И.М.* 1) Славянские автографы в личной библиотеке Л.Н.Толстого // Вестник ЛГУ. 1968. № 14. С.97-102; 2) Сербские, хорватские и словенские книги в личной библиотеке Л.Н.Толстого; 3) Л.Н.Толстой и славянские народы. Л., 1983. С.89—113.

П.Йовкича (Нестор Жучки). Как посвящение, так и содержание книги близки тем нравственным идеалам, которые проповедовал Толстой. «Песме» (1909), сборник другого поэта, У.Янковича, который неоднократно называл Толстого своим учителем, открывается стихотворным посвящением «У пучины», где автор восторженно славит именно Толстого-моралиста.

Толстому посвящал стихи также И.Войнович, певец Дубровника.

В 90-е годы и в начале нынешнего столетия многие сербы и черногорцы различных слоев и профессий стремились увидеть Толстого, для чего специально приезжали в Россию. Некоторые из них оставили воспоминания о своих встречах с писателем. Для нас представляют особый интерес воспоминания Й. Куячича и Й. Максимовича. Эти воспоминания остались неучтенными югославским литературоведением. Они также не переводились на русский, отчего считаем целесообразным привести из них отдельные фрагменты, более полно раскрывающие отношение Толстого к южным славянам, к сокровищам их национальной культуры, и южных славян — к русскому писателю, их надежды на него в роковые моменты истории.

В конце XIX века в Военно-медицинской академии в Москве учился черногорец Йован Куячич (1869-1958). Позже он стал крупнейшим ученым-медиком, академиком; вместе с тем он известный литератор, переводчик. В то время он начал переводить Толстого, главным образом его философскую эссеистику. В частности, Куячич перевел «В чем моя вера?», «Что такое искусство?». Толстой работал над «Воскресением», когда Куячич 8 сентября 1898 года впервые навестил его. В воспоминаниях «У Лава Н. Толстоја» читаем: «В продолжение беседы я спросил Толстого, позволит ли он мне перевести на сербский его новейшее произведение „Что такое искусство?“ На это последовал его вопрос:

— А кто вы?

Когда же я сказал ему, кто я и откуда, он весьма любезно продолжил:

— Вы серб, черногорец? Очень приятно! Я весьма рад! Мне будет приятно, если моя книга выйдет в свет на вашем сербском языке. Что вы думаете, как сербы воспримут этот мой труд, заинтересует ли их эта проблема? Как вообще они относятся к искусству, как оно у них принимается? Да что я говорю, они все — истинные художники! Не будь ничего иного, кроме ваших народных песен, которым, с уверенностью можно сказать, нет равных ни у какого народа!.. И воистину ваши народные песни прекрасны! Это в самом деле подлинное народное искусство.

...Когда я завершил перевод книги, подготовил его к изданию, 14 апреля я в последний раз отправился к Толстому, чтобы показать ему работу и попрощаться с ним. На сей раз Толстой принял меня в той же просторной комнате, где я однажды побывал. Как обычно, принял он меня любезно. Мы сели. Я дал ему перевод. Он взял его со словами:

— А, уже готово. Быстро.

Перелистывая рукопись, на некоторых местах он останавливался, похоже, внимательно читал:

— Я почти все понимаю. Сербский язык очень схож с нашим. Сколь прекрасен в нем оборот слов! Язык у вас настолько мягкий, плавный, в прямом смысле вокальный, похож на итальянский. А ваше правописание — истинное совершенство!<sup>11</sup> Должен признать, я опасался... Вы еще молодой человек, а переводить — нелегкое дело. Для этого нужно, кроме знания обоих языков, которые при переводе столь тесно соприкасаются, уметь еще и то, что называется — писать».<sup>12</sup>

Как явствует из этих бесед, можно сказать, что воплощение своего идеала искусства Толстой увидел и в южнославянской народной поэзии. Это воззрение Толстого следует поставить в один ряд с известными высказываниями Гете, братьев Гримм, В.Скотта, Пушкина, которые сравнивали сербский эпос с «Илиадой».<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Это свидетельствует, что Толстой имел полное представление о языковых реформах В.Ка-  
раджича, об их культурно-историческом значении.

<sup>12</sup> Куячич Ј. У Лава Н. Толстоја //Толстој Ј. Шта је умјетност. Београд, 1936. С. VI-XI.

<sup>13</sup> В связи с высказыванием Толстого о сербской народной поэзии уместно напомнить слова польской пианистки В.Ладовской, которая музицировала в яснополянском доме в 1908 году: «Сердцу Толстого ближе всего народные музыкальные темы». Сам Толстой сказал ей: «Я вас благодарю не столько за удовольствие, которое мне доставила ваша музыка, но и за подтверждение моих взглядов на искусство» (Ладовская В. Музыка в Ясной Поляне // Раннее утро. 1908. 28 февр.).

В дни гоголевских торжеств (1909), связанных с открытием в Москве памятника великому писателю, сюда, в числе представителей от южных славян, приехал Й. Максимович с двенадцатилетним сыном Радивоём. Тогда же он навестил Толстого. Об этом Д.Маковицкий оставил запись, где говорится и о впечатлении, какое гость произвел на Толстого.<sup>14</sup>

Йован Максимович (1864—1955) — одна из наиболее ярких, разносторонних фигур в истории сербской культуры. Его литературная деятельность продолжалась более семидесяти лет. У сербов он признан лучшим переводчиком русской прозы.<sup>15</sup> Максимович перевел важнейшие произведения Гоголя, Достоевского, Чехова, а также разные книги Толстого; интересно, что роман «Воскресение» в его переводе отдельную книгу в Сербии вышел раньше, чем в России. Значительный резонанс в сербской критике получили в переводе Максимовича философско-этические произведения Толстого. Максимович не однажды писал о Толстом, посылал ему свои переводы с посвящениями.<sup>16</sup>

О своих встречах с Толстым Максимович написал пространные воспоминания, помещенные в семи выпусках самого значительного сербского литературного журнала.<sup>17</sup> Своеобразие этих воспоминаний в том, что беседы с Толстым, впечатления от всей обстановки перемежаются изложением мыслей из произведений Толстого и суждениями автора о них. Нам представляется, что Максимович с предельной полнотой и точностью передает все оттенки этой незабываемой встречи и беседы. Уже приезд в Ясную Поляну выписан в тонах живых, ярко поэтических, глубоко эмоционально. Здесь узнаем многие и многие подробности о Маковицком, который первым встретил Максимовича в толстовском доме: «Я познакомился с доктором Маковицким, который во время австрийской аннексии Боснии и Герцеговины переводил и публиковал брошюру Толстого... Тогда мы несколько раз писали друг другу. Я посылал ему в Ясную Поляну отпечатанные экземпляры, писал и Толстому о впечатлении, которое произвела у нас его антимилитаристская и антивеликодержавная книга». Максимович далее вспоминает, что Маковицкий отвечал ему от имени Толстого. Сразу после приезда Маковицкий сообщает Максимовичу, что Толстой приглашает его с сыном к себе. Максимович, по его словам, испытывал безграничную радость, дотоле неведомую, но и смущение, когда шагнул к Толстому:

«— Как ваше здоровье, Лев Николаевич? — спросил я его, в интонацию своего вопроса вложив всю любовь и безграничную преданность, которую испытываю к нему уже четверть столетия.

— Какое мое здоровье?... Какое здоровье может быть у восьмидесятилетнего старика! Сегодня здоров, завтра болен... Жду освобождения.

Образ старого Толстого оставался передо мною лишь на несколько мгновений. Когда он начал говорить, из его мыслей и слов, как и всегда, начали сверкать искры, которые мгновенно возносят человека на недостижимые высоты; впечатление старости, словно по взмаху волшебной палочки, исчезает, и я снова вижу этого человека, который перед моим духовным взором уже четверть столетия.<sup>18</sup> Толстовское слово «освобождение» привлекло особое внимание Максимовича.<sup>19</sup>

В ходе беседы Максимович рассказывал Толстому и о сербской молодежи, которая обучается в странах Запада (Франция, Германия, Австрия), «но там нет благоприятных условий для формирования идеального взгляда на сущность и цель жизни... В России же условия для формирования возвышенного взгляда на жизнь особенно благоприятны. Среди факторов, молодежи в этом помогающих, на первом месте русская литература, которая

<sup>14</sup> У Толстого 1904—1910. «Яснополянские записки» Д.П.Маковицкого. 1908—1909 (январь—июнь) // Лит. наследство. 1979. Т.90. Кн. 3. С.402—403.

<sup>15</sup> Одновременно Максимович считается и одним из лучших переводчиков русской поэзии.

<sup>16</sup> Значительная часть таких книг сохраняется в яснополянской библиотеке. Направляя Толстому трактат «О присаејидињу Босне и Херцеговине Аустрији», Максимович в декабре 1908 года писал: «Присылаю Вам сербский перевод Вашей статьи, сделанный мною... Сербы не особенно привыкли к такого рода сочинениям и рассуждениям» (Гос.музей Толстого в Ясной Поляне).

<sup>17</sup> Максимовић Ј. Моја посета код Толстоја // Српски књижевни гласник. 1912. Бр. 1—7.

<sup>18</sup> Максимовић Ј. Моја посета код Толстоја. Бр.1. С.47-48.

<sup>19</sup> Максимович не мог тотчас реагировать на слово «освобождение», ибо слишком был охвачен впечатлением от того, что созерцает «одного из величайших людей подлинной истории человечества», и не осмелился спросить, что подразумевается под этим словом: «В то мое посещение я еще не знал, сколь изначальное место занимает идея “освобождения” в целокупности учения Толстого о природе, сущности, качестве и нужном направлении жизни человека» (Там же. Бр.2. С.122).

настолько полна возвышенного духовного содержания, что современный русский критик вполне справедливо назвал ее святою литературой...

Толстому понравилась моя мысль о том, что русская духовная жизнь более благоприятна для воспитания молодых народов, чем западная. Он мне с очевидным удовольствием сказал:

— Вы знаете, я не славянофил, но я все-таки думаю, что мы, славяне, играем в истории человечества некую особую роль, которая более возвышенна, чем роль других народов, — роль, устремляющаяся к тому, чтобы обновлением спасительных и великих заповедей Христа и жизнью, которая отвечает евангельским требованиям, помочь, чтобы у нас на земле осуществилось царство Божие.<sup>20</sup>

Здесь же мы узнаем, что Маковицкий в те дни очень доверительно поведал Максимиовичу о намерении Толстого отыскать себе пристанище, наиболее близкие ему места в славянском мире, для распространения и укоренения своих взглядов, «кроме Болгарии Толстому представлялись в качестве приюта еще Дубровник и Фрушка Гора».<sup>21</sup> Далее Толстой снова интересовался назаренами,<sup>22</sup> и разговор этот полностью совпадает с тем, что записал Маковицкий. Заключая тему, Максимиович отметил: «Мое повествование о сербских назаренах было новым доказательством того, что и на сербской земле „свет сияет“, и это обрадовало Толстого». После чего он напомнил:

«— На великие вопросы жизни может ответить религия, но ни католичество, ни православие, протестантизм и тому подобное, но те великие истины о жизни, которые содержатся в учениях наивысших мировых мыслителей, каковы: Лао-Цзы, Конфуций, Будда, Сократ, Христос, Хельцкицкий, Паскаль, малоросс Скворода».

После длительных рассуждений об этических проблемах Толстой спросил:

«— А чем вы занимаетесь?»

— Историей русской литературы.

— О-о, значит, вы всех нас хорошо знаете! ...Переводите ли сейчас что-нибудь из моих произведений?

— Нет, ничего не перевожу. Сейчас занимаюсь изучением вашей жизни и ваших философско-этических сочинений».

Толстой рекомендовал ему из всех книг о себе труд Бирюкова. Возвращаясь к тому, о чем спросил Толстой, Максимиович сказал:

«— Когда начну снова переводить ваши сочинения, первыми переведу и опубликую ваши „Краткие изложения Евангелия“. Думаю, что это самое главное и самое прекрасное ваше сочинение. Это книга, небольшая по объему, но великая по содержанию и по высокохудожественному выполнению».

— И я думаю, что это самая главная моя книга, — ответил Толстой.<sup>23</sup>

Затем долго беседовали о толстовской школе, при этом Толстой по большей части обращался к двенадцатилетнему сыну Максимиовича Радивю. Толстой спросил Маковицкого, какую книгу подарить мальчику, и, не дожидаясь ответа, взял свою новую книгу «Учение Христа для детей», на которой своею рукой написал: «Радивю Максимиовичу. Лев Толстой. 1909, 4 мая».

«— Вот тебе эта красивая книга, чтобы ты вспомнил, когда и тебе будет восемьдесят лет, где и от кого ты ее получил, — сказал Толстой Радивю».

Когда Толстой спросил, где Максимиович изучал русский язык, тот ответил: «В своей комнате, в молодости, пользуясь советами и библиотекой профессора Ягича, чьи лекции слушал в Венском университете. Услышав имя Ягича, Толстой попытался что-то вспомнить».

<sup>20</sup> Там же. Бр.4. С.278-282.

<sup>21</sup> Там же. Бр.5. С.354.

<sup>22</sup> По свидетельству Д.П.Маковицкого, тему о назаренах Толстой затронул в начале беседы с Максимиовичем. Назарены (назаряне) — название христиан вообще, последователей Иисуса Христа, которого звали Назаретянином по месту рождения. Позднее это название принимали различные христианские секты. Толстой в своих письмах неоднократно интересовался назаренами в Сербии: «Вчера получил письмо от серба с описанием секты назаренов в Венгрии и Сербии» (Письмо Толстого неуточненному корреспонденту от 14 сентября 1887 года // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Т.86. С.79). Автор письма Толстому, Дж.Р., по всей вероятности, друг Й.Й.Змая; с ним поэт перевел в 1868 году сборник назаренских стихотворений «Харфа сионска». Этот сборник был прислан Толстому. В письме Бирюкову от 11 июня 1890 года Толстой сообщает: «Есть еще „назарены“ в Сербии, основались в 50-х гг. О них есть где-то у меня сведения в письме — очень краткие» (Т.65. С.127).

<sup>23</sup> Максимиовић Ј. Моја посета... Бр.6. С.361—362.

— Ягич... Ягич... — произнес он, словно отыскивая в своей памяти знакомое, близкое».<sup>24</sup> Толстой знал профессора Ватрослава Ягича, который в изданиях Российской Академии наук в 1907 году опубликовал произведение чешского религиозного мыслителя Петра Хельчицкого («Сеть веры»); его Толстой уважал как одного из крупнейших мыслителей человечества. Для этого издания Ягич написал биографию автора и комментариев к его учению. Книга была издана по совету Толстого.

Насколько Толстой был озабочен судьбой южнославянских народов, в особенности сербского, — это с предельной яркостью проявилось в 1908 году. В то время ситуация на Балканах складывалась так, что проблема Боснии и Герцеговины заняла в общеевропейской политике центральное место. 5 октября 1908 года обе эти славянские земли были аннексированы империей Габсбургов. Это трагическое событие глубоко потрясло прежде всего южнославянские народы. Возмущение выразили также многие представители европейской культуры за пределами славянского мира. В эти дни сербы, в духе многовековых традиций братских взаимосвязей, с большой надеждой обращали взоры к России. И естественно, ждали голоса Толстого — «величайшего славянина», как его многократно именовали в среде южных славян. В связи с этим во всю силу прозвучал голос семнадцатилетней сербки Анджели (Анджи) Петрович, о которой в России до наших дней известно очень мало. 7 октября 1908 года Анджа обратилась с пространном письмом к Толстому, призывая его возвысить голос в защиту сербского народа, чьи национальные права безжалостно попирались.<sup>25</sup> В этом письме А.Петрович берет на себя смелость говорить от имени всего сербского народа; раскрывая его трагическую историю, она заявляет себя убежденной последовательницей Толстого и называет его «отцом», «учителем», «апостолом». «Обращаться к Вам, — пишет она, — философу и гению XX века — большая смелость со стороны молодой сербки. Простите меня, уважаемый апостол угнетенных. Вы, умеющий прощать и утешающий людей справедливости и милосердию, не откажите в просьбе Вашим ученикам. Вы внушили мне отвагу — обратиться к Вам с просьбой от нашей небольшой страны, — к Вам, поборнику христианской гуманности... Возвысьте голос за свободу боснийцев и герцеговинцев! Это сербы, это южные славяне. Это люди, веками борющиеся за сохранение своей самобытности... И всё же, отец, мы, словно львы, которых охотники окружили огненным кольцом, — полны отваги и готовы положить на алтарь отечества свои жизни и свое имущество, оставаясь до последнего вздоха верными Родине». А. Петрович в своем письме особо подчеркивает, что за благородные христианские идеалы невозможно бороться «в спертom воздухе тюрьмы». Она здесь же напоминает, что в эти критические минуты сербы, да и вся культурная Европа, на встречах государственных деятелей великих держав ожидают голоса России, но «Россия молчит. Это страшное молчание может стоить жизни целого народа... Где же подлинный гуманизм?» Письмо завершается такими словами: «Я открыла Вам свою душу, я пишу то, что кровавыми буквами записано в сердце каждого серба... Дай Бог, чтобы в результате моего письма сербский народ приобрел еще одного друга в лице прославленного писателя Льва Толстого».

Учитывая важность ответа Толстого для развития русско-сербских литературных связей, необходимо более подробно изложить историю его переписки с А.Петрович, осветить значение ответного письма Толстого, которое заняло особое место среди его этико-философских сочинений; следует также с большей полнотой представить личность сербской корреспондентки, поскольку она фактически стала олицетворением живой связи Толстого с сербской культурой, с литературой Сербии.

Толстой, получив письмо, поручил Маковицкому, блестяще знавшему сербский язык, ответить, что и было сделано 30 октября того же года. В своем дневнике Толстой 26 октября записал: «Начал тоже письмо сербе». Ответное письмо Маковицкого заканчивалось словами: «Вопрос этот настолько заинтересовал Льва Николаевича, что он в довольно длинном письме, которое, вероятно, скоро будет напечатано, высказал подробно свои мысли об этом предмете».

На встрече со студентами в конце того же октября Толстой особое внимание уделил событиям на Балканах. Вот что читаем в одной из газет того времени: «В дальнейшем Лев Николаевич резко отозвался по поводу событий на Балканском полуострове и, в частности, о захвате Австрией Боснии и Герцеговины. „Это какая-то шайка разбойников, — говорит

<sup>24</sup> Там же. Бр.7. С.536.

<sup>25</sup> Это письмо А.Петрович и еще два ее письма, тоже Толстому, а также письмо к ней от 30 октября 1908 года Д.П.Маковицкого впервые на русском были опубликованы в 1965 году (Лит.наследство. М., 1965. Т.75. Кн.1. С.494-502).

он, между прочим, и по адресу Австрии. — Уже создался свой жаргон: аннексия, компенсация и прочее. Мне одна сербка прислала письмо. Спрашивает, как быть дальше. Я сейчас пишу ей ответ. Пусть сербы спокойно занимаются своим трудом. Не надо нового кровопролития».<sup>26</sup> Известны и другие публикации, свидетельствующие о том, какие вопросы в те дни более всего занимали Толстого. Так, в ноябре того же года Д.Анучин о своей встрече с писателем рассказал: «За последнее время Лев Николаевич был занят тремя вещами. Написана была большая статья „Закон насилия и закон любви“, затем „Письмо к сербской женщине“ в ответ одной сербке, спрашивавшей его мнения о последних событиях на Балканском полуострове, и, наконец, продолжалось составление известного „Круга чтения“. Письмо к сербке разрослось в целую статью из нескольких глав. Оно появится в скором времени, — кажется, 6 или 9 декабря, — разом в нескольких иностранных газетах».<sup>27</sup> Здесь также необходимо вспомнить высказывание М.С.Сухотина, который со статьей писателя познакомился тогда же, еще в рукописи. Он в дневнике записал: «Л. Н. пишет ответ какой-то сербке, который мне не нравится по своей бесцельности. Сербка плачет о том, что их окончательно заберут в свои руки и уничтожат их национальность швабы, а Л.Н. в утешение ей доказывает, что не нужно никакой национальности и что одинаково вредно ей, сербке, всякое государство, будь то турецкое, немецкое или сербское».<sup>28</sup>

Во втором письме Толстому, 19 ноября 1908 года, А.Петрович выражает глубокую радость по поводу того, что ее слово услышано: «Меня осчастливил Ваш ответ, а Ваше открытое письмо, которое скоро появится, превзошло все мои ожидания. Успех мой огромен, он превзошел результаты деятельности всех наших дипломатов, ибо я сумела заинтересовать нашим справедливым делом величайшего в мире гения». И в этом письме в трагических образных картинах А.Петрович изображает судьбу сербского народа, в особенности сербских матерей: «Страшны были эти пять веков черной ночи, когда миллионы сербских матерей, охваченные ужасом и отчаянием, были свидетельницами несчастья, которое подстерегало их детей с первых дней жизни, обрекая их на участь рабов азиатских тиранов; небо наше и сейчас еще залито кровью, на наших сердцах и сейчас еще лежит печать истерзанного сербского народа». В заключение она просит Толстого прислать фотокарточку с автографом, «которая бы вечно напоминала мне и моим друзьям о высоком друге сербов, князе Льве Толстом. В знак уважения разрешите мне поцеловать Вашу руку — руку отца всех угнетенных».

Письмо Толстого («Ответ сербке») — пространный трактат в 12 глав «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» — было завершено 5 ноября 1908 года и впервые опубликовано в газете «Голос Москвы» 7 декабря того же года с многочисленными цензурными сокращениями.<sup>29</sup> Вскоре оно было переведено на сербскохорватский Й.Максимовичем и опубликовано в белградской газете.<sup>30</sup> 29 декабря трактат в виде книжки переводчик отправил Толстому.<sup>31</sup> Чрезвычайно важно отметить, что перевод был сделан с экземпляра, присланного Маковицким, где цензурных сокращений не было.

Главы своего трактата Толстой предваряет в качестве эпиграфов высказываниями мыслителей разных народов и эпох либо своими собственными мыслями. О том, какое значение Толстой придавал этому трактату в общей системе проповеди своего этико-философского учения, свидетельствуют его слова: «Мне показалось удобным поместить в виде эпиграфов некоторые мысли из составляемого мной нового „Круга чтения“, уясняющие и подтверждающие основные мысли о государстве и патриотизме, о законе любви, высказанные в этом писании». Трактат начинается так: «Одна сербская женщина обратилась ко мне с вопросом о том, что я думаю о свершившемся на днях присоединении к Австрии Боснии и Герцеговины. Я вкратце отвечал ей, но рад случаю высказать тем, кого это может заинтересовать, насколько я могу ясно и подробно, мои мысли об этом событии. Мысли

<sup>26</sup> Студенты у Л.Н.Толстого // Русское слово. 1908. 31 окт. (13 ноября). Автор корреспонденции не установлен.

<sup>27</sup> Анучин Д. Несколько часов в Ясной Поляне // Русские ведомости. 1908. 27 ноября.

<sup>28</sup> Сухотин М.С. Толстой в последнее десятилетие своей жизни (по записям в дневнике М.С.Сухотина) // Лит.наследство. 1960. Т. 69. Кн. 2. С.208.

<sup>29</sup> Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 37. С.222-242. (далее трактат цит. по этому изданию).

<sup>30</sup> Дневни лист. 14-15 децембар 1908. Одновременно перевод был выпущен отдельно брошюрой (Толстой Л.Н. С присаједињењу Босне и Херцеговине Аустрији. Београд, 1908).

<sup>31</sup> Максимовић Ј. О мојим преводима // Српски књижевни гласник. 1912. Бр.11. С.47.

мои следующие. Австрийское правительство решило... без согласия на то самих народов распоряжаться произведениями труда и жизнями нескольких сот тысяч людей». По мнению Толстого, это попрание национальных прав — одно из обыкновенных, постоянно повторяющихся в истории событий, «одно из тех больших разбойничьих гнезд, называемых великими державами, которые посредством всякого рода обманов, лжи, насилия и всякого рода преступлений против самых первых требований нравственности держат в страхе перед собой, ограбляя их, миллионы и миллионы людей». В таком же стиле Толстой дальше подвергает гневному осуждению все виды преступлений между людьми, народами и государствами. Он с присущей ему прозорливостью предвидит надвигающуюся международную войну: «Признание Австрией босняков и герцеговинцев своими подданными, кроме дипломатических осложнений среди держав, вызвало еще и в среде славянских народов сильное волнение, дошедшее в сербском и черногорском народе даже до желания воевать, т.е. посредством самых преступных для человека поступков: убийства своих и чужих людей, противодействовать неправильно, по их мнению, вредному и опасному для них поступку австрийского правительства». Эти слова Толстого ведут к сути его философии непротавления и к иному пониманию патриотизма по сравнению с тем, как он обычно понимался в России, среди южных славян и многих других народов мира. Толстой проводит четкое различие между понятиями патриотизм у народов и государств, больших и малых. Оглядываясь на минувшие времена, Толстой указывает, что пятьсот лет назад можно было угрожать войнами, а сто или пятьдесят лет назад — говорить об аннексиях, компенсациях и конференциях. Категорически отвергая все виды сопротивления любой агрессии, он с такой же непримиримостью осуждает решимость южных славян выступить на защиту своей земли, чести и имени, что глубоко и больно затронуло священные чувства сербов и черногорцев. «Хорошо было в те времена, — пишет Толстой, — под влиянием воинственного патриотического гипноза, ввергать... сотни тысяч людей в бессмысленное озабоченное людей смертоубийство, как это хотя бы делать теперь одурманенные гипнозом некоторые части сербского народа... Подвиги храбрых Кара-Георгиевичей, которыми так гордятся сербы, имели смысл сотни и сотни лет тому назад. Теперь же такие подвиги не только не нужны, но вредны и даже были бы смешны, если бы не были так ужасно зловредны».

Значение этого трактата поныне в совершенно недостаточной степени оценено литературоведением, тогда как он представляет собой наиболее четкую систематизацию кардинальных философско-этических воззрений великого писателя. Было бы недостаточным объяснять появление трактата только как реакцию Толстого на события на Балканах, как ответ на письмо «некоей сербки». Необходимо установить и некоторые другие его источники. В трактате явно ощущаются также отзвуки произведений поэта, критика и дипломата Йована Дучича (1871-1943), в частности его воззваний на страницах белградской «Политики», получивших самый широкий резонанс в европейской прессе. Напомним, что сентябрьские и октябрьские номера 1908 года этой газеты Толстой получал. Он читал и стихи Дучича в переводе на русский.<sup>32</sup>

Обратимся к первому воззванию Дучича «Београhani, отаубина је у опасности!», страстному патриотическому манифесту, где говорится о роковой минуте, когда сербский народ переживает один из самых критических эпизодов своей истории:<sup>33</sup> «Над сербским народом парит ненасытный хищный ястреб, который стремится раскровянить и вырвать самое нутро его. Австрия грозит силой, по-разбойному отнять у нас Боснию и Герцеговину; ее государственные деятели уже составили план, как разбойный грабеж объявить государственным актом, и ее батальоны уже направились в самое сердце несчастных сербских

<sup>32</sup> В 1908 году вышел в переводах С.Штейна сборник «Славянские поэты», где были представлены стихи Й.Й.Змая, В.Илича, Н.Петровича Негоша, Й.Дучича и других. В 1907-1908 годах Дучич опубликовал ряд патриотических стихотворений, а также очерков о Боснии и Герцеговине в журнале «Босанска вила» (Сараево). Этот журнал получал Толстой, здесь было напечатано несколько его рассказов, а также три статьи о нем.

<sup>33</sup> Дучич еще 23 сентября 1908 года из дипломатических источников узнал, что самое большее через день-два будет объявлено об аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Об этом он позднее, в 1924 году, рассказал: «В Европе тогда никто еще не знал, что Босния — сербская и что в 1875 г. Сербия объявила Турции войну за эту сербскую Боснию». Его воззвание имело целью не только привести в движение массы южных славян, но и вызвать протесты по всей Европе: «“Политика” вышла экстренным номером после обеда, и сразу многолюдные толпы вышли на улицы... Европа в один миг увидела, что вопрос Боснии — жизненная проблема Сербии... Это большая страница из истории “Политики”» (Дучић Ј. Сабрана дјела. Сарајево, 1969. Књ. 6. С.429-430).

земель». Дучич здесь призывает весь народ к решительному отпору, вспоминая подвиги славных предков, ибо «под угрозой свобода сербского народа ... Наше промедление в эту минуту прокляти бы наши внуки и правнуки, а на наши могилы легло бы проклятие бесчестных поколений».<sup>34</sup>

В это же время в статье «Славяне и Босния» Дучич, подобно Толстому, осудил бездействие и «лицемерные клятвы» панславистов; упоминая их съезды в Праге и Любляне (летом 1908 года), он вскрыл их политическую близорукость; план их «вертелся вокруг всеславянских банкирских учреждений, всеславянских библиотек, газет на каком-то межславянском языке, вокруг открытия славянских телеграфных агентств... Никому из них даже в голову не пришло поднять вопрос о том, что делать, если Австрия попытается обычным своим подлым способом захватить две новые славянские земли». В австрийской аннексии Дучич видел опасность не только для семьи славянских народов, но и для большей части Европы в целом. Он не прощает панславистам их мягкотелости, расплывчатости, разобщенности: «Сербия в эти дни будет стоять не только как вооруженный противник Австрии и германизма, но и как отчаянный противник той великой славянской лжи, которой мы все до сих пор жили и которая нас однажды потрясла неожиданностью Сан-Стефанского договора, а сейчас поражает нас унижительным рабским преклонением правительства России перед боснийской катастрофой... Вот результат жалкого панславизма, того мертворожденного и алкогольного панславизма так называемых съездов». Позиции панславистов Дучич с гордостью противопоставляет решимость сербского народа, который в эти дни «покажет силу славянского сердца длиною своего сербского меча».<sup>35</sup>

Для нас нет никакого сомнения в том, что воззвания Дучича были Толстому хорошо известны. В это время южные славяне, ожидавшие поддержки со стороны российской общественности, услышали голос Толстого, призывавшего к решению сложнейшей трагической проблемы совершенно иными методами. Призыв «великого брата с Востока» явно противоречил многовековым боевым традициям, исконным клятвам национального возмездия. Воинственная отвага сербов и черногорцев, их понимание патриотизма оказались для Толстого неприемлемыми. У него был незыблемый принцип относительно не только славян, но и всех народов земли — непротивление злу насилем: «Народам над которыми совершается грубое насилие, как то, которое совершается теперь над славянскими народами, нужен не счет штыков и батарей... нужно сознание людьми своего человеческого, равного для всех людей достоинства». Опираясь на мысли Конфуция, Лао-Цзы, древнееврейских пророков, Сократа, Будды и Рамакришны, стоиков Эпиктета и Марка Аврелия, а также на проповеди Христа, Толстой видел спасение только во всепрощении; он создал свое универсальное учение о любви, не допускающее нигде и никогда никакого насилия.

В сущности, трактат Толстого — это пацифистский манифест, призывавший южных славян не противиться австро-венгерскому насилию. Каждому сербу, не только в Боснии и Герцеговине, было ясно, что трактат русского писателя, пусть и преисполненный глубочайшего гуманизма, не остановит насильника; в тех конкретных исторических условиях его могло остановить лишь всенародное сопротивление. Поэтому не только публицистика, но и все виды искусства сербов, черногорцев, хорватов были в те дни ярким воплощением этики косовских юнаков и Карагеоргия, Негошевой идеи борьбы против тирании.<sup>36</sup>

Как восприняла трактат Толстого сама А.Петровиц? Об этом красноречиво свидетельствует ее письмо Толстому от 20 декабря 1908 года, где читаем: «Основной христианский принцип — любви ближнего и любви человечество — символ христианских устремлений, понятие человеческой правды и личной независимости приняла ныне иные формы, искажение благородных идей самого Христа получило санкцию власти... Ваш ответ пробудил во мне

<sup>34</sup> Дучич Ј. Отаџбина је у опасности! // Политика. 23 септембар 1908

<sup>35</sup> Дучич Ј. Словени и Босна // Политика. 3 октобар 1908.

<sup>36</sup> Наиболее внушительным, мощным протестом против аннексии Боснии и Герцеговины явились скульптуры гениального И.Мештровича, которые словно бы воскресили косовских героев и других выдающихся борцов разных времен против иноземных захватчиков. По логике художественной закономерности скульптуры Мештровича озаменовали преемственность национального духа сопротивления, торжество возмездия и героизма над любым произволом. В то же время учение Толстого о непротавлении Мештрович воспринимал в духе философии древних индусов, а это означало, что любовь к человеку везде и всегда должна носить действенный характер. В призывах Мештровича, даже самых воинственных, мобилизовавших народ на сопротивление, неизменно звучали его заветные слова о необходимости общечеловеческой гармонии, что глубоко роднит его с Толстым.

благородные мечты о правде и любви, но чтобы воспринять милосердие и благородство великого учителя, я должна была бы забыть, что я сербка, забыть о тех несчастьях, среди которых живет сербский народ». Здесь нельзя не почувствовать притаенное чувство горечи, ибо не оправдались ее высокие надежды на то, что слово Толстого окажется созвучно чаяниям сербского народа; но она сразу осознала всемирное значение призыва Толстого, была ему глубоко благодарна и до конца жизни преклонялась перед его гением.

Кто же была «некая сербка», «сербская женщина», обратившаяся к Толстому?<sup>37</sup> Это до сих пор оставалось в сущности неизвестным русскому литературоведению. Анджа Петрович (1891-1914) — талантливая писательница из высококультурной семьи, без которой невозможно себе представить важный этап в развитии сербской культуры. Она — тринадцатый ребенок Миты Петровича (1852-1911), известного ученого, собравшего несколько десятков тысяч документов по истории сербского народа и государства на протяжении восьми веков. Он выпустил в свет два обширных собрания материалов о сербских восстаниях 1804 и 1815 годов. Во втором письме Толстому (от 19 ноября) Анджа пишет, в частности, о своем отце: «Беру на себя смелость отправить Вам историческое сочинение моего отца Миты Петровича, которое познакомит Вас с возрождением моего маленького отечества — Сербии, т.е. новейшей историей сербского народа, организацией различных учреждений, развитием финансов и экономики нашей родины, которое отец написал на основании собранных им подлинных документов за период от 1804 до 1849 г.<sup>38</sup> Это сочинение должно состоять из еще девяти таких выпусков, в которых будет представлен весь исторический материал. Они вскоре поступят в печать. Я посылаю лишь первый выпуск, желая, насколько возможно, ознакомить Ваше сиятельство с нашей историей». Здесь же она освещает свою помощь отцу в его трудах, причем ей была доверена обработка материалов по истории сербских женщин, «их участия в нашей новой истории XIX столетия — письма, связанные с политической и общественной жизнью Сербии... И когда это напечатаю, буду счастлива послать Вашему сиятельству. Конечно, семнадцатилетняя девушка не в состоянии создать бессмертные произведения... Но я буду удовлетворена, если сделаю хоть немного для сербского народа, воскрешая память о наших славных матерях, не раз жертвовавших собой во имя своей веры и народа».

Многогранными были связи семьи Петрович с демократическими идеями, с традициями славянской общности. Мать Анджи, Милева Петрович, была учительницей; она — племянница знаменитого сербского ученого и публициста Светозара Милетича.<sup>39</sup> Лучшие нравственные, гуманистические и демократические черты предков унаследовала Анджа, а также ее брат Растко и сестры Надежда и Вера. Надежда — выдающаяся художница, Растко — один из крупнейших сербских поэтов XX века, а Вера — известный историк и теоретик искусства. О самой Андже, прежде всего о ее таланте, немного стало известным даже ее современникам. Ее жизнь, кровно связанная с литературой, оборвалась на 24-м году. Не только ее письма Толстому, Маковицкому, Мештровичу и другим видным деятелям из числа южных славян, но и литературные наброски, записи, опубликованные ею в двадцатилетнем возрасте, свидетельствуют, что она была человеком высокоодаренным. Необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что Анджа олицетворяла живой контакт между Толстым и крупнейшими сербскими писателями той эпохи.

Дом М. Петровича в центре Белграда по праву считался своеобразным клубом, где часто собирались многие представители южнославянских культур.<sup>40</sup> Сюда приходили выдающиеся поэты, прозаики и критики. Бывал здесь Мештрович, создавший изумительный по

<sup>37</sup> Даже в юбилейном издании сочинений Толстого имя сербской корреспондентки подано неверно — Анна Петербутева (Т.37. С.439).

<sup>38</sup> *Петровић М.* Финансије и установе Србије до 1842 г. Београд, 1901. Рукою автора на первой странице посвящение: «Великому философу и ученому его светлости князю Льву Николаевичу Толстому в знак глубочайшего почтения. Мита Петровић. 18 ноября 1908 г. в Белграде».

<sup>39</sup> С.Милетич (1826-1901) — выдающийся деятель национально-освободительного и демократического движения южнославянских народов в борьбе против османских и австро-венгерских поработителей. Он выступал организатором вооруженного сопротивления, выдвигал идею конфедерации свободных Балканских государств, основал газету «Застава», которая активно популяризировала русскую литературу; здесь он опубликовал серию статей в защиту Парижской коммуны, пропагандировал учение русских революционных демократов. Он был ближайшим другом И.И.Змая, которого с полным основанием называют певцом идей Милетича.

<sup>40</sup> Сегодня это художественный музей имени Надежды Петровић, где собрано большинство ее живописных полотен.

своей эмоциональной выразительности скульптурный портрет Анджи (1909).<sup>41</sup> В его воспоминаниях находим теплые страницы о семье Петрович.

Трактат Толстого «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии», неразрывно связанный с именем Анджи Петрович, получил огромный резонанс во всем мире. Существует точка зрения, что призывы Толстого к сербам и черногорцам не сопотгивляться во многом затормозили критическое освещение его творчества на южнославянских землях в целом и что воздействие его романов на южных славян ослабло. Суммируя взгляды многих южнославянских критиков, Й.Бадалич заключал, что сербы «не могли согласиться с пацифистской позицией Толстого, когда он советовал им не противиться австро-венгерскому господству насилем, т.е. войной. Поэтому сербы считали его наивным философом, который не вовремя дает неподходящие советы».<sup>42</sup> Излишнюю категоричность в неприятии Толстого встречаем у Д.Николаевича и критика-социалиста Н.Продановича. Хорват А.Тресич-Павичич еще в 1896 году высказался против толстовского принципа непротгивления злу насилем: «Пусть придет на нашу несчастную родину великий Толстой, пусть увидит, вправе ли мы, верные сыны бывшей Хорватской отчины, видя, что с нею происходит, ждть, скрестив руки на груди, когда любовь спасет ее. Пусть он увидит, смеем ли мы, во имя возвышенной космополитической любви, дать погибнуть нескольким миллионам хорватов».<sup>43</sup> Однако для большинства южнославянских критиков Толстой и после 1908 года оставался величайшим мировым гением, без чьих произведений невозможно представить общечеловеческую культуру. Это полностью подтверждается высказываниями Й.Дучича, В.Петровича и И.Секулич. Дучич и многие активные борцы против австро-венгерского ига понимали всю глубину гуманизма Толстого, но не принимали пассивности его теории.

Говоря о великих поэтах, ставших пророками своих наций, чьи произведения всегда стояли в центре национальной художественной жизни и впитали в себя весь «свет народа» с исконных времен, Дучич называет Шекспира среди англичан и Шиллера среди немцев. «А в наши дни, — утверждал он, — величайшие пророческие фигуры среди поэтов это Достоевский и Толстой со своей евангельской гуманностью».<sup>44</sup>

Современник и друг Дучича Велько Петрович, один из крупнейших прозаиков, критиков и поэтов, считал, что до появления Толстого древние величественные сооружения — микенские циклопические бастионы, древнеегипетские пирамиды и сфинксы, во многом «Рамаяна» и «Махабхарата» — оставались загадкой. Говоря о трактатах Толстого, Петрович не обособлял их от высокого искусства и утверждал, что Толстой часто, даже вопреки своей воле, был художником, поэтом и тогда, когда специально брал на себя роль апостола и реформатора веры: «Он — мыслитель — совершал все возможные насилия над собой — поэтом, — и напрасно. Ибо то, что он всегда был и оставался поэтом, лучше всего видно по тому, что его мысль никогда не была ни доктринерской, ни абстрактной. Он воспринимал жизнь так, словно имел стократ умноженные органы чувств».<sup>45</sup>

В литературоведении зачастую проводится неправомерное разграничение Толстого — художника слова и философа-проповедника. Такое разграничение не характерно для крупнейших сербских поэтов и критиков. И.Секулич не только углублялась в гигантский художественный мир Толстого и его философию, но также искала символ и разгадку его ухода из искусства и из дома: «Другие народы пусть как хотят, славяне же не смеют отрицать Толстого, который „ушел“, расстался с искусством после того, как завершил художественное задание. В славянах живет метафизическое беспокойство: проблематика без конца и края, с вечным стремлением к другой стороне. Достоевский был полным воплощением этой славянской сущности. Толстой — ее тягостный и величественный процесс. Свои художественные произведения Толстой расположил как знаки вдоль пути, которому нет конца, распределил их как точки на переходах в дальний уход».<sup>46</sup>

<sup>41</sup> Напомним, что девятнадцатилетний Мештрович в 1902 году изваял бюст Толстого — одно из лучших скульптурных изображений писателя.

<sup>42</sup> Badalić J. Op. cit. S.274.

<sup>43</sup> Об этом см.: *Flaker A. Lav Tolstoj i aneksija // Republika. 1960. Br. 11—12. S.19.*

<sup>44</sup> *Дучић Ј. Сабрана дјела. Књ. 3. С.351-352.*

<sup>45</sup> *Петровић В. Сабрана дјела. Београд, 1955. Књ.6. С.549—551, 555—556.*

<sup>46</sup> *Секулић И. Сабрана дела. Нови Сад, 1962. Књ. 7. С.382.*

В. А. Кошелев

## ГУМИЛЕВ И «СЕВЕРЯНИНЩИНА». ДВЕ «МАСКИ»

Первоначальное априорное сопоставление фигур Николая Гумилева и Игоря-Северянина кажется вполне однозначным: это безусловные антагонисты. Один — героический «конквистадор в панцире железном», отважный путешественник и храбрый военный; другой — «ваш нежный, ваш единственный» поклонник «ананасов в шампанском», способный путешествовать «из Москвы — в Нагасаки», как и «из Нью-Йорка — на Марс», разве что «в грезях»... Один — аристократ и подлинный знаток изысканной культуры; другой — полуобразованный «оскандаленный герой», символ литературного мешанства, взявшегося «популярить изыски»... Один — признанный глава «акмеизма» (термин этот самим Гумилевым переводится не иначе как «высшая степень чего-либо»), руководитель весьма продуктивного «Цеха поэтов»; другой — сам себе «гений, Игорь-Северянин» и сам себе «Цех», сумевший за три года (1913-1916) издать огромным по тому времени тиражом шесть объемистых стихотворных книг... Один в 1918 году вернулся из-за границы в Россию и три года спустя был расстрелян за участие в заговоре, к которому не принадлежал и которого не было; другой в 1918 году выехал из России за границу, а 22 года спустя все последние усилия таланта употребил на то, чтобы Советской власти понравиться...

Подобные антиномии можно продолжать, но можно, не менее успешно, отыскивать и сближающие черты житейских и творческих обликов обоих поэтов. Гумилев и Северянин — ровесники (последний — на год моложе), детство обоих связано с Петербургом и его пригородами, а также с родовыми именными (у Гумилева в Тверской, у Северянина в Новгородской губернии). Писать и публиковать стихи стали почти одновременно; начало активной поэтической работы их связано опять-таки с петербургскими окрестностями (у Гумилева с Царским Селом, у Северянина с Гатчиной). Обоих в свое время «приветил» Валерий Брюсов: Гумилева в ноябре 1905 года, Северянина в октябре 1911 года, и дальнейшее развитие поэтов шло в тесной связи с ним: вначале под влиянием мэтра, в подражании ему, а затем в несогласии с ним и разединении. Оба поэта, наконец, благоговейно относились к версификации, придавая огромное значение форме стиха, стихосложению, словесным неожиданностям (в этом отношении оба преуспели больше, чем остальные поэты-современники)...

Число подобных соответствий (как и число подобных антиномий) можно увеличивать, но в сущности ни те ни другие не становятся значимыми для уяснения характера взаимоотношений обоих поэтов: эти взаимоотношения выстраивались на каком-то ином, не «типологическом», уровне.

Собственно, прямых контактов между Гумилевым и Северянином не было, исключая разве что эпизод, относящийся к осени 1912 года и отразившийся в двух стихотворениях Северянина. Первое из них — стихотворение «Слава», написанное в январе 1918 года, накануне избрания Северянина «королем поэтов»:

Мильоны женских поцелуев —  
Ничто пред почестью богам:  
И целовал мне руки Клюев,  
И падал Фофанов к ногам!

Мне первым написал Валерий,  
Спросил, как нравится мне он;  
И Гумилев стоял у двери,  
Заманивая в «Аполлон»...

Гумилеву не довелось видеть этого стихотворения (оно было опубликовано в 1923 году в Берлине, в составе сборника «Соловей»), но если б довелось, он бы непременно разозлился. Тем более что в этом хвастливом перечислении — все правда: и в том, что касается Клюева, Фофанова, Брюсова, и в том, что касается Гумилева. Р.Д.Тименчик опубликовал письмо Северянина к Гумилеву от 20 ноября 1912 года, из которого вполне разъясняется ситуация «стояния у двери»: «Дорогой Николай Степанович, только третьего дня я встал с постели, перенеся в ней инфлуэнцу. Недели две я буду безвыходно дома. Я очень сожалею,

что не мог принять Вас, когда Вы, — это так любезно с Вашей стороны, — меня посетили: болезнь из передающихся и полусознание...»<sup>1</sup>

Ситуация, как видим, для Гумилева весьма обидная: поди узнай, была ли «инфлуэнца», нет ли... Пикантность ее усиливалась тем, что Гумилев «заманивал» Северянина не в «Аполлон», а в «Цех поэтов». Инициатором этого «заманивания» выступил Г.В.Иванов, незадолго перед тем перешедший из группы эгофутуристов в «Цех поэтов» (вместе с Грааль-Арельским; Северянин не преминул тут же заклеить «предателей» в стихах: «Бежали двое в тлен болот...»). Позже Г.Иванов заметил (в мемуарной книге «Петербургские зимы»): «Но лично с Северяниным мне было жалко расставаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в Цех, что, конечно, было нелепостью».<sup>2</sup> Эта «нелепость» дала возможность Северянину впоследствии многократно поиздеваться и в стихах («Уж возникает „Цех поэтов“ / Куда бездари, как не в цех!...» — поэма «Рояль Леандра»), и в газетных интервью: «Вводить же меня, самостоятельного и независимого, властного и непреклонного, в Цех, где коверкались жалкие посредности, согласен, было действительно нелепостью, и приглашение меня в Цех Гумилева положительно оскорбило меня. Гумилев был большим поэтом, но ничто не давало ему право брать меня к себе в ученики».<sup>3</sup> Ответный «визит» Северянина описан им десятилетием спустя в стихотворении с символическим заглавием «Перед войной»:

Я Гумилеву отдавал визит,  
Когда он жил с Ахматовою в Царском,  
В большом прохладном тихом доме барском,  
Хранившем свой патриархальный быт...

Обстоятельства этого, на сей раз состоявшегося, визита неясны; поэтические формулировки Северянина крайне туманны: «И долго он, душою конквистадор, / Мне говорил, о чем сказать отрада. / Ахматова устала у стола...» Но далее отношения двух поэтов никак не продолжились, да и не могли продолжиться: любое развитие подобного рода связей предполагает появление некоей зависимости одной творческой индивидуальности от другой, что применительно к Гумилеву и Северянину, конечно же, «было нелепостью»...

«Нелепость» попытки сближения состояла еще и в том, что целостный комплекс творческих взаимоотношений двух оригинальных поэтов не мог не осложняться наличием у каждого из них своеобразных и прихотливых литературных «масок». Тот же Г.Иванов приводит в воспоминаниях фразу А.Блока, характеризующего собственную поэзию: «Я делаю то же самое, что делает Гумилев, только без его сознания правоты своего дела».<sup>4</sup> Это сознание «правоты своего дела» было специфическим свойством именно Гумилева и Северянина — и, пожалуй, никого более из поэтов их времени. Именно оно и определило изначальные контуры отношений.

Первое упоминание о Северянине в «Письмах о русской поэзии» Гумилева относится к середине 1910 года и весьма недвусмысленно отражает изначальное неприятие литературной «маски» своего антагониста: «Ведь еще так недавно Лев Толстой, прочтя в брошюрке Игоря Северянина строки „Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки“, с горечью удивлялся, до чего дошла русская поэзия, как будто поэзия сколько-нибудь ответственна за невозможные выходы литературных самозванцев» (с.95). Первое условие подобной бескомпромиссной позиции — сознание «правоты своего дела», сознание, при котором уже непременно носитель иной «правоты» должен представлять не иначе как «литературным самозванцем».

Гумилев имеет в виду эпизод, происшедший 12 января 1910 года, когда Л.Н.Толстой, процитировав эти строки (из стихотворения И.Северянина «Хабанера II» из брошюры «Интуитивные краски. Немного стихов»), заметил: «Чем занимаются!... Это литература!... Крутом виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них — упругость пробки!»<sup>5</sup>. Самое замечательное в этом эпизоде было то, что именно с потока

<sup>1</sup> Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С.324—325. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

<sup>2</sup> Иванов Г.В. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С.296.

<sup>3</sup> За свободу, Варшава, 1927. 3 мая; опубл.: Гумилев Н.С. Письма... С.325.

<sup>4</sup> Иванов Г.В. Указ.соч. С.403.

<sup>5</sup> Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л.Н.Толстого. 1891—1910. М., 1960. С.738.

возмущения по поводу явно иронической «Хабанеры II», высказанного Толстым, началась всероссийская известность поэта, который начиная с 1904 года тщетно пытался «пробиться» в большую литературу. Сам Северянин не без иронии писал об этом в мемуарном отрывке «Образцовые основы»: «...всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну!... С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них, — в вечерах, а может быть, и в благотворителях, — участие ...»<sup>6</sup>. Этот же эпизод — немедленно — стал достоянием северянинской поэзии:

Моя вторая «Хабанера»  
Взорвалась, точно динамит.  
Мне отдалась сама Венера,  
И я всемирно знаменит!...

Здесь — то же ощущение «литературного самозванца», но уже со знаком «плюс». Более того: отзыв Толстого, невольно прославивший Северянина, определил и его литературную «маску». В брошюре, попавшей в руки Толстого, помимо «второй “Хабанеры”» содержалось еще 15 стихотворений, вовсе на нее не похожих. В начале своего творческого пути Северянин пробовал писать и стихи патриотического толка, и сатиру, и подражания Некрасову, и «маленькие поэмы» в духе Апухтина. Но маска «экстазного эстета-«геня», призванного эпатировать публику «ананасами в шампанском», «дежурными адъютантессами», «фиолевым трансом» и т.п., навсегда определила его поэтическое «место» (хотя, между прочим, такого рода стихи составляют очень небольшую и явно не основную часть его обширного творческого наследия).

Ведь, собственно, и Гумилев начал с создания «маски» подобного типа — «маски», которая была вполне осознана тем же Северянином:

Уж первый номер «Аполлона»,  
Темнящий золото руна,  
Выходит в свет, и с небосклона  
Комета новая видна:  
То «Капитаны» Гумилева,  
Где лишнего не видно слова,  
И вот к числу звучащих слов  
Плюссируется: Гумилев.

Это — позднейшее осознание «литературного выдвиг» Гумилева, зафиксированное в поэме Северянина «Роль Леандра» (1925). Поэтическая «маска» Гумилева не без оснований связывается со знаменитыми «Капитанами» (появившимися в первом номере «Аполлона») — маска «флибустьера» и «открывателя новых земель», в «высоких ботфорах» и «брабантских манжетах», маска непременно «предводителя», волевого, точного и дерзостного в своих поисках. Эта же «маска» становится определяющей и при восприятии гумилевской лирики. В стихотворении «Пять поэтов» (1918) Северянин отдает предпочтение Гумилеву перед В.Ивановым, А.Белым, И.Бунинным и М.Кузминым именно из-за этой маски «капитана» на поэтическом корабле:

Нет живописней Гумилева:  
В лесу тропическом костер!  
Благоговейно любит слово.  
Он повелительно-остер.

«Повелительная» маска Гумилева оказывалась и выигрышнее, и симпатичнее, и притягательнее того уровня «сноба скверного пошпа» (с. 195), каким он сам выглядел в восприятии «капитана». Однако Северянин вполне сознательно отказался от вступления в «гумилевское» объединение: оно грозило утратой «маски», с таким трудом обретенной. Именно благодаря ее наличию Северянин оказался наконец признан и в кругу поэтов: Брюсов посвятил ему два стихотворения, в их числе сонет-акrostих «И ты стремишься ввысь, где солнце вечно...»

<sup>6</sup> Из рукописной книги И.Северянина «Уснувшие весны»: ЦГАЛИ. Ф.1152. Оп. 1. Ед.хр.13. Л.117.

(Северянин тут же откликнулся своим сонетом-акrostихом «Великого приветствует великий...»); Сологуб представил молодого поэта петербургскому литературному миру и написал восторженное предисловие к сборнику «Громокипящий кубок»... Гумилева это обстоятельство несколько задело, и он написал, для внутреннего литературного пользования, свой сонет-акrostих под названием «Брюсов и Сологуб»:

Беда пришла для символизма: Брюсов  
 Решил: теперь мне Северянин люб.  
 Юдоль печали Федор Сологуб  
 Сказал: и я не из породы трусов.  
 Однако столько ж минусов, как плюсов  
 В афере этой; с молоком у губ  
 Игорь Васильич был совсем не глуп,  
 Сбежал от них и остальных турусов.  
 Орлы над бездной, где же польньи (?)  
 Любимая, что, ласково маня,  
 Открыл под вами Игорь Северянин?  
 Грозит вам бездна, имя ей просак.  
 Уж Вам друзья Олимпов и Пруссак.  
 Был символизм и весь (?) от сердца ранен.<sup>7</sup>

Но и в этом экспромте Гумилев «остерегает» вождей символизма не столько от увлечения Северянином, сколько от уровня поэтических изысков «северянинщины», явно выраженной в стихах К.Олишова («сын Фофанова, явно сумасшедший, но не совсем бездарный мальчик лет шестнадцати»<sup>8</sup>) и «вполне бесталанного» В.Пруссак. К Северянину же, обладателю «маски», сознающему «правоту своего дела», Гумилев уже не может относиться сколь-либо снисходительно. Он никак не хочет целиком принять этого «литературного самозванца» — и вместе с тем не способен его не замечать или третировать. Отзывы его о Северянине в «Письмах...» оказываются весьма примечательны по тональности.

Вот отзыв, относящийся к весне 1911 года (Северянин-поэт уже широко и скандально известен, но еще не признан «мэтрами»). «Из всех дерзающих, книги которых лежат теперь передо мной, — начинает Гумилев, — интереснее всех, пожалуй, Игорь Северянин: он больше всех дерзает» (с. 118). И тут же спохватывается: «Конечно, девять десятых его творчества нельзя воспринять иначе как желание скандала или как ни с чем не сравнимую жалкую наивность». Приведя несколько «пародических» примеров, Гумилев, однако, опять спохватывается и заявляет: «Но зато стих его свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и радующе неожиданны, у него уже есть свой поэтический облик». В качестве примера этого «облика» Гумилев полностью и с явным сочувствием приводит одно из самых «жеманных» северянинских стихотворений «Юг на севере» и, наконец, отказывается от всякой критической оценки: «Трудно, да и не хочется, судить теперь о том, хорошо это или плохо, это ново — спасибо и за то» (с. 118).

Пожалуй, лишь в отношении к Северянину Гумилев уклонился от обычной своей жесткой и «повелительной» оценки (хорошо — плохо). Маска «северянинщины» ему явно чужда — и в то же время он ощущает глубочайшее уважение к ее носителю. Эта двойственность еще более проявляется в гумилевской оценке «Громокипящего кубка».

«Книга действительно в высшей степени характерна, прямо культурное событие», — начинает Гумилев (с.170). И на сей раз уже не спохватывается, а подкрепляет это свое наблюдение анализом той читательской массы, которая поддерживает популярность северянинского «примитива»: «Уже давно русское общество разбилось на людей книги и людей газеты, не имевших между собой почти никаких точек соприкосновения» (с.170). Это «литературное» раздвоение общества есть не что иное, как отражение социального раздвоения интеллигенции, появления в ней активного мещанского слоя. Игорь-Северянин — первый подлинный поэт («зоношески-звонкий и могучий голос»), изъясняющийся «на волапоке людей газеты». И в этом смысле появление большой книги его стихов, впервые детально представившей его «маску», — действительно большое поэтическое событие: «Что он поэт — показывает богатство его ритмов, обилие образов, устойчивость композиции, свои, и остро пережитые, темы. Нов он тем, что первый из всех поэтов он настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности» (с.171).

<sup>7</sup> Опубликовано Р.Д.Тименчиком: *Гумилев Н.С. Письма... С.324.*

<sup>8</sup> *Иванов Г.В. Указ. соч. С.294.*

Гумилев сам намечает противопоставление собственного поэтического «я» — «я» северянинскому. Он сам — носитель лирического облика «человека книги», доведенного до *plus ultra*: «Первые жили в мире тысячелетних образов и идей, говорили мало, зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею, любили, как Данте, умирали, как Сократы...» (с. 170—171). Северянин же — наиболее явственное и значимое выражение «человека газеты»: «Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной, пользовались только готовыми фразами или какими-то интимными словечками, слушая которые каждый непосвященный испытывал определенное чувство неловкости» (с.171). Отношения между «людьми книги» и «людьми газеты» (и, соответственно, между «масками» Гумилева и Северянина) «были те же, как между римлянами и германцами накануне великого переселения народов».

А что дальше? Вот это-то и пугает Гумилева: что дальше?... Он прекрасно осознает, что в мировосприятии «людей газеты» сдвинуты самые устойчивые представления «людей книги», что для них совершенно естественно «Державиным стал Пушкин» и появился «гений Игорь-Северянин», «Гете славен не сам по себе, а благодаря... Амбруазу Тома», «Козьма Прутков нисколько не комичен», а поэт, славящий «рейхстаг и Бастилию, кокотку и схимника, порывность и сон», — также естественен... (с.171). «Для того-то и основан вселенский эгофутуризм, чтобы расширить границы искусства» (с.172).

Между тем в самой программе северянинского эгофутуризма не было ничего необычного для Гумилева. «Лозунгами моего эгофутуризма были, — констатировал позже Северянин, — 1. Душа — единственная истина. 2. Самоутверждение личности. 3. Поиски нового без отвержения старого. 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со „стереотипами“ и „заставками“. 7. Разнообразие метров.»<sup>9</sup> Все эти «лозунги» использовались в литературной борьбе и до эгофутуризма — и сам Гумилев мог бы подписаться под каждым из них! Если исходить из традиционных поэтических критериев, сформировавшихся в начале XX века, то творческий облик Северянина можно бы связать и с предсимволизмом, и с подновленным декадентством 90-х годов, и с младосимволистами, и с акмеистами...<sup>10</sup> При этом Северянин вовсе не был «гением подражательности» (как назвал его А.Амфитеатров) — он, с его игровым талантом, очень легко воспринял и трансформировал в собственной поэзии самые серьезные, выстраданные темы русского символизма и постсимволизма. То, что было достоянием немногих избранных из «щеха», стало достоянием всех: «Пора популяризировать изыски...»

Именно это и пугает Гумилева. Ведь от «людей газеты», поскольку они наконец-то полным голосом заявили о себе и доказали свое право на «искренность до вульгарности», никуда не денешься: «Повторяю: все это очень серьезно. Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своею талантливостью и ужасных своею небрежливостью... Единственная, хотя и слабая, надежда выражена в финале обширного рассуждения: «Только будущее покажет, “германцы” ли это или... гунны, от которых не останется и следа» (с.172). Но надежда, по правде говоря, очень слабая: «германцы» ли, «гунны» ли, но их явление — это преддверие краха «римской» культуры...

Гумилев был единственным из многочисленных критиков и рецензентов начала века, обращавшихся к поэзии Северянина,<sup>11</sup> кто уловил ту естественную опасность, которая исходила от новой, «самозванной» литературной «маски». Страшен не Северянин сам по себе, не его — индивидуальное — нахальство, безвкушие, манерность и т.п. Явление его — обретшего голос «человека газеты» — это преддверие грядущего разрушения той культуры, одним из «капитанов» которой Гумилев ощущал себя. Нет, не Северянин совершит новый культурный переворот — он просто наиболее наглядно демонстрирует возможность его совершения.

Гумилев ощутил это в конце 1913-го—начале 1914 года и с этого времени уже никогда специально не откликнулся ни на один из новых поэтических сборников Северянина, почти

<sup>9</sup> Из мемуарного фрагмента «Беспечно путь свершая»: Встречи с прошлым. Сб. материалов ЦГАЛИ СССР. М., 1982. Вып.4. С.131.

<sup>10</sup> См. об этом: *Салогов В.А.* Игорь-Северянин в истории русской культуры начала века // Культура Русского Севера. Традиции и современность. Материалы к конференции. Череповец, 1990. С.68—71.

<sup>11</sup> См.: Критика о творчестве Игоря Северянина. М., 1916.

не упоминал о нем в «Письмах о русской поэзии». Полемицировать с ним или осмеивать было вполне бессмысленным занятием — оставалось лишь совершенствовать, оттачивать собственную поэтическую «маску». Дабы было что противопоставить пугающему грядущему. Впрочем, этим не занимался и Северянин...

## ПЕРЕПИСКА Л.И. ШЕСТОВА С А.М. РЕМИЗОВЫМ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И ПРИМЕЧАНИЯ  
И.Ф. ДАНИЛОВОЙ И А.А. ДАНИЛЕВСКОГО)

(Продолжение) \*

96

Был Нувель,<sup>1</sup> из Парижа, спрашивал я о тебе. Ничего не знает. «А когда-то встречал, говорит, в Мире Искусства»,<sup>2</sup> ничего не знаю»  
Приезжал Шрейбер<sup>3</sup> (возведен в кавалеры ордена Святого Станислава I степени) и уехал. И Лундберг<sup>4</sup> уехал.

На вечере у Когана<sup>5</sup> встретил Л.А.Сева<sup>6</sup> — помнишь, шли мы втроём (сначала ехали), и Д.А.Леви<sup>7</sup> был, помнишь, птица ему на шляпу и с...нула, на Екатерининско<sup>8</sup>(?)  
Обещал зайти к нам и уехал.

Да и мудро было зайти

6 хозяек переменяли

Rones  
Grohmann  
Schnabel (Zabel)  
Döllen  
Pfeifer  
Delion

ищи — свищи!

не можем никак устроиться<sup>8</sup>

Приезжай обязательно.

Семена Владимировича<sup>9</sup> встретишь, кланяйся ему

По-немецки учусь: Besetzt, Augenblick, Fertig<sup>10</sup>

почему-то навеки запомнилось

старуха хозяйка из уборной отвечала

Свету очень мало (комната газовая), а керосиновая лампа без шишечки.

Пишу НОСОМ, как клюю.

Хочется мне тебя послушать. Столько лет не слышал

Карточку твою Яков<sup>11</sup> С<sup>11</sup>амойлович показывал в кофейной. Приедешь, старину вспомним, малаги выпьем

(тут есть один знакомый Соломон,<sup>12</sup>  
он в Weinstub'ax<sup>13</sup> свой человек)

В Россию тянет. Знаю, невозможно, пока. Стану заниматься, вот только бы лампу поменять. Очень мне тут всех жалко. Все, как нищие без надежды поправиться, а вид делают д<sup>14</sup>руг перед д<sup>14</sup>ругом, что ничего и нагишом ничего — —

Кланяюсь Анне Елеазаровне<sup>14</sup>  
и Тане и Наташе<sup>14</sup>

Алексей Ремизов

Charlottenburg 1  
Kirchst<sup>15</sup>rasse<sup>2II</sup>  
bei Delion  
Alexej Remisow

Серафима Павловна<sup>15</sup>  
всем  
кланяется

\* Начало см.: Русская литература. 1992. № 2. С.133—169; № 3. С.158—197; № 4. С.92—133.

В правом верхнем углу письма пометы рукой другого лица: «Льву Исааковичу Шестову», и ниже: «[ноябрь? 1921]». По содержанию письмо может быть датировано второй половиной октября—ноябром 1921 года, учитывая то обстоятельство, что Ремизовы прибыли в Берлин 21 сентября (4 октября) 1921 года и поселились по адресу: Charlottenburg 1—Berlin, Kirchstrasse 2<sup>II</sup>, bei Delion между 5 и 18 октября 1921 года (см.: *Ремизов А.М.* Письма (36) Сергею Яковлевичу Осипову. [1913—1923] // ИРЛИ. Ф.256. Оп.3. Ед.хр.8. Л.12, 13).

<sup>1</sup> Нувель Вальтер Федорович (1871—1949) — музыкальный и театральный деятель, чиновник особых поручений канцелярии министерства императорского двора; входил в художественное объединение «Мир искусства», а также в редакцию журнала «Мир искусства» (см. прим.7 к Приложению 2). Познакомился с Ремизовым в Петербурге в 1905 году. Нувель — «старейший кавалер» Обезволлпала, персонаж многих автобиографических произведений писателя (см., например: *Ремизов А. Кукха*. Розановы письма. С.27, 52 и 73). После революции эмигрировал из России.

<sup>2</sup> См. прим. 7 к Приложению 2. Подробнее о знакомстве Шестова с кругом «Мира искусства» и его сотрудничестве в журнале см.: *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. Т.1. С.48, 50-52.

<sup>3</sup> Я.С.Шрейбер (см. прим.7 к п.56). В начале 20-х годов Шрейбер с женой и дочерью от первого брака жил в Женеве, куда в феврале 1920 года приехали Шестов и его семья, эмигрировавшие из России в январе 1920 года. В Женеве Шестовы прожили более года и часто бывали у Шрейберов. См. об этом: *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. Т.1. С.176, 178, 193, 195-196, 209.

<sup>4</sup> Е.Г.Лундберг (см. прим. 13 к п.2). Лундберг поселился в Берлине летом 1920 года; осенью того же года принял деятельное участие в организации берлинского отделения левоэсеровского издательства «Скифы». Тогда же он обратился к Шестову с предложением переиздать здесь два тома из собрания сочинений (подробнее об этом см.: *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. Т.1. С.188—191). В ноябре 1920 года Лундберг опубликовал брошюру Шестова «Что такое большевизм», однако затем, в октябре 1921 года, почти полностью уничтожил тираж, так как антибольшевистский характер этого сочинения не совпадал с его собственными просоветскими взглядами (Лундберг был руководителем первого советского издательства в Берлине «Бюро иностранной науки и техники»). Кроме того, Лундберг опасался негативной реакции советских властей на его причастность к изданию брошюры. Этот поступок вызвал возмущение не только в ближайшем окружении Шестова, но и в широких кругах эмиграции, вследствие чего к концу 1921 года в прессе «русского Берлина» разразился крупный скандал. Впоследствии Шестов помирился с Лундбергом (подробнее об этом инциденте см.: *Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О.* Русский Берлин. 1921—1923. По материалам архива Б.И.Николаевского в Гуверовском институте. Paris, 1983. С.28—31, 59; *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. Т.1. С.189; *Лундберг Е.* Записки писателя. Т.II. С.79, 83, 131, 198—203, 219). В Берлине Лундберг общался с Ремизовым. В своих воспоминаниях он оставил свидетельство о многочисленных ремизовских мистификациях этого периода (см.: *Лундберг Е.* Записки писателя. Т.II. С.300—303).

<sup>5</sup> Имеется в виду А.Э.Коган — редактор-издатель литературно-художественного ежемесячника «Жар-птица», выходившего в Берлине в 1921—1926-м годах. Ремизов опубликовал в этом журнале два произведения: «Крестовая барышня» (1921. № 3) и «Вереница. 1. Россия. 2. А-у-ка. 3. Сказка» (1923. № 10).

<sup>6</sup> См. прим.11 к п.31.

<sup>7</sup> См. прим.14 к п.16.

<sup>8</sup> 5 октября 1921 года Ремизов писал С.Я.Осипову: «Все никак не можем устроиться прочно. Кочуем по пансионатам(...)» (ИРЛИ. Ф.256. Оп.3. Ед.хр.8. Л.12).

<sup>9</sup> С.В.Лурье (см. прим.1 к п.28). Лурье эмигрировал из России в 1919 году и поселился в Париже, куда весной 1921 года переехал из Женевы и Шестов со своей семьей.

<sup>10</sup> занято, сию минуту, готово (нем.).

<sup>11</sup> Я.С.Шрейбер.

<sup>12</sup> Возможно, речь идет о Соломоне Львовиче Полякове (псевдоним — С.Литовцев; 1875—1945) — писателе и журналисте, сотруднике кадетской печати, который, эмигрировав из России, жил некоторое время в Берлине и общался там с Ремизовым. Однако, вероятнее всего, подразумевается Соломон Гитманович Каплун (Сумский; 1891—1940) — журналист, владелец берлинского издательства «Эпоха» (1922—1925), меньшевик; приятель Ремизова и персонаж его берлинских мистификаций (см., например: *Ремизов А.М.* Неизданный «Мерлог» / Публ. А.д'Амелиа // *Минувшее*. М., 1991. Вып.3. С.218—221).

<sup>13</sup> Букв.: «в винных комнатах» (нем.), т.е. «в винных погребках» или «кабачках».

<sup>14</sup> А.Е.Березовская-Шестова, Т.Л.Ражо, Н.Л.Баранова-Шестова. См. прим.2 к п.33.

<sup>15</sup> С.П.Ремизова-Довгелло.

30 VI 1922

Alexei Remisow  
Kirchst-rasse> 2  
bei Delion  
Charlottenburg-Berlin

Проездом, д<олжно> б<ыть>, был тут Семен Владимирович,<sup>1</sup> по телефону поговорили, а увидаться не пришлось. Много сейчас приезжают из России: Зайцев<sup>2</sup> приехал, Шкловский Виктор,<sup>3</sup> ну этот вроде как

на своих на двоих

Что-то не веселит и радоваться нечему  
Конечно, придет срок, а надо будет на терпение идти  
Хочется мне сил набраться, да и книги издать — там, на родине нашей, как «несвоевременное» цензура не пропустит

Напиши, когда придет минута, какие тебе книги  
посланы, я пользуюсь и оказией и издателей прошу,  
да не все слушаются

А так я никуда не<sup>4</sup> собираюсь поступать, ни в какие

ДА-ДА'исты<sup>5</sup>

Рассказывают, плохо встречают в России наших Толстых<sup>6</sup>

Я понимаю, больно это тем, кто на своей шкуре  
несет все —

Продолжаю Временник<sup>7</sup> похвала этому грузу нагруженному

I часть в Эпопее,<sup>8</sup> тебе послать  
велел этому Шварцу-Вишняку,<sup>9</sup>  
к<отор>ый за всех тогда  
платил<sup>10</sup>

там о тебе поминаю —

что во сне снилось — во 2<sup>ой</sup> кн<ижке> будет.<sup>11</sup>

А сейчас собрал письма В.В.Розанова — хочу память свою  
написать

попробую, что будет<sup>12</sup>

Много иного еще нужно чего сохранить,  
и только жалоба моя вечная —  
на МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ МОЮ

уж очень все медленно выходит.<sup>13</sup>

Предполагался с осени журнал А.М.Горького «Путник»<sup>14</sup>

Туда хотел о Розанове  
и столковался было, да З.И.Гржебин<sup>15</sup> думает

Альманахи выпускать.<sup>16</sup>

Хочется проехать на немного  
в висках стучит

Завел себе колпак с аистами

— не помогло!

Клянюсь дому твоему, Анне Елеазаровне  
и Серафимы Павловны<sup>18</sup> и детям<sup>17</sup>

вспоминаем тебя всегда

Много тут было всякого за зиму  
неприятного

и С<ерафима> П<авловна> мучилась очень.

Бердяев<sup>19</sup> тебе кланяется  
и Гершензон.<sup>20</sup>

— Зайцев доклады привез  
тяжело им<sup>21</sup>

[Монограмма-рисунок]<sup>22</sup>

Это новая  
моя обезьянья  
подпись.

<sup>1</sup> С. В. Лурье.

<sup>2</sup> Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — писатель; в июне 1922 года эмигрировал и поселился в Берлине. Познакомился с Ремизовым в 1905 году в период работы последнего в журнале «Вопросы жизни», где Зайцев публиковался. Автор воспоминаний о Ремизове (см.: *Зайцев Б.К. Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. М., 1989. С.504—510*). См. также: *Зайцев Б. Дни. О Ремизове. К десятилетию кончины // Русская мысль (Париж). 1968. 4 янв.*

<sup>3</sup> Шкловский Виктор Борисович (1893—1984) — писатель, критик, выдающийся литературовед, один из основоположников и лидер «формального метода» в отечественном литературоведении. В феврале 1922 года, спасаясь от ареста за контрреволюционную деятельность, эмигрировал в Берлин, однако, прожив в нем около года, вернулся в Россию. В Берлине много общался с Ремизовым; был «действующим лицом» его мистификаций этого периода (см., например: *Ремизов А.М. Неизданный «Мерлог»*. С. 219) и персонажем автобиографической прозы («Кукха», «Взвихренная Русь» и др.). Шкловский дал характеристику художественного метода и жизнетворческих принципов Ремизова в пятом «письме» своей книги о берлинском периоде жизни «ZOO или Письма не о любви» (Берлин, 1923. С.27—30).

<sup>4</sup> Подчеркнуто Ремизовым два раза.

<sup>5</sup> Подробнее о так называемом «русском дадаизме» см., например: *Dada russo: l'avanguardia fuori della Rivoluzione / A cura di Marzio Marzaduri. Gigno: Ed. del cavaliere azzurro, 1984 (l'onirologia 4)*.

<sup>6</sup> Вероятно, имеется в виду реакция знакомых А.Н.Толстого, живших в Советской России, на резкую эволюцию его общественно-политических взглядов в сторону просоветской ориентации, которая выразилась в присоединении к сменовеховской газете «Накануне», чья деятельность была инспирирована советскими инстанциями, и публикации в этом органе 14 апреля 1922 года открытого письма к Н.В.Чайковскому. Подробнее об этом см.: *Мицц З. Г. Перед возвращением на Родину. (Письмо А.Н.Толстого от 12 июня 1922 года) // Русская литература. 1959. № 1. С.175; Флейшман Л., Хьюз Р., Ржевская-Хьюз О. Русский Берлин. С.31—32, 38, 43, 45, 59—63, 66.*

Одно из названий революционной хроники Ремизова, которая основывалась на дневниковых записях и охватывала период с осени 1916 года, когда писатель был призван в действующую армию, а затем (в декабре 1916 года) временно освобожден от воинской повинности (см. прим. 3 к п.85), по лето 1917 года. Тогда же — с августа по декабрь 1917 года — Ремизов опубликовал свою летопись под общим названием «Всеобщее восстание. Временник» в редактируемом Г.И.Чулковым еженедельном журнале «Народоправство» (№ 5, 10, 12, 18—19). Подробности о работе над этим текстом и его публикацией см. в письмах Ремизова Чулкову августа 1917—января 1918 года (*Ремизов А. М. Письма к Георгию Ивановичу Чулкову. [1905—1918] // ГБЛ. Ф. 371. Карт. 4. Ед.хр.46. Л.17—22*). В 1922 году он вновь поместил свою хронику под тем же общим названием в журнале «Эпопея» (№ 1—3). Впоследствии «Временник» составил основной текст глав «Весна-красна» и «Медовый месяц» в книге Ремизова «Взвихренная Русь», выпущенной в Париже в 1927 году.

<sup>8</sup> «Эпопея» — литературный ежемесячник, издававшийся под редакцией Андрея Белого берлинским издательством «Геликон» (1921—1923) в 1922—1923-м годах. В № 1 за 1922 год (С.41—86) была помещена первая часть ремизовского «Временника» — «Весенняя рынь. 23/27—II—1917», заканчивавшаяся повествованием о событиях Февральской революции в Петрограде.

<sup>9</sup> Вишняк Абрам Григорьевич (1895—1943) — заведующий берлинским издательством «Геликон»; племянник Марка Вениаминовича Вишняка (1883—1977) — редактора самого представительного и авторитетного журнала русской довоенной эмиграции «Современные записки» (Париж, 1920—1940); близкий друг И.Г.Эренбурга. Издатель книги Ремизова «Россия в письменах» (Берлин—Москва: «Геликон», 1922. Т.1). «Вишняк-племянник», «Геликон — А.Г.Вишняк (Шварц)» фигурирует в многочисленных ремизовских мистификациях берлинского периода, описанных им в книге «Мерлог» (см.: *Ремизов А.М. Неизданный «Мерлог»*. С.217, 219, 220).

<sup>10</sup> Вероятно, Ремизов напоминает Шестову о каком-то эпизоде его пребывания в Берлине в ноябре-декабре 1921 года. См. об этом: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т.1. С.227—229; Т. II, С. 257.*

<sup>11</sup> В № 2 «Эпопеи» за 1922 год (С.61—104) было опубликовано продолжение ремизовского «Временника» под названием «Орь. 27/II—1/VI 1917», составившее впоследствии основу главы «Медовый месяц» в книге «Взвихренная Русь». Лев Шестов — персонаж снов в первых двух главах этой публикации: «Пряники» (С.65) и «Палочки» (С. 70). См. также: *Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж, 1927. С.60, 65.*

<sup>12</sup> Речь идет об автобиографическом повествовании Ремизова «Кукха. Розановы письма», изданном Гржебиным в 1923 году в Берлине. Этому изданию предшествовала публикация более краткого варианта в парижском «трехмесячнике литературы» «Окно» (см.: *Ремизов А. Розанова письма // Окно. 1923. № 2. С.121—193*), который был воспроизведен повторно в сборнике «Наши современники» (Париж, 1924. Т. 1. С. 121—193). Письма Розанова к себе Ремизов использует здесь в качестве сюжетно-композиционной основы повествования. Эту особенность «Кукхи» отметил еще В.Б.Шкловский, назвавший ее «книгой, нарощенной на письма Розанова» (*Шкловский В. ZOO или Письма не о любви. С.29*). О «Кукхе» см. также: *Флейшман Л. Из комментариев к «Кукхе». Конкретор Обезвельволпала // Slavica Hierosolymitana. 1977. № 1. С.185—193.*

<sup>13</sup> Возможно, Ремизов имеет в виду работу над «Временником», так как под текстом во втором номере «Эпопеи» за 1922 год («Орь») стоит дата: 1917—1922 /VI Charlottenburg, а продолжение

«Временника», получившее в журнальной публикации название «Мятенье. 1/VI—10/VII 1917», а затем включенное во «Взвихренную Русь» в качестве отдельной главы «В деревне», имеет еще более точную авторскую датировку: 1917—1922, 17/VII Breitbrunn a<m> Ammersee (см.: Эпопея. 1922. № 3. С.124).

<sup>14</sup> Очевидно, речь идет о проекте научно-литературного журнала, получившего впоследствии название «Беседа». Этот журнал выходил в Берлине в 1923—1925-м годах в издательстве «Эпоха» под редакцией Горького и при ближайшем участии Андрея Белого и В.Ф.Ходасевича. В № 3 за 1923 год была опубликована вторая книга ремизовской «России в письменах». Подробнее о сотрудничестве Ремизова и Горького в этот период см.: *Крюкова А. А. М. Горький и А. М. Ремизов. (Переписка и вокруг нее)* // Вопросы литературы. 1987. № 8. С.210—211.

<sup>15</sup> Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929) — художник-график и издатель; совладелец (с С.Ю.Копельманом) издательства «Шиповник». Близкий приятель и кум Ремизова, который впоследствии вспоминал о Гржебине: «Издатель, сосед и кум. В Петербурге на Таврической в доме Хренова жили по одной лестнице и деньги занимали друг у друга на перехватку. В войну 1914 года ходил зауряд-князем обезьяньим. Я крестил его детей (...) Все состояли в обезьянах» (*Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. С.133*). Дружеский характер их взаимоотношений подтверждается и письмами Гржебина Ремизову (см.: *Гржебин З.И.* 1) Письма (8) Алексею Михайловичу Ремизову. [1906—1912] // ГПБ. Ф.634. Оп.1. Ед.хр.97; 2) Письма (10) и телеграммы (3) Ремизову Алексею Михайловичу. [1914—1917] // ИРЛИ. Ф.256. Оп.3. Ед.хр.61). После гражданской войны, оказавшись в Берлине, Гржебин развернул широкую издательскую деятельность и опубликовал значительное число художественных и исторических книг в надежде распространить их в России. Однако отказ советских властей в разрешении на это привел к банкротству гржебинского издательства.

<sup>16</sup> О публикациях «Кукхи» см. прим. 12 к наст. п.

<sup>17</sup> А.Е.Березовская-Шестова, Т.Л. и Н.Л.Шестовы.

<sup>18</sup> С.П.Ремизова-Довгелло.

<sup>19</sup> Н.А.Бердяев. См. прим.7 к п.1.

<sup>20</sup> М.О.Гершензон. См. прим.5 к п.86.

<sup>21</sup> О жизни Бердяева и Гершензона в Советской России в этот период см.: *Бердяев Н.А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии)*. М., 1991. С.226—244; *Гершензон М.О. Письма к Льву Шестову (1920—1925)* / Публ. А.д'Амелиа и В.Аллоя // *Минувшее*. М., 1992. Вып.6. С.237—264. В сентябре 1922 года Бердяев был выслан из России советскими властями в числе других философов, ученых, общественных деятелей, признанных идеологически неблагонадежными, и поселился в Берлине.

<sup>22</sup> Монограмма-рисунок — «новая обезьянья подпись» Ремизова — это сочетание входящих в имя писателя букв «А», «кси» и «з», которые складываются в условное изображение птицы. Подробнее об этой подписи и ее символическом значении см.: *Безродный М.В. Об одной подписи Алексея Ремизова* // *Русская литература*. 1990. № 1. С.224—228; здесь же воспроизведена монограмма-рисунок (С.225).

Deutschland  
Alexei Remisow  
bei Delion  
Berlin-Charlottenburg 1  
Kirchstr(asse) 2<sup>1</sup>

Дорогой Лев Исаакович,

прилагаю при сем картинку и пишу тебе прошение

Кажется, так всю жизнь и буду писать прошения —

жаль, что мои письма к тебе пропали.

Пишу, прошу о деньгах, поговори, подумай, как и что  
можно сделать.

При моей медлительности работа тихо идет,

а когда и выйдет что — под общую

мерку ЛИСТОМ! — а я ведь не листный,

ты правду сказал,

крупчатый.



II деньги пересылать  
 если не [нрзб. 1 сл.] во франках  
 в марках  
 адрес Ефима Семеновича Пинес<sup>11</sup>  
*Russisch-Baltischer Lloyd*  
 Tauentzienstr(asse) 12d  
 Berlin W.50  
*Dr.E.Pines*  
*für Alexei Remisow*

деньги надо внести в их парижское  
 отделение  
 Paris,  
 2 rue Scribe  
 и меня известить.

<sup>1</sup> Здесь и далее в наст. п. (за исключением первой подписи Ремизова латиницей, а также адресов Ремизова и Е.С.Пинеса в конце письма) немецкий текст в рукописи представляет из себя так называемую «готическую скоропись» (*Zackenschrift*), которая отличается от обычного округлого латинского письма не только специфическим написанием отдельных знаков, но и характерной «заостренностью» буквы. Тем же способом написан немецкий текст в п. 99—103; а в п. 104, 105 и 107 Ремизов пользуется и «готической скорописью», и обычной латиницей. Следует отметить, что в употреблении «готической скорописи» проявился интерес писателя к рукописной традиции и, как следствие, к различным типам письма, а также к почерку как явлению, в котором отражается стиль личности его носителя, и шире, стиль конкретной эпохи. Пользуясь случаем, приносим благодарность Л.А.Потемкиной, В.Л.Баранкову и Ф.В.Данилову за помощь при чтении и переводе немецкого текста.

<sup>2</sup> назад (нем.).

<sup>3</sup> См. прим.22 к п. 97.

<sup>4</sup> Ремизовское увлечение глаголическим письмом, восходящее к 1900-м годам, когда писатель интенсивно штудировал древнерусскую рукописную традицию, — явление того же порядка, что и использование «готической скорописи» (см. прим.1 к наст. п.). Однако функциональный смысл употребления глаголицы в личной переписке Ремизова (см. также письмо С.Н.Тройницкого Ремизову от 1 марта 1912 года (ГПБ. Ф.634. Оп.1. Ед.хр.219), написанное глаголицей), в надписях и подписях на его графических рисунках или, например, в надписи на выполненной «кавалером Обезьяньего знака» Ю.П.Анненковым марке издательства «Обезьянья Великая Вольная Палата» («Алконост») в книге «Царь Додон» (1921) не ограничивается областью стилистического приема. Среди других графических стилизаций именно глаголицу следует рассматривать как «сакральное письмо» Обезьяньей Великой и Вольной Палаты, письменный вариант языка общения для «посвященных», входящих в ближайшее литературное и бытовое окружение писателя. Ремизов вводит тему «глаголицы» и в свою автобиографическую прозу. См., например, рассказ «Глаголица» (впервые: Речь. 1911. № 354), который вошел затем в книгу Ремизова «Весеннее порошье» (СПб., 1915), а впоследствии был значительно переработан и включен в книгу «Учитель музыки» (Ремизов А. Учитель музыки: Каторжная идилия / Подг. к печати, вступ. ст. и прим. Антонеллы д'Амелия. Paris, 1983. С.6—18). См. также: Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. С.189.

<sup>5</sup> Намек на сборник статей Шестова «Начала и концы» (СПб.,1908).

<sup>6</sup> На рисунке изображен надгробный камень с двумя человеческими ликами, вписанными в диск. В верхней части, рядом со словами «Льву Шестову», помещен автопортрет Ремизова.

<sup>7</sup> На гипсовом диске выступают два барельефа, мужской и женский, по которым наряду с наследственными чертами можно судить и о высокой первозданной красоте (нем.).

<sup>8</sup> Предположительно, римская надгробная плита на юго-восточной наружной стене церкви в Виддерсберге (нем.).

<sup>9</sup> высокая первозданная красота! (нем.).

<sup>10</sup> Здесь и далее текст, выделенный нами курсивом, подчеркнут Ремизовым.

<sup>11</sup> Знакомый Ремизова. Упоминается в третьей части «Временника» («Мятенья. 1/VI—10/VII 1917») как персонаж сна (см.: Эпопея. 1922. № 3. С. 95, 96; Ремизов А. Взвихренная Русь. С.126, 127).

99

*Rüstet zum 1. Oktober!*<sup>1</sup>

Arbeiter und Arbeiterinnen! An<ge>stellte, Beamte, Hausfrauen!  
Die Betriebsräte von Gross-Berlin rufen Euch auf zur

Demonstration

Sonntag, den 1. Oktober 1922, vormittag 11 Uhr,  
nach dem

Wittenbergplatz

Gegen Wucher- und Schiebertum! Für die Kontrolle der Produktion!

Gegen Teuerung und Verelendung! Für den Reichsbetriebsrätekongress!

Proletarier Gross-Berlins! Allein auf sich gestellt, ohne jede Unterstützung seitens der Instanzen haben die berliner Betriebsräte den schweren Kampf gegen Hunger und Elend, gegen Not und Teuerung begonnen!

Arbeiter, unterstützt diesen Kampf, denn es ist Euer Kampf!<sup>2</sup>

В правом верхнем углу письма помета рукой другого лица: «[Sept 1922?】».

<sup>1</sup> Слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым.

<sup>2</sup> Перевод:

*Готовьтесь к 1 октября!*

Рабочие и работницы! Служащие, чиновники, домохозяйки!

Фабричные комитеты Большого Берлина призывают вас на  
демонстрацию

в воскресенье, 1 октября 1922 года, в 11 часов утра,

на

Виттенбергплац

Против ростовщичества и спекуляции! За контроль продукции!

Против дороговизны и обнищания! За конгресс фабричных комитетов государственных предприятий!

Пролетарии Большого Берлина! Только от вас зависит, смогут ли берлинские фабричные комитеты без какой-либо поддержки со стороны инстанций начать тяжелую борьбу против голода и нищеты, против нужды и дороговизны!

Рабочие, поддержите эту борьбу, ибо это ваша борьба! (нем.)

100

Herren Dr. Lew Schestow<sup>1</sup>

Дорогой Лев Исаакович

ТАК ВОТ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОГО ПРЕДМЕТА

ХОЧУ ТЕБЯ ПОПРОСИТЬ — О ПЕРЕВОДЕ С

ФРАНЦУЗСКОГО

МНЕ НАДО КНИГУ АНДРЭ ЖИДА,<sup>2</sup> ГДЕ ЕГО

«ФИЛОКТЕТ»

ЭТО НЕБОЛЬШОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДРАМАТИЧЕСКОЕ;

Я ЕГО ПЕРЕВЕЛ;<sup>3</sup> ХОТЕЛОСЬ БЫ ЕЩЕ И ЕЩЕ РАЗ

ПРОРЕДАКТИРОВАТЬ

ДОСТАТЬ, ПОЖАЛУЙСТА, И ПРИШЛИ

Alexei Remisow

bei Delion

Berlin-Charlottenburg 1

Kirchstr<asse> 2<sup>11</sup>

И ЕСЛИ МОЖНО,

УСТРОЙ ЭТОТ ПЕРЕВОД

В ПАРИЖЕ<sup>4</sup>

Алексей Ремизов

9, 10, 22

Ch<arlotten>b<ur>g

см<отри> на обор<оте>

Oktober  
Wein- oder Wolf-Monat  
hat 31 Tage

Halten die Krähen Konvivium,  
sieh nach Feuerholz dich um.  
Wenn die Buchenfrüchte geraten wohl,  
Nuss- und Eichbaum hängen woll,  
so folgt ein harter Winter drauf  
und fällt der Schnee mit grossem Hauf.  
Viel Schnee steht wahrscheinlich bevor,  
wenn im Herbste viel Nebel sind,  
ein langer anhaltender Winter, wenn es im Oktober  
viele Hornissen und Wespen gibt.  
Wenn der Oktober warm und trocken ist,  
so soll vor Weihnachten wenig Kälte zu erwarten sein.  
Wenn der Eichbaum noch sein Laub behält,  
so folgt im Winter strenge Kält'  
Warmer Oktober, kalter Februar.<sup>5</sup>

К следующему разу  
приготовлю на November.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Господину д-ру Льву Шестову (нем.). Ниже помета рукой другого лица: «9. 10. 22».

<sup>2</sup> Жид Андре (Gide André, 1869—1951) — французский писатель и литературный критик; парижский знакомый Шестова, поклонник его философских взглядов и прежде всего шестовской концепции творчества Достоевского. Подробнее об их взаимоотношениях см.: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I и Т. II* (по указателю).

<sup>3</sup> Драма А. Жида «Филоктет или Трактат о трех добродетелях» была переведена Ремизовым совместно с С. П. Ремизовой-Довгелло (см. об этом: *Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 149*) и опубликована в № 3 журнала «Вопросы жизни» за 1905 год, а затем вошла в книгу ремизовских переводов, изданную журналом «Театр и искусство» в 1908 году в Петербурге. Подробнее о Ремизове-переводчике см. прим. 5 к п. 18.

<sup>4</sup> Этот замысел не был осуществлен.

<sup>5</sup> Перевод:

Октябрь  
Винный- или волчий-месяц  
содержит 31 день

<Если> вороны собираются стаями,  
запасайся дровами.  
Если бук, орешник и дуб еще обильно усыпаны плодами,  
то жди суровой и снежной зимы.  
Зима будет снежной,  
если осенью много туманов,  
зима продолжительная,  
если в октябре много шершней и ос.  
Если октябрь тёплый и сухой,  
то перед Рождеством жди небольших холодов.  
Если на дубах сохраняется листва,  
то зимой последуют сильные холода.  
Тёплый октябрь, холодный февраль (нем.).

<sup>6</sup> ноябрь (нем.).



Сегодня получил от Рыса<sup>4</sup> письмо: пишет —  
 может заплатить 10. 000 M<ark>  
 а уговор был: до 400 стр<аниц> — 150 frs  
                   больше — 200 frs  
                   а меньше, стало быть — 100 frs

Ведь теперь тысячи в Германии ничего не значат.  
 А я еще за ЯПОНЦА<sup>5</sup> схожу  
 Увидишь Сол<омона> Вл<адимировича> Познера,<sup>6</sup> скажи ему, что я  
 японец, и пусть он это Рысу скажет.

О Париже решили так.<sup>7</sup>  
 Конечно, не один,<sup>8</sup> ей Богу же не могу я один  
 Я ведь только так КАЖУСЬ и представляюсь  
 человеком, а на самом деле,  
 на ниточке дергаюсь и через улицу боюсь перейти.<sup>9</sup>  
 Для С<ерафимы> П<авловны> жизнь в Париже — в ночлеге есть место.<sup>10</sup>  
 Только надо меня куда-нибудь сунуть.  
 Я могу и не раздеваясь.

Зиму 19—20 г<одов> прожил не раздеваясь  
 это меня не пугает.

Надо визу достать,<sup>11</sup> {марками это  
 И надо на дорогу.} {ужасная цифра.

Нельзя аванс в 300 frs.?

Напиши, сообрази.

И сейчас же по получении визы  
 мы и поехали бы.

Ну, хоть на 2 недели

Весной, размечтавшись, я написал

Патуйэ,<sup>12</sup> прося о визе.

Он ответил, что сделает.

Должен я опять ему писать или  
 уже неудобно

Напиши

Кланяюсь всем

[Подпись: монограмма-рисунок]<sup>13</sup>

<sup>1</sup> Что именно подразумевает Ремизов, установить не удалось.

<sup>2</sup> «Завитушка» — род новеллы со сложным и принципиально незавершенным сюжетным построением, разработанный и культивируемый Ремизовым с конца 1900-х годов.

<sup>3</sup> «Последние новости» — ежедневная газета, издавалась в Париже с апреля 1920-го по июнь 1940 года (№№ 1—7015) под руководством П. Н. Миллюкова. Возможно, под «Завитушкой», посланной Ремизовым в эту газету, подразумеваются опубликованные вскоре новеллы «Балдахал» (см.: Последние новости. 1922. 5 нояб. № 782) или «Избиение младенцев» (см.: Последние новости. 1922. 24 дек. № 823).

<sup>4</sup> Имеется в виду Петр Яковлевич Рысс (?—ок.1948) — журналист и публицист; активный противник большевизма (см., например, его статью «Крайности сходятся» в однодневной газете-протесте «В защиту свободной печати», выпущенной Союзом Русских писателей накануне созыва Учредительного Собрания 27 ноября 1917 года), эмигрировавший из России по идеологическим мотивам. Сотрудник газеты «Последние новости». Знакомый Шестова, автор юбилейной статьи к его шестидесятилетию (см. об этом: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. С. 330). Упоминается Ремизовым в книге «Взвихренная Русь» как персонаж сна (см.: Ремизов А. Взвихренная Русь. С. 279).

<sup>5</sup> Подчеркнуто Ремизовым.

<sup>6</sup> Познер Соломон Владимирович (1880—1946) — журналист, публицист. Летом 1921 года эмигрировал из России и поселился в Париже, сотрудничал в миллюковской газете «Последние новости», одно время был секретарем Союза русских журналистов в Париже. Близкий знакомый Шестова, автор юбилейной статьи к его шестидесятилетию (см.: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. С. 7, 330; Т. II. С. 142). Персонаж ремизовского сна «Пес в тазу» (см.: Ремизов А. Взвихренная Русь. С. 276; главка «Обыск»).

<sup>7</sup> Попытки Ремизовых хотя бы на время приехать в Париж долго оставались безуспешными. Только 5 ноября 1923 года им удалось окончательно туда переселиться. В Париже прошли все последующие годы их жизни.

<sup>8</sup> Подчеркнуто Ремизовым два раза.

<sup>9</sup> О своей всеобъемлющей боязни, которая, по справедливому замечанию А. Синаевского, является частью литературной маски писателя, его «пародией на свои страхи, страхи “бедного человека” перед вечным ужасом жизни» (*Синяевский А. Литературная маска Алексея Ремизова // Aleksej Remizov. Approaches to a Protean Writer. Ed. by Greta N. Slobin. Columbus, 1987. С. 28*), Ремизов писал в своей книге «Подстриженными глазами» (Париж, 1951. С. 10—11).

<sup>10</sup> Подчеркнуто Ремизовым.

<sup>11</sup> Две строки отчеркнуты Ремизовым слева двумя параллельными чертами.

<sup>12</sup> Патуйе Жюль (Patouillet Jules) — профессор русского языка в Сорбонне. Входил в правление Русской Академической Группы (центр общения русских профессоров и научных работников), организованной в Париже в 1920 году. Сотрудничал здесь с Шестовым с 1921 года (см.: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. С. 182, 222*). В Рукописном отделе Публичной библиотеки в Петербурге хранятся три письма Патуйе Ремизову 1911—1912 годов (см.: ГПБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 168).

<sup>13</sup> См. прим. 22 к п. 97.

## 103

(9.12. 1922)<sup>1</sup>

Alexei Remisow  
bei Delion

Berlin-Charlottenburg 1  
Kirchstr<asse> 2.<sup>2</sup>

Дорогой Лев Исаакович

Не писал тебе по беде, в которую  
ввергнуты судьбой безжалостной

Вот уже месяц, как нас выгнали из  
насиженной (год жили!) квартиры и  
все время ищем. А тут еще всякие  
простуды.

Никуда, только в поиски.

Раз видел Н<иколая> А<лександровича> Б<ердяева><sup>3</sup> и Лундберга.<sup>4</sup>

Куда уж тут поедешь!

И куда поедешь?

Все это мытарство квартирное  
(хотят, ведь, валютчиков (американца)  
непрерменно)  
совсем меня  
р а с т е р з а л о.

Пиши по этому же адресу.

Как найдем, извещу  
сейчас же.

Почта тут все доносит  
сам знаешь.

Твоим поклоны

От Серафим<ы> Павлов<ны> тоже

А. Ремизов.

<sup>1</sup> Открытое письмо. Датируется по шарлоттенбургскому штемпелю. Отправлено в Париж по адресу: Frankreich Paris XI 7 rue Sarasate Monsiuer L.Schestow.

<sup>2</sup> Ниже помета рукой другого лица: «9. 12. 22».

<sup>3</sup> См. прим. 7 к п.1 и прим.21 к п.97.

<sup>4</sup> Е.Г.Лундберг. См. прим.13 к п.2 и прим.4 к п.96.

(Продолжение в следующих номерах)

## ОБ ОДНОМ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМ ИЗДАТЕЛЬСКОМ ЗАМЫСЛЕ (ПИСЬМА П.А. СОРОКИНА К П.ВИТЯЗЕВУ)

Крупнейший социолог XX века, один из представителей авторитетной социологической школы М.М.Ковалевского<sup>1</sup> и Е.В.Де Роберти,<sup>2</sup> П.А.Сорокин (1889-1968) начинал свою научную деятельность в Петербурге-Петрограде. К 1920 году он уже автор множества статей, ряда учебников и монографий. В числе последних — капитальный труд «Система социологии» (т. 1, 2), увидевший свет в петроградском кооперативном книгоиздательстве «Колос» в 1920-1921 годах.

Сотрудничество П.А.Сорокина с этим издательством и бессменным председателем его правления П.Витязевым (наст. имя — Ферапонт Иванович Седенко; 1886-1938)<sup>3</sup> нельзя назвать случайным. Предыстория его такова.

Еще в 1910-е годы, сосланный в Вологодскую губернию за революционную деятельность, Витязев обращается с письмом к П.Сорокину. Последний в ответном послании (от 2/XII 1913 года) упоминает, в частности, о своей готовящейся к выходу отдельным изданием работе «Преступление и кара, подвиг и награда» (1914), которую настоятельно рекомендует проштудировать. На этом этапе, несмотря на незначительную разницу в возрасте, взаимоотношения П.Сорокина и П.Витязева можно определить как отношения учителя-наставника и подающего надежды ученика. В том, что Витязев и в самом деле способный ученик, — несмотря на незавершенное университетское образование, — покажет уже ближайшее будущее.

Имя П.Витязева обычно связывают с П.Л.Лавровым, изучению творчества которого посвящена вся его жизнь. Но была еще одна сфера деятельности, которой Витязев был также бесконечно предан, — книгоиздательское дело. Речь идет прежде всего о его любимом детище — кооперативном книгоиздательском товариществе «Колос» (1918-1927). Именно в качестве председателя правления этого издательства Витязев и привлекает в 1920-е годы к сотрудничеству П.Сорокина.

Однажды завязавшиеся контакты перерастают в отношения соратников не только по партийной принадлежности (оба — эсеры), но и по литературно-издательской деятельности. В 1915 году они бок о бок работают в журнале «Народная мысль» (успело выйти лишь 2 номера), в 1917-1918 годах — в кооперативном издательстве социалистов-революционеров «Революционная мысль», а также в ведущем печатном органе этой партии — газете «Воля народа», редактором которой был П.Сорокин. Оба часто публикуются на страницах этой газеты.

Сохранившиеся в фонде Витязева в ЦГАЛИ письма П.Сорокина к нему свидетельствуют о прочно установившейся к 1920 году, а пожалуй, и намного раньше, дружбе между ними. В самом деле, их многое объединяло. И прежде всего во взглядах на современную российскую действительность. Подтверждением этому может служить ответ П.Сорокина на анкету П.Витязева по вопросу о целесообразности существования частных издательств.<sup>4</sup> Или такая немаловажная деталь. Активные члены партии эсеров, П.Витязев в конце 1917 года, П.Сорокин осенью 1918 года, хотя и по разным причинам, выходят из нее. Отойдя от политической деятельности, П.Сорокин (он являлся также членом Учредительного собрания) возвращается к занятиям наукой, П.Витязев — к редакционно-издательской работе. В июне 1918 года по инициативе Витязева в Петрограде возникает кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос». П.Сорокин возвращается в Петроградский университет, где ему в 1920 году (в 31 год!) присуждается звание профессора. В этом же году, как отмечено выше, в издательстве «Колос» выходит в свет первый том его «Системы социологии».

<sup>1</sup> Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — русский историк, этнограф, социолог, профессор Московского университета, с 1914 года — академик Российской Академии наук. Преподавал в Петербургском университете. Один из основателей партии «Демократических реформ».

<sup>2</sup> Де Роберти Евгений Валентинович (1843—1915) — русский социолог и философ-позитивист. Видный деятель кадетской партии.

<sup>3</sup> Известен также под псевдонимами П.Витязев, Ф.И.Витязев, Лаврист и др.

<sup>4</sup> См.: Батюто С.А. Неизвестные автографы И.П.Павлова, Э.Л.Радлова, П.А.Сорокина // Русская литература. 1990. № 3. С. 165—167.

Следующий том этого капитального труда был выпущен тем же издательством на будущий год, и на этом издание было прервано.<sup>5</sup> Одна из причин подобного развития событий — разработку П.Сорокиным по совету И.П.Павлова и В.М.Бехтерева актуальной проблемы того времени — «влияние массового голода на мобильность, социальную организацию и идеологию общества».<sup>6</sup> Такое переключение внимания ученого на частную, на первый взгляд, проблему объяснялось и тем, что он сам был свидетелем массового голода в России в 1921 году, охватившего обширные территории от ее центральных губерний до Поволжья. Уяснение причин голода тоже было одной из форм борьбы с ним. В этом смысле П.Сорокин — продолжатель гуманного дела, начатого в 1890-е годы Л.Н.Толстым и В.Г.Короленко. Эта связь уже подчеркивалась в содержательной статье В.Костикова «Изгнание из рая»: «Большинство выехавших (в 1922 году. — С.Б.) историков, философов, профессоров в той или иной степени были духовными детьми и преемниками Толстого, Достоевского, Чехова, Короленко».<sup>7</sup> Депортация П.А.Сорокина в сентябре 1922 года за пределы Советской России в составе группы крупнейших ученых сделала невозможным продолжение работы над последующими томами «Системы социологии», она же послужила удобным поводом для конфискации тиража уже пропущенной цензурой книги «Голод как фактор». И все же 10 экземпляров незаконченного печатью издания в листах удалось спасти. К двадцатым числам сентября 1922 года типография успела отпечатать первые 17 листов издания. Один такой экземпляр поступил в Публичную библиотеку в Петрограде (в настоящее время считается утраченным), другой в 1923 году Витязев передал в библиотеку Румянцевского музея (ныне — Российская государственная библиотека). До сегодняшнего дня дошел еще один экземпляр этого издания — он находится в библиотеке ИНИОН РАН. Об экземпляре книги «Голод как фактор» из собрания РГБ и пойдет далее речь.

По нашим сведениям, эта работа, — в том виде, как намечалась к выпуску в издательстве «Колос» в 1922 году, — так и не была опубликована за границей. Уже одно это обстоятельство заметно повышает интерес к уцелевшему экземпляру книги. Возвращение на родину других трудов П.А.Сорокина было бы неполным без включения в их число оставшегося незавершенным, видимо по политическим мотивам, колосовского издания его работы «Голод как фактор». Сохранившийся экземпляр открывает редкую возможность, пусть и частичного, знакомства с замыслом книги: сохранилось авторское предисловие к работе. Наметить же путь его воплощения позволяет перечень глав и разделов (по дошедшей до нас части книги).

Переписка П.Сорокина с П.Витязевым велась буквально до последнего дня пребывания Сорокина в Петрограде. В ней преобладает тема выпуска книги «Голод как фактор» в издательстве «Колос». Читателя не должны смущать упомянутые в письмах денежные суммы (тысячи и миллионы) — переписка велась в пору жесточайшей инфляции.

Как нетрудно убедиться, работа Витязева-издателя над рукописью, а затем над корректурой книги «Голод как фактор» охватывает в общей сложности период около 4–5 месяцев (май — середина сентября 1922 года). Сам автор и издатель прекрасно отдавали себе отчет

<sup>5</sup> Выход этой книги, как отмечал П.А.Сорокин, стал возможным «благодаря героическим усилиям моих друзей — Ф.И.Седенко-Витязева, руководителя издательства “Колос”, и его сотрудников, а также работников двух национализированных («Второй» и «Десятой» государственных) типографий в Санкт-Петербурге. Будучи моими личными друзьями и сочувствуя моим политическим взглядам и общественной позиции, они тайно осуществили набор книги, подделали разрешение цензуры и, поставив на титульных листах необходимый штамп — Р.В.Ц. (разрешено военной цензурой), отпечатали по десять тысяч экземпляров каждого тома, а затем быстро распространили и распродали весь тираж за две-три недели» (Сорокин П.А. Долгий путь. Сыктывкар, 1991. С. 74–75).

<sup>6</sup> Голосенко И.А. Питирим Александрович Сорокин — человек и ученый (1889–1968) // Питирим Александрович Сорокин: Каталог выставки. Л., 1989. С.6. Примечательно, однако, что сама книга «Голод как фактор» в данной статье не упомянута. Сам П.А.Сорокин писал по этому поводу следующее: «Опубликовав два тома “Системы социологии”, я отложил написание третьего тома, чтобы непосредственно изучить явление, типичное для революций, — голод. Вместе со студентами и сотрудниками, в тесном взаимодействии с академиком И.Павловым и В.Бехтеревым я начал исследование влияния голода на человеческое поведение, социальную жизнь и организацию общества» (Сорокин П.А. Долгий путь. С. 153). В 1921 году П.А.Сорокиным были написаны и опубликованы 4 статьи, посвященные именно этой проблеме: «Голод и убеждения (идеология) человека» (Артельное дело. 1921. № 9–16. С. 11–16), «Влияние войны на состав населения, его свойства и общественную формацию» (Экономист. 1921. № 1. С.77–107), «Влияние голода на социально-экономическую организацию общества» (Там же. № 2. С. 23–53), «Голод и идеология общества» (Там же. № 4–5. С. 3–32).

<sup>7</sup> Костиков В. Изгнание из рая // Огонек. 1990. № 24. С. 16.

в том, насколько велико значение данного труда. Если бы не высылка П.Сорокина, то книга «Голод как фактор» непременно увидела бы свет в том же 1922 году. Несомненно значимо и намерение Сорокина послать «авторские» экземпляры в миссию Нансена — инициатора сбора средств в помощь голодающей России.

Другой важный вывод, который напрашивается по прочтении этих писем П. Сорокина, — с Витязевым и коллективом сотрудников издательства «Колос» его связывали дружеские, теплые взаимоотношения. Недаром одно из них подписано шутивно-серьезным псевдонимом — Голодников. Витязев и его коллеги по «Колосу» собрали П.Сорокину и его жене необходимую сумму денег на дорогу до Праги. Наконец, Витязев остается в Петрограде в качестве доверенного лица Сорокина. Просьба последнего позаботиться о его библиотеке была, по всей вероятности, выполнена. Что касается просьбы относительно присылки книги «Голод как фактор» в нужном Сорокину количестве экземпляров, то она могла быть выполнена лишь отчасти, и вот по какой причине.

Экземпляр «Голода», находящийся в РГБ, имеет следующую надпись, сделанную рукой П.Витязева:

«В библиотеку Румянцевского музея  
Уничтоженная книга  
Уцелело 17 листов в количестве  
10 экземпляров  
от Витязева».

Становится очевидным, что ни о каких просимых П.Сорокиным для себя 25 экземплярах издания не могло быть и речи. Выше уже отмечалось, что один из экземпляров этого «уничтоженного» издания находился в РНБ. Не исключено, что он был передан библиотеке также П.Витязевым.

Перейдем к характеристике некоторых «технических» особенностей издания. Микрофильм сопровождается скудным описанием единицы хранения, которое для историка книги представляет немалый интерес. Так, библиотечный работник бесстрастно записывает: «Книга имеет дефект оригинала и дефект переплета». Что ж, это верно. Но необходимо раскрыть мнимую ущербность данного экземпляра издания. Уцелело, как известно, 17 печатных листов, что соответствует пагинации в 272 страницы. Это свидетельствует о том, что книга не имеет окончания. Но ведь окончания не имеют все сохранившиеся 10 экземпляров. Поскольку тираж издания был конфискован, типография или не успела изготовить обложку (переплет) книги, или он также был конфискован вместе с отпечатанными листами. Поэтому переплета (обложки) физически не существует. А потому правомерно ли называть это «дефектом переплета»? Вот почему, на наш взгляд, требовались некоторые уточнения относительно «дефектности» сохранившегося в РГБ экземпляра издания. В пояснении нуждается и другая не менее скупая запись вверху титульного листа: «Пож(ертвование) № 3261/1923(г.)». И эта запись, думается, говорит сама за себя: ведь в 1923 году подобного рода действия могли принести немалые неприятности лицу-дарителю, то есть Витязеву. Но несмотря на это Витязев передает экземпляр чудом сохранившегося издания «Голода» в библиотеку Румянцевского музея. Библиотека же не преминула сразу поместить книгу опального автора в недра отдела специального хранения, где она до последнего времени и находилась.

Что же представляло собой колосовское издание труда П.А.Сорокина «Голод как фактор»?

Издание снабжено авантитолом, развернутым титулом (или контргитолом) и посвящением. Причем контргитул и посвящение выполнены также в переводе на английский язык. Полное название книги — «Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь». На обороте титула значится разрешающая виза цензуры — «Р.Ц. № 1526» и обозначен тираж — 2000 экземпляров. Далее следует список отдельно изданных работ П.А.Сорокина, написанных им за период с 1914-го по 1921 год включительно. Затем следует: «Посвящается: Американской администрации помощи, Миссии д-ра Ф.Нансена, Христианскому союзу молодых людей,<sup>8</sup> ученым, студентам, рабочим Европы и Америки и всем тем, кто спасает великий русский народ от голодной смерти в эти трагические годы его истории».

<sup>8</sup> Христианский союз молодых людей (Young Men Christian Association — YMCA) — одна из благотворительных организаций, принимавших активное участие в помощи голодающим в России. Председатель — Дж.Мотт.

Миновав авторское предисловие, к которому еще вернемся, перейдем к характеристике структурной организации книги. Не будем делать прогнозов относительно общего количества глав, а передадим основное содержание дошедшей до нас части книги в виде перечня глав и разделов.

## ЧАСТЬ 1

### Введение

- § 1 Предмет и задачи исследования
- § 2 Голодание и его формы (объективное понятие голода)
- § 3 Субъективное переживание голода («голод-аппетит») как функция объективного факта голодания. Обратная теория проф. Л.И.Петражицкого
- § 4 Объективная теория голодания и механизм питания человека

### Глава первая

#### ИЗМЕНЕНИЕ СТРОЕНИЯ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗМА С ВАРИРОВАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПОГЛОЩАЕМОЙ (И УСВОЯЕМОЙ) ИМ ПИЩИ, В ЧАСТНОСТИ ПРИ ГОЛОДАНИИ

- § 1 Изменение соматического строения животных под влиянием изменения питания
- § 2 Изменение соматического строения человека под влиянием питания
- § 3 Питание и физиологические процессы
- § 4 Питание и субъективные переживания (психические процессы)

### Глава вторая

#### ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ГОЛОДАНИИ

- § 1 Понятие и формы пищетаксиса и пищетаксических актов
  - § 2 Конкретное разнообразие пищетаксических актов и их доля в общем бюджете актов человеческой жизни
  - § 3 Кривая интенсивности пищетаксиса при дефицитном (абсолютном, относительном) и сравнительном голодании
  - § 4 Предварительные замечания о взаимоотношении голода и других детерминаторов
  - § 5 Депрессирование и ослабление голодом детерминатора индивидуальной самозащиты и соответственных защищающих жизнь рефлексов
  - § 6 Депрессирование и ослабление голодом детерминатора групповой самозащиты и соответственных рефлексов
  - § 7 Депрессирование и ослабление голодом полового детерминатора и половых рефлексов
  - § 8 Депрессирование голодом рефлексов «свободы» поведения
  - § 9 Депрессирование и ослабление голодом ряда контрарных болевых рефлексов
  - § 10 Депрессирование, ослабление и «выветривание» голодом ряда условных детерминаторов поведения, данных в социальной природе человека и вызываемых ими условных рефлексов, установленных в процессе социальной жизни индивида (религиозных, правовых, моральных, эстетических и др. актов и форм социального поведения)
- Заключение и резюме

### Глава третья

#### ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ МАССОВОГО ГОЛОДАНИЯ

- § 1 Главные формы социальных эффектов детерминатора питания
- § 2 Постановка вопроса и суммарный перечень основных первичных функций массового голодания

### Глава четвертая

#### ГОЛОД, ИЗОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ И УЛУЧШЕНИЕ СТАРЫХ СПОСОБОВ И ИСТОЧНИКОВ ПРОПИТАНИЯ

### Глава пятая

#### ГОЛОД, ВВОЗ И ВЫВОЗ ПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

### Глава шестая

#### ГОЛОД И ЭМИГРАЦИЯ (МИРНАЯ)

### Глава седьмая

#### ГОЛОД И ВОЙНА (НАСИЛЬСТВЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ, ИММИГРАЦИЯ И ЗАХВАТ ДОСТОЯНИЯ ДРУГИХ ГРУПП)

На странице 272 этой главы книга обрывается.

Конец 17 печатного листа приходится на раздел главы седьмой, который повествует о насильственной эмиграции. Вскоре после этого и сам автор работы будет насильно выдворен за пределы Советской России и начнутся десятилетия его вынужденной эмиграции...

Книга П.А.Сорокина отличается фундаментальностью подходов к разработке вопросов голода. Вот что пишет автор в своем предисловии: это — «обобщающее исследование социальной роли питания вообще и голода в частности». Данная работа, подчеркивается далее, «выросла из отдельной главы 8-го тома „Системы социологии“... К такому развертыванию главы в целый том побудила меня теоретическая и практическая важность проблемы питания как фактора».

Судя по приведенному ниже письму П.Сорокина П.Витязеву, в одной из глав затрагивалась тема преступности в связи с голодом (см. п.3 в наст. публикации). Разнообразный фактический материал делает многие выводы автора труднооспоримыми, к тому же он не утрачивает своей печальной актуальности и по сей день.

Сведения об этой книге — из-за конфискации ее тиража — не приводятся в статистических материалах о деятельности издательства «Колос», составленных П.Витязевым.<sup>9</sup> Предпринятые нами архивные изыскания, связанные с деятельностью этого издательства, вывели и на это изъятое из обращения и почти уничтоженное издание. Так, в протоколе последнего общего собрания пайщиков издательства «Колос» 10 июня 1927 года читаем: «Затем (в 1922 году. — С.Б.) следует запрещение книги П.А.Сорокина „Голод как фактор“, пропущенной Главлитом, причем 17 листов было уже отпечатано, а остальные 13 набраны.<sup>10</sup> Это стоило „Колосу“ свыше 3500 рублей (убытка. — С.Б.).»<sup>11</sup>

Короткая выдержка из доклада председателя правления товарищества П.Витязева общему собранию пайщиков издательства «Колос» помогает понять сложность финансового положения этого кооперативного издательства. О моральных издержках подобных запретов говорить не приходится.

Из архива П.Витязева (ЦГАЛИ. Ф.106. Оп.1. Ед.хр.157) для публикации нами отобраны 7 писем П.Сорокина, непосредственно относящиеся к его книге «Голод как фактор». Они лишний раз свидетельствуют о том, что право на самовыражение завоевывалось независимыми издательствами в неравной борьбе. В данном случае эта борьба заметным успехом не увенчалась.

<sup>9</sup> Кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос». 1918—1923. Л., 1924. С.38-40.

<sup>10</sup> В комментариях к русскому изданию автобиографического романа П.Сорокина «Долгий путь» в связи с книгой «Голод как фактор» неточно указывается: «Всего же в ней должно было быть примерно 560 страниц. Набор рассыпали, и сохранилось лишь 10 экземпляров корректурных гранок первых 280 страниц» (Сорокин П. Долгий путь. С. 296). В своей статье 1922 года «Состояние русской социологии за 1918—1922 гг.» П.А.Сорокин пишет о «Голоде...» как о «большом томе в 600 страниц» (Новая русская книга (Берлин). 1922. № 10. С.8). На самом деле сохранились не гранки, а первые 17 печатных листов издания, что соответствует 272 страницам; остальные 13 «рассыпанных» листов набора должны были составить 208 страниц, а всего в книге, таким образом, должно было быть 480 страниц.

<sup>11</sup> Цитируется по копии протокола, находящейся в ЛОГА (Ф. Р-3959. Оп. 13. Д. 392. Л. 249).

(зима 1921 года)<sup>1</sup>

Дорогой Ферапонт Иванович!

Я завтра еду в Тамбов и Поволжье<sup>2</sup> для изучения голода недели на две — на три. Хотелось бы повидаться с Вами. На всякий случай рукопись «Голода» оставляю у проф<ессора> Немилова Ант<она> Вит<альевича><sup>3</sup> (Царск<ое> Село, Магазиная ул., 98). В случае, если холера унесет меня — надеюсь, это не случится — рукопись (в чистом виде готовы 2/3 рукописи, остальные в черновике, но разборчивом) возьмите ее у него (он предупрежден) и делайте с ней, что хотите. Затем, ввиду отъезда, в счет августа просил бы дать мне тысяч 60—70 <рублей>. Буду очень благодарен. Завтра зайду между 4—5 часами. Ваш П.Сорокин.

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> Возможно, датировку письма следует связывать со следующими местами автобиографического романа П.А.Сорокина «Долгий путь»: «Зимой 1921 г. я отправился в районы бедствия Самарской и Саратовской губерний для научного изучения массового голода» (С.153). И далее: «За эти двадцать дней, проведенных в районах бедствия...» (С.155). По сравнению с текстом письма «география» поездки П.А.Сорокина в романе ограничена только Поволжьем. Намерение Сорокина побывать и в Тамбове симптоматично, поскольку и в центральных губерниях страны свирепствовал голод. Во всяком случае сроки поездки («недели на две — на три» — в письме Витязеву и «двадцать дней» — в романе) подтверждают, что речь идет об одном и том же событии. Нельзя сбрасывать со счетов и следующее обстоятельство: автобиографический роман П.А.Сорокина «Долгий путь» впервые опубликован в США на английском языке в 1963 году, то есть спустя сорок с лишним лет после трагических событий в России в 1921 году. Память могла в чем-то подвести автора.

<sup>3</sup> Немилов Антон Витальевич (1879—1942) — гистолог, профессор Петроградского университета и Сельскохозяйственного института

## 2

6/VII 1922

Дорогой Ферапонт Иванович!

Увы! Вас не дождался. А нужно бы переговорить. О чем? Вам скажет вкратце Ал<ександра> Ив<ановна> <Доброхотова>.<sup>1</sup> Если Вы не уедете до субботы — то в субботу часов около 5 ч<асов> 30 м<инут> вечера я зайду к Вам — сюда. Может быть, между 5 и 7 ч<асами>. Вы будете? Если для этого дела теперь же мне надо выехать в Москву — я готов хоть завтра. Жму руку. Ваш П.Сорокин.

P.S. Если нужно Вам теперь же предпринять шаги — (перегов<оры> с Л<исовским>?)<sup>2</sup> etc.) — дружески сделайте это.

<sup>1</sup> Доброхотова Александра Ивановна — секретарь правления издательства «Колос», в прошлом член партии социалистов-революционеров. Упоминается в кн.: *Цветаева А.* Воспоминания. М., 1974. С. 121—122.

<sup>2</sup> Вероятно, речь идет о М.Лисовском — бывшем комиссаре печати, пропаганды и агитации в Петрограде, заведующем Петроградским отделом печати, фигуре достаточно одиозной. Упоминание о нем см.: *Витязев П.* Частные издательства в Советской России. Пг., 1921.

## 3

27/VII&lt;19&gt;22

Возвращаю корректуру листов и гранок. Очень жаль, что Бородина<sup>1</sup> выбросила из главы о преступности все данные <по> России за эти годы (8 форма) (хотя все они официальные данные). Они-то и составляют самое яркое доказательство теории этой главы. Нельзя ли объясниться с ней и сказать, что так не годится и что тут же политики нет. Если можно поговорить — хорошо. Если нельзя — черт с ней. Пусть идет без этого. Жаль, конечно, и начала главы о революции, но... делать нечего.<sup>2</sup> Возвращаю и все корректурные гранки. Жму руку. Едем завтра в 9 час<ов>. Вот что. Не можете ли дать мне мил<лионов> 20 или 30? Выручите. И что вообще нового у Вас?

Ваш Голодников.<sup>3</sup>

P.S. Сверстанные листы я еще не подписал к печати. Когда дадут последнюю корректуру — пусть окончательно посмотрит Васильева<sup>4</sup> (сверху по моей корректуре) — то же относится и к просмотренным гранкам (формы 7-10), и тогда эти листы можно печатать. Ваш Г<олодников>.

<sup>1</sup> В фонде Петроглавлита (ЛОГА. Ф.57) по данным на 1923 год значится: Бородина Е.С. — политический редактор.

<sup>2</sup> Ср.: «Еще до публикации («Голода как фактора». — С.Б.) многие параграфы и даже целые главы были вырезаны цензурой. Книга как нечто цельное погибла, но то, что осталось, было все же лучше, чем ничего» (Сорокин П.А. Долгий путь. С.156). Как видим, цензура усердствовала и в дальнейшем, на стадии прохождения корректуры.

<sup>3</sup> Письмо подписано шутивно-серьезным псевдонимом — Голодников. В нем содержится скрытый намек на переживания автора в связи с выходом книги «Голод как фактор». Он напрямую перекликается с просьбой П.Сорокина одолжить ему некоторую сумму денег, поскольку он находился в затруднительном положении.

<sup>4</sup> По всей вероятности, речь идет о корректуре.

14/IX 1922<sup>2</sup>

Дорогой Ферапонт Иванович!

Спасибо за письмо. Вчера был в Г.П.У., где объявили о высылке в 10 дней.<sup>3</sup> Завтра надеюсь получить паспорт. Корректуры все посылаю Вам. Так как я пробуду здесь еще 10 дней, то шлите корректуру.

Затем прошу: 1) прислать все напечатанные листы «Голода», 2) сверх них — все сверстанные, 3) сверх них — дальнейшие дубликаты гранок (я их не имею, кроме 20-й формы). Все это я беру с собой (разрешено). Ради бога, сделайте это. Не забудьте. Далее, по выходе книги прошу Вас отправить ее: 1) в Ара<sup>4</sup> (Питер) д-ру Walker'у, м-ру Keen'у и м-ру Свану, 2) в московский центр «Ара» (3 экземпляра), 3) в миссию Нансена (по 2 экземпляра в Питер и Москву). Не забудьте это сделать. А в общем, вышлите мне по будущему адресу.

Горячий привет Алекса<sup>5</sup>ндру Ива<sup>6</sup>новне, всем девицам. Пока, крепко жму руку. Обнимаю. Ваш Пит<sup>7</sup>ирим.

P.S. Пишите о тамошних делах.

Ник<sup>8</sup>олай Дмитриевич <с> 8 месяцев все сидит.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> У Сорокина ошибочно: XI.

<sup>2</sup> Год проставлен рукой П.Витязева.

<sup>3</sup> Как свидетельствует сам Сорокин, ему было сообщено об этом решении в Москве 13 сентября 1922 года (Сорокин П. А. Долгий путь. С.158).

<sup>4</sup> АРА — сокращенное наименование Американской администрации помощи (American Relief Administration), которая представляла собой объединение нескольких благотворительных и религиозных организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Соглашение о помощи было подписано в Риге 21 августа 1921 года с американской стороны Г.Гувером, со стороны России — М.Литвиновым.

<sup>5</sup> Миссия Нансена действовала при Лиге Наций; Ф.Нансен в 1921 году выступил одним из организаторов международной помощи голодающим Поволжья.

<sup>6</sup> А.И.Доброхотова.

<sup>7</sup> По всей вероятности, имеется в виду Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938) — близкий знакомый П.А.Сорокина, известный профессор-экономист, с 1920-го по 1928 год директор Конъюнктурного института. В 1929 году вместе с А.В.Чаяновым проходил в качестве обвиняемого по сфальсифицированному процессу «Грудовой крестьянской партии».

<sup>8</sup> Несмотря на указания комментатора в издании автобиографического романа П.Сорокина «Долгий путь», что Кондратьев «с 1922 года... в тюрьме не сидел. Кондратьева арестовали в 1930 году и более на свободу он уже не вышел» (С. 275), сам П.А.Сорокин в подглавке «Высылка» (С. 156) указывает, что арест Кондратьева имел место 10 августа 1922 года в Москве. Очевидно, и месяц спустя участь Кондратьева не изменилась.

17 сент<sup>9</sup>ября <1922>

Дорогой Ферапонт Иванович!

Сегодня же возвращаю корректуру.

И снова убедительно прошу Вас срочно выслать мне: 1) все напечатанные листы «Голода», начиная с 9-го, 2) сверх них — все дальнейшие сверстанные листы, 3) сверх сверстанных листов — все дальнейшие дубликаты гранок. Мне они нужны с собой. Очень прошу Вас это немедленно сделать.

Я уезжаю 23 — в субботу.

Благодаря Вам и «Колосу» набрал денег на дорогу до Праги.<sup>1</sup> А там видно будет. Спасибо Вам большое за все, за все.

Пожалуйста, не забудьте: 1) составить список главных опечаток, 2) по выходе отправить по 2-3 экземпляра в петроградское и московское Ара (в Петрограде: мистеру Кини, д-ру Walker'у, Swan'у) и в миссию Нансена (в московское и петроградское отделения). Свой адрес я дам потом. Получив его, постарайтесь выслать мне 25 экземпляров «Голода», а то и больше (на продажу).

Горячий привет Ал<sup>2</sup>ександру Ива<sup>3</sup>новне, Федору Яковлевичу,<sup>3</sup> всем девицам, Раз<sup>4</sup>умнику Васильевичу и всем друзьям вообще.

Крепко обнимаю и целую Вас.

Ваш душевно Пит<ирим>.

P.S. Повоюйте в меру возможности с цензурой.<sup>5</sup>

Сердечный привет от меня всем в «Колосе». Ал<ександру> Ив<ановну> благодарю за поручения, дальнейшее по этому делу выполнит О.В.Троицкая.<sup>6</sup> Всего хорошего. Е.Сорокина.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Судя по всему, П.Сорокин планировал в первое время обосноваться в Праге. Выехав 23 сентября 1922 года в латвийском дипломатическом вагоне из Москвы, он с женой через несколько дней очутился в Берлине. Будучи в Берлине, вспоминает Сорокин, «я получил из Чехословацкого посольства приглашение моего друга доктора Масарика, президента Чехословацкой Республики, приехать в Прагу в качестве официальных гостей страны» (Сорокин П.А. Долгий путь. С.161). Сорокину была назначена специальная стипендия, как и другим русским ученым; в Чехословакии он провел 9 месяцев, пока не получил приглашение из Соединенных Штатов прочесть цикл лекций о русской революции. Отъезд из Чехословакии состоялся в октябре 1923 года.

<sup>2</sup> А.И.Доброхотова.

<sup>3</sup> Вероятно, имеется в виду Ф.Я.Шевченко — один из учредителей книгоиздательства «Колос», исполнивший обязанности заведующего технической частью.

<sup>4</sup> Иванов-Разумник Разумник Васильевич (наст. фамилия Иванов; (1878—1946) — русский литературовед и социолог. Автор знаменитой «Истории русской общественной мысли».

<sup>5</sup> Далее идет приписка жены П.А.Сорокина.

<sup>6</sup> О ком идет речь, установить не удалось.

<sup>7</sup> Сорокина (Баратынская) Елена Петровна (1894—1975) — жена П.А. Сорокина. В 1912—1917 годах училась на Высших женских Бестужевских курсах в Санкт-Петербурге. По профессии ботаник-цитолог. Докторскую диссертацию защитила в США в 1925 году (университет Миннесоты). В последние годы жизни пыталась перевести на английский язык книгу «Голод как фактор», но успела сделать и издать только краткий реферат (см.: Сорокин П.А. Долгий путь. С.274—275, 296).

## 6

22 сент<ября><1922>

Дорогой Феропонт Иванович!

Получил вчера корректуры и Ваше милое письмо.

Спасибо Вам огромное за все, за все. Не нужно говорить, что я увожу с собой о Вас да и о всем «Колосе» прекраснейшие воспоминания и чувства. Не согласен только с тем, что мы расстанемся навсегда. Я твердо верю, что через 2-3 года мы встретимся и, если Вы и «Колос» не измените ко мне своего доброго отношения, то будем еще работать вместе.

Завтра выезжаем. И если не будет новых сюрпризов, в понедельник будем в Риге. В Риге, кстати, предлагают мне и другим профессорам профессорство. Но я пока не имею охоты оставаться там.

В заключение еще просьба.

На городской квартире я оставил часть книг. Если бы это не оказалось для Вас очень трудным, то при случае я очень просил Вас эти книги взять к себе или в «Колос». Для этого достаточно будет показать Евг<ению> Эмил<евичу> Мандельштаму<sup>1</sup> или М.Н.Дармолатовой<sup>2</sup> это письмо.

Адрес: Вас<ильевский ост<ров>, 8 линия, д.31, кв.5.

Очень обяжете меня, если возьмете на себя этот труд. Если же Вам сделать это трудно — не беспокойтесь.

Горячий привет Вам от Лены,<sup>3</sup> а от обоих — всему «Колосу».

Крепко обнимаю Вас и жму руку.

Ваш Питирим.

P.S. Часть изданий «Колоса» (не распроданных) для образца я захватил и буду демонстрировать за рубежом. О результатах напишу. Будьте здоровы. Ваш Питирим.

<sup>1</sup> Мандельштам Евгений Эмилевич (1898-1979) — младший брат О.Э. Мандельштама, близкий знакомый и сосед по дому П.А.Сорокина.

<sup>2</sup> Дармолатова М.Н. — хозяйка квартиры, в которой жил П.А.Сорокин.

<sup>3</sup> Е.П.Сорокина (Баратынская).

[Б.д.]

Дорогой Ферапонт Иванович!

Мне сделано — пока еще не окончательное — предложение перевести мою работу о «Голоде» на англ<ийский> язык и издать ее на английском яз<ыке> в Америке.<sup>1</sup>

Не знаю, выйдет отсюда что-либо или нет, но, на всякий случай, хотел бы иметь копию с рукописи или рукопись с тем, что если вопрос решится положительно, то передать текст для увоза, перевода и печати.

Посему, нельзя ли несколько ускорить переписку? Буду Вам весьма признателен.

Любящий Вас П.Сорокин.

P.S. Оказывается, у меня на квартире здесь был Неккер,<sup>2</sup> но я был в Царском <Селе>. Ваш П.Сорокин.

<sup>1</sup> По нашим сведениям, подобное издание на английском языке не состоялось. См. также прим.7 к п.5.

<sup>2</sup> Кого имеет в виду П.А.Сорокин, нам установить не удалось.

## «ВОСПОМИНАНИЯ» ВАДИМА МОРКОВИНА

(ПУБЛИКАЦИЯ Д.В.БАЗАНОВОЙ)

Публикуемые воспоминания принес в редакцию Анатолий Дмитриевич Алексеев. Они были маленькой частицей его уникального собрания.<sup>1</sup>

Анатолий Дмитриевич был не только знатоком Петербурга и русской живописи, составителем знаменитой картотеки эмигрантской периодики. (Работу над этой картотекой Анатолий Дмитриевич начал во времена, не располагавшие к подобным темам. Это было риском даже в академических (но тем не менее имеющих уши) стенах Пушкинского Дома.) Анатолий Дмитриевич прекрасно знал историю гражданской войны в России, сказав даже как-то, что с этого интереса и началась его научная судьба. И своим ежедневным многолетним трудом над историей русского литературного зарубежья он как бы соединял разделенную этой войной культуру.

«Воспоминания» Вадима Владимировича Морковина (1903—1973) писались в Праге, в конце 60-х годов. Поэт и прозаик, Морковин почти не имеет «печатной» литературной биографии. Два стихотворения в сборнике «Скит» 1933 года, два — там же 1934-го, два стихотворения в журнале «Воля России», отрывки из поэмы в альманахе «Новь» и эта же поэма отдельной книжечкой в одноименном издательстве — едва ли не все, опубликованное им. «Просматривая свои бумаги, убеждаюсь, что писал всю свою жизнь. К сожалению, почти ничего опубликовать не удалось... Очень много моей прозы осталось незаконченной. Когда меня охватывал зуд, я садился к столу и писал. Написав несколько страниц, я вспоминал, что работаю „на склад“, и тогда карандаш выпадал из моих рук... Лучшая и единственная школа для писателя — печататься. Я этой школы не прошел...» («Воспоминания»).

Скудны и сведения о Вадиме Морковине в историко-литературных работах. Самое, пожалуй, существенное из сказанного о нем, — фраза Г.П.Струве: «Морковин напечатал в „Нови“ любопытную поэму о встрече Дон Жуана с Дон Кихотом («Тобоз»). — Д.Б.».<sup>2</sup>

В 1969 году Вадим Морковин напомнил о себе еще раз, издав 135 (правда, сильно купированных) писем Марины Цветаевой к Анне Тесковой.

В «Воспоминаниях» — обилие литературных имен. Автор видел многих, занимавших противоположные художественные и политические позиции, разные места в табели о рангах русской словесности. Он видел Маяковского, знал Вас. Немировича-Данченко, бывал у

<sup>1</sup> Об А.Д.Алексееве, его книжном собрании и созданных им картотеках см.: *Эльзон Михаил. Прощай, честный человек: (Памяти А.Д.Алексеева) // Русская мысль (Париж). Литературное приложение. 1990. 2 ноября. № 11.С.XV; Обатшин Г.В. Научные чтения памяти Анатолия Дмитриевича Алексеева // Русская литература. 1991. № 3. С.200—202.*

<sup>2</sup> *Струве Г.П. Русская литература в изгнании. 2-е изд., испр. и доп. Париж, 1984. С. 358.*

Мережковских, Цветаевой, Ремизова, Романа Гуля. Прогуливался по Парижу с Аллой Головиной и танцевал на балу с Лидией Червинской. С Анатолием Штейгером ходил смотреть на собрание партии младороссов, а с Периклом Ставровым — на нагих танцовщиц в ночном ресторане.

Вадим Морковин пишет и о своей семье. Семье отчасти литературной (его отец был сотрудником «Русского слова», писал под псевдонимом «Вл. Белгородский») и, кроме того, эсерской. Сам Морковин был вне политики и партий. Но усвоенное в детстве остается на всю жизнь, проявляясь неожиданно. «Мережковский для меня был гроб повапленный» — вполне уместно для молодого пражского поэта. «Мережковский был небольшого роста, суховатый интеллигент, но не нашего крыла» — скорее мог сказать не Морковин, а политически опытная Е.Д.Кусова.

Не всегда точны приводимые автором сведения. Иногда они весьма спорны. «Ходасевич кончил сотрудником „Возрождения“, а начал заместителем наркома просвещения» — случайно высказанная автором мысль начинается «свой долгий путь — к Бердяеву, от него к экзистенциалистам».

О виденных им знаменитых Мережковском, Гиппиус, Тэффи, Георгии Иванове, Владимире Набокове и других Вадим Морковин не вспоминает ничего особо значимого. Но это не умаляет ценность его воспоминаний. Часто он просто говорит о том, что жизнь продолжается и вне России. И живые зарисовки парижских ресторанов и не совсем удачного визита в Grand Océan, гимназии в Моравской Тшебове и съёмочной площадки, где статистами подрабатывали многие русские, — все это помогает не знавшим той жизни лучше понять ее, а следовательно, лучше понять русскую зарубежную литературу.

В своих воспоминаниях Вадим Морковин предстает истинным «русским пражанином», постоянно спорящим с литературной «столицей зарубежья» — Парижем.

В середине 20-х годов журнал «Воля России»<sup>3</sup> в известной степени был выразителем независимой пражской литературной политики. По свидетельству М.Л.Слонима, «программа литературного отдела „Воли России“ шла по трем линиям: свободная критика зарубежных писателей и разоблачение кумовства и кружковщины («все в Париже сидят за одним чайным столом»); ставка не на именитых, а на молодых и неизвестных; ознакомление читателей с тем, что происходит в советской литературе, выделяя ее лучшие образцы и ведя борьбу за свободу слова и творчества».<sup>4</sup> Пражане во многом следовали московской поэтической традиции: «...парижане говорили о пражанах: они очень уж „пастерначат“... слишком верят в мастерство и поэтому будто бы забывают о самом главном».<sup>5</sup>

Спорящих возглавляли А.Л.Бем (и отчасти М.Л.Слоним), с одной стороны, и Г.В.Адамович — с другой. Последний даже выделял «петербургский элемент» как главный критерий не только для молодой зарубежной, но и вообще русской современной поэзии. В рецензии на изданный в советской России сборник ленинградских поэтов он писал: «„Петербургские стихи“ — оазис в пустыне медленного одичания. Не дарованием они противопоставляются всему остальному, а тем, что довольно расплывчато обозначается словом „культура“».<sup>6</sup>

В описанное Морковиным объединение «Скит поэтов» (его временные рамки четко определены в тексте: 26 февраля 1922 года—15 марта 1939-го) входили люди совершенно разной литературной судьбы, с по-разному сложившейся жизнью. Заняли достойное место в истории русской зарубежной поэзии Вячеслав Михайлович Лебедев (1896—1969) и Алла Сергеевна Головина (1912—1987), наконец-то изданная на родине. Стал известным ученым-славистом Николай Ефремович Андреев (р.1908), автор книги «Studies in Moscow-Western Influence and Byzantine Inheritance». Признан в России блестящий прозаик Василий Георгиевич Федоров (1895—1959). Евгений Сергеевич Гессен погиб в нацистском концлагере, а близкий к «Скиту поэтов» критик Герман Дмитриевич Хохлов (1908—1937?), возможно, в советском. Подававший большие надежды Алексей Владимирович Эйснер (1905—1984) в советском концлагере выжил, но о пражском литературном прошлом, кажется, предпочитал не вспоминать. Стал священником и ушел из литературной жизни один из первых

<sup>3</sup> «Воля России» выходила в Праге с 1922 года, сменив одноименную газету. С 1927 до 1932 года издавалась в Париже.

<sup>4</sup> Слоним Марк. «Воля России» // Русская литература в эмиграции: Сб. статей под ред. Н.Полторацкого. Питтсбург, 1972. С.297.

<sup>5</sup> Иваск Юрий. Поэзия «старой» эмиграции // Там же. С.66.

<sup>6</sup> Адамович Георгий. Литературные беседы: Петербургские сборники стихов // Звено. 1927. № 2. С.67.

«скитников» Александр Туринцев. И воистину «принял мученический венец» руководитель «Скита», видный историк литературы Альфред Людвигович Бём (1886—1945).

К середине 30-х годов несколько поредевший «Скит поэтов» (многие перебрались в Париж) становится литературным центром русской Праги. «Кажется, только один „Скит“ продолжает работу... Но и “Скит”, формально насчитывающий тридцать членов, переживает сейчас некоторый кризис... Боюсь, что название единственной живой литературной организации Праги — “Скит” — окажется в некотором смысле вещим», — писал в 1934 году Н.Андреев.

Небогатая фактографически, «парижская» часть воспоминаний тем не менее чрезвычайно интересна. Литературные успехи автора в столице Франции объясняются не только степенью таланта, но и его пражской принадлежностью. «Для парижских поэтов все, что шло из Праги и Берлина, было заведомо плохо — провинция!»;<sup>7</sup> «...все, кто приезжал из провинции, то есть из Праги («Скит поэтов»), или из Бельгии, или еще откуда-нибудь, должны были пройти два года „подготовительных классов“...» Вадим Морковин описывает или упоминает встречи почти со всеми значительными поэтами «второго поколения» парижской эмиграции — это Анатолий Сергеевич Штейгер (1907—1944), Борис Юлианович Поплавский (1903—1935), Владимир Сергеевич Варшавский (1906—1977), Довид Кнут (Давид Миронович Фиксман; 1900—1955), Владимир Алексеевич Смоленский (1901—1961), Анна Семеновна Присманова (1898—1960), Александр Самсонович Гингер (1897—1965), Борис Борисович Божнев (1898—1969), Лидия Давыдовна Червинская (1907—1982), Антонин Петрович Ладинский (1896—1961).

Рассказ «о жизни среднего русского эмигрантского писателя» — воспоминания Вадима Владимировича Морковина — должен занять свое место в мемуаристике русского рассеяния и тем самым вернуть из безвестности имя их автора.

Текст «Воспоминаний» публикуется с незначительными купюрами.

На этих страницах я хочу рассказать о жизни среднего русского эмигрантского писателя. Литературных заслуг у меня, правда, не очень много, а жизнь выдалась не вполне среднеемигрантской, но это уже не моя вина.

Я старался писать как можно честнее — и о других, и о себе, без какого-либо украшательства. О себе пишу чаще, ибо о себе больше знаю. Людям моего возраста известно, что в конце жизни начинаешь ее рассматривать вполне беспристрастно, без всякого самолюбования.

Я родился 1-го мая 1906 г. в Москве. (...)

Мой отец, Владимир Морковин, вместе со своим братом Борисом (которого почему-то в молодости звали «чемоданом») в студенческие годы занимался революционной деятельностью, за что много раз сидел в царских тюрьмах. В девятисотых годах они оба были высланы в Нижний Новгород, где сошлись с А.М.Горьким. В московских архивах до сих пор хранится часть дядиной переписки с Алексеем Максимовичем. (...) Позднее эта связь если не прекратилась, то несколько ослабела, из-за дядиной эмиграции в 1904 г. за границу. Дружба же с моим отцом прервалась так — когда А.М.Горький развелся с Екатериной Павловной Пешковой и сошелся с М.Ф.Андреевой, то мои родители, как и многие москвичи, осуждали этот шаг, потому что Пешкова была старая революционерка, а Андреева — актриса. Однажды Андреева к нам позвонила, передавая привет от А.М.Горького и его желание повидать отца. Трубку сняла моя мать.

— Жена Горького, — переспросила она. — Значит, Екатерина Павловна?

Андреева, естественно, бросила телефонную трубку, и с тех пор встречи прекратились.

Моя мать, после гимназии, училась в Сорбонне, которую, впрочем, не окончила. Вернувшись в Россию, она включилась в подпольщину и тоже не избежала арестов<...>

Моя мать, по свидетельству ее брата Аркадия, которого я еще застал в Москве в 1961 г. в живых, была в молодости очень хороша, но позже, к своим 30—35 годам, подурнела. Со временем у нее образовались совершенно обломовские черты. Всю свою жизнь она пролежала с книгой — даже во времена вполне для этого неподходящие. Она была одной

<sup>7</sup> Н.А.—в. [Н.Андреев]. Осенние листья // Новь. 1934. № 7. С.91—92.

<sup>8</sup> Цит. по: Лосская Вероника. Марина Цветаева в жизни: Неизданные воспоминания современников. Нью-Йорк, 1989. С.108 (воспоминания М.Л.Слонима).

<sup>9</sup> Там же (воспоминания Л.Зурова).

из начитаннейших женщин своего века, но никакой пользы от этого никогда и никому не было. Раз (...) в Праге состоялась лекция одного польского профессора о Пушкине. Внезапно он занулся, позабыв имя героини «Метели».

— Ну, как же ее звали, — повторял он нетерпеливо.

В зале было несколько сот человек. Все сидели молча. Тогда моя мать встала и напомнила:

— Мария Гавриловна...

Я начал себя помнить лет с пяти. Детские воспоминания, дорогие каждому лично, весьма неинтересны другим. Поэтому остановлюсь лишь на определявших мою личность.

Мое воспитание было вверено, как это было тогда принято, сначала няне Дуняше, потом бонне Елене Ивановне. Дуню я помню уже очень плохо, вспоминаю лишь, что она была смешлива. По странному обычаю тех времен, она ходила со мной гулять в кокошнике.(...)

В мои лет шесть начались празднования трехсотлетия дома Романовых. Был устроен торжественный звезд царской семьи в Москву. Отец, как журналист, получил место у окна на Тверской улице. Окно было высоко, царь на коне и его жена с детьми в открытой карете казались далекими и маленькими.

Потом отец с хохотом рассказывал, как царя должны были снимать неподалеку от памятника Пушкина. Для этого он спешился. Неожиданно откуда-то упал резиновый фотографический баллон. Царь, по словам отца, «отскочил, как кошка». Он любил сниматься и боялся бомб.

Неудивительно, что после таких рассказов пышные торжества на Красной площади, в парчовых старинных нарядах, с воздетыми руками и поднятыми глазами, мне казались скучными и неискренними. С тех пор нелюбовь к казенным празднествам у меня осталась навсегда.

Очевидно, в состав торжеств входила и «Жизнь за царя» в Большом. По ходу действия один из героев на авансцене кричит: «Спасайтесь!» Я вскочил и, под общий смех, убежал по проходу между креслами.

В то время в моду вошло танго. Помню, мать себе купила блузку «танго», т.е. оранжевого, вроде георгиевского, цвета, впрочем, чуть с розоватинкой. Настя, наша кухарка, увидав блузку, сказала с осуждением:

— Эк-вы, барыня, купили... Цвет-то какой немодный... У нас в деревне такой цвет давно носить перестали...

Сравнительно недалеко от нас (мы жили тогда на Кудринской-Садовой, в доме «Пигит»). В 1961 г. он еще стоял) помещалось варьете «Аквариум». Родители там были, отец потом рассказывал знакомым, что они видели «настоящее аргентинское танго». Мать меня сразу же выставила за двери — танго считалось настолько неприличным танцем, что при детях нельзя было о нем говорить.

Летом 1914 г. мать со мной поехала во Францию. Мы провели несколько дней в Париже (моя первая встреча с Эйфелевой башней!), а потом уехали в Берк-пляж, где пробыли некоторое время. Но слухи стали очень тревожными, мы вернулись в Париж. Оставив меня у знакомых, мать пошла в русское посольство.

— В газетах пишут ужасные вещи, — сказала она. — Что мне делать?

Консул ей посоветовал вернуться в Россию ближайшим поездом. Она собрала вещи, и мы уехали. Берлин нас встретил воинственными демонстрациями с флагами и криками. В этот день поезда на Александрово уже не было, и мы остались в гостинице, недалеко от Центрального вокзала. К моему удивлению, я нашел еще этот дом в 1964 г., хотя все кругом было превращено в щебень. Там же ночевали еще две русские семьи, состоявшие из женщин и детей. Утром пришел за нами, как было условлено, носильщик с вокзала и сообщил, что наш багаж пропал.

— Что ж поделаешь, — решила мать. — Поедем без сундука.

— Ну нет, — ответила одна из русских дам. — Я накупила в Париже французских платьев... Они стоили больших денег... Я должна найти свой багаж...

В Александрове к нам пришел начальник станции.

— Вы проскочили чудом, — сказал он. — Всякое сообщение с Германией прервано. Мобилизация уже объявлена. Через час мы отправляемся к своим полкам.

Подосевший русский носильщик добавил, что в багажном вагоне стоит наш сундук.

Через много лет мы узнали, что обе русские семьи, застрявшие в Берлине, после долгих мытарств были обменены Красным Крестом через Швецию за каких-то немцев. С тех пор я научился, в случае нужды, жертвовать всем и вообще пренебрегать имуществом.

Говорят, что если бы полковник Редль не скрыл от австрийского генерального штаба существование 75 русских дивизий, первая мировая война бы не началась.

Как бы там ни было, брат моей матери, дядя Аркадий, начал ходить к нам в защитном. Он напевал странную, никогда мною позднее не слышанную песенку:

Трубочка на диво,  
С резьбой по краям.  
На память командира  
Досталась она нам.  
Наш полк идет вперед,  
Сам и рубит, сам и бьет —  
Какая позолота,  
С резьбою по краям...

Потом его полк послали на запад.

Отец со своими братьями, как туркестанцы, не были военнообязанными. Тем не менее его два брата — Анатолий и Николай — учились в офицерских училищах. После выпуска они ушли на фронт, а отец вскоре последовал за ними — начальником земгоровской санитарной автоколонны. (...)

\* \* \*

В наше время очень часто воспринимают обе революции как непосредственно следующие одна за другой, забывая, что от февраля до октября прошло очень значительное время, гораздо дольше, чем календарных 3/4 года. Я, например, за это время успел пережить эпоху манифестаций и митингов, путешествие с отцом к бабушке в Ташкент, поездку с Еленой Ивановной на пароходе по Волге, переезд на новую квартиру, посещение кузена Юры — насколько же богаче должны были быть впечатления взрослых!

Наша семья в феврале жила в мезонине небольшого деревянного дома, недалеко от Сенной площади. Вернувшийся с фронта отец ходил по собраниям, брал меня с собой на шествия. Обыкновенно он просто вступал вместе со мной в какую-либо колонну. Раз знаменосец меня что-то спросил, я не расслышал что. Смутившись, я ответил — нет. Отец сказал:

— Товарищ спрашивает — социалист ли ты — революционер?  
— Нет, — повторил я упрямо.

Отец, видимо, огорчился, знаменосец неодобрительно отошел.

Как-то отец произнес речь со ступеней памятника Пушкина (он тогда стоял по другую сторону площади. Никакого смысла переносить его, по-моему, не было). Мне понравилось, что он говорил, вероятно, впрочем, в силу сыновних чувств, а не по содержанию. (...)

Позднее, к лету, он поехал по делам в Самарканд, заодно желая посетить отчий дом в Ташкенте. Он взял меня с собой. Мать осталась в Москве. (...)

Еще в поездке отец мне рассказал о поливном земледелии, о том, как вода течет из крупных арыков в меньшие и мельчайшие. По приезде я попросил бабушку разрешить мне поливку. Подняв затвор, я бегал по саду, следя, как растекается вода, как жадно ее впитывает земля...

Тетя Лида вышла на веранду в белом платье и кликнула меня ужинать. Потом бабушка загла меня спать.

Утром, за столом, тетя Лида насмешливо сказала:

— Ну вот, после завтрака пойдем посмотрим, что ты натворил...

Она вывела меня из сада. О, ужас! Вода, оставленная мною без присмотра, перевалила через улицу и подмыла противоположный глинобитный забор. На его месте было несколько жалких саманных куч. Вдоль них ходил высокий, статный узбек в цветном халате и белой чалме — хозяин разоренной ограды. Увидев меня, он расправил свою крашенную хной бороду и зычно крикнул:

— А ну, пойдн сюда...

Испуганный его видом и сознанием собственной вины, всхлипывая, я просил прощения. Узбек, подперев бока, долго хохотал, а потом сказал:

— Быть тебе водным инженером...

Я им стал, но до этого еще много воды протекло ташкентскими арыками. (...)

Я побывал в старом городе, гулял вдоль головных арыков, играл в бабушкином саду. Но жара меня одолевала, мне было жарко, болела голова. Приглашенный врач слегка присвистнул:

— Ну да, малярия...

Хинин бубнил в уши, два дня я пытался встать, говоря, что уже здоров, на третий метался по постели в испарине.

Отца вызвали из Самарканда, и он увез меня в Москву.

Летом мы переехали в многоэтажный дом в Гагаринском переулке, недалеко от Арбата. Перевезши нас, отец снова уехал на фронт. В этом доме мы с матерью прожили Октябрьскую революцию.

Однажды, в дни боев, я вышел во двор. Выход на улицу был закрыт, у ворот стояла самоохрана. Вдруг над нами разорвалась шрапнель, засыпая двор осколками.

Меня втащили в подезд, я все же успел подобрать большой осколок, упавший совсем рядом. Я его хранил долго, до самого отъезда из России. (...)

Фронт распался окончательно, а потому отец вернулся совсем. Встал вопрос о его работе. По принципиальным соображениям он не считал возможным быть государственным служащим и потому поступил в Центральный союз потребительских обществ. В Центросоюзе он работал в отделе снабжения. По делам службы ему часто приходилось уезжать в далекие командировки. Гражданская война уже начиналась, но в ее начале были идиллические времена, когда продовольственные составы для Москвы перегонялись через несколько фронтов.

Наш дом состоял из двух многоэтажных корпусов. Детей там жило много, среди них помню двух близнецов, воспитанников военной школы, или, как их называли, «кадетов». Зимой мы общими силами построили из снега «эскимосский дом», где сидели и болтали. Я был сильно разочарован, когда позднее туда пустили девочек, мало того, — разговоры с ними предпочитали нашим, мальчишеским. Едва ли не кадеты были основателями этой измены.

Летом 1918 г. они мне признались, что их семья уезжает на юг.

— Вы сами понимаете, — сказали они, — порядочному человеку жить в таких условиях невозможно...

«Отъезд на юг» не был явлением рядовым, но и не исключительным. Он обозначал не только путешествие, но и отрыв. Этой дорогой, полной опасности и невзгод, начиналось расщепление народа.

Зиму с восемнадцатого на девятнадцатый мы с матерью прожили все еще в Гагаринском. Отец застрял где-то в Сибири. Это была ужасная зима. Запасов еды у нас было мало, мы жили впроголодь. Но еще больше нас донимал холод. В доме было паровое отопление, не действовавшее конечно. Отец перед отъездом устроил печурку и раздобыл дрова. Но поленья были мерзлые, в холодной кухне оттаять не могли, а в печурку не лезли. Мать сама их распилить не умела, найти кого-нибудь на эту работу не заботилась. Я старался не вылезать из постели, кровь от конечностей отливала, руки и ноги делались прозрачными и холодными. Это явление у меня проявлялось много лет.

Ранней весной 1919 г. как-то мать меня куда-то послала. На Арбатской площади, перед зданием бывшего Александровского военного училища, на доске была прикреплена карта России с обозначением всех фронтов гражданской войны. Я подошел и принялся внимательно ее изучать.

— Не так смотришь, — сказал за мной грубый голос.

— Как это — не так? — спросил я, поворачиваясь.

Вместо ответа подошедший красноармеец с ружьем мне влепил две оплеухи. Я окаменел от неожиданности.

— Ну, пошел, — и он толкнул меня прочь.

Минуту назад я с гордостью рассматривал пути отступления белых армий. Бессилие и жгучая обида оравнодушнили во мне навсегда эту борьбу.

Летом 1919 г. появился отец и отвез нас на родину матери — в Рязань.

Отделение Центросоюза в Рязани помещалось в двухэтажном кирпичном доме, посередине Почтовой улицы, где она меняла свое направление. (...) На втором этаже, за конторой, была отдельная комната — мы поселились в ней и прожили там около двух лет.

Перед отъездом из Москвы нам рассказывали о Рязани совершенно баснословные вещи, например, что там продают на базаре за деньги(!) молоко, а если посчастливится, то можно достать и масло(!).

— Главное, — говорили нам, — возьмите с собой как можно больше соли...

Мы ехали в теплушке, очень примитивно, но килограммов 20 соли все же с собой захватили. В первый же день мать привела с базара крестьянку с сыном. Придя, он уставился на солонку.

— Хочешь соли? — спросила его моя мать.

Мальчик нерешительно кивнул. Она насыпала ему щепоть на ладонь, и он жадно принялся ее лизать. Так я узнал, что такое соляной голод.(...)

Зимой я немного учился, немного хворал, много читал. Весной, узнав, что в Рязани есть скаутский отряд, туда записался.(...) Я попал в первый патруль — «собак». Нашим знаком отличия были четыре оранжевые ленточки на левом плече.(...)

Пребывание среди «собак» оказало на меня огромное влияние. Там меня научили привязанности к людям, верности, чести. Можно было бы много страниц заполнить лирическими воспоминаниями о 1-м Рязанском отряде бой-герл скаутов. Одним из них является образ Веры Бек — очень красивой, темной блондинки, патрульной «пантер». Она была несколько старше и потому относилась ко мне снисходительно. Из-за каких-то неурядиц она ушла из семьи и жила отдельно. Позднее она сошлась с каким-то военным, по молодости полагая, что это всерьез и навсегда. Для него же эта связь была мимолетной. Поняв это, она застрелилась из его служебного револьвера. Много лет спустя я иногда подписывал свои статьи ее именем, внутренне отмечая, что я ее не забыл.(...)

После окончания гражданской войны (...) наша семья вскоре собралась обратно в Москву. (...) В Москве мы поселились в Замоскворечье, в Садовниках. (...) После рязанского скаутского отряда мне было в Москве одиноко. Правда, во дворе нашего дома собирались подростки, но они — сыновья купеческих или мастеровых семейств — мне были чужды. Отец сызмальства мне внушил глубокое уважение к русской интеллигенции, и я до сих пор горжусь тем, что к ней принадлежу. Безыдейная же среда в Садовниках мне претила.

Вскоре отца арестовали. Его взяли ночью, после тщательного обыска, при котором, однако, ничего не нашли. Больше всего комиссара заинтересовали мной вычерченные карты рязанского княжества — он все не мог взять в толк — что это такое. Отец долго сидел в Бутырской тюрьме, мы с матерью носили ему передачи.

Как-то раз мать меня послала с письмом к Е.П.Пешковой, бывшей тогда председателем Политического Красного Креста. Ко мне вышла в переднюю высокая, очень строгая черноволосая женщина. Она поговорила со мной наставительным тоном и вскоре отпустила. Потом я ее не видел много лет.

Отца выслали в Нижний Новгород. Следователь в тамошней Губчека его спросил:

— Вы ведь уже сидели здесь, студентом?...

— Да, — ответил отец. — А вы что, тогда тоже следователем были?...

— Ну, зачем же вы так, Владимир Владимирович, — сказал тот. — Разве вы меня не помните? Я ходил в рабочий кружок, где вы вели пропаганду...

Это имело большое значение. Отца отпустили на волю, он должен был лишь дать подписку о невыезде да раз в неделю ходить регистрироваться.(...)

Мало сказать, что Нижний Новгород мне нравился — он запал мне в душу. Тогда было решено восстановить Макарьевскую ярмарку, отец пропадал за Окой целые дни, часто беря меня с собой. Позднее эти зачатки технического расцвета России я описал в своем «Желтом и черном».<sup>1</sup>(...)

Наше московское жилище состояло из двух комнат — части бывшей большой квартиры. В большей комнате жила мать, там же стояла обширная отцовская библиотека, собранная им в бытность журналистом. В меньшей, служившей также столовой и кухней, жил я.

Одной из соседок по дому наша квартира приглянулась. Со свойственной полуинтеллигентам бесцеремонностью она обегала соответствующие учреждения, и мы получили приказ переселиться в ее комнату. Мать ходила куда-то протестовать, но дело было проиграно. Какую защиту могла иметь семья политического ссыльного?

Я очень переживал это выселение. Мне было известно о массовых преследованиях интеллигенции в Советской России, все казалось чудовищным, когда это касалось социалистической семьи, в то время как в том же доме злобные реакционеры оставались нетронутыми и процветали. Особенно меня утнетала сваленная в углу навалом отцовская

библиотека. Тогда я еще не испытал, что при всех социалистических режимах в первую очередь преследуют именно социалистов.

Это был первый урок смирения в моей жизни. Впрочем, вскоре я перестал огорчаться. Судьба перевернула дальнейшую страницу.(...)

За содеявшие при побеге политического заключенного отца сослали в Ташкент. Он жил там еще довольно долго. Дядя Аркадий, которого, как уже было сказано, я еще застал в 1961 г. в Москве в живых, рассказывал, что в 1927 г., будучи в служебной поездке в Ташкенте, он виделся с отцом. Вскоре после этого отец умер от рака легких.

Моей матери Раиса Бройде, следовательноница по особо важным делам, сказала:

— Я не могу вам ничего приказать, но настоятельно советую уехать за границу...(...)

Деньги на дорогу и первое обзаведение мы выручили от продажи отцовской библиотеки.

Перед самым отъездом я побывал на московской Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Там меня, естественно, привлекал среднеазиатский отдел. Я осторожно приблизился к трем красавцам-верблюдам, памятуя туркестанскую пословицу: «Бойся лошади сзади, а верблюда спереди», оправдавшуюся на моих глазах. К животным подошли молодцеватый красный офицер с девушкой в белом платье. Верблюд стоял, пережевывая жвачку. Девушка протянула руку, желая потрепать его по скуле. Тогда тот плюнул на нее, обливая все платье зеленой слюной. Она вскрикнула и дала офицеру пощечину, словно бы он был виновником ее неосторожности.

Осенью 1923 г. мы с матерью приехали в Чехословакию.

Как я уже писал, дядя Борис жил с 1904 г. в Праге. Он нам устроил чехословацкие визы. По приезде мы остановились у него.

Не получив систематического образования, я был невежей и, как все невежи, грубым националистом. Всем для меня непривычным я пренебрегал, европейскую культуру полагал не заслуживающей внимания. Мое верхоплойство доходило попросту до смешного — так, я полагал чистые скатерти в ресторане «Русского Дома» за мешанство.

В доме у дяди Бориса жила тетка его жены. Она была горбатенькая, малообразованная, но добрейшей души человек. Как-то раз я принялся широковещательно распространяться, сколько европейских государств могло бы вместиться в одну Якутскую область.

— Да, Вадим, Россия — большое государство... — ответила старушка. Она сказала это совершенно спокойно, без тени иронии (по отношению ко мне), без какого-либо осуждения (меня). Я похолодел от стыда, осознавая свой примитивизм и свою бестактность. Однако прошло еще много времени, пока я понял разницу между национализмом и патриотизмом.

В то время в Праге было очень много русских. Довольно распространенное представление об идеальном единстве эмиграции в корне ошибочно. Даже мнение некоторых советских журналистов о всеобщей ненависти эмиграции к Советскому Союзу не соответствует истине. На самом деле эмиграция делилась на множество толков и объединений, открыто взаимно враждовавших. В «Русском Доме» в Панской улице (ныне ночной клуб отеля «Палац») часто происходили доклады и прения, при которых кипели страсти.

В общем, нам с матерью «Россия № 2», как иногда называли в газетах эмиграцию, не нравилась, и мы всегда подчеркивали, что «мы — советские». В конце 1923 г. уже никто не приезжал из России, а потому к матери несколько раз приходили корреспонденты газет, чтобы получить интервью, но мать решительно отказалась.

В Праге жило много эсеров. Здесь издавался их толстый журнал «Воля России». Мать, как старая эсерка, нашла среди них много знакомых, но в пражскую группу социалист-революционеров не вступила. Она восстановила еще довоенное знакомство с Ольгой Елисейной Колбасиной, дочерью друга И.С.Тургенева.<sup>2</sup> У той было три дочери, но старшие тогда уже жили во Франции. Мое знакомство с младшей дочерью — Ариадной Викторовой — перешло в дружбу, продлившуюся всю жизнь.

Ольга Елисейна с Адей жили в районе, называемом Смихов, на Шведской улице. В том же доме жила Марина Цветаева с дочерью, тоже Ариадной, и мужем С.Я.Эфроном. Очень часто мы сидели вчетвером — обе Ариадны, еще один юноша и я. Меня, мягко сказать, удивило, когда 35 лет спустя Ариадна Сергеевна Эфрон отрицала наше знакомство. Помню, как однажды Сергей Яковлевич нас рассмешил рассказом о гимназисте, сошедшем во время выпускных испытаний с ума и написавшем «верблюодд»... Впрочем, вскоре Цветаева переселилась за город.

Я ходил на какие-то общеобразовательные курсы и выравнивал знания. Но потом я понял тшету такого учения и попросил мать зачислить меня в Моравскую Тршебову. Так называется небольшой городок в северной Моравии, где во время первой мировой войны

был устроен лагерь для военнопленных. Если не ошибаюсь, то именно здесь был в плену дядя Николай. В 1921 г. чехословацкое правительство открыло в пустовавших бараках русскую гимназию. Вне всяких политических соображений следует признать глубоко гуманной мысль дать возможность русским детям, волею судеб оказавшимся за границей, закончить хотя бы среднее образование.

Хотя матери очень не хотелось посылать меня в Тршебову, все же она оформила мой прием и в начале зимы 1924 г. я приехал в гимназию.

Наряду со справедливости отметить, что в ней сошлись лучшие учительские силы. Директором и одновременно преподавателем физики тогда был Арам Емельянович Когосьян, математики — Димитрий Димитриевич Гнедовский, истории — Владимир Николаевич Светозаров, латыни — Федор Карпович Фролов. И другие учителя были на высоте, но эти четверо дали мне такие глубокие познания, что их мне хватило на всю жизнь.

Алла Головина впоследствии написала о Тршебове роман — «Необыкновенная гимназия», говорят — остро насмешливый. Судить не могу, я его не читал.

Меня гимназия встретила в общем «в штучки». Этому не приходится удивляться — большинство учителей и воспитанников попали сюда из гимназий и кадетских корпусов, находившихся в зоне влияния белой армии, а тут вдруг приехал ученик с советским паспортом.

По гимназическим правилам я был принят в особый, так называемый «репетиторский класс», куда зачислялись ученики, поступившие в середине учебного года, где они подгоняли знания до учебной программы. Моими пробелами были — латынь, чешский и закон божий. Впрочем, и другие знания нужно было дотянуть...)

В Моравской Тршебове я встретился с человеком, оказавшим огромное влияние на всю мою жизнь. Это был Анатолий Штейгер.

Его отец — Сергей Эдуардович — заведывал нашей гимназической библиотекой. Его сестры и брат — Алла, Лиза и Сережа — учились у нас. Самому же Анатолию методическое учение было не по нутру, у него было сердце конкистадора. Это сравнение не случайно — он был бароном. Но самое его баронство было необыкновенным, как все в нем. Когда в средние века образовывалась Швейцария, то все дворянство сражалось против крестьян, лишь тогдашний Штейгер был на стороне восставших. После возникновения Швейцарского Союза все дворянские титулы были отменены, только Штейгерам оставили их баронство, впрочем, без всяких привилегий.

Прадед Анатолия переселился в Россию, так что сам Анатолий был вполне русским человеком. Но необыкновенная история его семьи и врожденный романтический ум сделали его мечтателем, а позднее выдающимся поэтом. Некоторые предвзятые идеи, которыми он руководствовался, полагая, что так велит ему традиция рода и его личная честь, иногда заводили его в тупик. Он сознавал это, но отказаться от них не мог...

Но существовало еще одно обстоятельство, определявшее его мышление и длительное время оказывавшее иногда даже неосознанное влияние на его поведение. Хотя мы были друзьями, я очень долго не знал об этом. Лишь много лет спустя он мне признался, что его старший брат был «церемониймейстером» при советском правительстве и любимцем Сталина. Конец его был обычен — он был замешан (не знаю уж, действительно или же только «был пришит») в «заговоре гомосексуалистов» и расстрелян.

Сергей Эдуардович был в ужасе, видя дружбу своего сына с «красным». Однажды он меня остановил на верхней аллее.

— Я обращаюсь к вам как к честному человеку, — сказал он. — Обещайте мне никогда не говорить с моим сыном о политике...

Мне было тем легче ему это обещать, что мы с Анатолием в сущности никогда в жизни о политике не говорили. Он умел уважать чужие мнения, я же в гимназии начал понимать, что людей надо разделять не по вертикальному признаку — налево, направо, а по горизонтальному — над или под. Этому в значительной мере меня научил мой одноклассник, уральский казак. Как-то он разбирался в своем шкафчике, а я стоял рядом и читал книгу. Артем вынул из какой-то коробочки асфальтовый крестик и подал его мне:

— Это моя бабка из Иерусалима принесла, — сказал он. — Возьми его...

— Да ведь это же тебе память о бабушке, — возразил я.

— Ничего, — отвечал он с доброй улыбкой. — Тебе благословление пригодится...

Этот крестик я свято храню до сих пор.

Анатолий Штейгер в гимназические годы увлекался Николаем Гумилевым. Подозреваю, впрочем, что он не вполне точно представлял себе лицо поэта. Во всяком случае он

подчеркивал влияние на него акмеистов. Со свойственной ему застенчивой улыбкой он мне читал (относя стихи к однокашникам, не понимавшим поэзии):

И с улыбкой безобразной  
Он мне скажет — ишь,  
Начитался дряни разной —  
Вот и говоришь...

Как-то он мне признался, что хотел бы погибнуть на баррикаде, в кумачовой косоворотке. Это были мальчишеские бредни, но для него характерные.

Потом, сравнительно скоро, он уехал из Тршебовы. Переписка между нами продолжалась много лет. К сожалению, как будет рассказано позднее, она почти вся погибла после войны. В письмах Анатолий часто мне присылал свои стихи. Вот одно из них:

*В. Морковину*

В сущности так немного  
Мы просим себе у Бога:  
Любовь и заброшенный дом,  
Луну над старым прудом,  
И розовый куст у порога.  
Чтоб розы цвели, цвели,  
Чтоб пели в ночи соловьи,  
Чтоб темные очи твои  
Не подымались с земли...  
Немного? Но просишь года,  
А в Сене бежит вода,  
Зеленая, как и всегда.  
И слышится с неба ответ  
Неясный... Ни да, ни нет.

В его книге это стихотворение приведено без посвящения. Так как его письма ко мне погибли, я никак это доказать не могу, за исключением записи в рабочей тетради тех лет. Читатель принужден будет мне верить на слово. {...}

Весной 1926 г. я долго хворал — началось все с гнойной ангины. Из-за нарыва в горле я несколько дней не ел, когда же можно было начать питание, то вместо диетической пищи дали обыкновенную. Это вызвало воспалительный процесс в желудке, я опять перестал есть и четыре недели мог лежать только на правом боку. Когда же поправился, то температура начала прыгать: два дня нормальная, на третий — жар. Так повторилось несколько раз. Наш чешский врач спросил меня:

— Послушай, мблodeц, а у тебя не было малярии?...

— А как же, — отвечал я, — была...

— Что же ты этого не сказал? — рассердился он.

— Но ведь вы меня и не спрашивали...

В Чехословакии малярия — болезнь из ряда вон выходящая. Меня опять начали потчевать хинином, как в 1917 г. в Ташкенте. Врач сказал, что это очень редкий случай — рецидив малярии без нового заражения.

В 1926 г. окончило нашу гимназию два параллельных класса. Однако далеко не все окончившие обосновались в Праге. Некоторые уехали продолжать учебу в высших учебных заведениях в других городах, многие устроились в провинции на работу, кое-кто уехал совсем из Чехословакии.

Мы, учившиеся в Праге, обыкновенно встречались в «Русском Очаге», открытом гр. Паниной, той самой, что когда-то создала в Петербурге «Народный Дом», известный по выступлениям там В.И.Ленина. «Русский Очаг» нужно помянуть добрым словом. Это было прогрессивное, истинно демократическое учреждение — тут была комната для занятий, комната для встреч, небольшая столовая и прекрасная библиотека, тщательно пополнявшаяся книжными новинками. В противоположность «Русскому Дому», закрывшемуся в течение лет, что я не был в Праге, в «Русском Очаге» царил спокойная, деловая атмосфера. Он просуществовал долго и был закрыт лишь после немецкой оккупации.

Нужно сказать, что за время моего отсутствия «русская» Прага изменилась. Приток русских в Чехословакию прекратился. Люди, только для видимости записанные в высшие

учебные заведения, на самом же деле фланировавшие и политиканствовавшие — исчезли. Остались действительно работавшие или же учившиеся. Много русских из Чехословакии уехало, главным образом во Францию, но и дальше. Так, еще до моего возвращения, переселились в Париж Ольга Елисеевна Колбасина с Адей. Она через несколько лет вышла замуж за писателя Бронислава (впрочем, дома называемого Володей) Сосинского,<sup>4</sup> а потому мы в дальнейшем будем ее так называть. Вскоре за ними уехала в Париж и Марина Цветаева с семьей.

Решение изучать строительное дело у меня определилось не сразу. Сначала я хотел поступить на филологический факультет. Но знакомые и бывшие одноклассники принялись меня уговаривать:

— Да как можно, на филологический! Это же для барышень! Ведь вы человек со способностями, вам строительное отделение дастся легко. Только техника имеет будущее...

В материальном отношении студенческие годы были для меня очень трудными. Правда, у меня была стипендия, но мать по большей части была без работы. Однажды мне привалило огромное счастье — вернувшись домой, я узнал, что у нас дома всего десять крон. С отчаяния я их взял и пошел в город, где зашел в русский ресторанчик поужинать. Там играли в лото и мне подсунули карту. С первых же слов крупье я закрыл четыре цифры подряд. Все сбежались к моему столу. Пятая и шестая цифры не вышли.

— Не закроет, — разочарованно протянул кто-то за моей спиной.

Я закрыл седьмую цифру и получил 327 крон — две трети моей стипендии.

После окончания пятого курса, но задолго до государственных экзаменов, я принужден был поступить на службу. Из-за этого срок моего учения продлился еще на год.(...)

Весной 1933 г. я окончил Политехнический институт и получил диплом водохозяйственного инженера. Предсказание узбекского купца в Ташкенте, сказанное шестнадцать лет назад, сбылось.

\* \* \*

В студенческие годы я начал писать.

Стеснять строки в стих я пытался еще в детстве:

Первый снежок  
Летит на лужок...

Тысячи ребят, конечно, самостоятельно нашли это же самое. Стишок свидетельствует лишь о поэтической жилке, частой у детей.

В Рязани я начал патетически:

Братья, набатом ударов  
О тело рассадника зла  
Вызовем пламя пожаров  
В душах таких, как скала...

Здесь явно — и влияние плакатных призывов, и скаутской литературы, звавшей нас бороться со злом. (Легко улавливается мелодия «Варшавянки»).

Листок я показал матери, воспользовавшись правом каждого автора на псевдоним:

— Вот, тут один мальчик написал стихи...

Мать их прочитала.

— О тело, — засмеялась она. — Отелло...

Это было глупо и непедagogично.

Незадолго до отъезда из Советской России я принялся снова. Под влиянием Крученых я требовал:

Бейте бутылки!  
Бахчисарай...

(...)В студенческие годы я начал всерьез. Я написал много стихов, но не был ими доволен. Очень немногие я посылал на суд Анатолию Штейгеру. Он не слишком критиковал мои «пробы пера».

Одновременно я начал с прозой. «В дыму папирос» написано под влиянием Шкловского и Ремарка. «Мои воспоминания о семействе Колли», «Памяти Анжелики П.», «Россия № 2»<sup>5</sup> — являлись обычной эмигрантской продукцией. Внутренно они неправдивы, ибо на самом деле тоски по родине я не испытывал.

Некоторое влияние на меня оказала Изабелла Эбергардт — жаль, что вещи этой русской африканки мало известны.<sup>6</sup>

Свою прозу я тоже никому не показывал, даже Штейгеру.

В конце двадцатых годов в Праге блистала певица Ярилла Новотная. У нее было поразительное по красоте меццо-сопрано, сама она была воплощением изящества (об актрисах не говорят — «она хорошенькая», это недостаточно серьезно, а — «у нее чрезвычайно благоприятные внешние данные»). Вернувшись с ее концерта, совсем потерявши голову, я сел и написал:

Утро.  
Беги сквозь мглу...

Алексей Эйсер часто заходил в «Русский Очаг». Он дружил с многими нашими трешбовцами (хотя сам им не был). Через них мы познакомились. В то время он уже был известен в Праге как поэт. Как-то в «Русском Доме» ставили его пьесу. Она была символическая, Татьяна Ратгауз играла в ней «роковую женщину».

Я показал «Концерт» Эйсеру. Он сделал несколько замечаний, явно не придавая стихам большого значения. Согласившись с ним, я произвел поправки, потом начистил до блеска ботинки и отнес стихотворение в «Волю России». Марк Львович Слоним, руководивший литературным отделом журнала, его принял и напечатал.<sup>7</sup>

С книжкой журнала в руке я пошел на очередной концерт и трепеща прошел в артистическую. Новотная была одна. Заикаясь, я ей объяснил причину моего прихода.

— Я очень польщена, — улыбнулась она. — Право, я не знаю, как вас вознаградить...

— Вы меня вознаградите уже тем, что я смог написать эти стихи, — нашелся я.

— О!

Она отстегнула розу от корсажа и подала мне.

— Как вы устроитесь с переводом? — спросил я в тайной надежде увидеть ее снова.

— Не беспокойтесь, мне переведет Рудольф Медек.

Позднее она вышла по расчету за крупного чешского помещика, а еще позже уехала в Америку. После войны я ее случайно встретил на улице около Национального театра, но разговора не вышло. Вскоре она опять уехала за океан.

Марк Львович меня пригласил посещать литературные чаи «Воли России». Там всегда было интересно, велись оживленные споры, но я года два сидел в углу, только слушая. Все же, наконец, я отважился и прочел «Отрывок из поэмы». Все настожились, когда я начал:

Сегодня мой герой — Центросоюза  
Уполномоченный...

Всеобщий смех вызвало описание плаката, где

...гаденький эсер  
Вертел ножом в спине РеСеФеСеР...

Но общая реакция был отрицательная. Эйсер открыто меня ругал, Марк Львович неодобрительно молчал, Лебедев мягко заметил, что это необъяснимый шаг назад по сравнению с «Концертом». Они были правы — не впадай в социалистический реализм.

Все же примерно еще через год Слоним напечатал мое стихотворение «Из Г.Дрейзера».<sup>8</sup> Это не был перевод — скорее вариация на тему американского поэта.

Сергей Эдуардович Штейгер исколотал себе и своей семье швейцарское гражданство и уехал с нею в Берн. С тех пор я не видел ни его, ни его жену, ни Лизу. Сергея я повстречал много лет спустя при драматических обстоятельствах.

Старшая дочь Алла, окончивши гимназию, приехала учиться в Прагу. Впрочем, состояние ее здоровья этого не позволило — она была слабенькая и ей постоянно угрожал семейный недуг Штейгеров — туберкулез. Вскоре по приезде она вышла замуж за моего хорошего знакомого, скульптора Александра Головина. Алла Сергеевна была талантливая поэтесса, все лучшее, ею написанное, она печатала как Алла Головина, а потому ее будем называть так.

Я долго держал свадебное извещение Головиных в руке. Оно было составлено по всем правилам хорошего тона, были указаны имена и адреса родителей — Штейгеров в Берне и Головиных в Москве, — «имеющих честь известить о бракосочетании» их детей. Связь

с Москвой казалась чем-то необыкновенным. Все наше поколение было непоколебимо убеждено, что с Россией кончено, что наши пути с ней никогда не встретятся. А я-то из моих сверстников знал о России больше всех. Все мы твердо принадлежали к «России № 2», и большинство к ней принадлежит до сих пор. Очень немногие из нас стали действительно иностранцами.

Не помню, ходила ли Головина в «Волю России», но она очень быстро вошла в «Скит поэтов». Через какое-то время она передала мне приглашение руководителя «Скита» — Альфреда Людвиговича Бема — прийти на одно из собраний — познакомиться. Месяца через два или три я был принят в число его членов, а именно 23-го марта 1931 г. По традиции все потеряли руки — таков был обряд принятия.

Я много раз писал о «Ските», потому не буду повторяться. Напомню лишь, что в нем принято различать три поколения.<sup>9</sup> Из старшего помню Александра Туринцева, которого, впрочем, я знал только в лицо. С Сергеем Рафальским мы были знакомы, на мое приветствие он всегда дружелюбно отвечал — «здравствуйте, дорогой!..», но побеседовать нам никогда не пришлось. Христину Ирманцеву и Алексея Фотинского помню по чаям «Воли России». Ирманцева была ослепительная блондинка с продолговатым лицом, серыми выразительными глазами и нежными руками. Обычно она молчаливо сидела, одновременно присутствуя и не присутствуя. Позднее она вышла замуж за некоего Франкфурта, и они уехали в Канаду. Фотинский был высокий, худой, разговор подкреплял колючими жестами или поправлял очки. Как-то он сказал:

— И я оставил свой следочек в русской литературе...

Никто ему не возразил. Я подумал, что следочек оставляют лишь кошки на лестнице.

Ко времени моего появления в «Ските» старшее его поколение уже разъехалось из Праги.

\* \* \*

Среднее поколение «Скита» я знал довольно хорошо. В студенческие годы я, по материальным соображениям, жил за городом, в прославленных Цветаевой Вшенорах. Там же жила одна очень красивая сербская студентка, в которую был влюблен Алексей Эйсер и на которой он даже собирался жениться. Эта любовь послужила канвой для его «Романа с Европой».<sup>10</sup> Приезжая за ней во Вшеноры, он обычно спал у меня. У него было смуглое лицо, карие глаза, черные, длинные, густые волосы. Говорил он веско и желчно, не допуская возражений — его «Конница» уже была напечатана и пользовалась успехом.<sup>11</sup> Стихи он читал не напевно, но и без декламации, а как-то декларативно, даже подымая палец:

Вольнолюбивые крестьяне  
Еще стреляли в спину с крыш,  
Когда в предутреннем тумане  
Перед разъездом встал Париж...<sup>12</sup>

В двадцатых годах Россия была слабой и пренебрегаемой страной. «Конница» Алексея Эйснера была вызвана именно чувством национальной неполноценности. И белая эмиграция, утоляя свой шовинизм, с восторгом слушала:

Проходят серые колонны,  
Алеют звезды шишаков.  
И вьются желтые драконы  
Манджурских бешеных полков.  
И в искушенных парижанках  
Кровь закипает, как вино,  
От пулеметов на тачанках,  
От глаз кудлатого Махно...

А между тем Эйсер умел писать истинно лирические строки:

Скажу ей все. Довольно сердцу биться  
И трепетать на холостом ходу...<sup>13</sup>

Через меня он начал переписку со Штейгером, но не думаю, чтобы они обменялись больше чем двумя-тремя письмами. Вскоре он переехал в Париж, полагая для себя Прагу

недостаточной по масштабам, но, странная вещь, — уехав из Праги, он уже никогда больше ничего не написал. Позднее Эйсер принял участие в испанской гражданской войне в качестве адъютанта Мате Залки.<sup>14</sup> Раз, когда он приехал на побывку в Париж, кто-то ему напомнил, что он взял у него взаймы. Эйсер высокомерно ответил:

— Я принципиально не плачу долгов эмигрантам...

Из Испании он уехал в Советский Союз, где долго сидел в концентрационном лагере. Будучи в Москве в 1961 г., я зашел к нему на квартиру, но дома его не застал. Так мы и не встретились.

\* \* \*

Вячеслав Лебедев считался *ex aequo*<sup>15</sup> на первом месте. Это был тихий, внутренне собранный человек, с бледным лицом, колочими глазами, волосами ежиком. У него был шершавый характер, он был очень обидчив. Ко времени моего вхождения в «Скит» он туда уже перестал ходить, но встречался с А.Л.Бемом и Василием Федоровым. Их отношения с последним были сложными, они то дружили, то расходились и тогда отзывались друг о друге недружелюбно. Раз Лебедев мне сказал:

— Когда мне приходит в голову удачная мысль или рифма, я ее немедленно запишу — на чем попало, хотя бы на трамвайном билете...

Я рассказал об этом в обществе. Присутствовавший Федоров прокомментировал:

— Врет! Он всегда на трамвае ездит без билета...

Поэтическая судьба Лебедева была трудной. В молодые годы он выпустил в «Ските» сборник стихов,<sup>16</sup> появлялся на страницах «Воли России». С ее закрытием ему практически печататься стало нелегко. Его «Стихи об Англии» были проникновенны:

Над Лондоном — восточная луна,  
Раскося, немая и глухая.  
Над Лондоном — туманов пелена,  
А сквозь туман — далекий вой Шанхая...  
А во дворец дежурный офицер  
Несет депеши сумрачно и хмуро.  
И вот плывут стрелки из Сингапура,  
И моряки прошли через Танжер.  
Но яростная, желтая толпа  
Уже топтала в улицах концессий  
Тяжелый флаг морской британской спеси,  
И консул ждал с револьвером у лба...

Эти стихи были написаны за четверть века до освобождения Китая. Еще поразительнее, проникновеннее, высокопоэтичнее была его «Поэма временных лет».<sup>17</sup> Но наряду с ними у него были вещи пустые, никому ничего не говорящие. Если предоставлялась возможность печататься, то он не давал свои удачные вещи, а хотел помещать стихи в хронологическом порядке. На долгие годы он повредил себе, пытаясь восстановить силлабическое стихосложение.

Его поэму о приходе Красной Армии<sup>18</sup> я не читал, но Василий Федоров мне говорил, что она стоит на уровне его лучших вещей.

И в личной жизни ему не повезло — горячо любимая жена сошла с ума, он ее принужден был поместить в больницу для душевнобольных. С тех пор он живет в одиночестве, страдая туберкулезом горла, находя единое утешение в религии.

\* \* \*

Василий Федоров был прозаиком. У него, по его же собственному описанию, были торчащие уши и шлепающие губы, но, несмотря на неказистый вид и эмигрантскую бедность, он женился на чрезвычайно хорошенькой чешской барышне из очень богатой семьи. Родители были против этого брака и после замужества не дали ей ни гроша. Мария Федоровна стойко прожила с ним всю жизнь, разделяя все невзгоды, и научилась говорить совершенно свободно по-русски.

Когда Василий Федоров смеялся, то у него в глазах загорались озорные искорки. Он был одессит и любил уснащать речь южными словечками. По своим убеждениям он был крайне правым человеком, это видно и по его книгам. В одном из своих рассказов, описывая советский быт, которого он, конечно, не знал, он говорил о военном «в форме чекиста».

— У чекистов нет специальной формы, — сказал я, — разве что у чоновцев.

Он стал со мной спорить, потом все же это место переделал.

Судьба с ним — юмористом — сыграла злую шутку. Он долго не мог устроиться на постоянную работу, пока, наконец, ему не предложили место в Ужгороде. Перед отъездом он зашел к врачу, тот определил у него язву желудка и предписал строгую диету. Федоров вернулся в Прагу лишь через несколько лет, уже после венгерской оккупации Прикарпатской Руси. Он сразу же пошел к видному желудочному специалисту. Профессор самым категорическим образом установил, что у него язвы желудка нет и никогда не было.

— Боже мой, — хватался за голову Федоров, — три года я питался лишь манной кашей и совершенно зря...

Об Ужгороде он говорил — «да, уж город», с единственной улицей — одним концом упирающейся в кладбище, другим в вокзал. «Вот и надо выбирать...»

Он с горечью рассказывал о том, как через Ужгород уходила в Румынию разбитая немцами польская армия. Федоровы широко раскрыли для польских беженцев двери своего дома. Поляки с ними говорили по-русски, пока не узнали, что живут в русской семье. После этого они стали объясняться исключительно по-немецки, на языке только что разгромившего их врага.

Во время войны я с Федоровым почти не встречался, когда же случайно к нему зашел в пятидесятых годах, то убедился, что он не только стал коммунистом, но и впал в «детскую болезнь левизны». Эта болезнь у него осложнилась, как это часто бывает у русских, крайним национализмом. Свои взгляды он развивал, кажется, и на службе, не понимая ни своей бестактности, ни того, что от его притеснений пользы никакой, вред же ясный.

Он умер несколько лет назад. Вдова бережно хранит его рукописи.

\* \* \*

Николай Андреев приехал в Прагу из Эстонии и долго поражал пражских барышень кожаной коричневой фуражкой. Он был кражистый, с квадратным лицом не очень чистой кожи, с большими серыми, добрыми глазами. В Праге он окончил философский факультет, позднее работал в институте им. Кондакова.<sup>19</sup> Он был частым гостем на чаях «Воли России», в «Скит» же, в мое время, уже ходил мало. Статьи на литературные темы он подписывал своим именем,<sup>20</sup> рассказы — псевдонимом Карл Рэм. Долгие годы он дружил и даже жил на одной квартире с Костей Гавриловым. Костя был завсегдатаем «Скита», не являясь, однако, его членом. Он окончил факультет естествознания, а перед самой войной уехал в Аргентину, где, по слухам, женился на королеве красоты и занимает важный пост.

Андреев одно время был влюблен в Марию Федоровну Федорову. Он избавился от этой любви способом, хорошо известным всем писателям, а именно — написал о ней рассказ.

Во время войны ему удалось с огромным трудом вызвать к себе из Эстонии старушку-мать. После 1945 г. она была насильно репатрирована обратно в Таллинн. Сам Андреев был арестован советскими органами и вывезен в Берлин для разбора тамошних архивов. Ему удалось бежать в Англию, где он в настоящее время работает профессором в Кембридже.

\* \* \*

Из Эстонии же происходил и Герман Хохлов, с которым мы одно время дружили. Он был худощавый, очкастый, волосы носил ежиком, во время спора делал рукой движение, словно бы гладил шар. В те времена он был в «Скиту» единственным марксистом, и поэтому его недолюбливали. Он выражался витиевато, вставлял словечки книжные или сугубо «советские». В «Воле России» он считался специалистом по советской литературе,<sup>21</sup> свои заметки подписывал Ал. Новик или же инициалами Г.Х. Это вызвало комический инцидент — кто-то из парижских критиков обрушился на него за «безвкусную подпись — господин Икс». Стихов Хохлов, насколько мне известно, не писал, за исключением следующих:

На вермуте проверенное горе  
Снег, уж наверное, не опровергнет тем,  
Что любой любовью твою повторит,  
Как излюбленнойшюу из тем...

С наивным восторгом он говорил:

— Здорово написано, а?..

Впрочем, никому другому в «Ските» он их не показывал, зато ни с того ни с сего, точно в каком-то забытьи, произносил:

Не надо, о любви мне не тверди,  
Ведь не спасают ни любовь, ни вера!  
Я прижимал тебя к своей груди,  
Как прижимают дуло револьвера...

От этой цитаты из Пастернака почему-то всегда взрывалась Татьяна Ратгауз:

— Ни малейшего представления, как прижимают к себе женщину...

С Германом Хохловым я пережил два приключения. Первое было еще в студенческие годы. Он меня позвал к себе на преферанс. Пришло еще двое его знакомых, мы играли, вероятно, до часу ночи. Он мне сказал:

— У меня двуспальная кровать, зачем Вам ездить домой (я жил на другом конце города), оставайтесь у меня...

Я уснул на спине. Меня пробудило чувство опасности, даже не физической, а душевной. Все мое тело напряглось. Без малейшего движения я поднял веки. Герман, опершись о локоть, склонился надо мной и смотрел мне в лицо неживыми, стеклянными глазами.

— В чем дело? — спросил я по возможности спокойно.

— Все падает, — отвечал он.

— Ничего не падает, ложитесь и спите, — сказал я, вкладывая в свой голос возможно больше твердости.

— В самом деле, все падает, — сказал он плачущим голосом, однако лег и утих. Я встал, оделся и остаток ночи просидел в кресле.

Второе приключение произошло уже в бытность мою инженером. Мы жили с матерью в квартире отца Ади Сосинской, уехавшего на год в Израиль читать лекции. Квартира состояла из комнаты и довольно большой кухни, обставленной, впрочем, тоже по-комнатному. В первой спал я, во второй — мать. Однажды летом к нам пришел Хохлов. Он рассказал, что срок найма его комнаты истек как раз в этот день, в новую же он может въехать лишь завтра, а потому просил разрешения переночевать.

— Нет, — ответил я жестко, — я знаю, что вы выкидываете по ночам. Я теперь хожу на службу, мне надо рано вставать, я не могу из-за вас не выспаться. Да здесь и нету третьей кушетки...

— Как тебе не стыдно, — сказала мать. — Ты должен помочь товарищу...

— Я не требовательный, — просил Герман, — я на полу...

Мы снесли диванные подушки, я их разместил за письменным столом — подальше от Хохлова. Он лег и заснул. Я — тоже, но предчувствуя осложнения.

Была прекрасная, лунная ночь. Мы, естественно, спали при открытом окне. Внезапно меня пробудил истошный вопль. Герман стоял с вытянутыми вперед руками. Крича, он медленно двинулся к окну.

Еще не вполне очнувшись, я уже был разъярен. Перемахнув через письменный стол и тряся его за плечи, я заорал:

— Перестаньте кричать и немедленно ложитесь...

Все его тело было напряжено. Наши вопли смешались. Вдруг он обмяк, глаза его сделались живыми. Слабым голосом он спросил:

— Почему вы на меня кричите?..

Я, все еще в гневе, повторил приказание. В этот момент в дверях показалась мама:

— Скорей, — сказала она мне. — Сосед жену убивает...

Дело в том, что тот был женат на цыганке. Они часто дрались. Наш с Хохловым совместный рев мама приняла спросонок за цыганкин призыв на помощь.

Расскажу еще одну историю про Хохлова, которой, впрочем, я не был участником. У него было два костюма — будничный и праздничный. Как-то, изрядно истратившись, он принужден был заложить хороший костюм в ломбард. Еще до того, как он получил деньги, присылаемые ему регулярно из Эстонии, его пригласили на чью-то свадьбу. Что ему оставалось делать? Он попросил приятеля отнести в ломбард костюм, бывший на нем, заложив его, выкупить хороший и принести. А так как времени оставалось мало, то они зашли в первую попавшуюся мастерскую и, объяснив хозяину, в чем дело, попросили разрешения, чтобы Хохлов там обождал. Случайно это был бондарь, и Герман, в ожидании костюма, полтора часа сидел в бочке.

Эти анекдоты из его жизни (я их знаю еще несколько, да не хочу обременять внимание читателя) отнюдь не снижают его литературный вклад. Думаю, что и сейчас его критические заметки, разбросанные по разным журналам, могут иметь определенный интерес. Относительно них значительно позднее он мне говорил:

— Я никогда не писал против советской литературы... Для меня она не была чужой...

Потом, помолчав, он добавил:

— Впрочем, один-единственный раз... Я писал о Зощенко... Свою статью я начал — «в стране, где подавлено все живое, в стране, где убит смех...»

Мы ходили с ним вдвоем не только на чай «Воли России», но и на лекции. Раз он меня затащил на доклад Р.О.Якобсона в ныне не существующем кафе «Унион». Якобсон говорил о лингвистике с точки зрения евразийцев, мы с Германом посылали ему вопросы на записках.

Хохлов никогда не скрывал своего намерения уехать в Советский Союз, но в «Союз возвращенцев» вступил лишь после окончания университета (он учился на филологическом). В то время в этом союзе считалось, что возвращение «надо заслужить». Если бы под этим подразумевалось — поехать на работу в какую-нибудь глухомань на год или на два, то несомненно многие вернулись бы на Родину. Но «заслуживать» надо было за границей. Это унижительное условие отталкивало многих честных людей, что несомненно спасло их жизнь. В отношении же Хохлова условие было и бессмысленным, так как в годы революции и гражданской войны он, подобно мне, был еще мальчиком, к тому же в России никогда не жил.

Он начал с разрыва с русской колонией. Примерно год я его не видел. Потом он опять появился, бормоча, как гобой, что-то невразумительное, вроде:

— Узнаете?...

И добавил, после моего ответа:

— А вот Постников<sup>22</sup> со мной не хочет встречаться, словно бы я, хе-хе-хе, работал в гепеу...

Смех был неискренний. Думаю, что покойный Сергей Порфирьевич имел кое-какие основания для своего отчуждения.

Потом Хохлов уехал в Советский Союз. Там он сблизился с Бруно Ясенским, автором известного в 30-х годах романа «Человек меняет кожу». Потом следы Германа исчезают...

\* \* \*

Татьяна Ратгауз была дочерью известного поэта Даниила Максимовича Ратгауза. Она была высока ростом, пепельные волосы стригла под «микадо», глаза же у нее были светло-карие, необыкновенной доброты. Это была барышня хорошо образованная, знавшая хорошо несколько европейских языков. Она изучила также стенографию, и это отразилось в ее стихотворении:

Когда диктует шеф, то сумрачно глядит  
На робко сжатые колени...

Строчки эти очень нравились Николаю Андрееву, он их часто повторял.

Будучи очень красивой, она блистала на балах. Но я всегда находил, что к типу ее красоты — несколько царственной и тяжеловатой — совсем не подходило танцевать чарльстон.

Она была также прекрасной актрисой. Я уже писал, что она играла принцессу в символической пьесе Алексея Эйслера. Но эта роль — «роковой женщины» — была не для нее. Зато она блестяще провела роль Тани в «Чужом ребенке».<sup>23</sup> Когда она произнесла: «А вот теперь посмейте кашлянуть» — то весь зал трепетно застыл.

Слегка иронически я ее вывел под именем Рея Стар в своем «Эрмитаже». Оговариваясь — Рея Стар лишь внешняя оболочка Татьяны Даниловны, без ее внутренней сущности.

Она была необыкновенно добра и отзывчива. Помню, с какой охотой она мне переводила английские письма по делам «Скита».

Но есть у меня и еще более раннее воспоминание о ней. Дело было не только задолго до моего принятия в «Скит», но и задолго до начала моего писания, в какой-то мой приезд из Моравской Тршебовы. Я обедал в «Русском Доме», просматривая книги, взятые в его библиотеке. Вдруг пришла Татьяна Даниловна с каким-то кавалером. Тот, видя пустые места у моего столика, попросил разрешения присесть. Он был элегантно одет, она тоже,

я же был в затасканной гимнастерке. Но, пока он заказывал кельнерше, она (мы еще не были знакомы), прочитав названия моих книг, незаметно от своего спутника показала мне свои. В этом ее жесте было признание принадлежности нас двух к верхам русской интеллигенции и доля неуважения к сопровождавшему ее.

Татьяна Даниловна сначала жила с родителями в части города, называемой Бубенеч, хотя и в современном доме с паровым отоплением, но в полуподвальном этаже. Они жили небогато, стихи о том, как она «прошла сквозь переплеты комнат»,<sup>24</sup> отражали не явь, а желание.

Раз несколько нас, «скитовцев», сидело в парке и болтало. Разговор зашел о безденежье. Вдруг Татьяна Даниловна сказала:

— А знаете, братки, продайте меня какому-нибудь богатому, плюговому старику. Правда, а? Я вам потом порядочный куш отслоню...

И она потеряла пальцы.

Это было сказано в шутку, но голос и глаза при этом были серьезные и грустные.

Живший тогда в Праге Евгений Калабин — художник весьма незаурядный — решил сделать, по моей просьбе, портреты всех членов «Скита». Он нарисовал Татьяну Ратгауз такой, какой она была в действительности. Но ее красота на портрете ему показалась халтурой, и он сделал новый, где всевозможно ее обезобразил.

На основании этих зарисовок он написал маслом большую картину «Поэты». Это почти точные портреты Евгения Гессена, Владимира Мансветова и Николая Терлецкого. Но вместо поношенных пиджачков он их нарядил в дорогие, модные костюмы. Не знаю, где эта картина сейчас.

Мать Татьяны Ратгауз была немка, плохо говорившая по-русски. Я несколько раз заходил к ним по разного рода делам. Даниил Максимович меня встречал всегда предупредительно-вежливо, называл меня «коллега». Я стеснялся этого обращения, памятуя, что его стихи увековечены Чайковским, себя же полагал (да и был!) простым виршеплетом. Вероятно, он был поэтически одинок и хотел кому-нибудь передать эстафету русской культуры. Какую горечь я испытываю, что мне ее передать некому.

В то время Даниил Максимович был уже тяжело болен, если память мне не изменяет, то с сердцем. Вскоре он умер, а через несколько лет умерла от рака и его жена.

Татьяна Даниловна, еще при их жизни, вышла замуж за русского актера из Латвии. После свадьбы они поселились отдельно от родителей. Одна знакомая моей матери, случайно сидя в кино за ними, подслушала, как они договаривались о взносе квартирной платы:

— Только, душечка, ты пойдешь заплатить...

— Ну что ты, милый, пойдти ты...

Приводилось множество оснований, почему именно другой должен идти. На самом же деле оба просто стеснялись «деловых людей».

Потом они уехали в Латвию.

\* \* \*

Головины жили в центре города, их улица называлась «В смечках». Чешское слово «смечка» обозначает «ссора». В средние века тут были королевские псарни. Саша,<sup>25</sup> когда говорилось о собраниях «Скита», часто пародировал строчку из какого-то стихотворения:

Поближе к Смечкам, ответил Бем...

В оригинале был Рем — легендарный основатель Рима, но что это были за стихи и кому принадлежали — вспомнить не могу.

Жили они в высоком старом доме, напоминавшем петербургские дома Достоевского, под самой крышей, где находилось ателье Александра Головина, а за ним две крохотные жилые комнатки.

Ателье было большое, с покатою стеклянной крышей, зимой холодное, летом жаркое, сплошь заставленное статуями или их набросками. Был тут вращающийся помост для модели, столы с разной разностью, знакомый художественный беспорядок. Здесь долгое время собирался «Скит». Где встречалось первое и второе поколение «Скита» — не знаю, говорю о своем.<sup>26</sup> Позднее, года через два или три, Головины принуждены были отказаться от устройства у себя встреч «Скита», так как зимой вытопить холодное ателье стоило дорого и было связано для самого Головина с ноской нескольких ведер угля на пятый этаж. Кроме того, по традиции (на которой особенно настаивал А.Л.Бем) на собраниях «Скита»

пил чай, что обозначало расходы и заботы для Головиной. Не последнюю роль играло и ее частое недомогание.

С переездом семейства Штейгеров в Берн Анатолию в сущности незачем было ездить в Чехословакию. Все же он раза два или три приезжал, но останавливался не у сестры, а в гостинице.

Брат и сестра очень друг друга любили, но это проявлялось у обоих различно. Анатолий говорил об Алле с удовольствием, даже с некоторой гордостью, она же над ним подтрунивала, прозвала его «Тося на лыжах» (по детской, еще дореволюционной книжке. Одновременно наек на его зимние поездки в горы, в Швейцарии) и часто писала на него пародии. Особенно удачной была придуманная ею выборка из газет с мнимыми высказываниями различных тогдашних «калифов на час» об Анатолии и его последней книге. Среди них был и Гитлер, кричавший о жидомасонском заговоре и что таких, как Анатолий, следует «расстреливать» на дому из пулеметов, на глазах у родственников. Дайте мне адрес Ганса из Селекта!..»

В другом шуточном стихотворении, посвященном Анатолию, Алла писала:

Сосал я с Жаном шерри-бренди  
И дососался с ним до Швенди...

В Heiligenschwendl был туберкулезный санаторий, где лечился одно время Анатолий. Хотя они оба принадлежали к младороссам, отзывались о Гитлере и его приспешниках с отвращением — даже в начале тридцатых годов, когда еще многие не понимали опасности национал-социализма. Обоим также был чужд расизм. Как-то мы сидели втроем в головинском ателье, разговор зашел об еврейской крови.

— Ну, — сказала Алла, — в нас ее нет.

— Откуда ты знаешь, — живо перебил Анатолий. — Можешь ты ручаться за какую-нибудь нашу бабушку?...

— Нет, за бабушку ручаться не могу, — протянула она растерянно.

Алла была маленькая, хрупкая, черные волосы носила коротко остриженными. Стихи она читала звонким, девичьим голосом, слегка напевно, как было принято в «Ските». Она была любимицей А.Л.Бема, очень радовавшегося изданию ее книги «Лебединая карусель».<sup>27</sup> Перефразируя Ильфа и Петрова, мы в шутку называли ее «Лейбединая карусель».<sup>28</sup> Алле это полюбилось, и из скромности она свою книгу так и называла.

В личной жизни Алла была очень скромным человеком. Как-то раз, сидя у нее с Мансветовым, мы с ним сочинили стишок:

Нам слаще мира и вина,  
Не Мирра, нет — Головина...

Сравнение с Лохвицкой ей польстило, она беспомощно развела руками и застенчиво-грубовато сказала:

— Ну чего вы подлизываетесь?..

У Головиных был единственный сын, названный в честь обоих дедов Сергеем. Много лет спустя, уже после второй мировой войны, он работал в университетской библиотеке в Берне.

С Аллой мы были друзьями еще по Тршебове, но в Праге жили в разных плоскостях. И литературно мы принадлежали к несходным течениям. Г.В.Адамович как-то написал о «Ските», что в нем укрепилась «здоровьяки и оптимисты». Камень несомненно был в мой огород. С тех пор Алла мне часто это повторяла.

Однажды мы были у нее в гостях с Хохловым. Вспомнив известную историю с Тургеневым, я спросил:

— Аллочка, если бы вы были поставлены в такое положение, что должны были бы выйти замуж или за меня, или за Хохлова — кого бы вы выбрали?

— Никого, — ответила она. — Ни за одного из вас.

— Нет, — сказал я, — но если бы другого выхода не было...

— Ну, в таком случае покончила бы самоубийством.

— А если бы нельзя было и самоубийством покончить?

— Ну, тогда за вас, но только в том случае, если бы нельзя было покончить самоубийством...

Хохлов этим был удручен, потом на улице все качал головой и приговаривал:

— Как же это так?..

Не помню, по какому случаю должна была быть публичная лекция о Л.Н.Толстом. Хотя «Скит» придерживался в литературном отношении передовых взглядов, однако тема нам показалась оскорбительной для памяти писателя. Мы уговорились, что в зале будут присутствовать все скитовцы и постараются криком ее сорвать.

— Я кричать не буду, я не могу, — сказала Алла, — но я встану и демонстративно уйду, отвратительно вихляя бедрами...

Надо знать ее скромность, чтобы правильно оценить эти слова.

Как-то мы с ней беседовали о творчестве. Она мне призналась, что когда у нее возникает «писательский зуд», то она начинает лихорадочно прибираться в комнате, ибо только в убранной может писать стихи.

Я уже сказал, что она была младоросской. Как-то в Прагу приехал «глава» этого движения — Александр Казем-Бек. Алла ожидала его к себе и просила меня прийти тоже и всех сфотографировать. Я так и сделал, эта фотография у меня есть до сих пор. Естественно, с моей стороны это была простая любезность по отношению к Алле, в Праге я с младороссами не встречался.

В середине тридцатых годов Алла уехала на побывку в Париж, где у нее были родственники. Там она завязала литературные знакомства — с Ходасевичем, с Адамовичем, с меньшей братией. Она посетила также Цветаеву, но встреча вышла холодной. Очевидно, Цветаева была без настроения. Потом она отзывалась об Алле довольно резко как о легкомысленной литературной барышне. Алла же по своем возвращении в Прагу с большим юмором рассказывала об этом посещении, о том, как ее рассердило, что Цветаева ни разу не подняла на нее глаз (она не знала, что это была обыкновенная манера Цветаевой держать себя в обществе) и как она, Цветаевой в пику, все время вытаскивала зеркальце, пудрилась и подобно<ое><sup>29</sup>.

Алла побывала в Париже довольно долго, очевидно устраивая свой переезд во Францию. Потом она вернулась в Прагу, но здесь уже была на отлете.

Евгений Гессен и А.Л.Бем написали ей ко дню отъезда по стихотворению. Стихи Гессена были лирические, А.Л.Бем же укорял ее за то, что она

...променяла нас

На — мон, на — пар, на Монпарнас...

Ликвидировать Сашино ателье было не так-то просто. Я у него выпросил на память прелестную девичью головку, к сожалению, позднее пропавшую, о чем будет еще речь впереди. Другие свои вещи он роздал друзьям, вероятно, все это погибло. На пражском Ольшанском кладбище остался созданный им памятник А.А.Кизеветтеру — который мне всегда нравился, зятю же профессора — нет.

Я видел Аллу позднее, но тогда она уже была парижанкой.

\* \* \*

Евгений Сергеевич Гессен был сыном педагогического писателя С.И.Гессена и внуком члена Государственной Думы. Он был тихим и застенчивым человеком, неудачником в жизни. Хотя он был ненамного моложе меня, все его звали и в лицо, и за глаза Женечкой. Я о нем писал два или три, поэтому не буду повторяться. Он был небольшого роста, с висящим носом и серыми глазами, был медлителен и слегка заикался, но в узком кругу умел быть остроумным.

Помню — мы сидели с ним и с Мансветовым в каком-то кабачке и говорили о литературных делах. Не вспоминаю, чем был вызван мой гнев, когда я сказал:

— Это так же отвратительно, как если бы вас поцеловал мужчина...

— Нет, отчего же, — пожевал губами Женя. — Зависит от того — куда...

Он был влюблен несколько раз в жизни и всегда несчастно. Особенно трагичной была его последняя, многолетняя любовь к Алисе З. — особе своеобразной, неславянской красоты (если не ошибаюсь, в ней была четверть цыганской крови). Она была не безнравственна, а вне нравственности. Мне она сама призналась:

— Знаешь, мы — З., не уважаем ни себя, ни других...

Пройдя огонь, воду и медные трубы, она впоследствии вышла замуж за афериста. Существует обоснованное подозрение, что именно по его доносу, во время немецкой оккупации, Женя был арестован, послан сначала на принудительные работы в поместье

Р.Гейдриха, а оттуда в концентрационный лагерь в Германию, в Вулкнов. Здесь он заразился брюшным тифом, перевезен в еврейскую больницу в Берлине, где и умер.<sup>30</sup>

\* \* \*

Владимир Федорович Мансветов был высокого роста, худой, с длинными, впрочем, уже начинавшими редеть волосами, с зелеными злыми глазами. Говорил он баском, на ходу раскачивался, преувеличенно вежливо снимая шляпу, что осознавал — сам о себе цитируя слова Цветаевой. Он был упадочником, этим гордился и свое упадочничество ожесточенно отстаивал, являясь, по собственному шуточному выражению, его активистом. Когда он сидел, то напоминал своими угловатыми локтями и коленями жука-богомолу. Однако свешенная голова, опущенные руки были только мимикрией. Подобно богомолу он был готов в любую минуту ввязаться в ожесточенную литературную драку. Николай Андреев и Василий Федоров его не переносили, как, впрочем, все «среднее» поколение «Скита». У младшего он пользовался известным влиянием, особенно на Гессена и Головину. Мы были с ним на разных литературных крыльях, поэтому я искренно был удивлен, когда он посвятил мне одно из своих лучших стихотворений. Оно было напечатано в какой-то захолустной газете, которую теперь не найдешь, а потому приведу его целиком.

### О РОССИИ

*В.Морковину*

Бог даст, и в Северный Багдад  
Вернется призрачно-невнятный  
И станет плотью звук тогда —  
Творясь из той невероятной,  
Из той прекраснейшей мечты —  
И чуть церковной, чуть печальной  
Первоначальной простоты, —  
Что все лишь сон, лишь берег дальний,  
Но чьи прозрачные черты —  
Мою напоминая душу —  
Так простодушны и чисты,  
Как деревенский стон частушек.  
Мне часто снится частокол,  
Тень колокольни на опушке,  
Пушистый, загорелый дол,  
Закат, гармоника и Пушкин.

Мансветов был женат на Марии Толстой, тоже члене «Скита», правнучке Л.Н.<sup>31</sup> У них был единственный ребенок, умерший вскоре после рождения. В начале войны, но еще до вступления в нее Италии, они оба уехали через Геную к его родителям, долгие годы жившим в Америке. По слухам, Владимир и Мария там развелись, она очень бедствовала, однако при встрече с общей знакомой утверждала, что в США никакой безработицы нет («кто, де, хочет работать, тот всегда что-нибудь найдет»). Что делал он — не знаю, да и не могу представить себе его где-нибудь систематически трудящимся — ведь и в Праге он от любой работы отнекивался.

Надо добавить, что последние пять-шесть лет перед отъездом он уже ничего не писал, во всяком случае я об этом не знаю. Его деятельность в эти годы сводилась к выступлениям в «Ските», главным же образом в скитских кулуарах.

Мансветовы собирались в Америку очень долго, разговоры об их переезде начались, еще когда Головины жили в Праге. Саша по этому поводу, конечно, не мог удержаться от пародий. Одна из них исходила из мансветовского стихотворения:

Казалось, небрит был,  
А вправду — не признан...<sup>32</sup>

Рифмовалось это со словом «призрак». В Сашиных устах оно звучало так:

Казалось, не бритт был,  
А американец...

рифмовалось же со словом «шканец».

Другая его эпиграмма была парафразой известной гумилевской «Персидской миниатюры», причем намекалось на мансветовское упадочничество:

Когда я кончу наконец  
Играть в каш-каш со смертью хмурой,  
Тогда возьмет меня отец  
И назовет меня халтурой...

С каждым из нас происходят в жизни удивительные истории. Одну из них мы прожили вдвоем с Мансветовым.

Дело происходило, очевидно, в 1938 году. Мы были с ним у Бема, потом он пошел меня проводить (я жил тогда в Подоле). Довольно долго мы бродили по улицам, говоря о разных делах, в том числе и о неизбежности войны. Я произнес пышную фразу:

— Да, скоро нам придется услышать грохот военных барабанов...

Мансветов кивнул. Потом мы замолчали.

Через несколько минут он взглянул на меня растерянно. Я их слышал тоже. Так продолжалось долго. Сквозь ночь отчетливо выделялся солдатский шаг, а барабаны грохотали так, что ничего, кроме них, не существовало. В чехословацкой армии барабаны не употреблялись, да и трудно было себе представить, чтобы в полночь кто-нибудь шел, все еще мирным городом, с таким грохотом.

Из темноты вынырнула шеренга барабанщиков, за ней другая, третья... Они проходили, как призраки, и опять скрывались в темноте.

На другой день я узнал, что это возвращался с концерта военный оркестр румынской армии. Но чувство апокалиптического ужаса у меня осталось навсегда.(...)

\* \* \*

Эмилия Кирилловна Чегринцева, урожденная Цегоева, происходит из Бессарабии, где она окончила гимназию. В Прагу она приехала учиться в университете, но, пробыв на филологии год или два, она вышла замуж и, бросив учебу, предпочитала блистать на балах, кружить голову молодым людям и вообще вести светский образ жизни. В подобных развлечениях ее постоянной спутницей была Татьяна Ратгауз. Глаза у Эмилии Кирилловны — зеленые, в молодости бывшие необыкновенно выразительными, цвет же волос столько раз менялся, что не могу сказать — каков он от природы.

По сроку принятия в «Скит» она в сущности принадлежала к среднему поколению. По роду творчества она тоже была «здоровяком и оптимистом», а потому мы с ней были в «Ските» союзниками, тем более что она лично не любила Мансветова. Саша Головин о ней сказал:

...Эмочке  
Надо писать поэмки...

Стишок я ей передал, она приняла его к сердцу и написала поэму «Шахматы». <sup>33</sup> Подготавливая свою книгу «Посещения», <sup>34</sup> она довольно внимательно выслушала мои замечания, <sup>35</sup> плодом чего было посвящение мне «Шахмат». А впрочем, мы с ней были друзьями не только по «Скиту», и на многих балах она бронировала для меня танец.

Стихи она читала плохо, невыразительно, от нервного возбуждения запинаясь. После «Посещений» (предполагалось — музой) она издала вторую книжку, если не ошибаюсь — «Священную Лиру», <sup>36</sup> но это уже был отработанный пар. Как во время войны, так и после нее она еще пыталась что-то писать, кое-что напечатала в журнале Союза советских граждан в Праге, но, по-моему, это уже интереса не представляет.

В Союзе советских граждан она долго была культурным референтом, потом с Союзом разошлась и совсем перестала туда ходить. Единственную дочь она выдала не очень удачно за советского офицера, который после демобилизации поселился в Москве, Марина же осталась в Праге. Ныне Эмилия Кирилловна нянчит внука, заполняющего все ее свободное время.

\* \* \*

Кирилл Набоков был небольшого роста, стройный, со светлыми волосами, серыми глазами, крутым дворянским лбом. Он был схож с братом — Владимиром Сириным, но тот был выше ростом.

Оба брата картавили. В молодости мне еще приходилось встречаться с людьми, считавшими картавость признаком хорошего происхождения. Таким образом, вторичный признак вырождений, свойственный некоторым дворянским родам, рассматривался как непремное условие классовой принадлежности — столь же нелепое, как и все внешние, а не внутренние критерии человеческой ценности. Мне лично это качество никогда не нравилось, все же я был искренне удивлен, узнав мнение чешских студентов, полагавших его уродством и картавых жалевших. Они мне открыли глаза, и со скамей политехнического института я невзлюбил искусственно картавящих, которых так много среди немцев. Но к Набоковым это не относилось — они картавили отроду.

Кирилл был тихий, вдумчивый молодой человек, немного недотыка, но вежливый и предупредительный. Когда он читал стихи, то совершенно отрешался от мира, заражая слушателей силой вкладываемого в чтение чувства. В своих стихах он подражал немецкому романтику Гёльдерлину, этим объясняется имя Диотимы, в них встречающееся.<sup>37</sup> Впрочем, равным образом на него влиял и Пастернак. Он был приверженцем поэзии усложненной, требующей медленного, сосредоточенного чтения.

В середине тридцатых годов он уехал в Голландию, где работал у какой-то обувной фирмы. После второй мировой войны та же фирма послала его своим представителем в Западную Германию. Там он заразился гриппом и умер. Его жена, которую я, впрочем, не знал, погибла несколько лет спустя ужасной смертью — она спорела заживо при пожаре одного из голландских торговых домов.

\* \* \*

Однажды А.Л.Бем получил письмо без подписи с просьбой высказаться о приложенных стихах. Ответ надо было послать на пражский почтамт до востребования, предъявителю паспорта номер такой-то. Стихи были хороши. Альфред Людвигович ответил, что переписываться с анонимом не намерен, но что с удовольствием поговорил бы о них лично. В назначенный день к нему пришла Дарья Васильевна Михайлова.

Надо прежде всего объяснить, что она отнюдь не пыталась быть таинственной или загадочной. Этот поступок был вызван ее почти что болезненной скромностью и застенчивостью.

Альфред Людвигович привел ее в «Скит». Приблизительно она была ровесницей века. Ходила она всегда одинаково одетая — в черной юбке, какой-нибудь блузке и в белом берете. В кафе (она начала ходить в «Скит» уже в послеголовинские времена) заказывала себе стакан чаю, к которому, однако, никогда не притрагивалась. Сидела она молча, по большей части рядом с Чергинцевой, если же вставляла замечания, то ценные и обдуманные. Как-то раз я подошел к обеим и спросил:

— Как сказать по-чешски одним словом — булочка, намазанная вареньем?..

Обе, конечно, не знали. Я торжествующе выпалил:

— Джемле...

(джем — варенье, жемле — булочка). Михайлова с легким неудовольствием сказала:

— Шутите все...

В своем творчестве она исходила из Пушкина. Каждый школьник, пытающийся слагать строфы, начинает отсюда. Дарья Васильевна ему не подражала, а со зрелым умением сознательно его перерабатывала. Из глубокой любви к поэту она и псевдоним, под которым печаталась, избрала пушкинский, а именно — Михайловская, прося произносить его с ударением на «а».

Стихи свои она читала глухим, немного скрипучим голосом, без скитской напевности, но и без декламации.

Сидя в «кулуарах Скита», мы как-то в ее отсутствие говорили о ее стихах, об их пушкинских истоках. Саша Головин сказал:

— Что ж! Пушкин — арап, к нему все пристегнуть можно!..

Но в этот раз его словцо минуло цель — стихи Дарьи Васильевны действительно были хороши. Андреев, слушая их, воскликнул:

— Вот, черт, как здорово!..

Восхищение было выражено не вполне подходящим для дамы и поэтессы способом, но было принято легким наклоном головы.

Мы потеряли руки.

Пятнадцатого марта 1939 г., в день вступления немецких оккупационных войск в Прагу, Дарья Васильевна выбросилась из окна.

После ее смерти «Скит» практически перестал существовать.

\* \* \*

Альфред Людвигович Бем был небольшого роста, ходил прихрамывая, опираясь на палку — последствие детского паралича. Волосы и борода у него были светло-каштановые, глаза серые.

По образованию он был филолог, окончил Киевский университет. В эмиграции он сначала очутился в Варшаве, оттуда переехал в Прагу, где преподавал в университете русскую литературу. Он был крупным специалистом по Достоевскому, написав о нем ряд работ.(...)

День возникновения «Скита» известен — это 26 февраля 1922 г. Первое собрание открылось докладом А.Л.Бема — «Творчество как особая форма активности».

Подумать только — Александр Туринцев уже произносил в «Ските» холодноватые, но меткие суждения, Сергей Рафальский развивал идею «возвращенчества с высоко поднятой головой», М.Д.Иванников читал рассказы, а Раиса Спинадель — стихи, а я еще сидел на нижегородской кремлевской стене и мечтал вслух о великом будущем России!(...)

Я ничего не знаю о судьбе «Скита» до моего вступления, даже где он собирался. Жаль, конечно, там было интересно. По преданию, скитовцы часто встречались с Цветаевой, но было ли это в «Ските» или просто так — не знаю. Марина Ивановна, вспоминая свои пражские годы, о «Ските» прямо нигде не упоминает, а говорит лишь об идейной русской молодежи. Несомненно, среди нее скитовцы занимали не последнее место.<sup>38</sup>

Кстати, Альфред Людвигович говорил «скитники». Я восстал против этого:

— Скитники — это монахи, — доказывал я. — Члены же литературных объединений называются — левовцы, напостовцы, раповцы...

С тех пор начали говорить — «скитовцы», но некоторые называли нас «скитцы».

Положение Альфреда Людвиговича в «Ските» было совершенно особое. Он не был ни его председателем, как говорили друзья нашего содружества, ни его руководителем, как выражались недруги. Это был тихий, мягкий человек, типичный русский интеллигент начала века, со всеми достоинствами и недостатками. Употребив современный термин, точнее всего было бы обозначить его скитским генеральным секретарем. Он делал заметки о каждом собрании, вел всю деловую переписку, заботился о скитских изданиях. К сожалению, во время войны он подпал под влияние своей младшей дочери, состоявшей в одной из крайне правых организаций и, по слухам, близкой к немцам. Ее все боялись и, встретив на улице, предпочитали переходить на другую сторону. Ее дурная слава бросила тень и на Альфреда Людвиговича, так что многие чехи прекратили с ним сношения.(...) Полагаю, что по отношению к самому Бему все эти опасения были необоснованны.

Нужно кое-что объяснить о скитских изданиях. Пока в Праге издавались «Студенческие годы», «Своими путями», а главное — «Воля России», все лучшее, написанное пражанами, было где печатать. Положение коренным образом изменилось, когда в начале тридцатых годов закрылся последний пражский журнал «Воля России». С тех пор нам практически печататься стало нигде, потому что в парижские издания нас не пускали. Причин для этого было несколько.

Прежде всего, русские в Праге были наиболее радикальной частью эмиграции. Тут было много учащейся молодежи и сильны чешские республиканские и демократические идеи. Все эмигрантские «ереси» — евразийство, социалистические издания, «возвращенчество с высоко поднятой головой» — шли именно из Праги. В редакциях парижских газет и журналов, издаваемых на частные средства зажиточных людей, а priori смотрели на все пражское с недоверием.

Далее, пражане тяготели к поэзии московской — Цветаевой, Пастернаку, Есенину... В Париже, наоборот, преобладали традиции «блистательного Санкт-Петербурга» — акмеизма и классицизма. «Распущенный москвич»<sup>39</sup> для парижан было осуждением, для нас — похвалой. Нетрудно найти под всем этим классовую подоплеку, mais lessons ça.<sup>40</sup>

А наконец, и в Париже возможностей печататься было не так уж много. Место на страницах предоставляли «своим людям», и парижан печатали далеко не всех. И тут свирепствовала жестокая «кадровая политика».

Но неугодных не только не пускали в журналы, их вообще «расстреливали молчанием», даже не упоминая, если тем удавалось попасть в печать.

Именно поэтому с 1929 г. «Скит» начал издавать сборники своих членов — личные и общие.<sup>41</sup> Давалось нам это нелегко из-за недостатка средств. Расходились сборники с трудом, главным образом среди знакомых. Уже сейчас они представляют необычайную библиографическую редкость.

Как я сказал, собрания «Скита» в мое время сначала происходили у Головиных. Потом собирались по разным ресторанам и кафе, нигде, впрочем, надолго не закрепляясь, — владельцам были невыгодны наши посещения материально.

Помимо очередных собраний, примерно раз в год происходили открытые вечера «Скита». Бывали они в разных местах — в «Русском Очаге», в верхнем зале Дома инженеров (ныне Всемирное содружество профессиональных союзов), в зале русского дома в Бубенче, на бывшей Бучковой улице.

С последним у меня связано воспоминание — как раз тогда в Прагу приехал П.Н.Миллоков. Он остановился у общих знакомых, и я, хотя никем не уполномоченный, зашел пригласить его на наш открытый вечер. Миллоков встретил меня более чем холодно, оценив нас — молодых писателей — чуть ли не как хулиганов и отступников от какой-то общей идеи:

— Ах, вот как, — сказал я самым пренебрежительным тоном, на какой только был способен. — Покойный Николай Иванович Астров всегда ходил на наши вечера, единственно поэтому я зашел позвать вас... А раз так, то не стоит и говорить...

Н.И.Астров был долгое время председателем пражского отделения Союза писателей и журналистов. Он действительно посещал все наши открытые вечера, несомненно по обязанности, ибо вряд ли наши поэтические эксперименты ему были интересны. В личной жизни он был лобезным человеком и не преминул сказать нам что-нибудь приятное, никого ни к чему не обязывающее, но подымавшее настроение.

Мои слова явно на Миллокова подействовали. Подумав, он сказал:

— Хорошо, я приду, но не говорите об этом никому...

Я никому не сказал, за исключением А.Л.Бема, да и то неопределенно — «может быть, зайдет...»

Миллоков пришел в середине вечера, если не ошибаюсь, с Д.И.Мейснером, и честно пробыл до конца. Альфред Людвигович в перерыве между двумя выступлениями просто сказал:

— Приветствую среди нас председателя Союза русских писателей и журналистов за рубежом...

Никаких последствий эта встреча не имела.

На другой из открытых вечеров А.Л.Бем привел выдающихся чешских поэтов — Йозефа Гору и Петра Кршичку.<sup>42</sup> Оба знали русский язык и с него переводили. Их имена хорошо были известны всем скитовцам.

После вечера А.Л.Бем увел всех в какую-то пивную. Но разговор вел с именитыми гостями он сам, скитовцы явно стеснялись. Желая спасти положение, я схватил стакан Горы, поставил его на поднос и запел:

Чарочка моя  
Серебряная,  
На золотом блюде  
Поставленная...

Никто меня не поддержал. То же самое я проделал потом и со стаканом Кршички. Но этот *style russe* явно им не понравился. Желая улучшить дело, я его испортил.

На рабочих собраниях «Скита», как правило, посторонние не бывали. Никаких ограничений тут, конечно, не было, и интересующиеся иногда приходили. Так, например, в начале 30-х годов на наших собраниях присутствовал несколько раз итальянец-славист, вполне прилично говоривший по-русски. Потом как-то пришла брюссельская поэтесса — Шаховская, близкая к редакции «Благонамеренного».<sup>43</sup> Она читала свои стихи, которые я раскритиковал за беспомощность, впрочем, вполне объективно, отнюдь не в силу литературной вражды (Брюссель считался предместьем Парижа).

— У нас все так пишут, — отвечала она, приводя исконный довод третьесортной литературной братии.

Потом читал рассказ высокий, красивый приват-доцент одного из германских университетов. Он был русский, его родители жили в «профессорском доме» на Бучковой улице. Рассказ был грамотный, но без малейшего вдохновения, к тому же из него выпирал фрейдизм. Я не переносил приват-доцента лично — тут играла роль ревность — и я его раскритиковал довольно жестоко. Андреев его защищал. Он все же на «Ските» обиделся и больше туда не ходил.

Много позже, после его отъезда в свой университет, его отец похвально в обществе своим сыном, рассказывал, какой тот сделал замечательный чертеж.

— А видели ли вы чертеж маловатости? — процитировал я «Алису в стране чудес».

Присутствовавшая Алла Головина прыснула. Старый профессор рассердился и тонким голосом крикнул:

— А вы попробуйте сами что-нибудь начертите...

Когда приезжал Анатолий Штейгер, то тоже бывал в «Ските». Кажется — дважды. В первый раз меня не было. Мансветов потом с хохотом мне рассказывал, что А.Л.Бем «пошел на Штейгера в атаку развернутым строем, но никто его не поддержал». Естественно — большинство скитовцев было со Штейгером в хороших отношениях, а в доме его сестры место для схваток было неподходящее. Альфред Людвигович мне потом жаловался:

— Как же это так — мне никто не помог...

Надо сказать, что А.Л.Бем критиковал поэзию Анатолия не только в «Ските», но и в печати, на что Штейгер отвечал в печати же, причем справедливость требует отметить, что выступления Анатолия были классом ниже. Я уже писал о вымышленных Аллой интервью об Анатолии. Бему в них приписывалось следующее:

Простота. Пустота. Скобки.  
Срамота...

Во второй раз Штейгер, собственно, никакого участия в собрании не принимал, а таскал отдельных скитовцев по углам и там, показывая свое стихотворение, спрашивал совета. В «Ските» это не было принято, притом он отвлекал от весьма интересного в тот день собрания. Не думаю, чтобы мнение спрашиваемых ему было особенно нужно, скорее это делалось в пику А.Л.Бему, но тот не попался. Если не ошибаюсь, речь шла о его «Поэме о гимназисте»,<sup>44</sup> где Анатолию не нравилось описание выстрела:

Звук был ровен и чист...

Я ему посоветовал вместо «ровен» — «четок», в духе скитских словосочетаний.

— Получится два «ч» за собой, — сказал он. — Черт знает что, чечетка какая-то...

Ученик парижской школы, он боялся аллитерации. Тут нас заметил Мансветов, которого взорвало, что Анатолий обсуждает стихотворение со мной, а не с ним. Сардонически смеясь, он прошел около, приговаривая:

— Штейгер советуется с Морковиним! Запомним это...

Незадолго до войны я решил сфотографировать А.Л.Бема. Мы условились о дне, я пришел и начал возиться с аппаратом. Он хотел сняться на фоне своей библиотеки, по моде начала века, и прислонился к полке с грустным лицом.

— Альфред Людвигович, — сказал я, — а нельзя ли без мировой скорби?..

Он рассмеялся, и я щелкнул. Фотография до сих пор хранится у меня.

Одним из последних, по сроку принятия, была старшая дочь А.Л.Бема. Ирина Алексеевна писала действительно хорошие стихи и была принята по заслугам, а не как дочь своего отца.

Должен дать небольшое пояснение. Как-то, в первые месяцы после нападения Германии на Советский Союз, я встретил Альфреда Людвиговича на улице. Естественно, поговорили о новостях с фронта, а потом он, смотря в сторону, сказал:

— Вы знаете, я перешел в православие... Принял имя Алексей...

Это не был просто религиозный поступок. В дни великих мук русского народа он демонстративно рвал со своими предками и подчеркивал, на чьей он стороне. Я так это и понял и горячо одобрил его решение. Тут же я ему сказал:

— Свое имя носите и дальше, все к нему привыкли, зачем все усложнять? А дочери уж пусть будут Алексеевны.

Самым известным стихотворением Ирины была «Андромаха». Оно начиналось описанием троянской войны, причем даже первое слово было древнегреческое (не знаю, как оно пишется):

Курултайолос Гектор, ты бился и умер без страха...

Кончалось же строчками, ни в ком не вызывавшими сомнения — о какой войне идет речь:

Андромаха, сестра моя бедная, белых локтей  
Андромаха,  
Как могла пережить ты все это — и пережила...

Ирина очень скоро вышла замуж за русского галичанина — Михаила Голика (в немецкие времена браки заключались рано, чтобы избежать принудительной посылки на работы в Германию). Они поселились в том же доме, что и А.Л.Бем, но в другом этаже. Как-то в 1943 г. я к ним зашел. Понятно, что мы обсуждали политические новости.

— А скажите, Вадим, — спросил меня Голик в упор, — вы за или против убийства Гейдриха?

Наступило молчание. По действующим правилам, одобряющий расстреливался вместе с семьей. Я был против этого убийства, предвидя жестокий террор, который за ним последует. Но мысль, что Голик заподозрит меня в трусости, была непереносима. Твердо глядя Михаилу в глаза, я ответил:

— Да, я одобряю смерть Гейдриха...

Ирина вскрикнула, схватилась за голову и выбежала из комнаты.

В первые дни мая 1945 г. В.М.Лебедев навестил А.Л.Бема. Тот был в экзотическом состоянии, напоминающем столь им любимых героев Достоевского, и явно готовился «принять венец». Через несколько дней<sup>45</sup> после освобождения он был арестован, а еще через несколько дней он выбросился из окна.

\* \* \*

Вернусь теперь к себе.

Еще будучи студентом, в 1928 г., мне удалось, совершенно чудом, посетить Францию. Я прожил несколько дней у Ольги Елисейевны Колбасиной, съездил к Анатолию Штейгеру в Сент-Женевьев де Буа, где он жил и работал секретарем в русском доме для престарелых, а потом провел месяц — с 1-го по 27-е августа с Сосинскими на острове Олероне.

Остров этот «открыла», еще в царские времена, именно Ольга Елисейевна, жившая тогда в Париже с мужем-эмигрантом. Они хотели провести где-нибудь лето, денег же на модные курорты — Биарриц, Трувиль, Ментон — у них не было. На карте она нашла остров, о котором никто ничего не знал, и они поехали «вслепую».

Ехать туда надо было поездом до Ля Рошели — целую ночь, а потом еще три часа пароходом до городка Буаярдвилль. Читавший «Трех мушкетеров» Александра Дюма несомненно помнит описание Ля Рошели. В мое время вокруг «старой пристани» еще стояли старинные дома и возвышалась крепость.

Сказать, что Олерон был глухой провинцией, было бы неточно — он был средневековым. Сосинские снимали крыло дома у старых, бывших уже на покой крестьян. Старик был разбит параличом, каждый день мы, вдвоем с его женой, выводили его на солнышко, причем каждый раз повторялось, что он гораздо лучше ходит. Во время этих бесед я узнал, что она вообще никогда не покидала остров, он же «был во Франции» только в молодости, отбывая в Ля Рошели воинскую повинность. Очевидно, это было вскоре после франко-прусской войны.

В столицу острова — Сен-Пьер — мы ехали по узкоколейке. Иногда машинист останавливал поезд, завидя едущего на телеге знакомого. Тогда в беседе принимали участие все пассажиры.

Для сенпьерцев Элеонора Аквитанская, принеся в XII веке их остров в приданое английскому королю, была еще реальным существом, а Наполеон, интернированный на соседнем острове перед своей ссылкой на св. Елену, чуть ли не современником.

Дорога на пляж в Буаярдвилле состояла из песка, сосен, океанского воздуха и солнца. Она точно описана в 1-й картине моего «Тобоза».<sup>46</sup> Пляж был оживленный, и на нем довольно много русских. Были две барышни — тезки, прозванные «Инна толстенная» и

«Инна тоненькая», потом племянник поэта Цетлина-Амари, молодой человек не без зазнайства, и еще один племянник — сотрудника «Воли России» Русселя, с женой и сводячицей, все время опасавшийся, чтобы до ушей его дам не дошло что-нибудь неподходящее. За исключением «Инны толстенькой», все они были провинциальны и полны снобизма.

Как-то к нам подошла дама с пареньком нашего возраста и сказала:

— Это вот мой сын Жак. Примите его в свою компанию. Только вот он по-русски не говорит... — Что ж, мы с удовольствием, — ответил я. — Как же, однако, мы с ним договоримся, если он по-русски не знает?

— Ничего, как-нибудь, — отвечала она.

Но из этого ничего не вышло. Я тогда полагал отказ от русского духа одним из возмутительнейших явлений и попросту Жака не замечал. Он проторчал с нами день и после не показывался. Позднее мне пришлось видеть довольно много случаев денационализации русских, но и до сих пор я к этому отношусь хотя и без юношеской запальчивости, но все же с отталкиванием.

Однако так просто отмахнуться от этого явления нельзя. Русские люди, попав за границу, обыкновенно держаться скопом, окружающей средой совершенно не интересуются, полагая себя, неизвестно почему, существами высшей культуры. Некоторые из них чуть ли не полвека провели на чужбине, ни разу не побывав в театре страны, где они живут, не прочитав ни одной ее книги (даже в русском переводе), не научившись сносно местному языку. Их нельзя считать русскими патриотами, разве что националистами.

Мне приходилось по деревням встречать русских женщин, вышедших замуж за чешских военнопленных (во время первой мировой войны) и так очутившихся в Чехословакии. Односельчане меня вели к ним:

— Поговорите с ней по-русски. Она по-чешски не знает, ей приятно будет слышать родную речь...

Я убеждался, что эти женщины, не научившись языку мужа, забыли свой собственный...)

Я<...>должен был уехать в Париж, где пробыл всего дня три или четыре, а потом вернулся в Прагу.

Накануне отъезда я поджидал где-то трамвай (тогда они еще по Парижу ходили) в Плесси-Робенсон, где жила О.Е.Колбасина. Вдруг на остановку пришла молоденькая монахиня, вся в белом, удивительная красавица. Мне пришло в голову испытать ее — как она будет реагировать на мирские соблазны — и уставился на нее тяжелым, мужским взглядом. Она долго меня не замечала, потом вздрогнула и, опустив головку, стала перебирать четки. За кого она молилась? За меня?

Эта поездка во Францию мне ничего, кроме радости жизни, не дала. Из писателей я виделся лишь со Штейгером и Сосинским, литературой всерьез я тогда еще не занимался. Я познакомился также с Вадимом Андреевым, сыном писателя Леонида Андреева, женатым на сестре Сосинской. Он подарил свою книгу — «Недуг бытия»<sup>47</sup> — «своему тезке, с большой, большой симпатией». Но тогда мне его стихи не нравились.

Мы знали друг о друге всю жизнь, но снова повстречались лишь через сорок лет. Его сводных братьев и сестру я знал по Чехословакии, где они долго жили. Все трое были моложе его. Средний из братьев — Савва — никак особенно себя в юношестве не проявлял. Наши девочки его прозвали «верблюдом» — кстати, прозвище довольно распространенное среди русских — так же называли, например, и С.Я.Эфрона. Потом Анна Ильинишна Андреева, вторая жена Л.Андреева, уехала из Праги в Париж и взяла всех детей с собой (правда, не сразу). Во Франции Савва работал где-то танцором, а потом, перед самой войной, уехал в Южную Америку. Я читал о нем в советской печати; судя по ней, он спился.

Их сестра Вера была красавица. Мы с ней взаимно относились друг к другу с большой симпатией, но и только. Однажды младший брат — Валентин — нарисовал ее спящей и приписал объяснение — «Кабыла спит».

Она потом вернулась в Прагу и вышла здесь замуж за инженера Рыжкова. Хотя мы жили в одном городе, но не встречались. Раз, уже во время войны, я зашел к ней по какому-то делу. Вера меня в упор спросила:

— Прежде всего, Вадим — вы за русских или за немцев?

Я пришел в замешательство — у нее были совсем мне незнакомые люди. Все же я ответил, как полагается русскому.

— Ну, тогда идемте чай пить, — сказала она.

Ни умом, ни тактом она не отличалась, как все дети от Анны Ильинишны впрочем.

Сразу же после освобождения мы случайно встретились на улице. Я был в мундире революционной гвардии, с ружьем в руках, и она приветствовала это криками: «О, о!»

Потом они с мужем уехали в Советский Союз. Там, в Орле, он упал с лесов и разбился насмерть. Вера осталась с дочерью. Несколько раз я читал ее статьи в «Голосе Родины», но они — полные национализма и несправедливости к европейской культуре — мне не понравились.

Что касается самого младшего брата — Валентина, то в Чехословакии, да и во Франции в 1928 г. он был еще юнцом, разъезжавшим на велосипеде, с довольно дурными манерами. Потом он стал художником. На многие годы я его потерял из виду. Встретиться нам довелось на Французской художественной выставке в Москве, через много лет.

Месяц на Олероне мне вспоминается как один из счастливейших в моей жизни.

Еще я в этот приезд познакомился с поэтом Борисом Божневым, но «поговорить» нам удалось лишь десять лет спустя, поэтому расскажу об этом после.

\* \* \*

Дальнейшие студенческие годы в Праге, как я уже писал, были очень трудными. Приходилось подрабатывать, где возможно, — чертить на заказ, давать уроки и под(об)ное. Хорошо также было работать статистом. Платили при кино съемках крон 30-40 в день — на них можно было жить три-четыре дня.

Я снимался во многих фильмах. Одним из первых был «Полковник Швец», где я представлял русского столяра, бестолково бегающего с самоваром. Очень нудной была съемка другой сцены — чехословацкий отряд вступает в русский город; девушка бросает из окна розу идущему впереди офицеру. Тот ее ловит на лету, целует и засовывает за портупею. Актер попался незадачливый, раз семь он не смог поймать цветок, так что приходилось оттягивать обратно всю колонну — пехоту, пушки и конницу — вверх по Тржищу (съемки происходили на Малой Стране). Еще в одной сцене на плачущую героиню набегала толпа, и я, схватив ее за руку, увлекал за собой.

Среди моих гимназических одноклассников был некто Г. — близкий родственник парижского православного архиерея<sup>48</sup> — человек весьма недалекого ума, что явно отражалось на его носатом лице. Режиссер фильма придумал такую сцену: толпа читает мобилизационный приказ, расклеенный на стене. Наплыв — и все мужчины исчезают, остаются лишь женщины и Г. Он очень гордился этой сценой.

Надо сказать, что мы, статисты, часто весьма смутно себе представляли действие фильма. При съемках «Варшавской цитадели»(...) режиссер выбрал Виктора Мансветова (брата поэта) для отдельного кадра. Потом, когда фильм вышел на экраны, я с удивлением и смехом увидел, как из крепостных ворот двое старорежимных русских полицейских выводят Виктора. Он едва передвигался, шатаясь. Я его спросил — почему? — и он ответил:

— А я разве знал, в чем дело? Вижу — городские по бокам, я и играл пьяного... Откуда было мне знать, что я — политический...

В фильме «Св. Вацлав» по ходу действия, в битве, немец бросается на чеха с секирой, который ее вышибает и прокалывает немца мечом, после чего тот падает. При съемке «немец» по ошибке вышиб меч из рук «чеха». Растерявшись, он выпустил секиру и упал. «Чех» же, не зная, что делать, стоял и грозил «немцу» кулаками. Таких цветастых проклятий, какие изрыгал режиссер, я долго потом не слышал.(...)

Как во время учения, так и после окончания института я не переставал писать.

Однажды, еще в начале тридцатых годов, я зашел к Головиной. У нее сидел В.М.Лебедев. Разговор был, естественно, на литературные темы. С кушетки, где она полулежала, Алла мне сказала:

— А мы вот с Вячеславом Михайловичем говорили о вас и пришли к выводу, что вам надо писать прозу...

— Почему? — спросил я.

— Так...

Этот неопределенный ее ответ, но с совершенно определенной интонацией, заставил меня призадуматься. Лебедев и Головина были поэты совсем разные, и поэтически, и человечески. Если они мне дружески советовали перейти на прозу, значит, это имело свои

основания. Подытожив свой поэтический путь, я перестал писать стихи. Это видно и по сборникам «Скита» — еще во втором я участвовал, а в третьем и четвертом уже нет.

Итак, я перешел на прозу. Просматривая свои бумаги, убеждаюсь, что писал всю свою жизнь. К сожалению, почти ничего опубликовать не удалось, за исключением драматической поэмы «Тобоз». Она была напечатана в таллинском альманахе «Новь» и одновременно вышла там же отдельным изданием.<sup>49</sup>

Свой роман-хронику «Желтое и черное» я, как это ни удивительно, в «Ските» не читал. В Праге его прочли Вл. Мансветов и Н.А.Еленев,<sup>50</sup> в Париже — А.М.Ремизов и М.Л.Слоним (в последнем не уверен — рукопись лежала долго у него, но ознакомился ли он с ней — не знаю). Кроме того, в Париже я читал отрывки из него на моем литературном вечере, состоявшемся 9-го апреля 1938 г., в 21 час, в кафе «Грийон» (каррефур Одеон). Не веря в объективность оценки парижан, бывших в пылу «холодной войны» с нами, пражанами, я поставил условием, что критики не будет. Так после моего чтения все расплатились и ушли, хотя кое-кому явно хотелось ввязаться в бой.

Я предложил роман берлинскому издательству «Петрополис», но А.С.Коган его не принял — неудивительно, если вспомнить, что была вторая половина тридцатых годов, а в Германии, где это издательство находилось, уже распоряжались наци. Точно так же его потом не взял и Руднев в «Современных записках» — для них советские темы были табу. А впрочем, и литературные достоинства романа, вероятно, невелики, хотя я его писал кровью. Лев Никулин в своих «Московских зорях»<sup>51</sup> описывает Вадима Васильевича Руднева как маленького и невзрачного, с сухонькой шеей. Маленьким он был, невзрачным, пожалуй, тоже. Носил он седоватую бородку клинышком и довольно длинные волосы. Из-под очков холодно и неприязненно поблескивали серые глаза. Он принадлежал к столь распространенному в наше время типу твердолобого политика, ничего ни в искусстве, ни в литературе не понимающего, но волею судеб имеющего возможность в литературу вмешиваться и ее безжалостно кромсать. Единственным утешением мне служит, что так же бесцеремонно он обращался и с вещами Марины Цветаевой.

О моем втором романе — «Анне Андерсен» — не знал вообще никто, за исключением его первой редакции, прочитанной мной девушке, послужившей прообразом героини.

В «Ските» мной были читаны следующие вещи — «В сторону Козла», «Школа или профсоюз», «Проект программы Скита», «Эрмитаж», «Белый бычок на перекрестке», «Грот и грамота».<sup>52</sup>

Я очень люблю Марселя Пруста и полагаю его крупнейшим писателем XX века. В молодости я зачитывался им (теперь уж никто не помнит, что в середине 20-х годов он вышел и по-русски, если не ошибаюсь, в издательстве «Academia»),<sup>53</sup> да и сейчас к нему возвращаюсь. Но когда в Париже и в Праге возникла на него мода, я написал свое «В сторону Козла». В нем я не пародировал французского писателя, а лишь русских его подражателей, одновременно освобождаясь сам от его воздействия. В «Ските» этот рассказ встретили в штыхы. «Под Пруста» в Праге пытался писать Киса Жаховской (не член «Скита»). Им написан совсем неплохой рассказ «10, 17»), в Париже Юрий Фельзен и Сергей Шаршун. Кроме того, в Париже был еще один «молодой» писатель, весьма лирично описавший собачью свадьбу. Его так и прозвали — «собачий Фельзен», но он подражал уже не Прусту, о чем говорит и его кличка. Не могу вспомнить его имя.

Зато в «Ските» всем полубился мой «Эрмитаж», над которым хохотали до упаду. Просматривая его, вижу, что большинство намеков и выпадов относится к тому времени и современному читателю ничего не говорит. Владимир Мансветов по поводу него сказал А.Л.Бему, что в нем «нет ни одного слова неправды».<...>

Очень много моей прозы осталось незаконченной. Когда меня охватывал зуд, я садился к столу и писал. Написав несколько страниц, я вспоминал, что работаю «на склад», и тогда карандаш выпадал из рук...

Лучшая и единственная школа для писателя — печататься. Я этой школы не прошел.

\* \* \*

Хотя мой отец работал в редакции, литературных встреч у нас в доме я не помню. Впрочем, он практически перестал быть журналистом около 1915 года, когда еще многое было вне моего внимания.<...>

Подростком я был в «Стойле Пегаса» — литературном кафе в Москве, на Тверской. На круглых столиках, под стеклом, были автографы поэтов-посетителей. Мне показали

подпись Сергея Есенина, его я уже знал по имени, остальных нет. Впрочем, его самого я не видел ни разу.

Почти в то же время я познакомился в доме моей крестной — Лидии Николаевны Витте — с писателем Ю.Н.Либединским. Л.Н.Витте была врач-бактериолог, старая большебичка, я видал у нее, например, А.С.Енукидзе. Была она абсолютно неверующая и моей крестной стала по дружеству с моими родителями. Юрий Николаевич был на восемь лет старше меня, в моем тогдашнем возрасте это была большая разница. Как-то он увлеченно говорил о московских рабочих. Я его спросил:

— А почему вы не читаете им свои вещи?

Очевидно, речь шла о его «Неделе». <sup>54</sup> Лидия Николаевна потом рассказывала, что вопрос он ей передал, приговаривая:

— Очень вдумчивый и серьезный молодой человек...

На выступление Маяковского в Политехническом музее меня взяла с собой Пава Р.Анатолій Штейгер полагал, что я вывел ее в своем «Желтом и черном» под именем Аммон-Ра. Это не совсем так — в Аммон-Ра были объединены черты не только Павы Р., но и рязанской Шуры Д., и еще кое-кого. Пава меня воспитывала, давала читать Ремизова, которого я не понял. Но она меня научила чтить Блока, а это уже большая заслуга.

Какие вещи читал Маяковский — не помню, но сохранил в памяти, что большинство им читанного я уже знал — в доме Л.Н.Витте Маяковского боготворили. На вечере несколько молодых людей начали вопить, потом вылезли на эстраду и один из них обвинил Маяковского, что тот обокрал Хлебникова. Обвиняющий стоял, другой развязно сидел на стуле верхом. Зал ответил криком и свистом, но Маяковский сказал:

— Подождите, товарищи, я их отчитаю...

И действительно отчитал. Оба спустились в зал, а навстречу им двинулся милиционер. Тут уж я пытался кричать, но Пава мне положила руку на руку:

— Ради Бога, не надо...

Второй раз я слышал Маяковского в Праге, где он выступал в Виноградском театре — 26-го апреля 1927 г. И опять из его выступления ничего не помню, за исключением довольно неуклюжего славянофильства.

Вместе с отцом работал некто Вилли — не вспоминаю, был ли это его псевдоним или же настоящее имя. <sup>55</sup> Как-то в редакцию зашел Маяковский и, окуная окурков в чернильницу, несколькими чертами нарисовал портрет Вилли. Моя мать видела рисунок, по ее словам, Маяковский верно схватил черты Вилли. Вся редакция находила, что портрет был сделан очень талантливо.

В Праге проживает Наталия Ивановна Ягудка. В молодости она хорошо знала Маяковского. Несколько раз я ее просил о нем рассказать.

— Да нет — что ж, — отвечала она. — Дело было молодое, а он нас за барство презирал...

На самом деле он был в нее влюблен. Одна общая знакомая, знавшая ее еще по России, утверждала, что Наталия Ивановна была удивительно хороша собой.

— Помню, — говорила рассказчица, — как она пришла в Колонный зал на бал, встала около колонны, стройная, вся в белом...

Наталия Ивановна была Маяковскому под стать. Хорошая художница, во второй половине 30-х годов вдруг писать перестала. Нельзя об этом не пожалеть. Во всяком случае ясно, что Маяковский ею увлекался не только как красавицей, но и как полноценным человеком.

Подобный же неуспех меня постиг в жизни еще раз. У моей второй жены есть хорошие знакомые — семейство Сыровых. Он мне рассказал, что его отец был учителем и переписывался с Л.Н.Толстым, <sup>56</sup> письма которого в семье сохранились. Я его очень просил показать их мне, он обещал спросить сестру, где эти письма, но сестра уехала в Западную Германию, никто из семьи ничего о них не знал, так все сошло на нет.

Мы шли с отцом по Арбату, вероятно, это был 1921 год. К уличной торговке подошел человек среднего роста с длинными, рыжими волосами, купил пирожок и стал лакомиться.

— Видишь, — сказал отец, — это Бальмонт...

Больше я его никогда не видел, но много лет спустя в Париже, в доме М.Н.Лебедевой, мне пришлось встречаться с его дочерью. Мирра Константиновна была существом несчастным, слезоточивым, вечно от кого-то беременным, чрезвычайно неаккуратным и нечистоплотным. Алла о ней рассказывала вещи весьма рискованные, затрудняюсь судить, насколько они отвечали истине.

Еще много лет спустя мне привелось познакомиться в Праге со второй дочерью Бальмонта — Ниной Константиновной. Между нами возникли хорошие отношения, но я о них не рассказываю, потому что это было уже после 1967 г., т.е. после предела, поставленного мной для этой книги.

Из эмигрантских писателей мне в «Русском Доме» на Панской улице как-то показали Аркадия Аверченко. Но лично мы с ним не были знакомы.

У Е.Н.Чирикова я был как-то в гостях. Он жил с семьей в вошедших в русскую литературу Вшенорах. Стайкой молодежи мы собрались на веранде его дома. По-видимому, это был 1924 год. Евгений Николаевич к нам вышел с газетой в руках, подбоченился и воскликнул:

— А я вас опишу...

— А мы не боимся, — отвечал я.

Был он в тот раз в расшитой крестиками косоворотке, подпоясанной шнурочком, и в темном костюме. Вид у него был типичного русского интеллигента, с длинными волосами и в пенсне. В то время вышел его роман «Зверь из бездны». Он взволновал всю эмиграцию, о нем спорили, возмущались. В гимназии нам не советовали роман читать. Но эта буря в стакане воды через несколько лет заглохла. Других встреч у меня с ним не было.

В том же 1924 году во Вшенорах, куда я приехал на лето из гимназии, я виделся с семейством Эфронов. Не знаю, как в Праге, но по деревне Сергей Яковлевич ходил в коричневых брюках-гольф и бежевой в клетку куртке. Под ней была белая незастегнутая рубашка. У него было продолговатое лицо, в котором смешались всевозможные крови. Частая улыбка была приветлива и застенчива.

Его дочери Ариадне тогда было 11 лет, мне же 18 — разница значительная. Я напускал на себя мальчишескую важность и третировал ее как ребенка. Воспитанная Мариной Ивановной вундеркиндом, она мне этого не простила никогда и на всю жизнь сохранила ко мне неприязненное чувство. Раз мне нужно было в Прагу. Поезд был переполнен, мне не хотелось толкаться, я решил ехать на площадке. Тут вступила Марина Ивановна.

— Вы найдете еще место в вагоне, — сказал я.

— Все равно, я останусь с вами...

Я не могу себе простить, что забыл все, о чем мы говорили. Где-то она пишет — искусство разговора состоит в том, чтобы собеседник себя чувствовал Крезом. Может быть, эту запись вызвали мои неуклюжие ответы. До сих пор сохраняю чувство необычайной полноценности этой беседы.

Довольно часто я видел Василия Ивановича Немирович-Данченко. Говорить, что я с ним виделся, не вполне правильно. Его племянница — графиня Елена Самсоновна Тизенгаузен, сопровождавшая его повсюду, была хорошо знакома с моей матерью. Как Вас.Ив.Немирович-Данченко, так и моя мать пользовались минеральными водами в Подебрадах, где виделись ежедневно. Но разговоры при этих встречах были обыкновенные, из них мне ничего не запомнилось. Лишь один раз я был у него по литературным делам, а именно — члены «Скита» (без ведома А.Л.Бема) обратились с письмом к какому-то литературному фонду, прося помочь при издании наших сборников. Я зашел к Василию Ивановичу с просьбой нас поддержать. Он внимательно письмо прочел и, показывая на отдельные подписи, спрашивал:

— А это кто?..

Рекомендацию он нам написал, но ничего из этой затеи не вышло.

У меня к нему было особое отношение, которое можно назвать чувством преемственности. Я его передавал примерно так:

— Разговаривая с Василием Ивановичем Немирович-Данченко, я всегда ожидаю, что он мне скажет — «знаете, Морковин, вам кланялся Достоевский»...

Этого чувства никто не понимал, скитовцы над моими словами смеялись, А.Л.Бем — возмущался. Все полагали их чванством, я же думал об эстафете.

После его смерти Елена Самсоновна мне подарила его пишущую машинку. Все мною написанное до второй мировой войны напечатано на ней. В 1945 г., когда я служил в революционной гвардии, советский офицер попросил у матери одолжить ее на день. Излишне говорить, что машинка возвращена не была.

Надо сказать, что Василий Иванович, во время, когда я его знал, был уже в весьма преклонном возрасте. Знаю наверно, что в эмиграции он еще писал, но в основном его литературная деятельность относится к прошлому веку. Он чрезвычайно радовался, когда

праздновался его юбилей — теперь уж не знаю, 75-ти или 80-летний. В нем он принял активное участие, прочитав один из своих рассказов.

Он был грузен, бороду носил расчесанную на обе стороны, по моде, предшествовавшей эпохе Александра III, ходил опираясь на палочку. Однажды в Подебрадском парке около него прошла молодая женщина в полном цвету. Василий Иванович оглядел ее всю и сказал:

— Эх, будь я лет на десять моложе, я бы ей показал...

Тогда ему было значительно за 80.

О Данииле Максимовиче Ратгаузе я уже писал.

Еще из «старших» писателей упомяну о Валентине Федоровиче Булгакове, состоявшем в свое время секретарем у Л.Н.Толстого. Мы были с ним знакомы и перед войной, но поверхностно. После нападения Германии на Советский Союз он мне написал, что хотел бы встретиться. При свидании он предложил устроить литературный вечер в «Русском Народном Университете». Я согласился, мы привлекли еще Эмилию Кирилловну Цегринцеву.

Место было выбрано не вполне привычное — обыкновенно Народный Университет литературных вечеров не устраивал. Но зато это было захолустье, вне излишнего внимания. Мы же полагали, что не просто читаем перед публикой — он отрывки из своих воспоминаний, я же — «Встречу», но и боремся за русскую культуру, над которой нависла страшная угроза.

По-моему, было два таких вечера. Потом судьба нас разметала в разные стороны — меня перевели в Брюно, он же был немцами арестован и послан в концентрационный лагерь. Вернулся он в ужасном состоянии — буквально кожа да кости. Поправившись, он принял на себя обязанности заведующего русским музеем в Збраславе.

Предвидя разные случайности, я сдал туда еще в 1939 г. на хранение некоторые особенно важные для меня бумаги — дневник, веденный во время поездки в Париж, все письма Анатолия Штейгера, случайно очутившиеся у меня документы эпохи Великой французской революции, а также девичью головку работы Александра Головина, о которой я уже писал. После войны музей был вывезен в Советский Союз и все мои вещи пропали, за исключением нескольких писем Анатолия Штейгера, чудом спасенных В.Ф.Булгаковым. Не могу не пожалеть о потере дневника. Если бы он сохранился, было бы можно привести точные даты событий, которые здесь описываю.

Сравнительно скоро Валентин Федорович возвратился в Советский Союз.<sup>57</sup> Перед отъездом я заходил проститься. Разговор, как водится при прощании навсегда, был грустный. Он спросил меня, не хочу ли я съездить в Москву (тогда еще личные поездки в СССР не разрешались).

— Да, — отвечал я. — Но еще больше мне хотелось бы посетить Париж, повидать друзей...

— А нашли ли бы вы их, В.В., — сказал он с легким неудовольствием, — и нашли ли бы вы их такими, какими хотите их видеть?..

Я сказал еще, что в молодости человек себя мнит чуть ли не центром вселенной.

— А на самом деле он — песчинка в море, — добавил Булгаков.

<...> Здесь полезно будет сказать, что русские писатели старшего поколения в Праге тяготели к чешско-русской Едноте,<sup>58</sup> собрания которой происходили в «китайском» зале отеля Беранек. Я там был всего лишь раз, не помню уже по какому случаю. Сначала я был слишком молод и мне эти собрания были чужды, потом же как член «Скита поэтов» я находился в оппозиции к этой консервативной организации.

В конце тридцатых годов в Прагу приезжали два писателя «среднего поколения» — Антонин Ладинский и Владимир Сириян.

Ладинский побывал не только в Праге, но съездил и в Прикарпатскую Русь, о чем он напечатал несколько очерков в «Последних новостях». В одном он очень тепло отзывался о «Ските», перечисляя всех его членов. Скитовцы провели с ним приятный вечер в одном из пражских винных погребков. Был он высок, с уже седеющими волосами, зачесанными назад. Видимо, ему дружественная атмосфера «Скита» нравилась, по сравнению с парижским разгильдяйством.

Сириян приезжал навестить мать и семью, а заодно устроил свой вечер, где читал «Весну в Фиалте», а также свои стихи. Стихи он писал упорно, хотя поэт был более чем посредственный. Несомненно, его брат Кирилл как поэт был гораздо значительнее Сирияна.

Держался Сириян вежливо, но сознание своей первостепенности как писателя иногда у него проскальзывало. Недавно в одном иностранном журнале я нашел его снимок и ужаснулся

— в тридцатых годах у него было лицо русского интеллигента, а со страницы на меня глядело лицо сатира, способного написать «Лолиту».

Надо сказать, что примерно за год до его приезда «Скит» устроил открытый обмен мнений о его творчестве. Набоковы не пришли, явно не желая оказывать влияние на ход вечера, но была старая няня, жившая в семье. Некоторые выступления не были в пользу Сирина. Николай Андреев, защищая его, отметил, что «Приглашение на казнь» является произведением единичным в русской литературе. Потом говорил я, однако не согласился с андреевским мнением, напомнив о замятинском «Мы». Оба мы проглядели зависимость «Приглашения на казнь» от «Процесса» Фр. Кафки. Во всяком случае, из выступавших я защищал Сирина наиболее рьяно. Год спустя, будучи в Праге, он выделял меня поэтому из среды скитовцев.

Сравнительно недавно один мой советский друг мне написала, что Паустовский — лучший современный русский писатель. По чистой совести я ей ответил, что полагаю Паустовского очень крупным писателем, но что Сирин, несомненно, гораздо его значительнее. «Конечно, Сирин писатель холодный и иронический, — писал я, — и эсеровского прекраснодушия Паустовского в нем нет». Не знаю уж, что она об этом подумала.

\* \* \*

Два года подряд — в 1938 и 1939 гг. — мне удалось побывать в Париже. Оба раза это почти что чудо, я расскажу об этом позднее. Оба раза я возвращался в литературной среде.

Сосинские меня ввели к А.М.Ремизову. Его квартира — иначе и быть не могло — являлась генеральным штабом Обезвельволпала. Я посетил его раза два или три. Алексей Михайлович был маленький, сухонький, сутулый, чем-то напоминавший А.Л.Бема, — кстати, оба они были лохматые. Разница была в глазах — у Альфреда Людвиговича они были задумчивые, а у Алексея Михайловича — иронические, с искоркой.

Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, наоборот, была высокая, полная, представительная женщина, с большими голубыми глазами. По призванию она была палеографом и в Париже часто читала лекции по своей специальности.(...)

Но еще до личного знакомства у меня об Алексее Михайловиче было предвоспоминание. Как-то Сосинская мне написала в Прагу, что ему нужен список с какого-то старославянского текста о св. Николае, и просила его переписать. В награду обещалось кавалерство Обезвельволпала. Письмо пришло в неподходящее время — я приступал к государственными экзаменам, были еще какие-то, чисто личные, причины, и я просьбу не выполнил. Так я не стал кавалером Обезьяньей великой и вольной палаты.

Я давал Алексею Михайловичу прочитать, как уже сказано, свое «Желтое и черное». Возвращая текст, он посоветовал:

— Никогда не пишите — «Она была очень красива». Это никому ничего не говорит...

Интересно, что та же фраза не понравилась и Н.А.Еленеву, сказавшему:

— Вот вы пишете — «Раиса Блох была очень красива и, по-видимому, знала это»...

Если женщина красива, то она вполне определенно это знает...

Оба, конечно, были правы. Думаю все ж, что у меня фраза звучит несколько иначе, чем они ее восприняли.

Я постеснялся рассказать Алексею Михайловичу, что читал его книги в революционной Москве.(...) Теперь об этом жалею — ему, вероятно, было бы приятно.

В апреле 1957 года Сосинская мне написала из Нью-Йорка: «А теперь просьба за просьбу (donant-donant, как принято у олеронцев): 24-го июня исполняется 80 лет Ремизову. Он остался один (Серафима Павловна умерла вскоре после войны), он очень постарел и почти ничего не видит, а это для него, книжника, трагедия. Затевают, чтобы его поздравить, празднование юбилея. Пошли ему, к этому дню, поздравительное письмо или телеграмму и напомни всем, кто его помнит и любит. Очень, очень прошу, сделай это для меня. Буду очень тебе благодарна. Адрес его все тот же: 7, rue Voileau, Paris 16-е».

Я написал Алексею Михайловичу поздравительное письмо и напомнил о юбилее в Союзе советских граждан, но там к моим словам отнеслись более чем холодно — насчет Ремизова не было получено указаний.

В декабре того же года Сосинская мне сообщила: «Неделю назад умер бедный Алексей Михайлович, хоть мы были подготовлены долгой болезнью и его возрастом — 80 лет! — это для нас большое горе. Мы очень сблизились с ним в последние годы. Раньше весь мир для него разделялся на Серафиму Павловну и всех остальных людей. Но после ее смерти

он стал горячее откликаться на привязанность и ласку и ближе принимать к сердцу жизнь других людей... От Наташи<sup>59</sup> знаю, что он получил твое письмо и очень ему порадовался, но сам Алексей Михайлович уже не мог писать, он почти ослеп...»

С Георгием Адамовичем меня познакомил Саша Головин буквально на другой день после моего приезда в Париж в 1938 г. на каком-то литературном вечере, где выступали почти все «молодые» поэты.

Адамович был со мной учтив, но и только. Он, конечно, знал о моей дружбе со Штейгером, ибо был с Анатолием сам очень хорош. В своих статьях раза два он выразился обо мне иронически. Со своей стороны я пустил в него несколько парфянских стрел в своем «Эрмитаже», он не мог не знать этого. К тому же, как все парижане, он мысленно спрашивал себя: «Что хорошего может быть из Назарета?» Несколько раз мы с ним встречались в обществе, он был на моем литературном вечере. Интересно, что на нем, когда некоторые присутствовавшие рвались в бой, он поддержал меня, сказав:

— Лучше без критики... так было условлено...

Из современных критиков, все равно уж — марксистов или нет, — Адамович, конечно, самый значительный. Но, ограничивши себя канонами «блистательного Санкт-Петербурга», он не воспринял, например, Марину Цветаеву. Со своей стороны она, как и в случае Валерия Брюсова,<sup>60</sup> в бочке меда увидела лишь ложку дегтя и написала свой «Цветник».<sup>61</sup> После этого их пути разошлись навсегда, о чем нельзя не пожалеть.

После войны я обратился к нему с письмом, прося прислать посмертную книгу стихов Анатолия Штейгера.<sup>62</sup> Его ответ был весьма приятным, но в присылке он мне отказал. И Алла прислать мне книжку не захотела. Очевидно, оба предполагали, что в случае получения этих стихов меня поставят к стенке.

С Владиславом Ходасевичем я познакомился через Аллу. Брат и сестра поделили парижских мэтров — Анатолий был близок к Адамовичу, Алла входила в группу «Перекресток»,<sup>63</sup> руководимый Ходасевичем. Надо напомнить, что Адамович был сотрудником «Последних новостей», Ходасевич — «Возрождения». В значительной мере, конечно, они просто печатались там, где их печатали. Но удельный вес «Возрождения», газеты очень правой, был значительно ниже «Последних новостей». Ходасевич также как критик и публицист стоял много ниже Адамовича. Зато гонора в нем было больше, всем своим видом он показывал свое над Вами превосходство.

Если не ошибаюсь, я был в его обществе всего лишь раз — где-то в кафе. Мне немного претило, как некоторые «молодые» поэты к нему подлизывались. По этому поводу Алла мне передала его слова, что он предпочитает грубую лесть.

— Все равно, — говорил он, — все это делается ради благоприятного отзыва в печати. От грубой лести же попросту отмахнешься, она тебя ни к чему не обязывает...

Его желтое лицо с пенсне не внушало приязни. Притом я всегда помнил, что кончил он сотрудником «Возрождения», а начал заместителем наркома просвещения.

Как-то раз в одном из парижских кафе собралось общество, в основном литераторы. Вскоре пришла Ирина Владимировна Одоевцева, писавшая неплохие стихи. Это была красивая блондинка, синих глаз, элегантная, но было что-то в ней (как и в Любови Орловой, с которой у нее было нечто схожее) от горничной или, еще вернее, от содержанки. Среди наших русских женщин это не очень редкий тип.

Перечитав эти строки, я понял, что для современного читателя они будут глухими — ибо кто ныне еще помнит, как выглядит горничная, а тем паче содержанка? Когда теперешние актрисы пытаются изображать проститутку или дам высшего света — получается крикливо, глупо, неправдоподобно. Где им, бедняжкам, изучить эти уже вымершие типы? Интуицией? Никакая интуиция не подскажет, как себя держала Анна Каренина или же Маргарита Готье.

Одоевцева отнеслась ко мне очень хорошо, была любезна и общительна, без слов подчеркивая, что я не случайный собеседник, а человек одного с ней круга. Потом за ней зашел ее муж — Георгий Иванов. Он был высок, черные волосы были зачесаны назад, лучше всего к нему подходило бальзаковское определение — «бывший молодой человек». Он был тоже представителем «блистательного Санкт-Петербурга», другом Осипа Мандельштама, но ко мне отнесся вполне благопрестойно, ничем не напомнив о холодной войне между Прагой и Парижем. Иванов был выдающийся поэт, несомненно занимая одно из первых мест на эмигрантском Парнасе. Его «Петербургские зимы» когда-нибудь будут надлежаще оценены. Не знаю, что его дернуло написать скабресный «Распад атома». В разговоре он коснулся и этой книги, но как-то неопределенно — не то полагая ее не

выразившей все, что он хотел, не то неподходящей для русской публики, не то несправедливо затертой.

Вскоре они оба ушли. Больше я их не видал.

Лидия Червинская меня представила Зинаиде Гиппиус. Та пригласила меня к себе. Один из завсегдатаев ее приемов восторженно говорил, что единственно в доме у Мережковских сохраняется настоящая петербургская атмосфера.

Чай подавался в большой холодной комнате. Холодной не температурой, а обстановкой, всем интерьером. За столом сидело человек семь-восемь, включая хозяев. Разговор был интересный, было истинным удовольствием следить за ним. Мережковский был небольшого роста, суховатый русский интеллигент, но не нашего крыла. Он был в визитке. Гиппиус была *si-devante*.<sup>64</sup> Я смотрел на нее с любопытством — «женщина безумная гордычка».<sup>65</sup> Очень нетрудно себе было представить ее рассматривающую в лорнет валенки Есенина.

На следующий год я пришел к ним снова. Мережковский, когда ему напомнили, что я из Чехословакии, начал разводить ахинею о «наивных чехах, предпологавших, что из-за них будут сражаться». Для меня он был гроб повапленный, я не считал нужным ему отвечать. После чая Червинская отвлекла, по моей просьбе, Гиппиус к окну. Подойдя, я сказал:

— Когда вы меня, Зинаида Николаевна, в прошлом году пригласили к себе, это было «в кредит» — вот, мол, литератор из Праги. Сегодня я принес показать вам одну вещь, чтобы вы составили себе о мне представление...

Я ей оставил первую редакцию «Встречи». Через несколько дней Червинская мне передала, что Гиппиус решила поместить рассказ в подготовляемом ею альманахе «Круг». Начавшаяся война сорвала эту возможность.

Как мне стало известно, в последующие после нашей встречи годы Мережковские очень нуждались. Им с большими трудностями помогала Анна Тескова, одна из «наивных чехов»...

На моем литературном вечере присутствовали И.А.Бунин с женой, которую Цветаева звала Верой Муромцевой, а также Н.А.Тэффи. Я был даже не столько польщен, сколько несказанно удивлен.

Когда я прочел фразу из «Желтого и черного»: «На углу Сивцева Вражка и Алябьева переулочка когда-то стояла женская гимназия...», то Вера Николаевна меня перебила:

— Я не помню такого переулка на Арбате.

— Если был Гагаринский переулок, то почему же не быть Алябьеву? — сказал я. — Тоже ведь очень старый род...

Она смирилась. После вечера Бунины и Тэффи сразу ушли.

Но потому что просто так они на мой вечер прийти не могли, значит, мы уже перед этим были знакомы, но где и как меня им представили — не помню. Как Тэффи, так и Бунина держали себя по отношению ко мне вполне дружелюбно, сам Бунин — с всем известной холодностью. По-видимому, я их видел где-то, но конкретных воспоминаний у меня не осталось.

Из писателей «среднего» поколения я прежде всего обновил знакомство с А.П.Ладинским. Мы встретились с ним на каком-то литературном собрании, и он пригласил меня к себе.

У него была очаровательная жена — милая, красивая, образованная и при всем том очень скромная, почти застенчивая. Как ни странно, но он ее третировал. Впрочем, мне несколько раз в жизни пришлось наблюдать, как мужья красавиц ими явно пренебрегали.

Мы провели приятный вечер. После ужина Ладинский сказал:

— А теперь я вас угощу коньяком, который старше вас... Предупреждаю, что получите только рюмку... И притом этот коньяк не пьют, а смакуют...

Он принес шампанский коньяк, где-то им раздобытый из подвалов барона Ротшильда.

Мы договорили о «Черном и голубом».<sup>66</sup> По моей просьбе он прочел оттуда «Стихи о Европе».<sup>67</sup> Они были хороши. Все это поколение — Ладинский, Эйсер, Лебедев — да и многие другие — испытывали внутренний, невысказанный страх за судьбу европейской культуры. Меня это чувство коснулось лишь краем, в моих «Меж колец дыма» и «В сторону Козла». Много лет спустя Мариэтта Шагинян окончательно рассеяла мои опасения, утверждая, что стареют и уходят классы, культура же остается.

Я виделся с Ладинским еще раз на каком-то балу, и мы снова хорошо поговорили. Я пригласил Ладинскую на танец, она застенчиво отказалась, но попросила потанцевать с ее знакомой, девушкой восточного типа. Отказаться было неудобно, хотя та была мне отнюдь не интересна да и танцевала из рук вон плохо. Помимо всего прочего, я не люблю девушек восточного типа.

Потом мы с Ладинским не встречались. После войны он был выслан из Франции за свои советофильские убеждения в Германию. Позднее он переехал в Советский Союз. Недавно он умер в Москве. Мне удалось приобрести советское издание его книги «Когда пал Херсонес».

Затем я познакомился с Романом Гулем. Как Льву Никулину принадлежит известное выражение «железный занавес», так Роману Гулю — обозначение советских военачальников маршалами в одноименной книге.<sup>68</sup> Название быстро привилось в эмигрантской печати, а потом перешло и в Советский Союз, где было узаконено. В политическом отношении Роман Гуль был несколько неустойчив, но вполне порядочный и честный человек.

Гуль позвал меня к себе. Его жена была под стать ему — тоже выше среднего роста. Собираясь к ним, я просил Гуля, чтобы она не готовила никаких разносолов.

— А какое хотите вино? — спросил он.

Зная эмигрантские недостатки, я ответил:

— Никакое. Вина вообще не надо...

Так мы провели вечер за чаем. Гуль меня расспрашивал о Праге, о «Ските», о моих писаниях. Я ему вкратце рассказал содержание «Желтого и черного».

— А это может быть интересно, — сказал он.

— Конечно, интересно, — ответил я. — Ведь не существует романа из жизни русской эмиграции в Праге...

— Нет, я думал о теме человека, воображающего себя евреем...

— Ну, уж об этом судить не мне, — закончил я разговор.

Через несколько дней, идя по одному из парижских бульваров, сквозь окно обувного магазина я заметил жену Гуля, примерявшую туфли. Эта мирная картина вызвала у меня восклицание:

— Ну, войны не будет, раз мадам Гуль покупает себе новые туфли!..

Я ошибался. Война пришла. Ее симптомом было, что мадам Гуль себе покупала новые туфли.

\* \* \*

Лидия Червинская занимала в русских парижских литературных кругах совершенно особое место. Не то чтобы она была *bête-noire*,<sup>69</sup> но все же ее имя всегда произносилось настороженно. Меня ей представили на балу молодых писателей. Стройная, черноволосая, она пришла в темно-синем платье с меховой накидкой и сразу стала центром внимания. Она была оживлена, черные, выразительные глаза ее сверкали из-под длинных ресниц, но мое внимание привлек цвет ее лица. Смуглое от природы, оно имело какой-то бронзово-металлический, зеленоватый оттенок. Она уже слышала обо мне, я — о ней, а потому подала руку приветливо, без жеманства. Рука была мягкая, теплая, полная женского очарования.

Она шла нарасхват. Все же она мне оставила один танец, если не ошибаюсь — вальс. Разговор при этом был чисто светский, что-то о том, как его танцуют в Вене и как в Праге. Вскоре она с бала ушла.

Через день или два я зашел к Алле. Она меня расспрашивала о моих впечатлениях (по состоянию здоровья она на бал идти не могла), а потом, надув губы, сказала:

— Я не хочу, чтобы вы ухаживали за Червинской...

Я, естественно, рассмеялся.

Еще дня через два я был у Штейгера, которому тоже поведал о бале и Червинской. Он спросил:

— А какие у нее были руки?.. Теплые?..

— Да, — ответил я, — а что?..

Он перевел разговор на другое.

Потом через несколько дней я встретил Червинскую в кафе. Поданная мне рука была холодная, влажная, в ней было что-то лягушечье. Сама Лидия была не то чтобы неинтересная, а какая-то вялая, в воду опущенная.

Все это меня, понятно, заинтриговало, но никто из знакомых не хотел объяснить, в чем дело.

Она была на моем литературном вечере, она меня познакомила, как я уже писал, с Мережковскими, мы с ней часто видались на Монпарнасе, где в одном из кафе собиралась литературная братия.

Мне удалось однажды «эпатировать» Лидию. Мы были где-то в обществе, разговор искусственно поддерживался на высоком уровне, как принято среди литераторов, желающих показать, что они не от мира сего. Мне эта манерность претила, и я со смаком стал рассказывать, как нужно готовить гуляш по-венгерски. Лидию смутило, что ее protégé говорит на такие низкие темы. Мягко она сказала:

— Может быть, довольно о кухне?..

Как-то раз, не помню уже, где это было, знаю лишь, что не в кафе, а в какой-то комнате, мы сидели втроем — Фельзен, Лидия и я. Фельзен был блондин среднего роста, типичный представитель «нордической расы», писавший длинные, трудночитаемые романы. Собственно, сидели мы с Фельзеном, Червинская стояла. Разговор был пестрый, перебивавший с литературы на политику, а с нее на вопросы культуры. Неожиданно Червинская сделала декларацию:

— Вот мы с Юрием Николаевичем как евреи...

У меня есть одна труднообъяснимая особенность, еще с детских лет, — я прихожу в полнейшее смятение, когда кто-нибудь заявляет, что он еврей или же что он монархист. В обоих случаях я теряюсь и не знаю, что отвечать. Так и в тот раз, я нашелся лишь сказать:

— Я не верю в существование евреев...

Эти слова Лидию очень удивили. Она просила их разъяснить.

— Существуют лишь люди, — продолжал я, — воображающие себя евреями...

Она рассмеялась. Мысль ее заинтересовала и понравилась. Очевидно, она и Фельзен передали ее дальше, и так она начала свой долгий путь — к Бердяеву, от него к экзистенциалистам.(...)

В следующем году мы с ней встретились как хорошие знакомые. Опять мы видались в кафе, у Мережковских и т.д.

Четырнадцатого июля 1939 г., в день французского национального праздника, я увидел на Монпарнасе Марию Ивановну Ставрову с мужем. Я пригласил Марию Ивановну, мы потанцевали на мостовой, Ставровы меня позвали в «Nox». Там были русские цыгане, нагие французские танцовщицы, разлитое море шампанского и коньяку. Пили мы всю ночь, утром, уже на уходе, я потерял сознание. Когда мне немного полегчало, взяли такси и Лидия отвезла меня домой. Желая дать мне возможность подышать свежим воздухом, меня посадили рядом с шофером. Это было ужасно — мне казалось, что бесконечные перспективы парижских бульваров на меня валятся.

Жила Червинская очень нуждаясь, ей помогали родители, бывшие в Стамбуле, но этого не хватало. Иногда ей попросту не было что есть и где спать. Такая жизнь отражалась, естественно, на ее душевном состоянии, на ее стихах. Борис Темирязов ее вывел в своих «Тяжестях».<sup>70</sup> Как-то я ее спросил:

— А интересно, страдают ли женщины чувством неполноценности?..

— Ого, еще как! — воскликнула она.

Надо сказать, что эта тема была среди части парижан вообще очень острой. Раз в обществе (но Лидии там не было) разговор зашел об этом недуге. Поговорили, какое это бедствие, как оно разрушает человеческое сознание.

— А между тем от него можно излечиться, — сказал я.

Эффект был поразительный. Ко мне подбежали Владимир Варшавский, Куба и еще кто-то и стали расспрашивать — как?

— Нужно лишь твердо захотеть и постоянно себе объяснять, что ни для какой неполноценности в тебе нет основания...

Все разочарованно пошли на свои места, словно бы я им советовал вступить в Армию Спасения.

— Позвольте, — добавил я, — ведь чувство собственной неполноценности — состояние психическое, значит, и лечить его надо этим же путем, а не пилюлями. Могу про себя сказать, что именно так я от него избавился.

Лишь много позднее я узнал тайну Лидиных теплых и холодных рук.

\* \* \*

Анна Присманова и Александр Гингер были муж и жена. Оба были на моем литературном вечере, потом я побывал у них. Ее стихи мне нравились, его проза — нет. В его рассказах была какая-то несерьезность, какое-то стремление щегольнуть фразой.<sup>71</sup>

Среди актеров существует выражение — «играть на публику». Это не значит играть ходульно, с ложным пафосом, «театрально». Нет, можно не выходить из рамок хорошего вкуса и все же «играть на публику», а не создавать образ.

Точно так же можно «писать на публику», в расчете на быстрый успех, который, впрочем, будет легковесным.<sup>72</sup>

Среди еврейских писателей многие творили вдумчиво, проникновенно, «сердцем», вне зависимости от значительности их таланта. Речь идет не о них, а о людях «с удивительно легким пером», которых много у каждого народа.

Анна Присманова была активно некрасива, то есть ее внешность представляла собой не «ноль красоты», а отрицательное ее количество. Но была она (может быть, именно поэтому) очень приятна в личном общении, примерная жена и мать (у них с Гингером было двое детей). Гингер говорил не просто, а с экивоками, например, он назвал один из своих рассказов «гениальным» и тут же пояснил:

— Это я, конечно, шутя...

Мне передавали, что после войны она умерла. К ее поэзии, по-моему, следовало бы вернуться.

Расскажу еще об одной паре — Довиде Кнуте и Наташе Оболенской. Кнут (он подчеркивал, что он Довид, с «ф», а не с «а») был выдающийся поэт. Он выпустил сборник стихов «Моих тысячелетий»,<sup>73</sup> весьма ценный Анатолием Штейгером. Кнут был националистом, и его поэзия зиждилась на Библии и других основах еврейской культуры. Он был среднего роста, рыжевато-волос, с серыми, холодными глазами и большая недотрога.

Его жена — Наташа Оболенская, училась в нашей гимназии, классом или двумя после меня. Сразу по окончании она уехала в Париж к родственникам, так что мы не виделись 12—13 лет. Как все тршебовцы, мы были очень рады встрече и целый вечер провели в стороне от других, говоря о наших гимназических делах. Она была стройная, голубоглазая блондинка, очень милая и сердечная. Но уже тогда в своем пропавшем дневнике я отметил, что все русские парижане, которых я знал раньше, не то чтобы за эти годы постарели, а как-то износились, истрепались.

Во время немецкой оккупации оба приняли участие в движении Сопротивления. Потом Наташа умерла, а он уехал в Палестину. Кнут умер в Тель-Авиве в 1955 г.

\* \* \*

Как Аллу, так и Анатолия Штейгера я видел лишь в 1938 г. В следующем она была у родителей в Швейцарии, а он — в санатории для туберкулезных.

К Головиным я заходил несколько раз, благо мы жили не очень далеко друг от друга — я на улице Denfert-Rochereau, они — в Impasse du Rouet (в следующем году и я жил в этом доме). Саша был как всегда оптимистичен, хотя жилось ему в Париже отнюдь не легко — скульптурой он прокормиться не мог и зарабатывал на жизнь как маляр. Алла же полеживала, здоровье ее никак не улучшалось. На открытке, посланной тогда мной матери, нахожу приписку — «Сердечный привет. Бегаем с Вадимом. Алла». Вспоминаю, однако, лишь две встречи вне стен ее дома — раз она мне показала Rue du chat qui pêche, ставшую известной после выхода книги Иоланы Фёльдеш, в другой — на литературном вечере молодых писателей, где она читала стихи. У меня сохранилась ее фотография на эстраде, сделанная там.

В одно из моих посещений она сказала:

— Мне очень хотелось бы иметь портрет Сен-Жюста...

— Ну, — подумал я, — в Париже найти его, вероятно, не так уж трудно...

Действительно, несколько дней спустя, роясь на набережной в ларьке у букиниста, я его нашел. Алла, у которой сидел Вл. Смоленский, меня встретила с восторженным изумлением, словно бы я раздобыл необычайную редкость.

Вспоминаю также, что как-то мы сошлись у Аллы с Анатолием и провели очень приятный часок. Помимо тршебовских воспоминаний, мы поговорили и о младоросских делах. Алла рассказывала оживленно о Казем-Беке, Анатолий же слушал молча — ему о «второй советской партии» рассказывать не приходилось. Саша по обыкновению подвел итог:

Ай да Казем-Бека,  
Не глупее человека...

Это была пародия на печатавшийся тогда в одном из русских журналов детский стишок о собачке Пеке. Алла побрюзжала, и этим разговор закончился.

Анатолий нигде не выступал и ни на какие литературные собрания не ездил. Ему все это уже надоело, да и здоровье не позволяло. Но в мой приезд он выбрался в Париж на большое младоросское собрание.

Его положение в этом движении было прочным, но личное его отношение к ним было весьма своеобразным. Он всегда подчеркивал, что он младоросс в силу избранного им девиза — *fidèle à son Roi*.<sup>74</sup> В своих же письмах, а особенно в разговорах, он отзывался о них достаточно иронически. Так, с хохотом он мне показывал фотографию колонны младороссов.

— Посмотрите, какой блеф, — восклицал он. — Ведь последние шеренги — это дети на стульях. Черт знает что такое...

В своих письмах ко мне он писал — «пятилетка, по-видимому, удастся» — для эмигрантского молодого человека признание весьма необыкновенное. Но он глубоко переживал трагедию русской интеллигенции и с отчаянием приводил стихи Михаила Кузмина, окольным путем дошедшие из России:

А мы, как Меньшиков в Березове,  
Читаем Библию и ждем...

— На днях я вам покажу нечто невероятное, — сказал он в тот раз у Аллы и добавил, чтобы я в назначенный день ждал его дома в темном костюме. Он заехал за мной на такси и повез далеко, чуть ли не на окраину. Мы остановились перед красивым домом с колоннами.

— Идите, — сказал Штейгер.

Я поднялся по лестнице, он расплачивался с шофером. Навстречу двинулись молодые люди с голубыми повязками на рукавах, но подошедший Штейгер сухо сказал:

— Это со мной...

Мы вошли в зал, уже почти полный.

— Налево — наши ихтиозавры, — промолвил Анатолий.

Там стояли старики в старинных расшитых мундирах, старые дамы в белых платьях, с бархотками на шеях. Потом растворились двери и вошел пожилой человек в визитке и брюках в полоску, ведший под руку молодую даму — великий князь Димитрий Павлович и великая княжна Кира Кирилловна.

Я во все глаза смотрел на убийцу Распутина. Он был сухошав, с большой зальсиной, обыденной внешности, с серыми, свойственными всем Романовым глазами. Печать вырождения коснулась его.

Великая княжна была в темном платье. Она была темноволоса, хороша собой.

Оркестр исполнил «Боже, царя храни». Потом все протерли вперед правую руку и прокричали — «Глава, глава, глава!» Лишь два человека в зале не подняли руку — я и великая княжна.

Впрочем, самого главы, т.е. Казем-Бека, в зале не было.

— Partons,<sup>76</sup> — сказал Штейгер. — Теперь будут представляться...

Мы спустились по лестнице. Идя к ближайшей стоянке такси, мы услышали крик в соседней улице. На мой вопрос Анатолий ответил вполне равнодушно:

— А это здешние коммунисты шумят...

Это меня поразило. Рядом — такие исключаящие друг друга собрания. Настроение у меня было сумбурное после всего пережитого. Я был, однако, благодарен Штейгеру, что он мне дал возможность увидеть дядю последнего царя и дочь претендента.(...)

Нужно еще сказать, что эмиграция весьма явственно разделялась по признаку исхода из России — южного, в составе белых армий, и западного, через Прибалтику — куда уходила главным образом интеллигенция. Хотя обе части жили вместе, встречались, ходили друг к другу в гости, все же между ними существовала межа, о которой говорилось только в минуты раздражения. Выразителем мнения первых была крайне правая газета «Возрождение», вторых — буржуазно-либеральные «Последние новости». Но в своих взглядах эмиграция не была статична, смещаясь с течением времени к центру.

\* \* \*

В 1938 г. я еще застал в Париже Марину Цветаеву. Это было уже после исчезновения С.Я.Эфрона. Потрясение, им вызванное, и все с ним связанное она уже пережила и, по

крайней мере внешне, успокоилась. Я видел ее раза три в доме у М.Н.Лебедевой,<sup>77</sup> где жил. Понимая щекотливость ее положения, я был очень осторожен в разговорах. Со своей стороны и она — в силу тех же причин, а может быть неправильно истолковав мою сдержанность, тоже никак особенно себя не проявила. Марина Ивановна меня просила отвезти в Прагу, в Русский музей в Збраславе, две или три тетради с ее стихами, ее перо и один из серебряных перстней, что я по возвращении и исполнил.

Очень неприятное впечатление на меня тогда произвел Мур. Он был невежлив, самонадеян, бесцеремонен. Я сидел и что-то писал, он же преспокойно распевал «Са іга» нарочито сдавленным голосом, очевидно следуя какой-то моде. Я принужден был ему указать, что он мне мешает. Он с неудовольствием вышел.

Надо сказать, что Цветаева обоих своих детей воспитывала как Wunderkind'ов, хотя ни у того, ни у другого для этого не было никаких оснований. Грубость — врожденное качество большинства русских, была свойственна как ее детям, так ей самой. С.Я.Эфрон грубым не был, наоборот — он был человек мягкий и деликатный, но явно детям эти качества не привил.

Существовала еще одна причина моей холодности с Мариной Ивановной. В середине тридцатых годов Аля, не желая дольше переносить тяжелый и придирчивый характер матери, ушла из дому. Это скрывалось, но мы, пражане, скоро все узнали. Мнения разделились — молодежь была за Алю, старшие — за Цветаеву. При нашей встрече, возможно, она догадывалась и об этом.

В следующий мой приезд в 1939 г. Марины Цветаевой в Париже уже не было — она вернулась на родину.(...)

\* \* \*

Возвратимся опять назад. После окончания политехнического института я вел жизнь рассеянную — ходил по балам, как русским, так и чешским, восседал с приятелями в самых фешенебельных кафе, где мы читали легкомысленные французские журналы и рассматривали «девушек нашего круга», как их называл Герман Хохлов, вообще корчил из себя представителя «золотой молодежи». Просвещенный читатель не поверит, что, идя в театр, я брал монокль.<...>

В 1936 г. в Прагу приехала к больному отцу А.Сосинская и «призвала меня к порядку». Она привезла с собой воздух Парижа, зов дальних мест. Я привел ее в «Скит».

Европа катилась по наклонной плоскости. Следуя физическому закону о падении, это движение становилось все быстрее и быстрее. Я начал подумывать об отъезде из Праги, понимая, что она находится внутри «котла».

Как-то в следующем 1937 г. в комнату, где работали мы с сослуживцем, вошел наш начальник и сказал, что один из проектов требует дополнения. Проект разработала частная фирма, но постройка уже шла, и управа города, где производилась регуляция реки, просила для скорости дополнить проект прямо у нас. Начальник предложил это сделать нам, мы, конечно, охотно согласились. Каждый из нас получил по 2.400 крон, сумма по тем временам немалая. За эти деньги я сшил себе чёрный костюм в синюю нитку и весной 1938 г. поехал в Париж.

Это удивительный город. Кто раз там побывал, тот всегда будет снова туда стремиться.

О своих литературных встречах я уже писал. Расскажу поэтому лишь два-три случая из частной жизни.

Я остановился в тот год у М.Н.Лебедевой, о которой писал в другом месте. Раз, просматривая утреннюю газету, я сказал:

— Вот я уже больше недели в Париже, а еще не был здесь в театре. В Орéга сегодня премьеры балета Сергея Лифаря — пойду посмотрю...

Мои хозяйки рассмеялись:

— Не достанешь билета...

Это меня рассердило. Втайне я решил попасть на балет во что бы то ни стало. Выйдя из дому, я поехал в Орéга. Обойдя здание, я нашел кассу и попросил билет. Кассирша, взглянув на меня, спросила:

— Вы недолго в Париже?..

— Уже дней десять... А что, я сделал что-нибудь не так?..

— О, нет. У меня остался один билет на галерею.

Билет стоил 22 франка, это было дорого, но я его взял. Вернувшись домой, я его с торжеством показал.

— Откуда он у тебя?.. — спросили меня.

Я объяснил.

— Ну кто же покупает билеты в театре?!

На мое недоумение мне объяснили, что «настоящий парижанин» приобретает билеты лишь в специальных театральных агентствах.

Хотя и провинциальным способом, все же билет у меня был, и вечером, надев свой в синюю нитку костюм, я отправился в Théâtre National de l'Opéra. Я взшел по знаменитой лестнице и подал билет двум контролерам. Один из них, взглянув на него, спросил:

— Вы недолго в Париже?

Я почувствовал приступ чувства неполноценности.

— Уже десять дней... А что, я сделал что-нибудь неправильно?..

— О, нет. Пойдемте со мной.

Он провел меня внутренними переходами и показал лестницу наверх. Я сдал пальто в раздевалке и вышел на галерею. Подойдя к парапету, я взглянул вниз и остолбенел. Открывшееся зрелище напоминало исторический фильм. Дамы были в вечерних платьях, мужчины во фраках (по светскому правилу — если мужчины в черном, то дамы — в белом). Пожилой мужчина, явно со стороны Сванна, с голубой орденской лентой через плечо, стоял опершись о барьер оркестра и небрежно обмахивался *chapeau-claque*.<sup>78</sup>

Балет был из старогреческой жизни, но в современной постановке. Хор пел что-то тягучее, слов я не мог разобрать, мне чудилось:

— L'oncle est cafard...<sup>79</sup>

Дома мне объяснили, что по главной лестнице проходят лишь посетители партера, на галерею же идут задним входом. Кроме того, в дни торжественных представлений — премьер и под(обное) — в партер принято ходить во фраке, на галерею же — лишь в черном костюме. Будь я в другом — меня попросту не пустили бы.

Я был доволен всем — даже полученным уроком о классовой структуре общества.

\* \* \*

Сосинский снимал маленькую типографию, где печатал меню, свадебные и погребальные извещения, визитные карточки и под(обное). Один из заказчиков — хозяин нескольких ночных заведений — давно его приглашал посетить любое. Вместе со мной Сосинские отправились во «Fleurs de la nuit»<sup>80</sup> (из двух других — в одно пускали только во фраке, в другом же встречались только мужчины). Зала была не очень большой, в ней стояло столиков восемь, посередине был паркет, в углу — небольшая эстрада с оркестром. Торцевую стену занимала баровая стойка.

Хозяин посчитал Владимиру бутылку шампанского по себестоимости, кроме того, приветствовал нас рюмкой ликера — сладкого, липкого, мне не по вкусу. Тут же, наклонившись, он сказал:

— Знаете, среди моих девчонок есть ваша соотечественница. Очень вас прошу — не танцуйте с ней, вообще не обращайтесь на нее внимания...

Все бывшие в зале девушки были необычайно эффектные, с «декольте сверху и снизу», как говорил Саша Головин. Лишь одна мадемуазель Надя была в глухом черном платье, без всяких украшений. У нее было тонкое русское лицо, а пепельные волосы были прибраны совсем просто.

Мы сидели за своим столиком и болтали. Потом Владимир сказал:

— Что же так сидеть... Тебе следует потанцевать (Сосинская в этот вечер танцевать отказалась).

Он исчез, затем вернулся и прибавил:

— Все устроено...

Потом к нашему столику пришла мадемуазель Мадлен:

— Месье хочет потанцевать?..

— С большим удовольствием...

Мы пошли. Мадемуазель Мадлен была платиновая блондинка с серыми бездумными глазами. Ее красивую фигуру нескромно выдавало облегающее платье.

Она мне сказала:

— Вы очень хорошо танцуете, месье... Если хотите, я буду танцевать с вами еще... Просто так, для удовольствия...

Никак особенно я в этом искусстве не отличался, но танцевал по-чешски — с «ножницами», разворотами и проч. Французы же танцуют препогано — они прижимают девушку к себе и топчутся на одном месте. Как мадемуазель Мадлен, так и все ее товарки предпочитали танцоров, умевших свою даму «показать», что повышало доходы предприятия, а значит, и ее.

Я был гостем хозяина, поэтому ни одна из девушек не просила меня угостить шампанским — нужно ли говорить, что оно продавалось во «Fleurs de la nuit» втридорога?

Потом появилась компания американских студентов. Видимо, они хорошо были знакомы с мадемуазель Надей, направившись прямо к ее столу. Та их встретила с приветливой улыбкой, на вопрос же, что ей заказать, ответила полупростобой:

— Пожалуйста, не берите ничего... Мне ничего не надо... Зачем вам тратиться — здесь все так дорого...

Она принимала своих знакомых как светская дама. Когда мы утром уходили, на ее столике стояла дюжина пустых бутылок от шампанского, на столах же ее товарок — одна, две. Я понял, почему хозяин так ее ценил.

Но до ухода мы пережили еще одно приключение.

Было уже поздно, за полночь. Двери открылись, и в зал вошла пара. Он был в смокинге, богатейшего сложения, с бульдожьим лицом. Это избитое сравнение, но иного не нахожу. У нее были каштановые волосы, огромные карие глаза, светившиеся умом и необычайной грустью. Оранжевое платье несомненно стоило больших денег. Ей могло быть лет двадцать пять, ему — под сорок. Они остались у стойки, он стояпил виски, она не взяла ничего, сев спиной к бару. Тридцать лет спустя я помню до мельчайших подробностей ее лицо, тогда же оно меня поразило необычайно. Встав, я перешел зал и почтительно поклонился:

— Разрешите вас попросить на танец...

и добавил, с легким полупоклоном, ему:

— Если месье не имеет ничего против...

Он посмотрел на меня мгновенно бычьим взглядом и кивнул головой. Она уже стояла возле меня, и я чувствовал аромат ее духов. Вероятно, никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения от танца. Я был так одурманен, что боялся с ней заговорить. Но я заметил, что паркет опустел и все смотрят на нас, что приписывал красоте своей дамы.

Потом я проводил ее на место и снова глубоко поклонился ей и слегка ему. Почти тотчас они покинули зал.

У нашего столика Сосинские сидели ни живы ни мертвы. Он меня упрекнул:

— Разве можно в ночном заведении приглашать чужую даму?.. Могла возникнуть драка, да еще какая...

Мы ушли, но еще не был конец ночи. Настоящие кутилы, по словам Владимира, под утро идут на луковый суп в Центральный рынок. Перейдя на правый берег, мы разместились на грубых деревянных скамьях в одном из кабачков, находившемся под стеклянной крышей «брюха Парижа». Вечернее платье Сосинской странно выделялось среди окружавших забулдыг.

— Не ошибись, — сказал Владимир, — белым вином они начинают, а не кончают день...

Мир этих людей был ужасен.

\* \* \*

Ехать в Париж, не зная о нем стихов Маяковского, конечно, нельзя. Я приставал к знакомым:

— Аллочка, если бы вы были Вандомской колонной, вы бы женились на Пляс де ля Конкорд?

— Что за вопрос? Конечно...

Червинская долго думала, мяла скатерть, потом сказала не очень убежденно:

— Да... Пожалуй...

Сосинская была решительна:

— Женилась бы, да... Вот только наоборот — не знаю...

— Как наоборот?

— Ну, если бы я была Пляс де ля Конкорд, я бы еще подумала — выходить ли мне за Вандомскую колонну...

Я вернулся в Прагу убежденный в необходимости уехать. Я понимал все ж, что деловых знакомств не завязал, а мое знание французского языка — недостаточно.

Сразу же я начал готовить новую поездку. Поступив во Французский Институт, я всю зиму 1938—39 гг. упорно ходил на лекции, хотя время для изучения языков было совсем не подходящее.

Мюнхенское соглашение искромсало Чехословацкую республику. Для каждого народа война началась в иной день. В Праге это было 1-го октября 1938 г.

Зимой мне предоставили чехословацкое гражданство. Я ходатайствовал о нем давно — на службе меня упрекнули, что я, государственный служащий, не имею гражданства страны, которой служу, — но в годы перед войной его перестали давать. Теперь же нужен был каждый солдат, и я его получил. Никаких особых переживаний это событие во мне не вызвало. Как большинство людей моего поколения, мы себя полагали русскими не по паспорту, а по убеждению. К тому же русские занимали в славянских странах совсем особое положение. Влияние нашей культуры в них всегда было сильно, многие тут по-русски говорили. Моя мать, однако, колебалась — правильно ли я поступил?(...)

Первого марта я был призван на военную службу. Как русский, я был по традиции определен в 28-й пехотный полк. Это был славный полк — в первую мировую войну он перешел весь целиком на русскую сторону. Австрийские власти свирепствовали — он был вычеркнут из списков армии, отпускники и раненые были жестоко преследуемы. После распада Австро-Венгерской монархии чехословацкое правительство полк восстановило. Служба в нем считалась почетной. «Пражские дети» с гордостью вспоминали, что в их казармах был сложен в середине прошлого века чешский гимн — «Где мой дом?»

Однако долго мне служить не пришлось. Пятнадцатого марта немцы оккупировали «Вторую республику». Сразу же они заняли часть наших казарм, а через несколько дней нас распустили по домам.

Мне было ясно, что поездка во Францию стала мечтой, вряд ли осуществимой, и потому был поражен, увидев на доске Французского Института, в списке стипендиатов, посылаемых в Париж, свое имя. Я не был самым успешным слушателем, но у меня была наилучшая посещаемость.

Недели две продолжались сомнения — получим ли мы разрешение на выезд? Потом нам выдали паспорт.

За несколько дней до отъезда я остановил в коридоре Института нашего преподавателя — месье Э. и спросил — имеется ли возможность вступить в ряды французской армии? Он испугался так, что мне стало его жалко. Гадкое лицо вишиста глядело на меня. Месье Э. стал меня умолять выпустить подобные мысли из головы. Этим он не ограничился, а передал все директору Института. Тот меня вызвал к себе и со своей стороны принялся убеждать отказаться от этой затеи. Видимо, оба до дрожи былись гестапо. В заключение директор сказал:

— Я не сделаю выводов из нашего разговора, но вы должны дать мне честное слово не предпринимать никаких шагов в этом направлении... Дайте мне руку...

Не дать обещания значило отказаться от поездки. Выхода не было. Я дал слово.(...)

В Париже говорить о делах уже было невозможно. Все твердо знали, что война будет и что война будет проиграна. Но, замороженные ее близостью, к ней не готовились даже элементарно — не делали запасов, не готовили подходящую одежду — ничего.

Я проводил время на постройках, а по вечерам ходил по гостям или в кафе на Монпарнас.

Как я уже писал, в этот мой приезд никого из близких в Париже не было — Штейгер был в санатории, Алла — у родителей, Сосинская где-то на юге сопровождала американку. Подобного рода случайные и необыкновенные заработки среди русских во Франции были весьма распространены, в отличие от Чехословакии, где большинство было устроено прочно. Одна из сестер Сосинской, например, дополняла семейный бюджет, работая на американца — владельца магазинов готового платья. Он приезжал из Америки раз в год, и они вдвоем ходили по «большим магазинам» и на показы моделей. Затем сразу же, пока еще фасоны были в свежей памяти, они шли в ближайшее кафе, где она все виденное зарисовывала. Благодаря этим наброскам пошивочные мастерские американца шли вровень с модой.

Но еще удивительнее зарабатывал на жизнь южноамериканский индеец Педро, живший в том же доме, что и Саша Головин. Вместе со спившимся эмигрантом-испанцем они развозили по многочисленным ресторанчикам пельмени, которые готовила одна русская пара.

В этом отношении П.С.Ставров был благополучен — у него была собственная книжная лавка. При знакомстве он раздавал карточки с адресом:

«Sous la Lampe»

84, Rue de Vaugirard (coin Boulevard Raspail)

Livres d'occasion en tous genres.

Он был сухошав, среднего роста, смутлолиц. Грек из Одессы по происхождению, он был человеком вполне русской культуры. Его стихи были холодны, печатался он редко.<sup>81</sup> (...)

Четырнадцатого июля Ставровы, как я уже писал, меня повезли в «Nox». Там выступали русские цыгане, певшие, впрочем, помимо русских песен также испанские. Совершенно незабываемое впечатление оставило во мне трио — молодые цыган с цыганкой и старый цыган. Все трое были в костюмах испанских gitanos,<sup>82</sup> молодые пели вдвоем, а старик сопровождал их на гитаре, текст же песни произносил речитативом. Я был сильно «на взводе» и, когда они кончили, крикнул: «Муу биен»<sup>83</sup> — фразу, встречающуюся в каждом романе приключений. Но молодой цыган принял ее всерьез, он что-то долго говорил мне по-испански, чего я, конечно, не понимал. Мне оставалось только повторять — «шу биен, муу биен...»

Потом к нашему столику подошла танцовщица, только что выступавшая совершенно нагая. Теперь она была скромно, со вкусом одета. Сев возле меня, она начала очень серьезный разговор о судетском вопросе, о жизни в оккупированной Чехии и под(обное).(...)

Тринадцатого августа 1939 г. я вернулся в Прагу.(...) Меня проводила Червинская. Поезд тронулся. Я смотрел в вагонное окно. Вспоминалось ее стихотворение:

Над узкой улицей серая,  
Встает, в который раз, рассвет.  
Живем — как будто не старея,  
Умрем — узнают из газет.  
Не все ль равно? Бессмертья нет.  
Есть зачарованность разлуки  
(Похоже на любовь во сне).  
Оттуда ты протянешь руки,  
Уже не помня обо мне.(...)

Я уже говорил, что пишу историю литератора, а не техника. Поэтому из дальнейших лет, хотя они были донельзя набиты событиями как мирового, так и личного значения, опишу лишь главные.

За все время войны я практически не писал — было не до того. В первую ее половину еще по инерции я кое-что подчистил из старого, кое-что перевел из Карла Чапека. Потом перестал совсем.(...)

Четырнадцатого ноября 1943 года я был totaleingesetzt. Должен употребить немецкое слово, так как соответствующего русского не существует. Весьма приблизительно его можно перевести как «был принудительно сдан в...». Я был сдан в организацию с пышным названием Luftschutzpolizei. На самом деле это были просто рабочие отряды, находившиеся в ведении чешской полиции, употреблявшиеся на самые грубые, физические работы. Первый год-полтора пребывание там еще куда ни шло, но в последний год войны, после начавшихся налетов американской авиации, нам приходилось разбирать разрушенные здания, выкапывать из них трупы, помогать оставшимся без крова людям.

Потери при налетах были значительно больше, чем могли бы быть, ибо все были убеждены, что американцы чешских городов бомбить не будут, а потому не принимали мер предосторожности.

Особенно сильный налет был 14-го марта 1945 г., на Страстную среду. Еще много лет спустя выражение «Страстная среда» имело в Праге свой особый смысл. Случайно в этот день я был дежурным по нашему отряду. Получив по телефону сообщение, что «сильные соединения неприятельских самолетов приближаются с юга», я вышел еще с одним из наших ребят на площадь Мира (мы были расквартированы в бывшем и теперешнем кафе

«Нlавочка», которое много лет назад любил посещать Ленин) и убеждал находившихся там людей разойтись по домам. Кое-кто послушался, а кто и нет.

Потом в небе появились американские самолеты. Их фюзеляжи отчетливо серебрились на солнце. Неожиданно возле них появились серебристые груши. Я никак не мог понять, что это такое. Через час мы уже вытаскивали раненых и мертвых из-под развалин.

Когда авиабомба попадает в дом, то она не только убивает людей, но и срывает с них одежду.

В одном из домов, который мы разбирали, случилось так — когда над Прагой завывли сирены, восемнадцатилетняя девушка, проживавшая в пятом этаже, в ужасе устремилась по лестнице вниз. Люди стояли на площадках и потешались над ней. В ту минуту, когда она вбежала в подвал, дом над ее головой рухнул. Никто из тех, кто на нее покрикивал, не спасся. Мы откопали ее лишь через восемнадцать часов.

Когда наш отряд разбирал этот дом, то ко мне подошел высокий мужчина и сказал:

— В этом доме жил художник Отакар Штафл. Вы не знаете, где он?

— Знаю, — ответил я.

— Где? — почти что радостно воскликнул он.

— Там, — показал я на грудку битого кирпича.

Неизвестный еще по инерции улыбнулся, потом лицо его передернулось, он снял шляпу и, подойдя к грудке, начал молиться.

Среди развалин мы находили много вещей, картин и книг, принадлежавших художнику. Собственными руками я откопал эстампы Обри Бердслея — книгу, о которой мечтал всю жизнь. Когда мы передавали вещи родственникам Штафля, я умолял их продать ее мне. Те отказались — кому нужны были деньги Протектората?

\* \* \*

Двадцать девятого августа 1944 года в наше помещение вбежал Юрий А. и с восторгом рассказал, что в Словакии вспыхнуло восстание, что радиостанция Банская Быстрица перешла в руки повстанцев, что в горах идут тяжелые бои. С тех пор мы с жадностью следили за развитием и поражением Словацкого народного восстания. Предоставленное самое себе, оно было удушено немецкими руками, как и восстание в Варшаве.

Немцы отвозили взятых ими в плен словацких солдат в Германию, где они разделяли участь остальных славянских военнопленных. Из одного такого транспорта, проходившего через Прагу, одному солдату удалось бежать. Бродя по улицам города, он нашел наш отряд и в нем прижился. Наш начальник был против этого, но мне и другим ребятам удалось скрывать его до самого пражского восстания.

Кафе «Нlавочка» расположено на углу двух оживленных улиц и площади Мира. Иногда приходилось наблюдать любопытные вещи. Раз к нам в помещение пришел немецкий солдат с собакой-овчаркой. Никого не спрашивая, он лег на одну из коек и уснул. Утром он ушел, оставив собаку привязанной к кровати. Какой-то добрый человек взял ее к себе.

В другой раз перед нашим крыльцом остановилась русская телега, запряженная лошадей с дугой. Около нее шел серый, невзрачный мужчина и девушка удивительной красоты. Она вошла и попросила по-немецки стакан воды. Я проводил ее в умывалку и предложил полотенце и мыло — она была невероятно грязна, грязь была размазана по щекам. Она отказалась.

— А по-русски вы понимаете? — спросил я ее в упор.

Она взглянула на меня испуганно, прошептала «да» и убежала.

Раз как-то я пришел на почту. Немецкая медицинская сестра хотела подать телеграмму в Кёнигсберг. Девушка у окошечка сказала:

— Я вам позову заведующего отделением...

Тот пришел, спросил, в чем дело.

— Телеграмму в Кёнигсберг...

— Не возьму, — ответил он.

— Но мне очень нужно, — упорствовала та.

— Не возьму, — повторил он, плохо скрывая радость. — Кёнигсберг пал...

Сестра опустила на пол и завывала.

А потом пришло освобождение. Я его описал в другом месте, а потому не буду повторяться.

\* \* \*

Во время войны я получил последнее письмо от Анатолия Штейгера, едва ли не после пятилетнего перерыва. Это была его лебединая песнь. Он писал мне из Швейцарии. Письмо было чрезвычайно благородное, написанное с целью поддержать меня в трудных условиях оккупации. Оно действительно мне очень помогло. Много лет спустя я узнал, что в 1943 г. он умер от туберкулеза.<sup>84</sup> Желая материально поддержать сестру Аллу, он вместо требуемого лечения поступил на службу. Это его скосило.

\* \* \*

В конце мая 1945 года я стоял на часах в дверях междугородней телефонной станции. На мне был мундир революционной гвардии.

В зал почтового отделения вошла высокая представительная дама в сопровождении другой, помолоде. Пока она задержалась у окошечка, я спросил ее спутницу:

— Простите, это не госпожа Анна Тескова?..

— А почему вы хотите знать?.. — ответила та, смотря на мою винтовку.

— Много лет назад я был ей представлен...

Я вернулся к дверям, а дамы, поговорив между собой, подошли ко мне. Анна Антоновна меня вспомнила и пригласила к себе. Так я снова попал на Грегрову улицу № 18, где потом бывал много раз.

Впервые же я представился обеим сестрам еще в начале 30-х г. В.Ф.Булгаков меня попросил зайти к Тесковым по какому-то цветаевскому делу, подробностей, однако, я не помню. Дело было незначительное, и я изложил его в прихожей. Седая старушка — их мать — стояла в дверях комнаты направо и ласково мне кивала.

Потом, в течение многих лет, я видел сестер лишь в обществе. Впрочем, с Анной Антоновной мне пришлось свидеться лишь раз или два. Каждый раз мы говорили о Цветаевой, но из-за присутствия чужих людей только формально, а потому ничего из этих бесед не запомнилось. Потом был длительный перерыв.

В следующий раз я попал в их дом уже после ее смерти. К Августе Антоновне я ходил много лет. Она жила одна, ее уплотнили, многое из их личного архива было утрачено. Она мне значительно помогла советами и рассказами в цветаевских делах, в частности она весьма обстоятельно пробрала со мной мою до сих пор не опубликованную работу о Цветаевой. Но когда я ее попросил рассказать о жизни своей и сестры, то она решительно отказалась.

— Это ни к чему, — ответила она. — Я вам помогала в память сестры...

Основным ее качеством была скромность, желание оставаться в тени.

Августа Антоновна мне рассказала два цветаевских случая.

Раз Анна Антоновна приехала к Цветаевой в гости во Вшеноры. Марина Ивановна ей предложила свежесваренное варенье из лепестков роз. Присутствовавший С.Я.Эфрон сказал:

— Не ешьте... Это совершенно несъедобно...

Как-то Анна Антоновна пришла в Едноту. В соседней зале были сложены стулья. Два из них были поставлены, там сидели Марина Ивановна со Слонимом. Подходя, она услышала их громкий смех. Когда она спросила об его причине, то Слоним, указывая на Цветаеву, сказал:

— Она прекрасно говорит по-итальянски!..

— Ах нет, это он говорит по-итальянски, не я... — возразила она.

Видя мой постоянный интерес к Цветаевой и понимая, что никто из ее знакомых, за исключением меня, не в состоянии обработать цветаевские материалы, находившиеся у нее, Августа Антоновна мне их незадолго до своей смерти целиком подарила. Это было сделано без всяких условий, но я всегда себя полагал не их владельцем, а лишь душеприказчиком (обеих сестер).<sup>85</sup> (...)

Я попытался воссоздать свой путь литератора. Описание прилегает к моей жизни, как ряд Фурье к основной функции. Я писал все от первого лица, надеюсь, без всякого самолюбования, но как свидетель. Свою пристрастность я не отрицаю.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> «Желтое и черное» — неопубликованная автобиографическая повесть Морковина.
- <sup>2</sup> Писательница-эсерка Ольга Елисеевна Чернова-Колбасина (1886—1964), опубликовавшая «Воспоминания о советских тюрьмах» (Париж, 1922), была дочерью сотрудника «Современника» и автора воспоминаний о Тургеневе Е.Я.Колбасина.
- <sup>3</sup> Стихотворение Гумилева «Оборванец» (Сб. «Чужое небо»).
- <sup>4</sup> Сосинский Бронислав (Владимир) Брониславович (1903—1987) — парижский писатель и литературный критик, печатавшийся в пражской периодике; автор рецензии на вторую книжку стихов А.Штейгера «Эта жизнь» (Воля России. 1931. № 10—12). С 1960 года — репатриант.
- <sup>5</sup> «В дыму папирос», «Мои воспоминания о семействе Колли», «Памяти Анжелики П.», «Россия № 2» — неопубликованные рассказы Морковина.
- <sup>6</sup> Эбергардт Изабелла (1877—1904) — писательница русского происхождения, жившая в Алжире и писавшая по-французски. Много путешествовала по Африке под видом мужчины-араба и в этих путешествиях находила основные темы для своих рассказов. Прозаический сборник Эбергардт «Тень Ислама» вышел на русском языке в 1911 году в Петербурге.
- <sup>7</sup> Воля России. 1929. № 4.
- <sup>8</sup> «Из Дрейзера» («Смолой и солью пахнут паруса...») // Воля России. 1931. №1-2.
- <sup>9</sup> Условное деление «Скита поэтов» на три поколения принадлежит, по свидетельству дочери А.Л.Бема поэтессы Ирины Бем, самому Морковину (Бем И.А. «Скит поэтов» в Праге // ИРЛИ. Р.1. Оп.2. № 533). Ирина Бем относит к первому поколению «Скита» С.Рафальского, Р.Спинадель, А.Туринцева, ко второму — Н.Андреева, Х.Ирманцеву (Кроткову-Франкфурт), Вяч.Лебедева, Т.Ратгауз, А.Фотинского, Вас.Федорова, Э.Чегринцеву, А.Эйснера и к третьему — себя, Е.Гессена, А.Головину, В.Мансветова, Д.Михайлову, В.Морковина, Н.Мякотину, К.Набокова, М.Толстую, Н.Терлецкого, Т.Тукалевскую и Г.Хохлова (там же).
- <sup>10</sup> Рассказ Эйснера «Роман с Европой (Записки художника)» был отмечен премией «Воли России» на конкурсе молодых прозаиков и помещен в четвертом номере журнала за 1929 год: «В конце 1928 года мы устроили конкурс на рассказы размерами приблизительно в полтора печатных листа. В жюри был я и М.Осоргин. Мы получили 94 рассказа, выделили из них 16 и половину этого опубликовали. Первая премия не была присуждена, вторую получил А.Эйснер за „Роман с Европой“... (Слоном Марк. «Воля России» // Русская литература в эмиграции: Сб. статей под ред. Н.Полторацкого. Питтсбург, 1972. С.299—300).
- <sup>11</sup> «Конница» Эйснера напечатана в № 5 «Воли России» за 1928 год вместе с «Поэмой временных лет» Вяч. Лебедева и статьей М.Слонима «Россия и Европа (по поводу двух поэм)», рассмотревшего эти два произведения в контексте евразийской теории.
- <sup>12</sup> Цитата из поэмы «Конница».
- <sup>13</sup> «Глава из поэмы» (Воля России. 1927. № 8—9).
- <sup>14</sup> Вернувшись из советских лагерей, Эйснер опубликовал отрывок воспоминаний о Мате Залке «Смерть генерала Лукача» в «отпечатальном» «Новом мире» (1957. № 6). Существует также более позднее и более полное издание «испанских» мемуаров Эйснера — «Двенадцатая интернациональная (Воспоминания бойца 12-й интербригады о нац.-рев.войне в Испании в 1936 году)» (М., 1990).
- <sup>15</sup> Здесь: по справедливости (лат.).
- <sup>16</sup> Лебедев Вяч. Звездный крен. Прага: Скит поэтов, 1929.
- <sup>17</sup> Воля России. 1928. № 5.
- <sup>18</sup> Лебедев Вяч. Кавалерийская баллада // Студенческие годы. 1925. № 19.
- <sup>19</sup> Пражский Византологический институт с 1925 года носил имя профессора Н.П.Кондакова.
- <sup>20</sup> Андреев-критик, естественно, не оставял без внимания «Скит» и близких к нему прозаиков. За подписью Н.А.—в он напечатал рецензию на «Суд Вареника» Василия Федорова (Числа. 1931. № 5) и довольно подробную информацию о положении дел в «Ските» в пражской части обзора «Осенние листья» галлинского альманаха «Новь» (1934. № 7).
- <sup>21</sup> В «Воле России» Хохлов помещал не только рецензии на современные советские книги («Сердце» Ив.Катаева, «Годы странствований» Г.Чулкова и др.), но и на эмигрантскую литературу.
- <sup>22</sup> Постников Сергей Порфирьевич — руководитель русского исторического архива в Праге.
- <sup>23</sup> «Чужой ребенок» (1933) — комедия советского драматурга В.В.Шкваркина. Постановка этой пьесы русскими пражанами еще раз свидетельствует о степени интереса русской Праги к литературному процессу на родине.
- <sup>24</sup> Может быть, речь идет о стихотворении Т.Ратгауз «От нежности тяжелой не уснуть...» (Современные записки. 1934. № 56): «И будет ночь пустыня, как всегда, На сквозняке больших бессонных комнат...»
- <sup>25</sup> Александр Сергеевич Головин.
- <sup>26</sup> «Собрания „Скита“ происходили каждую неделю по понедельникам в помещении Русского педагогического общества в улице Каролины Светлой, в Академическом кафе или в ателье скульптора А.С.Головина. В более поздний период некоторые собрания „Скита“ происходили и у нас на квартире, Бубенче на Бучковой улице № 597, в так называемом Профессорском доме. В маленьком рабочем кабинете моего отца собиралось человек десять-пятнадцать, закрывались двери и, пока мать готовила

ужин, за закрытыми дверями происходили для меня такие вначале таинственные и недоступные собрания „Скита“» (*Бем И.А.* «Скит поэтов» в Праге // ИРЛИ. Р.1. Оп.2. № 533).

<sup>27</sup> Головина Алла Лебединна карусель: Стихи. Берлин: Петрополис, 1935.

<sup>28</sup> От фамилии, фигурирующей на одной из вывесок в «Золотом тельнке»: «Торговля товарами камвольного треста Б.А.Лейбедев».

<sup>29</sup> Описание этой встречи см. в письме Цветаевой А.А.Тесковой от 23 февраля 1935 года (*Цветаева Марина* Письма к Анне Тесковой. СПб., 1991).

<sup>30</sup> В концлагере в 1943 году, по версии И.А.Бем.

<sup>31</sup> Поэтесса Мария Андреевна Ваулина-Толстая была внучкой Льва Толстого.

<sup>32</sup> *Мансветов Вл.* Призрак // Скит I. Прага, 1933.

<sup>33</sup> Опубликована впервые: *Новь*. 1935. № 8.

<sup>34</sup> *Чегринцева Э.* Посещения. Прага: Скит поэтов, 1936.

<sup>35</sup> Письмо Морковина Чегринцевой с подробными замечаниями о поэме «Шахматы», составе и названии сборника «Посещения» находится в рукописном собрании Пушкинского Дома (ИРЛИ. Р.1. Оп.2. № 525).

<sup>36</sup> Вторая книга стихов Чегринцевой называлась «Строфы». «Священная лира» — варшавское издательство, выпустившее этот сборник в 1938 году.

<sup>37</sup> Имеется в виду, очевидно, стихотворение К.Набокова «In memoriam Hoelderlin» («Диотима, вернись... я сгораю, падаю во тьму...») (Скит III. Прага, 1935)).

<sup>38</sup> По свидетельству М.Л.Слонима, Цветаева встречалась со «скитниками» в «Воле России»: в 1926 году «привлекли к сотрудничеству таких еще неоперившихся пражан, как А.Эйснер, В.Лебедев, Н.Еленев, В.Федоров, Н.Андреев, Х.Кроткова, С.Рафальский, Г.Хохлов и многих других, независимо от их политических симпатий. Все они приходили на литературные чаи, устраиваемые в редакции, — и когда на них появилась М.И., она сразу ощутила атмосферу приязни и даже любви. А она в них очень нуждалась...» (*Слоним Марк.* О Марине Цветаевой: Из воспоминаний // *Новый журнал*. 1970. № 100).

<sup>39</sup> «Талантливая, но безнадежно распушенная москвичка» — так определил природу цветаевского творчества Д.Святополк-Мирский в предисловии к книге «Русская лирика. Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака» (Париж, 1924).

<sup>40</sup> Но опустим это (фр.).

<sup>41</sup> Первым «личным» сборником «Скита» был «Звездный крен» Вячеслава Лебедева (1929). Первый «общий» выпуск «непериодического сборника „Скит“» вышел в апреле 1933 года под редакцией Вяч.Лебедева и самого Морковина. В нем участвовали: Алла Головина, Вячеслав Лебедев, Владимир Мансветов, Вадим Морковин, Кирилл Набоков, Татьяна Ратгауз и Эмилия Чегринцева. Состав второго, 1934 года, сборника был таким же, за исключением Набокова. В изданном в 1935 году третьем сборнике напечатались Евгений Гессен, Алла Головина, Кирилл Набоков, Татьяна Ратгауз, Тамара Тукалевская и Эмилия Чегринцева. Появившийся два года спустя последний, четвертый «Скит» представлял Евгения Гессена, Аллу Головину, Христину Кроткову-Франкфурт, Вячеслава Лебедева, Владимира Мансветова, Ирину Михайловскую, Нину Мякотину, Татьяну Ратгауз, Тамару Тукалевскую и Эмилию Чегринцеву.

<sup>42</sup> Этот вечер состоялся 4 июня 1935 года в Доме союза чехословацких инженеров.

<sup>43</sup> «Благонамеренный», «журнал русской литературной культуры», издавался в 1926 году (вышло всего два номера) при Брюссельском Фонетическом институте языков братом писательницы Зинаиды Шаховской Дмитрием Алексеевичем (в конце жизни — Иоанн, архиепископ Сан-Францисский).

<sup>44</sup> Точнее, «Баллада о гимназисте» (Числа. 1934. № 10).

<sup>45</sup> По другим сведениям — расстрелян.

<sup>46</sup> Поэма Морковина, впервые опубликованная в таллинском альманахе «Новь» (1934. № 8) в отрывках.

<sup>47</sup> *Андреев Вадим.* Недуг бытия. 2-я книга стихов. Париж, 1928.

<sup>48</sup> Николай Георгиевский, племянник парижского митрополита Евлогия.

<sup>49</sup> *Морковин В.*Тобозо. Поэма в шести сценах. Таллинн: Новь, 1935.

<sup>50</sup> Николай Артемьевич Еленев (1894—1967) — искусствовед и прозаик, автор воспоминаний «Кем была Марина Цветаева» (Грани (Франкфурт-на-Майне). 1958. № 39).

<sup>51</sup> «Московские зори» (1954) — роман советского писателя Л.В.Никулина, «объединяющий историческую хроникку, жанр семейно-бытового романа и мемуары» (КЛЭ. 1968. Т.5. С.288) и рисующий парижскую эмиграцию в строгом соответствии с законами соцреализма.

<sup>52</sup> «Анна Андерсен», «В сторону Козла», «Школа или профсоюз», «Проект программы „Скита“», «Эрмитаж», «Белый бычок на перекрестке», «Грот и грамотеи» — неопубликованные художественные и критические произведения Морковина.

<sup>53</sup> Под общим титулом «В поисках за утраченным временем» в издательстве «Academia» вышли романы «В сторону Свана» в переводе А.А.Франковского (1927) и «Под сенью девушек в цвету» в переводе Б.А.Гривцова (1928).

<sup>54</sup> «Неделя» — повесть Ю.Н.Либединского (1898—1959), опубликованная во втором номере альманаха «Наши дни» при журнале «Красная новь» за 1922 год. Это был один из первых текстов новой «идейной» литературы, противопоставлявшийся современной и позднейшей партийной критикой

прозе Пильняка (особенно его рассказу «При дверях») как образец «правильной» повести о коммунистах.

<sup>55</sup> Вилли — сотрудник «Русского слова» Владимир Евсеевич Турок.

<sup>56</sup> Письмо Ценека Сыровы (Cěněk Syrový) от 21 марта 1900 года и ответ Л.Толстого (М.; Л., 1933, Т.72).

<sup>57</sup> В 1949 году.

<sup>58</sup> Культурно-благотворительная организация, основанная в 1919 году.

<sup>59</sup> Н.С.Резниковой.

<sup>60</sup> См. статью-воспоминание Цветаевой «Герой труда» (1925).

<sup>61</sup> «Цветник» — приложение к статье Цветаевой «Поэт о критике» (Благонамеренный. 1926. № 2), подборка цитат из Адамовича, вспоминавшего значительно позднее: «...Цветаева напечатала статью „Цветник“ с насмешками и выдержками из моих статей. Это испортило наши отношения» (цит. по: *Лосская Вероника*. Марина Цветаева в жизни: Неизданные воспоминания современников. Нью-Йорк, 1989. С.108).

<sup>62</sup> Штейгер Анатолий. Дважды два четыре. Стихи 1926—1939 гг. Париж, 1950.

<sup>63</sup> «Перекресток» — литературный кружок, возникший в 1926 году. В него входили Ю.Терапиано, Вл.Смоленский, Г.Раевский (Г.А.Оцуп), Довид Кнут, Юрий Мандельштам и др.

<sup>64</sup> Здесь: иной эпохи (фр.).

<sup>65</sup> Цитата из стихотворения А.Блока «Гиппиус».

<sup>66</sup> «Черное и голубое» — сборник стихов Ладинского (Париж, 1930), высоко оцененный М.Слонимом (Воля России. 1931. № 1—2).

<sup>67</sup> «Стихи о Европе» — сборник Ладинского 1937 года; стихотворение, давшее имя сборнику, опубликовано впервые в «Современных записках» (1933. № 51).

<sup>68</sup> Гуль Роман. Красные маршалы (другое название: «Ворошилов, Блюхер, Буденный, Котовский»). Берлин, 1932.

<sup>69</sup> темная лошадка (фр.).

<sup>70</sup> Темирязев Б. [Ю.Анненков]. Тяжести // Современные записки. 1935. № 59; 1937. № 64. См. также: Русские записки. 1938. № 3. Трудно сказать, о какой героине «Тяжестей» говорит Морковин. Может быть, о Зине Каплун.

<sup>71</sup> Автор говорит только о прозе Гингера, который известен как один из самых оригинальных поэтов парижской поэтической школы.

<sup>72</sup> Подобное отношение к творчеству Гингера было характерным для большинства современников: «Он был ни на кого не похож, ни в чем, начиная с манеры говорить и кончая манерой одеваться. Его неожиданные, срывающиеся интонации и четкое разделение фраз в разговоре, фонетические подъемы и провалы в чтении стихов — так никто не говорил и не читал, кроме Гингера... Люди, недостаточно знавшие Гингера, не могли его понять. То, что было для него естественным, они считали деланным; не говорят так люди, не одеваются так, не пишут...» (*Газданов Гайто*. Памяти Александра Гингера // Новый журнал. 1966. № 82. С.126—127).

<sup>73</sup> Кнут Довид. Моих тысячелетий. Париж, 1925.

<sup>74</sup> верен своему королю (фр.).

<sup>75</sup> Цитата из стихотворения М.Кузмина «Декабрь морозит в небе розовом...» (1920), хорошо известного русской литературной эмиграции и ходившего в разных редакциях (см.: *Шайкевич А.* Петербургская богема: (М.А.Кузмин) // Русская литература. 1991. № 2).

<sup>76</sup> Пошли (фр.).

<sup>77</sup> Маргарита Николаевна Лебедева (1881—1958) — многолетняя подруга Цветаевой, жена редактора «Воли России» В.И.Лебедева. Морковину знакома по Праге.

<sup>78</sup> складным цилиндром (фр.).

<sup>79</sup> «Дядя — таракан...» (фр.).

<sup>80</sup> «Цветы ночи» (фр.).

<sup>81</sup> Перикл Ставрович Ставров (1895—1955) кроме публикаций в периодике выпустил до войны два стихотворных сборника: «Без последствий» (1933) и «Ночью» (1937).

<sup>82</sup> цыган (исп.).

<sup>83</sup> очень хорошо (искаженное исп.).

<sup>84</sup> Анатолий Штейгер умер 24 октября 1944 года.

<sup>85</sup> Наиболее ценная часть этих материалов — письма Цветаевой к Анне Тесковой — была напечатана Морковиным в издательстве «Academia» Чехословацкой Академии наук. Письма содержат значительное количество купюр, в том числе, судя по контексту, и политического свойства (книга вышла в свет в 1969 году, после подавления «пражской весны»). Переизданы исследователем Цветаевой И.В.Кудровой (СПб., 1991).

## ОБ ОДНОЙ БУКВЕ У ДАНИИЛА ХАРМСА

В дневниковых записях поэта, прозаика и драматурга Даниила Хармса (1905—1942) есть одна запись, относящаяся к его авторской текстологии. Poleмическая по своей сути, она как бы предвосхищает адресованные ему упреки в неправильном, ненормативном, неточном употреблении синтаксиса или орфографии. «На замечание: „Вы написали с ошибкой“. Ответствуй: „Так всегда выглядит в моем написании“»<sup>1</sup> (апрель 1937 года).

Чуждачество? Прихоть гения?

Пожалуй, именно в таком духе готовы были воспринять это высказывание некоторые публикаторы, «первопечатники» хармсовских текстов, когда, уже зная эти слова или даже еще не зная их, самостоятельно и порою вкупе с бдительными корректорами правили его грамматику и синтаксис, подгоняя и то и другое под бытующие сегодня языковые правила.

А у Хармса оказалось значимо не только каждое слово, но и, если говорить о его орфографии, какая-нибудь одна буква.

И вот доказательство этого.

В спорах (и уточнениях) о том, принадлежат или не принадлежат Даниилу Хармсу ходящие в списках или уже напечатанные анекдоты о писателях,<sup>2</sup> существуют, однако, вещи бесспорные. Так, семь анекдотов о Пушкине без всякого сомнения — хармсовские, поскольку входят в его цикл «Случаи» (1933—1939 годов) и в белой тетради с автографами, куда вписан весь цикл, сохранился автограф и семи анекдотов.<sup>3</sup>

Первоначально все семь анекдотов были опубликованы за границей, в Вюрцбурге, в «Избранном» Хармса.<sup>4</sup> Не станем предъявлять слишком строгие претензии к этому изданию, составленному, по всей вероятности, на основе списков. В нем, конечно, было множество текстологических ошибок.

Но вот появились отечественные публикации и отечественные издания Хармса, сделанные как будто уже не по спискам, а по доступным обзорению автографам.

Впервые у нас в стране анекдоты о Пушкине (не все, — четыре из них) были напечатаны в «Литературной газете».<sup>5</sup> Затем — полностью — в одном научном сборнике.<sup>6</sup>

И наконец — в нескольких изданиях, вышедших в Ленинграде, Таллине и Москве.<sup>7</sup>

И что же?

Всюду читаем: «Анекдоты из жизни Пушкина».

Что же тут неверного? А вот одна буква.

<sup>1</sup> Дневник Даниила Хармса. Из дневника. 1933—1938 годы. Публикация Владимира Глоцера // Книжное обозрение. 1990. № 3. 19 янв. С. 8.

<sup>2</sup> См., например: *Котрелев Н.* [«Уважаемые коллеги!..»] (Из редакционной почты) // Советская библиография. 1989. № 4. С. 87—89; *Б. л.* Опасные связи // Моск. комсомолец. 1991. 14 авг.; *Кобринский А. А.* «Я участвую в сумрачной жизни» // Даниил Хармс. Горло бредит бритвою. М.: Глагол, 1991, С. 17.

<sup>3</sup> РНБ (ГПБ). Ф. 1232 (Я. С. Друскина). Ед. хр. 228. Л. 62—64. Черновые варианты анекдотов о Пушкине, по-видимому, утрачены. А судя по месту в белой тетради, они внесены в нее в 1939 году или даже позднее.

<sup>4</sup> *Даниил Хармс.* Избранное / Edited and introduced by George Gibian. Würzburg: Jal-Verlag, 1974. С. 110—112. (Colloquium Slavicum. Band 5).

<sup>5</sup> *Даниил Хармс.* Анекдоты из жизни Пушкина. Публикацию подготовил А. Александров // Литературная газета. 1967. № 47. 22 ноября. С. 16.

<sup>6</sup> *Сажин В. Н.* Литературные и фольклорные традиции в творчестве Д. И. Хармса // Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII—XX вв. Тезисы научной конференции. Таллин, 1985. С. 57—61. Ротапринт.

<sup>7</sup> *Даниил Хармс.* Полет в небеса / Вступ. статья, составление, подготовка текста и примечания А. А. Александрова. Л.: Советский писатель, 1988 и 1991 (стереотипное издание в серии «Петроградская библиотека»); *Даниил Хармс.* Проза / Составление и вступ. статья А. Александрова. Ленинград; Таллин: Агентство «Лири», 1990; *Даниил Хармс.* Случаи. [М.]: Сов. фонд милосердия и здоровья, [1991]; *Даниил Хармс.* Случаи // Ванна Архимеда. Сборник / Составление, подготовка текста, вступ. статья и примечания А. А. Александрова. Л.: Художественная литература, 1991; *Даниил Хармс.* Горло бредит бритвою / Составление и комментарии А. Кобринского и А. Устинова. Предисловие А. Кобринского. М.: Глагол, 1991.

У Хармса-то иначе! У него — смотри автограф! — не «Анекдоты...», а вот как: «Анекдоты...».<sup>8</sup>

Всего лишь одна буква другая. Пустяк? Не скажите. Одной этой буквой Хармс как бы намекает на нетрадиционность в использовании известного жанра, а может быть, и на что-то еще, что не поддается быстрой и явной расшифровке. Но безусловно, что эта буква для него важна.

Само собой, это вовсе не описка. И не фонетическое письмо, потому что Хармс не раз настаивает на этой букве в том же слове. Составляя «Оглавление» цикла «Случаи», предваряющее беловые автографы самого цикла, он четко называет их только так: «Анекдоты из жизни Пушкина».

Надо признать, что уже одна эта буква сразу и по-своему освещает нелеповатые случаи «из жизни Пушкина». И подготавливает читателя к тому, что это не то чтобы анекдоты, а нечто вроде них.

Кстати сказать, нарушение привычной орфографии у Хармса входило в систему «небольшой погрешности», обоснованную другом Д.Хармса философом Я.С.Друскиным и разделяющуюся Хармсом.<sup>10</sup> Так что Хармс тут вполне следовал и этой системе.

Вообще же говоря, слово *анекдоты* (и только в таком виде) встречается и в других рукописях Хармса.<sup>11</sup> И совершенно очевидно, что подобная подвижка («небольшая погрешность») с несомненностью свидетельствует о том, что Хармсу хорошо была знакома принятая языковая норма.

Следовательно, эта собственно хармсовская, оригинальная замена одной буквы в слове была для него существенна, и он оставался ей верен на протяжении всех лет работы. «Так всегда выглядит в моём написании».

Вот об этом авторском принципе и нельзя забывать всем, кто печатает произведения Даниила Хармса, ибо Хармс, оставшийся в рукописях, взывает к особой внимательности в каждой своей букве.

<sup>8</sup> РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 228. Л. 62. Ср. также: *Сажин Валерий*. Читая Даниила Хармса // Даугава. 1986. № 10. С. 113; *Котрелев Н.* Указ. соч. С. 88; *Сажин В.Н.* ...Странные сближения (о литературных параллелях к текстам Д.И.Хармса) // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15—17 мая 1990 г. / Составление и ред. Г.А.Морева. Л., 1990. С.111.

<sup>9</sup> РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 228. Л. 3. Опубл.: *Глоцер В.И.* Хармс собирает книгу // Русская литература. 1989. № 1. С. 208—209.

<sup>10</sup> См.: РНБ. Ф.1232. Ед. хр.6. Л. 12, об. и др. (Я. С. Друскин); ед. хр. 380 (Д. Хармс. «Разные примеры небольшой погрешности»). В публикации «Разговор» Леонида Липавского («Московский наблюдатель», 1992, № 5-6, с.61, подготовка текста, примечания и прочие посторонние слова А.Герасимовой) факсимильно воспроизведен «диплом» «Равновесие с небольшой погрешностью», который Д.Хармс выдал 19 июля 1938 года Я.С.Друскину. См. также: *Jaccard J-Ph.* De la réallité au texte l'absurde chez Daniil Harms // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1985. XXVI (3-4). Juil-Déc. P. 274—275, 289.

<sup>11</sup> Например, в сцене «Съезжаются гости» (1931?). РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 340. Л. 2: «Гости: Тише! тише! слушайте! Сейчас дядя Вонь расскажет анекдот. Дядя Вонь встав на стул: Прочёл я в одной французской книжке анекдот. Рассказать?» Публикуя эту сцену среди «неоконченных драматических произведений» Даниила Хармса (Театр. 1991. № 11. С. 14—15), Анатолий Александров хармсовское *г* меняет на привычное *к*.

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Р. Ю. Данилевский

### МОНОГРАФИЯ О РОМАНЕ И. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ»\*

Литературная судьба поставила Ивана Гончарова если не в тень Ивана Тургенева, то все же несколько за плечом его. История трудных взаимоотношений этих двух блестящих прозаиков — свидетельство борьбы Гончарова за право значиться в одном ряду с автором «Отцов и детей» и «Дворянского гнезда». Спор этот, впрочем, не имел большого влияния на читателей, которых было достаточно как у Тургенева, так и у Гончарова. Но в истории литературы Гончаров остался фигурой несколько обособленной, проблемой так и не решенной и в какой-то степени загадочной. В чем заключался, собственно, его писательский секрет? Чем Гончаров был непохож на Тургенева? Что, наконец, хотел он сказать своими романами? Не давая однозначных ответов на эти вопросы, сам писатель как будто пытался разобраться в них. Вопреки литературе «направления» и Тургеневу заодно, Гончаров настаивал на стихийности творческого процесса: «Произведение искусства — не есть ни защитительная, ни обвинительная речь и не математическое доказательство. Оно не обвиняет, не оправдывает и не доказывает, а изображает» (из письма к Е.П.Майковой, 1869).<sup>1</sup> Смысл же привносится в произведение как бы независимо от воли автора: «Только когда я закончил свои работы, отошел от них на некоторое расстояние и время, — тогда стал понятен мне вполне и скрытый в них смысл, их значение — идея» («Лучше поздно, чем никогда», 1879).<sup>2</sup> Такая позиция прямо вызывает на истолкование, на поиск «идеи» в гончаровских романах и новые объяснения их художественного строя.

История изучения наследия Гончарова обогатилась в последние годы — и в связи со столетием со дня кончины писателя (1991), и в предшествующее время — рядом примечательных исследований. Назовем, в частности, монографии В.И.Мельника, «Реализм И. А. Гончарова»

(Владивосток, 1985), и Н.Д.Старосельской, «Роман И. А. Гончарова „Обрыв“» (М., 1990); переиздание «Обломова» в серии «Литературные памятники» (Л., 1987) с подробным комментарием Л.С.Гейро. В Германии, где ныне усердно занимаются творчеством Гончарова, на эту тему пишут проф. Петер Тирген и его коллеги.<sup>3</sup> В 1991 году в университете г.Бамберга прошла международная конференция, посвященная писателю, о чем сообщалось в нашем журнале.<sup>4</sup> И тогда же в «Трудах Рейнско-Вестфальской Академии наук» увидела свет книга проф. Ханса Роте «„Обрыв“: Иван Гончаров и „реализм“ между Тургеневым и Достоевским (1849—1869)».

Монография Х. Роте, как и все публикации этого опытного немецкого русиста, отличается скрупулезностью и основательностью. Ее аргументированность тем более следует подчеркнуть, что концепция автора довольно полемична и выдвигается им в качестве гипотезы, хотя, повторяем, и весьма обоснованной.

Немецкий исследователь заново пересматривает традиционные представления о творческом методе Гончарова, беря его «реализм» в кавычки как очень неточное, по его мнению, обозначение способа, которым писатель отобразил действительность. Оговоримся, что речь идет, конечно, не об отрицании того факта, что Гончаров тщательнейшим образом рисовал людей, природу, черты своей эпохи. Автор книги об «Обрыве» видит правдивость романа по-новому, предполагая существование в этом произведении реальности более глубокого плана, чем те картины русской жизни, которые находит в романе обычный читатель.

Впрочем, дело не в терминологии. Немецкого исследователя заинтересовала фраза Гончарова об «идее» (поставленная даже в виде эпиграфа к рассматриваемой монографии), которую он понял как указание на некий скрытый смысл

\* *Rothe H.* Die Schlucht: Ivan Gontscharov und der «Realismus» nach Turgenev und vor Dostojewskij (1849—1869). Opladen, 1991, 158 S. (Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Bd 86).

<sup>1</sup> Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 353.

<sup>2</sup> Там же. С.102.

<sup>3</sup> Например: I. A. Gončarov: Beiträge zu Werk und Wirkung/Hrsg. von Peter Thiergen. Köln; Wien, 1989.

<sup>4</sup> См.: Русская литература. 1992. № 1. С.240—241.

романа «Обрыв». Естественно, что поиски такого смысла надо было начать с анализа гончаровских самоощущений, принимаемая во внимание также длительную творческую историю романа, отзывы критики и публики, нюансы небезызвестного и, скажем откровенно, малопривлекательного спора Гончарова и Тургенева о том, кто первый разглядел трагические конфликты в идиллии дворянских «гнезд». Все это делается в двух первых главах исследования Х. Роте — «Книга и ее читатели» и «Предыстория: Гончаров и Тургенев». Выясняется, что при всем «типологическом» сходстве изображаемого столкновения поколений и общем трепетном отношении к русскому пейзажу Тургенев и Гончаров имели в виду каждый свое. Немецкий ученый напоминает нам также, что, с точки зрения Гончарова, соперник его был ярким, однако не глубоким, тогда как автор «Обрыва» рыл «тяжелую борозду в жизни», стремясь добраться до сущности бытия и тем самым — до смысла искусства (если судить по письму Гончарова к Тургеневу от 28 марта 1859 года).<sup>5</sup> Эти подробности более новы для немецкого читателя, чем для отечественного исследователя творчества Гончарова, но именно от них отправляется Х. Роте в свой путь поиска «идеи» романа «Обрыв», поэтому присутствие их в книге оправдано.

В следующей, третьей главе монографии — «Работа 1859—1860 годов» — в центре внимания ученого находится фигура Марка Волохова в ее раннем и ее окончательном вариантах. Затем, в конце этой главы и особенно в главе четвертой — «Фантазия как условие искусства» — анализируется характер Райского, а в главе пятой («Литература в „Обрыве“») на первом плане — Вера. Как видим, ни тема нигилизма, ни тема искусства и поэзии не оставлены в книге без внимания. Но они интересны для Х. Роте не только сами по себе: за ними видится ему иное, глубинное и малоизученное смысловое пространство, своего рода подтекст романа, хотя и заключенный непосредственно в тексте, в художественной ткани повествования. Подтекст просматривается, например, в системе метафор, которые сгруппированы исследователем в ряд повторяющихся мотивов — «игра страсти», зеркало, музыка (см. с.62); весьма важную роль в романе выполняет, согласно Х.Роте, мотив искушения (см. с. 53—57), — и действительно, Гончаров писал Е. П. Майковой в апреле 1869 года, что его «поглотил... анализ так называемого *падения*».<sup>6</sup> Отмечены и другие традиционные литературные мотивы, вроде сердечной симпатии (родство душ) или чтения книг. «Библиотечный» мотив, столь существенный для взаимоотношений главных героев «Обрыва», соотносен, разумеется, с ситуациями «Евгения Онегина» (см. с.90—100). В книге Х. Роте констатируется определенная преемственность в расположении персонажей между пушкинским и гончаровским романами (Татьяна и Ольга — Вера и Марфинь-

ка). Но, повторяем, не в этом главная цель исследования.

Система метафор, и в особенности такие способы характеристики героев, как интерес их к тем или иным книгам, изучаются Х.Роте с большой тщательностью. При этом обнаруживается много такого, что ускользало от прежних исследователей «Обрыва», даже тех, кто обращал внимание на связи гончаровских романов с зарубежными литературами. Так, довольно стойкий мотив зеркала не только символизирует самопознание, взгляд на самого себя, но, как полагает Х.Роте, соединяется с мотивом двойничества и, возможно, содержит даже прямые реминисценции из Э.Т.А. Гофмана (см. с. 63). Имена Тассо, Шекспира, Гете, Шиллера, встречающиеся в романе, свидетельствуют не об одной лишь начитанности его героев. К находкам Х.Роте надо отнести тот особый смысл, который приобретает, например, «Освобожденный Иерусалим» и образ Армиды-соблазнительницы в свете душевной истории Райского или же «Фауст» как некая параллель взаимоотношениям действующих лиц «Обрыва»: Вера — это как бы Гретхен, Марк — в некоторой степени Мефистофель, Райский — отчасти сам Фауст (см. с.113—119). Обращаем внимание читателя на то, что эти параллели, конечно, условны (что признает и Х. Роте) — они приемлемы лишь настолько, насколько мы согласимся с его мнением, что «Обрыв» есть «роман об искушении» (с.55).

Беспорным представляется другое: «Обрыв», как устанавливает немецкий исследователь, основан на символике и иносказаниях. Это — второй план повествования. Доказать это нетрудно, сославшись хотя бы на заголовок романа, имеющий явственный метафорический смысл. Нельзя отмахнуться и от слов Гончарова, написанных в конце 1850-х годов, в то самое время, когда создавался «Обрыв» и его автор размышлял над противоречиями между реальностью, лживой кажимостью и ускользающим идеалом: «Анализ рассекает ложь, мрак, прогоняет туман и (так как все условно на свете) освещает за туманом — бездну. Да если к этому хоть немного преобладает воображение над философией, то является неодолимое стремление к идеалам, которое и ведет к абсолютизму, потом к отчаянию, зане между действительностью и идеалом лежит тоже бездна, через которую еще не найден мост, да едва и построятся когда» (из письма к И.И.Льховскому от 5(17) ноября 1858 года).<sup>7</sup> Однако писатель не оставил попыток отыскать такой мост. В неопубликованном при его жизни предисловии к «Обрыву» Гончаров утверждал, что «в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие,<sup>8</sup> это едва ли не труднее достижения знания».

<sup>5</sup> См.: Гончаров И. А. Собр.соч.: В 8 т. Т.8. С.259.

<sup>6</sup> Там же. С.349.

<sup>7</sup> Там же. С.252—253.

<sup>8</sup> Там же. Т.6. С.440—441.

Соответственно Х.Роте отвел финальную, шестую главу своей монографии — «Религия и Библия» — отражению христианских моральных ценностей в романе «Обрыв». По убеждению немецкого ученого, эти идеи и составляют положительную основу романа, продолжая давнюю учительную традицию просветительской и сентименталистской литературы России и Западной Европы, хотя Гончаров всячески избегал прямого назидания. Как можно было убедиться из вышеприведенных слов писателя, это мнение в общем не противоречит тому, что думал о романе его создатель.

Исследователь находит в романе немало явных и скрытых библейских, христианских ассоциаций. К ним относятся, в частности, имена Веры и Марфы, отчасти — не без иронического переосмысления — фамилия Райского и, может быть, Волохова (как соблазнителя и «врага», «волхва»). Символику можно представить себе в отмеченной Х.Роте ситуации, когда Райский и Волохов спорят о Вере, а та посрамляет их обоих (см. с.142). Вместе с тем ученый в своих поисках иносказаний иногда слишком прямолинеен, видя символы там, где они вовсе необязательны. Едва ли всякое упоминание собак и собачьего лая в романе непременно связано с чертовщиной (см. с.115—117). Или почему садовая беседа как атрибут мотива искушения должна быть связана только с литературой («Фауст» Гете и «Памела» Ричардсона), а не с русским бытом? Хотя само указание на литературную традицию небезынтересно (см. с.114). Некоторую чрезмерность представляют собой, на наш взгляд, попытки автора монографии увидеть символику во всех фамилиях, упомянутых в романе; натяжкой выглядит

возведение фамилии Беловодовой к «Беловодью» (хотя имя Софья, наверное, связано с героиней «Горя от ума»), еще менее ясно подспудное значение фамилии Козлова (см.с.123) и т.п.

В то же время Х. Роте, как представляется, недостаточно задержался на названии романа. Правда, он нашел параллель в Евангелии от Луки, где изгнанные бесы просили Иисуса не ввергать их в *бездну* (гл.8, стих 31)(см. с.133). Но если припомнить, как сам Гончаров понимал это слово, то станет ясно, что смысл заглавия шире: это — и библейская геенна, ад, и юдоль («Из глубины зываю...», псалом 129), и вообще «низ», царство греха и зла; путь туда — обрыв, низвержение. В смысловом ареале немецкого соотвественства Schlucht (овраг) нет значения «пути в бездну», которое грозно присутствует в оригинале.

И все же это не помешало исследователю поставить нравственный конфликт, изображенный в «Обрыве», в один ряд с философской символикой «Бесов» Пушкина и «Демона» Лермонтова и увидеть в романе Гончарова близкое предварение нравственной тематики романов Достоевского (см. с.147—148).

Послесловие к книге Х. Роте представляется нам, впрочем, не совсем удачным. Лишний раз повторена здесь мысль о важности литературных, книжных традиций для творчества Гончарова (см. с.139). Небесспорно утверждение, что символика и аллегория плохо совмещаются с поэтикой реализма (см. с.144). Доказал же Гончаров, что они совместимы! Примем его «загадочное» искусство как оно есть — призывает нас заключительная фраза книги (с.149). В этом следует согласиться с ее автором, расширившим наше представление об искусстве создателя «Обрыва».

О. В. Миллер

## НОВАЯ БИОГРАФИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ\*

В 1977 году вышла книга английского писателя Лоуренса Келли «Lermontov. Tragedy in Caucasus», подробный анализ которой был помещен в журнале «Русская литература» (1979. № 3). Теперь англоговорящий читатель имеет еще одну подробную, увлекательно написанную биографию М. Ю. Лермонтова. Ее автор — Джесси Девис, поэт-переводчик и исследователь. Опубликованы ее переводы стихов Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Булата Окуджавы, а также биография Есенина, перевод воспоминаний С.К.Островской об Ахматовой, получившие высокую оценку в нашей печати.

Настоящая книга, результат многолетних трудов писательницы, преследует цель соединить

факты биографии поэта с рассказом об его творчестве. Такая задача, которая для русского читателя несомненно покажется элементарной, потребовала подробного обоснования автора, которая ссылается на упорчившуюся в последние десятилетия тенденцию исследовать биографию писателя в отрыве от его творчества. В предисловии она даже приносит извинения тем читателям, которых интересует только жизнь Лермонтова, «за частое упоминание его произведений» и перед теми, кто хочет вникнуть прежде всего в проблемы его творчества «за приведенные — часто трагические — события его жизни».

Несколько забегаая вперед, следует отметить, что подробный, эмоционально насыщенный рас-

\* *Davies Jessie. The fey hussar: The life of the Russian poet Mishael Yur'evich Lermontov, 1814—1841 to commemorate the 175th anniversary of the poet's birth. Liverpool, 1989. 421 p.*

сказ о перипетиях жизни поэта в книге явно преувеличивает над исследованием его творчества.

Круг источников, использованных автором, очень широк и разнообразен, что, несомненно, следует считать достоинством всякого исследования, но именно в их разнообразии кроется опасность, которой не всегда удается избежать писательнице. Среди изданий, на которые ссылается автор как, на источники отдельных эпизодов биографии, такие книги, как «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов» П. А. Висковатого, «Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова» В. А. Мануйлова, «Судьба Лермонтова» Э. Г. Герштейн и ... биографические повести о Лермонтове — «Лето на водах» А. А. Титова, «Детство Лермонтова» Т. Толстой, «Из пламя и света» М. Сизовой, эссе Т. А. Ивановой. И тот и другой тип изданий фигурирует в списке источников на равных правах.

Настаивая на достоверности и исторической точности написанного, автор делает, однако, такую оговорку: «В годы моих разысканий я наталкивалась на некоторые прежде неизвестные или по крайней мере непризнанные факты биографии поэта. Здесь некоторая степень предположения неизбежна, как это бывает даже в лучших биографиях. Там, где нет документальных свидетельств о некоторых ситуациях, на это указывается в ссылках. Но для усовершенствования моих познаний и убеждений все факты были мною выверены и являются результатом многолетних разысканий, включая поездки в Москву, Ленинград и Пятигорск и консультации со специалистами, для того чтобы разгадать запутанную ткань жизни и любви Лермонтова».

Предположения действительно оговорены. В примечаниях имеются такие ссылки: «Документальных свидетельств нет — разговор предполагаемый»; «Документальных свидетельств нет». Количество таких пояснений следовало бы увеличить. А в примечании к главе «Волшебный Кавказ», перечислив несколько книг, из которых «взяты детали», автор прибавляет: «... и из народных рассказов, услышанных мною во время поездки на Кавказ». Так что к художественным произведениям присоединились и предания и легенды.

Поэтому следует с некоторым сомнением отнестись к утверждению Дж. Девис: «Хотя я выбрала повествовательный стиль (текст изобилует диалогами. — О.М.), это не признак того, что книга имеет художественный характер». Точнее всего жанр книги следует определить именно как биографическую повесть и как такую, несмотря на некоторые недочеты, ее, несомненно, можно считать и удачной в художественном отношении и достаточно достоверной.

Эта достоверность и такт в описании событий, пожалуй, изменили писательнице только в начале первой главы, где она, основываясь на неизвестных источниках, излагает последствия романа Марии Михайловны с крепостным художником. В рассказ о ее свадьбе также вплелись различные легенды. К этой главе автор делает следующее примечание: «Это одно из темных

мест в биографии Лермонтова, где некоторая степень предположения и догадки были необходимы, так как нет документальных подробностей о Машинной помолвке и свадьбе. Один из ленинградских специалистов уверял меня, что она могла выйти замуж глухой ночью в какой-то неизвестной деревушке, так что описание сцены свадьбы взято из „Метели“ Пушкина» (с.396).

Если рассматривать рецензируемое произведение как художественное, все эти приемы вполне допустимы, хуже, когда обстоятельства жизни персонажей Лермонтова без разбору применяются к самому поэту и переносятся в его биографию.

Сама писательница, явно не принимая во внимание всей сложности лермонтовской автобиографичности, считает такой прием вполне оправданным. В предисловии она пишет: «Диалоги взяты почти полностью из пьес, повестей, стихотворений, отрывков и писем самого Лермонтова» (с. IX). «Детали взяты из юношеских пьес Лермонтова „Menschen und Leidenschaften“ и „Странный человек“, — пишет она в примечаниях к первой главе (с.396). Такое прямолинейное перенесение сюжетных подробностей из художественного произведения в научную биографию без дополнительных обоснований и доказательств, конечно, недопустимо. Это метод работы над беллетристическим произведением. Далее, в главе «Годы учения в Москве» (с.103—104) описывается роман четырнадцатилетнего Лермонтова с крепостной девушкой Маврушкой. В примечании поясняется: «Весь этот эпизод взят из автобиографической (!) поэмы Лермонтова „Сашка“. С такой же прямолинейностью и внутренний мир героев Лермонтова приписывается ему самому. Душевное состояние Лермонтова весной 1830 года описывается так: «Здесь обозначается водораздел в его существовании — с этого времени он получал двойную точку зрения на жизнь, и пока одна половина его жила, другая с холодным расчетом собирала материал для художественного творчества» (с.1). К этому абзацу сделано примечание: «Печорин выражает подобные чувства в „Княжне Мери“». Таким образом моделируется представление о душевном состоянии поэта.

В. А. Мануйлов, с которым, кстати, Дж. Девис советовалась при работе над книгой, горячо восстал против того, чтобы в беллетризованных биографиях отрывки из писем подавались как устное высказывание их автора, доказывая, что устная речь всегда отличается от письменной, а такие цитаты, представленные как прямая речь, звучат неестественно и грубо. Тем более он считал бы недопустимой такую сцену, когда Лермонтов, гуляя с Варенькой Лопухиной по парку в Середникове, произносит тираду, представляющую прозаический перевод стихотворения К\* («Оставь напрасные заботы»). В прямом переводе это звучит так: «Не пытайся раскопать мое прошлое. Ты не найдешь ничего, что заставило бы тебя любить меня сильнее. Достаточно того, что ты любишь меня, но ты никогда не должна спрашивать, что за человек, которого ты любишь. Для меня было бы слишком больно высказать, что за мрачную, черную жизнь я веду. Ты ска-

зала, что любишь меня, так возьми мою жизнь в награду. Только не спрашивай меня о моем прошлом. Мои страдания не для продажи». Из стихотворения Лермонтова получился монолог, который мог бы произнести разве что какой-нибудь герой Марлинского.

Вообще, надо сказать, что Вареньке Лопухиной в книге Дж. Девис не повезло, она оказалась на втором плане, оттесненная личностью Екатерины Сушковой. Третьей героине лермонтовской лирики, Н. Ф. Ивановой, отведено еще менее значительное место, о ней сказано вскользь, а о том, что ей посвящен цикл лирических стихотворений, читатель узнает только из подписи под ее портретом.

Екатерина Сушкова затмила других героинь Лермонтова, ее воспоминания с их драматичностью, яркими подробностями, живостью изложения оказались очень близки писательской

индивидуальности Дж. Девис и увлекли ее настолько, что в книге две главы посвящены только родителям Сушковой, а ей самой и ее отношениям с Лермонтовым еще семь глав из тридцати, составляющих книгу. Дж. Девис даже перевела целые разделы воспоминаний Сушковой и также ввела их в свое повествование. «Дневник и воспоминания Екатерины Сушковой, части которых я включила в „Рокового гусара“, — пишет она в предисловии, — никогда ранее не публиковались на английском языке». Конечно, и эта публикация также представляет интерес для английского читателя.

Думается, что увлекательная повесть Дж. Девис возбудит во многих читателях, говорящих на английском языке, интерес не только к личности Лермонтова, но и к быту России XIX века, и к русской литературе.

## ХРОНИКА

### КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

28 сентября 1992 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Директор Института доктор филол. наук, профессор Н.Н.Скатов открыл заседание кратким «Словом о Марине Цветаевой». Нынешний юбилей, сказал Н.Н.Скатов, в силу драматизма русской истории приобретает характер запоздалого искупления. Это событие является данью памяти поэту, данью прошлому, но одновременно оно представляет собой обращение к настоящему и будущему. Н.Н.Скатов провел историческую параллель между трагической судьбой Цветаевой и недавней безвременной кончиной Юлии Друниной: женщины-поэты, чье творчество рождено самим временем, в сложнейшие моменты бытия России принимают решение уйти из жизни. Он обратил внимание на то всеохватывающее ощущение катастрофичности, которое пронизывает поэзию Цветаевой. Будучи по существу своему антимещанским, антибуржуазным поэтом, она бы — можно предположить — и сейчас испытывала то же чувство. В этом смысле мироощущение Юлии Друниной схоже с цветаевским; здесь, вполне вероятно, скрыта причина и ее гибели... Подчеркнув связь творческой и человеческой судьбы Цветаевой с современностью, Н.Н.Скатов выразил основной пафос состоявшейся конференции.

Доклад доктора филол. наук А. И. Павловского (Санкт-Петербург) «Пути-Версты Цветаевой. Своеобразие творческого развития» был посвящен рассмотрению той глубинной подосновы, заключенной в самой личности поэта, которая определила особенности становления и эволюции его таланта. Парадоксальность поэтической личности Цветаевой А.И. Павловский видит прежде всего в гармоничном сочетании дисциплинирующего разума и чувственного слова. В ее стихах за внешней хаотичностью всегда проглядывает расчет ума, некий логический остов. Неудивительно, что так же логично Цветаева подходила и к себе самой, интересуясь тем, как развивалась ее поэтическая индивидуальность. У Цветаевой, заметил А. И. Павловский, была целая теория о том, что поэты делятся на две категории: на художников с историей и художников без истории. Первые — это «поэты темь», живущие и творящие в хронологии и пространстве; а вторые — «поэты души», лирики, у них нет внешней цели, они самодостаточны. Используя эту «классификацию», А. И. Павловский попытался

определить место самой Цветаевой в ряду очерченных ею типов художественного сознания и пришел к выводу, что «она сочетает в себе и тот и другой тип, но в то же время находится как бы вне их — ее поэтическая личность резко своеобразна и не может быть четко классифицирована». Докладчик указал на трудность, возникающую при определении этапов творческой эволюции Цветаевой. Следуя образному сравнению и рассуждениям поэта о «древесном», «природном» (без «переломов») характере ее творческого движения, А. И. Павловский сравнил процесс становления художественного мира Цветаевой с развитием растения. Ветви такого растения — иными словами, художественные произведения — не поднимаются один за другим по стволу вместе с его ростом, а как бы раскидываются вишрь, выходя из некоего первоначального корня, «кокона», где они уже давно сосуществовали. Этот корень представляет собой надисторическое начало, скрытое в многослойных подпочвах сознания художника, для которого не имеет значения все внешнее и преходящее — ни «социальные зигзаги», ни «литературные эволюции», происходящие в головах современников. Понимание надисторического характера подоснов поэтического творчества, как считает А. И. Павловский, явилось причиной убежденности Марины Цветаевой в своей пророческой миссии.

Одну из сторон проблемы истоков творчества поэта затронул в своем выступлении «Цветаева и фольклор» доктор филол. наук А.А.Горелов (Санкт-Петербург). Напомнив слова М.Цветаевой о том, что поэт начинается с «хождения по слуху народному», А. А. Горелов указал на существование глубинной связи между сознанием поэта и стихией народного творчества. Он подчеркнул необходимость изучать как очевидные, так и скрытые проявления этой связи. Воздействие фольклора на творчество поэта прослеживается во многих ее произведениях. Но с особенной силой оно ощущается в тех, которые были написаны в годы драматических испытаний для русского народа. Таковы, например, стихотворения, посвященные империалистической войне. Обратившись к анализу поэмы «Царь-девица», докладчик показал, что фольклор проникал в поэзию Цветаевой, внося в нее весомую социальную проблематику. Затем А. А. Горелов обратился к рассмотрению скрытых фольклорных заимствований, обнаруживающихся в произведениях Марины Цветаевой — к таким случаям,

когда первообразы и модели русской фразеологии оказываются лишь толчком для создания стиха. Докладчик завершил свое выступление той мыслью, что дальнейшее изучение темы «Цветаева и фольклор» позволит прояснить многие проблемы, касающиеся становления и развития индивидуального стиля поэта.

Канд. филол. наук О. С. Муравьева (Санкт-Петербург) выступила с докладом «М. Цветаева и А. Пушкин». Анализируя негативное отношение М. Цветаевой к «приему вопроса», столь часто встречающемуся в пушкинских произведениях, О. С. Муравьева попыталась выявить и сопоставить ряд существенных черт художественного мышления и мировосприятия двух поэтов. Смысл вопроса как приема поэтической речи у Пушкина, полагает исследователь, заключается в выражении особых художественных законов, согласно которым автор, его герои и читатель как бы уравниваются в правах. За счет существующих как бы вне текста мнений, точек зрения, голосов поэтическая реальность произведения оказывается гораздо шире того, что очерчивается рамками конкретного лирического сюжета. В этом художественный мир Пушкина принципиально отличается от цветаевского, с его монологичностью, романтическим эгоцентризмом, которые предполагают господство мироощущения и позиции самого поэта. Возможно, именно поэтому, заключает О. С. Муравьева, Цветаева порой не видела смысла в использовании Пушкиным «вопросительного приема». Докладчик отметила, что наиболее характерными вопросами для Пушкина являются те, которые обращены к судьбе («Кто видел край, где роскошью природы...», «Дорожные жалобы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»). Они обращены в будущее, а будущее для поэта всегда неведомо, представляет собой океан возможностей. Оттого подобные вопросы у Пушкина не предполагают однозначного ответа, но как раз в этом заключено определенное поэтическое содержание: ответ должен родиться в воспринимающем текст сознании. Напротив, в художественном мире Цветаевой царит скорее уверенность в том, что именно произойдет, как именно проявит себя сам поэт или его герои. На своеобразных утверждениях-заклинаниях порой строится все стихотворение («Хвала времени»). Даже вопросительная конструкция часто становится у Цветаевой формой утверждения. Таково доминирующее «настроение» цветаевской поэзии, влекущее необходимость употребить повелительное наклонение, сравнительно редко, в особых случаях встречающееся у Пушкина. Подводя итог своему выступлению, О. С. Муравьева остановилась на проблеме ошибочного восприятия Мариной Цветаевой некоторых фактов биографии и творчества Пушкина. Ошибки подобного рода позволяют увидеть точки «несстыковки», несовпадения взглядов художников.

В докладе «Маяковский глазами Цветаевой» канд. филол. наук М.Ф.Пьяных (Санкт-Петербург) основное внимание уделено сопоставлению существенных черт мировосприятия поэтов. При всем различии и противоположности социально-политических взглядов двух крупнейших пред-

ставителей русской поэзии XX века Маяковский и Цветаева, по мнению выступавшего, оказываются глубоко родственными художниками. Их «поэтическое родство» определяется главным образом способностью к самоотверженной и трагедийной любви, которой оба они были наделены в высшей степени. С этой точки зрения показательно отмеченное многими исследователями внутреннее единство «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» Марины Цветаевой с поэмой «Про это» Маяковского. М.Ф.Пьяных отметил ту заинтересованность, с которой Цветаева относилась к личности и творчеству своего современника. Проанализировав ряд ее высказываний о Маяковском, докладчик пришел к выводу, что Цветаева ощущала наличие духовной общности с «первым в мире поэтом масс». «Враг ты мой родной!» — такое парадоксальное выражение получило в словах автора «Лебединого стана» осознание этого факта. Цветаевское восприятие художественного мира Маяковского М. Ф. Пьяных противопоставил поверхностным «нигилистическим» трактовкам творчества поэта, которые нашли отражение в ряде критических публикаций последнего времени.

Свое выступление ««Лебединый стан» Марины Цветаевой в современном прочтении» доктор филол. наук А. И. Михайлов (Санкт-Петербург) начал с размышлений о провиденциальном смысле русской поэзии XX века. С его точки зрения, книга Цветаевой более всего дает оснований для раскрытия этой темы. Остановившись на общей характеристике книги, А. И. Михайлов отметил, что самим автором она осознавалась как особое событие в его внутренней и внешней жизни; она воспринимается как своеобразный дневник, запечатлевший историю личности автора и историю страны в эпоху социальных потрясений. По содержанию и пафосу «Лебединый стан» можно поставить в один ряд со «Словом о гибели Русской земли» А. Ремизова, «Последними стихами» З. Гиппиус, «Молитвой о России» И. Эренбурга и «Демонами глухонемыми» М. Волошина. Их всех объединяет апокалиптическая идея гибели России в огне русской революции. Существенное отличие книги М. Цветаевой от названных произведений А. И. Михайлов находит в самом изображении противоборствующих станов, на которые оказалась разделена Россия. Солидарность поэта с белым движением, по словам докладчика, «носит печать глубоко личного, семейного, социальнородословного характера». Так, образу черни — некоей лишенной нравственных качеств массы, сброду, таящему в себе стихийную разрушительную силу, — в «Лебедином стане» постоянно противопоставляется образ личности самого автора, заявляющего о себе «как о гордой, забывшей всякую осторожность аристократке, монархистке». Более того, оправдание собственной жизни М. Цветаева видит, по выражению А. И. Михайлова, в служении ее музы делу белогвардейского движения; в русской поэзии она — единственный поэт, на высоком художественном уровне воспевавший его. Докладчик указал на сложное и неоднозначное развитие темы гибели

Российского государства в «Лебедином стане». Наряду с ней в книге Марины Цветаевой звучит мысль о возрождении России — как духовном, так и реальном — «откочевавшей со своего исконного места», спасшейся вместе с остатками Добровольческой армии.

Проблему соотношения «меры и безмерности» в поэзии Марины Цветаевой поднял в своем докладе «Ритмика и синтаксис М. Цветаевой. К строчкам из стихотворения „Поэт“: „Что же мне делать, слепцу и пасынку...“» доктор филол. наук, профессор Е. Г. Эткинд (Париж). По мнению Е. Г. Эткинда, «мера» и «безмерность» сосуществуют и сопутствуют друг другу в стихах Цветаевой. Мерой является прежде всего строфика и ритмика поэтического произведения, а безмерность — это сама живая речь, которая оказывается в них заключена. Соответственно две противоборствующие тенденции выделяет Е. Г. Эткинд, анализируя творчество поэта: с одной стороны, ярко выраженное стремление к статизации стиха, а с другой — динамизация, постоянное, целенаправленное преодоление «одеревеневшего» метра. Рассматривая первую тенденцию, докладчик остановился на новаторстве поэта в области строфики, ведь строфика, по выражению Е. Г. Эткинда, представляет собой «мощный элемент статике стиха». Обратившись к анализу ритмического рисунка произведений Цветаевой, исследователь указал на особое место ее творчества в истории русской поэзии. Все развитие русской поэзии шло под знаком «раскачивания» метрики, от логаздов к верлибру. У Цветаевой — противоположное: даже привычные приемы «расшатывания» ритма, прежде всего пиррихий, в результате специфического использования, становятся средством его укрепления, статизации. Одним из важнейших проявлений этого процесса исследователь считает преобладание в стихах Цветаевой устойчивых логаздических структур. Вместе с тем стих Цветаевой чрезвычайно динамичен, и главным образом, утверждает Е. Г. Эткинд, благодаря особенностям речи, особенностям синтаксиса. Пропуск глагола, перенесение сказуемого или другого значимого слова в конец строки, перенос из строки в строку и из строфы в строфу — вот те средства, которые позволяют поэту сломать «кость» метрической системы. Столкновение «меры», ритмического начала, и «безмерности», речевого начала, рождает особую экспрессию, по словам Е. Г. Эткинда, «небывалую энергию» стиха. В заключительной части выступления докладчик сопоставил просодические качества поэтического языка Марины Цветаевой с языком античной поэзии. Благодаря использованию логаздов, античной метрика как бы входит в силлаботонический стих произведений Марины Цветаевой, — возникает новая просодия.

Прозаическому наследию поэта был посвящен доклад Г. А. Мамонтовой (Санкт-Петербург) «О своеобразии прозы М. Цветаевой». Отметив, что проза Марины Цветаевой носит главным образом мемуарный характер, Г. А. Мамонтова попыталась выявить «внутреннюю причину», заставившую поэта обратиться к прозаическим жан-

рам — необходимость подвести итоги своей жизни, понять свое место во времени. Своеобразие прозы Марины Ивановны, подчеркнула Г. А. Мамонтова, — в оценке прошлого с позиции настоящего: в прошлом нет ничего случайного, все оправдано. По мнению Г. А. Мамонтовой, мемуарная проза Цветаевой представляет собой художественную реализацию ее собственных, цветаевских, литературно-критических статей о поэте и поэзии и в то же время составляет единое целое с ее поэтическим творчеством: системы образов и художественных приемов, выработанных Цветаевой в процессе создания поэтических произведений, как бы переносятся в прозу. Исследователь определяет общий для всей прозы Цветаевой принцип построения ее произведений. За внешней хаотичностью, «ассоциативностью» повествования обнаруживается вполне четкая структура. Главная тема, заданная в названии, проводится лейтмотивом через все произведение и раскрывается в финале с новых, более глубоких, скрытых в начале повествования сторон. Оригинальный стиль мемуарной прозы Марины Цветаевой, показывает Г. А. Мамонтова, складывался под влиянием не только «внутренних», но и «внешних» причин. Свои воспоминания Марина Цветаева предназначала для чтения вслух на литературных вечерах. Отсюда — особенности стиля: «усиленно-членораздельного и пояснительного». В заключительной части выступления Г. А. Мамонтова остановилась на проблеме взаимоотношений творчества Цветаевой и литературы модерна. По мнению докладчика, своеобразие прозы поэта отразилось и в том, что, используя приемы новейшей литературы, утрачивающей интерес к образам «живых» людей, Марина Цветаева создает именно «живых», «трехмерных» героев.

Сообщение сотрудника Пушкинского Дома Н. М. Сперанской было посвящено наблюдениям над цветаевским переводом «Бесов» Пушкина на французский язык. Соглашаясь с достоинствами перевода, отмечавшимися критиками, докладчик указала на ряд существенных моментов, оставшихся при переводе переданными. Игнорируя, очевидно, не только в силу драматичности своего мировосприятия, но и в силу особенностей языка, на котором «воссоздавалось» стихотворение, его просторечную стихию, переводчица как бы переклонила в иную, почти патетическую тональность, что, может быть, и сделало возможным значительные отступления от авторской мысли, если не искажения ее, в заключительных строфах. Описывая в статье «Мой Пушкин» чувство «высокой жалости» к бесам, поэт, как явствует и из статьи, и из перевода, как будто не обратила внимания на то, что художественный эффект, производимый стихотворением, во многом обусловлен резкой заниженностью образа. По какой же причине эти стилистические оттенки оказываются непередаваемыми на европейский, в данном случае французский, язык? Перейдя к вопросу о переводимости определенных стилистических пластов русского языка, докладчик проиллюстрировала мысль о том, что, вопреки известному утверж-

дению В.Набокова о русском языке как обладающем меньшим набором выразительных средств (в силу более молодой литературной традиции), языки, приобретшие способность к тонкому выражению отвлеченных понятий, в определенной степени утрачивают «нижний», связанный с витальным бытием, уровень.

Канд. филол. наук А.И.Рубашкин (Санкт-Петербург) посвятил свое выступление «М.Цветаева и И.Эренбург» проблеме взаимоотношений двух художников. Несмотря на то что первая встреча писателей, их знакомство, состоявшееся в 1917 году, принесло лишь взаимное раздражение, в дальнейшем между Эренбургом и Цветаевой завязалась дружба. Ответ этой дружбы, не носившей длительного характера, сохранился в душе Цветаевой надолго. В своем докладе А.И.Рубашкин уделил внимание письмам, которые помогают подробнее проследить отношения Эренбурга и Цветаевой, а также тому, какое отражение они нашли в творчестве поэта. Исследователь выступил против точки зрения авторов ряда публикаций, которые пытаются сделать Илью Эренбурга «чуть ли не последственным по делу Цветаевой, виновным в ее гибели».

Канд. филол. наук Г. В. Филиппов (Санкт-Петербург) в докладе «Марина Цветаева и ее отец» поднял вопрос о необходимости изучать становление личности художника не только с точки зрения обусловленности этого процесса общественно-социальной средой, но, может быть, в первую очередь с учетом влияния на него «микrokлимата» — семьи, семейных традиций, биологической наследственности. Тогда многие, казалось бы, неожиданные моменты творческой судьбы писателя найдут свое объяснение. В этом отношении, считает Г.В.Филиппов, несомненно представляет интерес характер той связи, духовной и генетической, которая существовала между Мариной Цветаевой и ее отцом. Докладчик напомнил, что сама Цветаева неодинаково оценивала силу воздействия на нее родителей, главенствующую роль отводя матери. Однако на самом деле отцовское начало было не менее значимо и сказывалось в ее натуре, ее творчестве с достаточной силой. Так, одна из важнейших особенностей поэзии Марины Цветаевой заключена в ее музыкальности — черта, унаследованная от матери. Тем не менее нельзя забывать, что к музыке Цветаева с самого начала подходила как литератор, проявляя к ней «писательское рвение». И в этом, полагает Г.В.Филиппов, слышен «голос отцовской крови». Дело в том, что Иван Владимирович Цветаев был в сущности несостоявшимся литератором и настоящим графоманом. Часть его писем, тщательно скопированных по указанию автора, составила двенадцать объемных томов. Более того, он выпустил две книги, посвященные юридическим вопросам, следуя в какой-то мере тропой своего отца, деда Марины, бывшего автором учебника «Священной истории». Так что, по выражению докладчика, Марина Цветаева не могла не стать писателем. С другой стороны, Иван Владимирович оказывал на дочь влияние и иного рода. Важнейшим фактом в духовной жизни Цветаевой стало создание ее

отцом Музея изящных искусств. По значению поэт приравнивала это событие к занятиям музыкой: «Чувство высоть», которым проникнут художественный мир Цветаевой, «первый отрыв от земли» связаны именно с Музеем. Да и само рождение «всем известного цветаевского стиля» — в стихах, написанных после 1912 года, после книги «Волшебный фонарь» — Г.В.Филиппов связывает с судьбой Ивана Владимировича: с тем впечатлением, которое произвела на поэта кончина отца.

В докладе В.В.Перхина (Санкт-Петербург) «М.Цветаева и Д.Святополк-Мирский. К истории личных и творческих взаимоотношений» были освещены идейно-эстетические основания дружбы поэта и критика, охарактеризованы подходы критика к поэзии Цветаевой и ее влияние на развитие критического метода Святополк-Мирского. В частности, было показано, что осмысление поэзии Цветаевой позволило ему в 20-е годы сформулировать понятие «эмоциональная непосредственность» как критерий оценки поэтического творчества. В 1935—1936 годах критик вернулся к этому критерию, рассматривая творчество Н.Тихонова, Н.Асеева, Б.Пастернака. Тогда же он выдвинул новое для него понятие «„сельская“ непосредственность», родственное понятию Цветаевой «деревенскость» художника. Докладчик объяснил это совпадение как сознательный прием, рассчитанный на ассоциативное восприятие читателя. И аргументировал это указанием на то, что ранее Святополк-Мирский анонимно процитировал строку из «Лебединого стана» в статье об А.Блоке. Таким образом, благодаря московским статьям Святополк-Мирского, мысли Цветаевой, а также идеи, рожденные ее поэзией, участвовали в формировании сознания русского общества 1930-х годов.

В докладе «Цветаева в кругу современников» доктор филол. наук В.А.Шошин (Санкт-Петербург) коснулся вопроса об одиночестве Марины Цветаевой. По мнению В.А.Шошина, Цветаева всегда чувствовала внимание друзей и почитателей. В этом отношении своеобразное знамение судьбы он усматривает в том факте, что уже первую книгу поэта высоко оценили такие мэтры, как Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, Николай Гумилев. Необходимо аналитически подходить к мнению, что после возвращения в Москву из-за границы Марина Цветаева оказалась в совершенном одиночестве, и именно это в конечном итоге послужило причиной ее самоубийства. Напротив, замечает В.А.Шошин, в Москве в 1939—1941 годах она весьма часто встречалась и поддерживала отношения со многими людьми. Среди них прежде всего должен быть назван Борис Пастернак, также Г.Нейгауз, В.Гольцев, Тагеры, В.Звягинцева, А.Тарковский, Л.Веприцкая, Н.Яковлева. Для прояснения общей картины жизни и психологического состояния Цветаевой тех лет необходимо учитывать кажущиеся частными или незначительными факты и ситуации, например прием Цветаевой в профгруппу Союза писателей. Причем важно учитывать дружеское внимание тех, кто, вопреки высказанным возражениям, настоял на этом: реша-

ющую роль здесь сыграло положительное мнение А.Фадеева. Заслуживают внимания и отношения, сложившиеся между М.Цветаевой и Н.Тихоновым, встреча с которым в 1935 году в Париже заняла (о чем свидетельствует письмо Цветаевой) определенное место в истории души поэта. История жизни Марины Ивановны Цветаевой, подчеркнул докладчик, богата именами друзей; ряды их и теперь продолжают множиться, и это говорит о масштабе духовного мира поэта.

Доклад заведующей рукописным отделом ИРЛИ Т.С.Царьковой «Материалы М.И.Цветаевой в архиве Пушкинского Дома» содержит обзор стихотворных и прозаических автографов, писем и иконографии поэтессы, ее близких и друзей. Большинство из этих материалов входит в состав архива М.А.Волошина. Особенно подробно докладчик проанализировала беловую рукопись поэмы «На красном коне», текст которой имеет ряд отличий от печатного: лексических, синтаксических, графических. Кроме того, рукописный вариант поэмы предваряет эпиграф, строки самой Цветаевой:

И настезь, и настезь  
Руки — все.  
— и навзничь! — топчи, конный!  
Чтоб дух мой, из рёбер взыграв — к тебе,  
Не смертной женой —  
Рожденный!

Рукопись, датированная январем 1921 года, была оформлена Цветаевой как рукописная книга и подарена А.А.Ахматовой, а от нее перешла к

П.Н.Лукницкому, о чем свидетельствует сделанная им надпись: «Подарено мне А.А. 8.XII.1927 в Щ(ереметевском) Д(ворце) при разборке архива». Ранее автограф поэмы не был известен. До сих пор не введенной в научный обиход оставалась книга — несколько томов Альфреда де Мюссе в одном переплете с владельческой надписью Цветаевой 1908 года, множеством ее закладок, помет и помет С.Я.Эфрона.

В выступлении члена Союза писателей Ирины Маляровой прозвучали размышления о строе поэтического языка Марины Цветаевой. И.Малярова обратила внимание на органичную способность Цветаевой разрушать языковые банальности, привычные «поэтические» штампы, превращая их в настоящие художественные открытия. Поэт раздвигает устоявшиеся словосочетания и создает из них новые, многие из которых оказываются оксюморонами. Выступавшая также коснулась вопроса о существовании школы Цветаевой в современной поэзии. Такая школа безусловно есть, считает И.Малярова, цветаевские традиции живы и воплощены они в творчестве самых разнохарактерных, казалось бы, поэтов (Андрей Вознесенский, Анна Баркова, Владимир Высоцкий...). Закончила свое выступление Ирина Малярова чтением сонетов, посвященных Марине Цветаевой.

В завершение конференции прозвучал рассказ Т. М. Шергиной (Санкт-Петербург) о цветаевских местах России, были показаны слайды.

*В. Ю. Вьюгин*

## ЧЕТВЕРТЫЕ АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ОДЕССЕ

1—2 октября 1992 года в Одессе состоялись очередные Алексеевские чтения — научная конференция, посвященная памяти выдающегося отечественного литературоведа, академика Михаила Павловича Алексеева, чья жизнедеятельность на протяжении ряда лет (1920—1927) была связана с этим городом. Предыдущие Алексеевские чтения проходили здесь в 1983, 1986 и 1989 годах; нынешние, Четвертые чтения стали продолжением уже сложившейся научной традиции.

Конференция была организована Пушкинской научной комиссией и Секцией книги Одесского Дома ученых, на базе которого и проходили Чтения. В них приняли участие литературоведы, искусствоведы, философы и книговеды России, Украины, Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии. Тематический спектр докладов был отмечен значительной широтой: они представляли разные аспекты научно-гуманитарного знания, в развитие которых внес весомый вклад академик М.П.Алексеев.

В докладе доктора филол. наук Ю.Л.Булаховской (Киев) взаимосвязи художественной

литературы и изобразительного искусства рассматривались в свете трудов М.П.Алексеева. Доклад был построен на материале современных русской, украинской и польской литератур и затрагивал произведения различных жанров. Исследователя особо интересовала проблема *живописания словом*, т.е. создания определенного цветового или же графического рисунка, возникающего перед внутренним взором читателя литературного текста. Специальное внимание было уделено ассоциациям с изобразительным искусством в эссеистике на литературные темы и роли изобразительного искусства в становлении и развитии читательской ориентации.

Ряд докладов был посвящен различным проблемам пушкиноведения. В докладе доктора филол. наук С.П.Ильева (Одесса) «“Подражания Корану” в русской поэзии» в русле пушкинской традиции рассматривался стихотворный «Коран» (1909) К.Д.Бальмонта. Если пушкинские «подражания», по мысли исследователя, это цикл с романтически истолкованным ориентализмом и соответствующей романтическому направлению поэтикой, то бальмонтский «Коран» — это эс-

хатологический цикл, отвечающий художественной системе символизма. Доклад доктора филол. наук И.Я.Матковской (Одесса) содержал попытку обосновать мысль о том, что проблема межличностного контакта в романе «Капитанская дочка» (Гринев — Пугачев, Екатерина II — Маша Миронова) имеет не только социально-психологическое, но и историософское наполнение. Последнее проявляется тогда, когда межличностный контакт выступает как единственное, наиболее адекватное средство разрешения пограничных ситуаций в жизни героев романа.

Доктор филол. наук М.Г.Соколянский (Одесса) в докладе «„Русский Пелам“: жанровый диапазон пушкинского замысла» проанализировал две главы и четыре варианта плана незавершенного романа А.С.Пушкина под углом зрения жанровой традиции. Были очерчены границы между пушкинским замыслом и такими жанровыми модификациями, как авантюрный, воспитательный и исторический роман, показана живительная роль традиции европейского нравоописательного романа для формирования интересного, но, к сожалению, не осуществленного замысла.

В докладе канд. искусствоведения Г.Д.Исаханова (Одесса) «К интерпретации сцены под Кромами в „Борисе Годунове“ М.П.Мусоргского» анализировалась проблема значения и места картины в произведении соотносительно с одноименной трагедией А.С.Пушкина. Были прослежены режиссерские трактовки, дискуссии музыковедов, вскрыты противоречия идеологии композитора («Я разумею народ как великую личность, воодушевленную единою идеею») с характеристикой, данной в самом произведении.

Автор приходит к выводу, что логично окончание оперы не сценой смерти Бориса, а Кромами с пророческими словами юродивого: «Горе, горе Руси! Плачь, плачь русский люд, голодный люд».

«Пушкин на страницах „Одесского вестника“ (1827—1837)» — тема сообщения Н.К.Островской (Одесса).

Несколько докладов и сообщений, построенных на материале русской литературы XIX—XX веков, были главным образом посвящены изучению литературных связей и традиций. В центре доклада канд. филол. наук Н.Н.Мостовской (Санкт-Петербург) «Повесть И.С.Тургенева „Клара Милич (После смерти)“ в литературной традиции» была проблема поэтики одного из загадочных произведений писателя. Анализировалась природа литературной повести, текст которой насыщен скрытыми (Э.По, Кальдерон, Гоголь) и явными (В.Скотт, Ф.Шиллер, И.-В.Гете, А.Мицкевич, В.И.Красов, А.А.Дельвиг, А.С.Пушкин, А.Н.Островский) литературными реалиями, реминисценциями, аллюзиями самого широкого диапазона. Большинство из них выполняет роль символов, намеков, поэтических знаков, характерных для художественной системы повести и стилистических исканий позднего Тургенева. Особое внимание было уделено анализу реминисценций из В.Скотта («Сент-Ронанские воды») и многочисленных пушкинских реалий и аллюзий («Евгений Онегин»), а также исследо-

ванию мифологической, фольклорной символики, углубляющих философский смысл повести Тургенева и определивших в известной мере близость ее к «Стихотворениям в прозе».

Канд. филол. наук В.Н.Абросимова (Колонна) рассмотрела выступления Л.Л.Толстого (1869—1945) в Америке с лекциями об отце в 1911, 1917 и 1927 годах. В основу доклада легли архивные материалы из фондов Государственной библиотеки России, Государственного музея Л.Н.Толстого в Москве, Института русской литературы в Санкт-Петербурге и личного архива Никиты Львовича Толстого (Швейцария). Письма Л.Л.Толстого к С.А.Толстой 1910—1917 годов, послание к М.Горькому 1927 года, дневниковые записи и неопубликованные мемуары («Опыт моей жизни») расширяют наше представление о влиянии Л.Н.Толстого на различные круги американского общества 1910—1920-х годов.

Доктор филол. наук Валентин Беленчиков (ФРГ) выступил с докладом «Между Базаровым и Алешей Карамазовым (к трансформации русских тем и мотивов у немецких экспрессионистов)». Докладчик показал, как из парадигматического ряда «новых людей» в России рубежа XIX—XX веков экспрессионисты обратили внимание на две разновидности: Базарова—Раскольникова и Алешу Карамазова. Первый тип воспринимался под формулой «все дозволено», второй — как «общечеловек». Трансформация и первого, и второго проходила под знаком политических событий: Первой мировой войны и революций 1917 года в России. Первый тип завершил свое формирование в сплавлении теории большевизма с асоциальным типом, а второй уступил место Ивану Карамазову и трансформировался в Ленина как носителя большевистской идеи «всеединства». Реальный тип «нового человека» в Советской России оказался в представлении немецких экспрессионистов чуждым преждему, гипотетическому, создававшемуся под влиянием образов Достоевского, Толстого, Тургенева.

В докладе доктора Энтони Анемоне (США) «Антимир Даниила Хармса: к интерпретации абсурда» Хармс рассматривался как критик радикального эксперимента по созданию нового мира и нового человека в Советском Союзе в 1920—1930-х годах. Автор находит ключ к поздней прозе Д.Хармса в идеях М.Бахтина о «карнавальном мире» (антимир). Литературная вселенная Хармса описывается как обратный образ действительности, где систематическое нарушение нормальных законов существования приводит к миру с произвольными отношениями, основанными на случайности и прихоти, где язык, значение и личность представляются проблематичными и нестабильными. Стилистически произведения Хармса важны тем, что они удачно сливают абсурд с рациональностью, абстрактное с конкретным, являясь синтезом неназванного мира Кафки со специфическим миром Сталина. В этом отношении наиболее важный контекст для произведений Хармса должен быть найден в наследии таких писателей, как Булгаков, Замятин, Олеша и Платонов.

О различии восприятия концепции Ф.Ницше об аполлонически-дионисийской природе искусства Маяковским и Мандельштамом говорила канд. филол.наук Н.А.Петрова (Пермь) в докладе «Мотив флейты в поэзии начала XX века». Сопоставлялись принципы «состязательности» у Маяковского и «равноденствия» у Мандельштама. Образ «флейты» трактовался как воплощение этих принципов в творчестве обоих поэтов. Доклад доктора Ренаты Беленчиковой (ФРГ) «Метафоры и политические клише как средства имагологического представления России лагерной» был построен на анализе главы «Пути нашей канализации» из «Архипелага ГУЛАГ» А.Солженицына. Анализировались текстосвязующие лексические средства (ключевое слово «поток» и другие лексемы того же семантического поля в метафорическом употреблении, наименования лиц), их роль в создании образов и композиционном развертывании главы. Показано, как при помощи политически «броских слов» того времени, эпитетов и других клише, жаргонизмов и т.п. автор воссоздает картину лагерной жизни. Из мозаики образных блоков монтируются в книге как образ отдельного человека, так и образ всей страны.

В центре нескольких докладов были проблемы истории западных литератур. Доктор филол.наук М.И.Бент (Челябинск) выступил с докладом «Самоубийство как „германский вопрос“ (Вертер и другие)». Являющийся частью более обширной работы доклад ставит проблему самоубийства в немецкой литературе в широкий исторический (национальный и международный) контекст. Трагедия героя трактуется как отражение разрыва между внутренней свободой и внешней несвобо-

дой личности, которые отличали немецкую ситуацию классико-романтической эпохи. В докладе канд. филол. наук Л.А.Мироненко (Донецк) речь шла о самобытном пути романтического романа во Франции на начальном этапе его становления. Анализировалась специфика идеологической и эстетической ситуации, определивших самосознание жанра и неповторимость его национальных вариантов, говорилось об обретении романтическим романом своего языка.

В докладе доктора филол. наук Б.А.Гиленсона (Орехово-Зуево) рассматривалось воздействие «советского фактора» на эволюцию политической философии американского писателя Джона Дос Пассоса. Побывав в СССР в 1921 и 1928 годах, узнав о преступлениях сталинизма в пору «большого террора», столкнувшись с деятельностью НКВД в Испании в пору гражданской войны, Дос Пассос проникся глубочайшим неприятием тоталитаризма в любых формах. В докладе обсуждалось расхожее представление о «ренегатстве» позднего Дос Пассоса, подчеркивалось, что на протяжении всего творческого пути он оставался художником, последовательно отстаивавшим права и свободы личности. Книговедческие проблемы поднимались в сообщениях Л.А.Шербины (Одесса) «Первая одесская газета "Jurnal d'Odessa" в 1823—1824 годах» и Г.Д.Зленко (Одесса) «М.П.Алексеев как библиограф».

В ходе обсуждения докладов высказывалось общее мнение о необходимости продолжения сложившейся традиции. Следующие Алексеевские чтения в Одессе планируется провести в 1995 году.

*М.Г.Соколянский*

## НОВЫЕ КНИГИ

- А в д о н и н А. М. Под сенью языковских муз. [История пос.Языково Ульянов. обл.]. Ульяновск: Малое предприятие «Печ. двор», 1991. 47 [2] с.
- А й р у м я н А. А. Лев Толстой: донские страницы. Ростов н/Д: Кн.изд-во, 1991. 77 [18] с.
- А л е к с е е в Д. А., П и с к а р е в Б. А. Тайны гибели Пушкина и Лермонтова. М.: Русслит, 1991. 63 [1] с.
- Б а й б о р о д и н А. Г. Яко богино землю нареки: Очерки [о русской культуре]. М.: Современник, 1991. 206 [2] с.
- Б а р т е н е в П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников: [Для ст.шк.возраста. Сост., автор вступ.ст. и примеч. А.М.Гордин]. М.: Сов.Россия, 1992. 458 [2] с.
- Б е д л и н с к и й К. Б. «Страницы дней перебирая...» (А.С.Пушкин и калуж.край). Тула: Приокское кн.изд-во, 1992. 126 [2] с.
- Б е н ь к о в и ч М. А. Из истории русского философского романа. Отв.ред. Г.А.Белая. Кишинев: Штиинца, 1991. 106 [2] с.
- В е р е с а е в В. В. Живая жизнь: О Достоевском и Л.Толстом. Аполлон и Дионис (о Ницше). М.: Политиздат, 1991. 335 [1] с.
- Взаимодействие культур и литератур Востока и Запада. [Сб.ст. В 2 вып. Вып.1: Западная литература и Восток; Русская литература и Восток. Под ред. П.А.Гринцера, И.Д.Никифоровой]. М.: Наука, 1992. 219 [1] с.
- В о л к о н с к и й С. М. Мои воспоминания. В 2 т. [Предисл. М.Цветаевой, с. 5—33]. М.: Искусство, 1992. Т.1 — 397 [2] с. Т.2 — 381 [2] с.
- Г а л у ш к о Т. К. Пушкинский календарь: Повествование в двадцати рассказах с прилож. [Для сред.шк.возраста. Худож. А.Данилов]. Л.: Детская лит-ра, 1991. 143 [1] с.
- Г о л о в к о В. М. Поэтика русской повести. Саратов: Изд-во Саратовск.ун-та, 1992. 191 с.
- Дооктябрьские истоки межлитературной общности Урало-Поволжья. Сб.ст. [Сост. и отв.ред. В.М.Ванюшев]. Ижевск: Удм.ин-т истории, яз. и лит-ры, 1991. 261 [1] с.
- Дуэль Лермонтова с Мартыновым (По материалам следствия и воен.-суд.дела 1841 г.). Сост. Д.А.Алексеев. М.: Русслит, 1992. 95 [1] с.
- Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном: Подлин.воен.-судное дело 1837 г. [Сб.документов. Репринт.изд.]. М.: Русслит, 1992. 160 с. (Серия «Редкие книги из частных коллекций»).
- Жанры русской литературной критики 70—80-х годов XIX века. [В.Н.Коновалов, Л.Я.Воронова и др. Науч.ред. В.Н.Коновалов]. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1991. 163 [1] с.
- И в а н о в а Н. Н. Поэтические номинации в русской лирике. М.: Наука, 1992. 131 [4] с.
- История литературы и художественное восприятие. Сб.науч.тр. [Редколлегия: М.М.Кедрова (отв.ред.) и др.]. Тверь: ТГУ, 1991. 135 с.
- Источники по истории народной культуры Севера. Межвуз.сб.науч.тр. [Редколлегия: А.А.Амосов (отв.ред.) и др.]. Сыктывкар: СГУ, 1991. 133 [2] с.
- К а б а н о в В. Т. Судьба даров, или Жизнь графа Алексея Константиновича Толстого. Роман. М.: Ред.-изд.фирма «Копирайт», 1991. 206 [1] с.
- К а н а ш к и н В. А. И в помыслах, и в чувствах: Пути и перепутья нар.мысли. [в рус. и сов.лит-ре]. М.: Сов. Россия, 1992. 507 [2] с.
- К н и г и н И. А. Леонид Егорович Оболенский — литературный критик. Саратов: Изд-во Саратовск.ун-та, 1992. 103 [2] с.
- Книжные центры Древней Руси XI—XVI вв. Разные аспекты исслед. [Сб. ст. Отв.ред. Д.С.Лихачев]. СПб.: Наука, 1991. 363 [2] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Литература и фольклор. Вопросы поэтики: Межвуз.сб.науч.тр. Волгоград: ВГПИ, 1990. 191 с.
- М а к а р ы ч е в С. П. Новое мышление и проблема понимания: Уроки Достоевского. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородск.ун-та, 1992. 126 [2] с.
- М е д в е д е в Ф. Н. После России: [Интервью с деятелями культуры русского зарубежья, эссе, заметки]. М.: Республика, 1992. 462 [1] с.

М и т р о п о л ь с к и й А. С. «Реестр книг, читанных мною...». Круг чтения Н.А.Добролюбова 1849—1853 гг. и первые лит.опыты. Нижний Новгород: Упрполиграфиздат, 1991. 188 [1] с.

Н е ж е н е ц Н. И. Русские символисты. М.: Знание, 1992. 62 с.

Н е м и р о в с к а я Л. З. Религия в духовном поиске Толстого. М.: Знание, 1992. 62 [1] с.

П а в л о в с к и й П. И. Тайна Пушкина. [Пьесы о Пушкине, Ф.Тютчеве, И.С.Тургеневе и др.]. М.: Сов. писатель, 1991. 283 [2] с.

П и с к у н о в В. М. Чистый ритм Мнемозины. [О мемуарах рус. Серебряного века и рус.зарубежья]. М.: Знание, 1992. 63 [1] с.

Проблема традиции и новаторства в литературе и фольклоре. Межвуз. сб.науч.тр. (Редколлегия: В.А.Аветисян (отв.ред.) и др.]. Ижевск: УдГУ, 1990. 164 [1] с.

Проблемы изучения жизни и творчества А.А.Фета. Межвуз.сб.науч.тр. [Редколлегия: Г.Е.Голле (отв.ред.) и др.]. Курск: КГПИ, 1990 (1991). 177 [1] с.

Проблемы типологии русской литературы XX века: Межвуз.сб.науч.тр. [Редколлегия: С.Я.Фрадкина (гл.ред.) и др.]. Пермь: ПГУ, 1991. 148 с.

Р о д и о н о в а Л. В. Учебное пособие по русской критике. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991. 43 [1] с.

Русская драматургия и литературный процесс: Сб.науч.тр. [Редколлегия: В.А.Бочкарев (отв.ред.) и др.]. СПб.: ИРЛИ; Самара: СГПИ, 1991. 271 с. (Ин-т русской лит-ры, Самар.гос.пед.ин-т им.В.В.Куйбышева).

Русская литература XI—XX веков. Проблемы изучения. Тезисы докладов науч.конф.молодых ученых и специалистов. 29—30 апр. 1992 г. [Отв.ред. О.В.Творогов]. СПб.: Б.и., 1992. 55 с. (Ин-т русской лит-ры).

М. Е. Салтыков-Щедрин: проблемы мировоззрения, творчества, языка. Материалы конф. [Калинин, май 1989 г. Редколлегия: Р.Д.Кузнецова (отв.ред.) и др.]. Тверь: ТГУ, 1991. 126 [1] с.

Современники: [Жизнь и деятельность Е.Р.Дашковой и Н.И.Новикова]. — [Воспроизведение изданий 1892—1893 гг.]. М.: Фирма «Альфа», 1991. 176 с.

С о й н и Е. Г. Русская поэзия начала XX века и Финляндия. Петрозаводск: КНЦ АН СССР, 1991. 23 с. (Науч.доклады).

Творчество Ф.М. Достоевского: искусство синтеза [Г.К.Шенников, В.В.Борисова, В.А.Михнюкевич и др.]. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1991. 285 с.

Творчество И.С. Тургенева: проблемы метода и мировоззрения. [Межвуз.сб.науч.тр. Редколлегия: Г.Б.Курляндская (отв.ред.) и др.]. Орел: ОГПИ, 1991. 157 с.

Тень Баркова. М.: Аполлон, 1991. 31 [1] с. Содерж.: В кн. вклоч. работа А.Чернова «„Тень Баркова“, или Еще о пушкинских эротических ножках» и текст поэмы.

Т и м е Г. А. У истоков новой драматургии в России (1880—1890-е гг.). Л.: Наука, 1991. 152 [2] с. (Ин-т русской лит-ры).

И.С.Тургенев: мировоззрение и творчество, проблемы изучения. Межвуз. сб.науч.тр. [Редколлегия: Г.Б.Курляндская (отв.ред.) и др.]. Орел: Б.и., 1991. 165 [1] с.

Тургениана. Сб.ст. и материалов. [Сост. Л.А.Балькова, Л.В.Дмитрюхина]. Орел: МИИП «Поиск», 1991. 73 [1] с.

Ф и л и п п о в а Н. Ф. Трагедия А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». М.: Изд-во МПИ, 1991. 109 [2] с.

Чеховиана-Тсhёkhoviana: Чехов и Франция. [Сб.ст. Редколлегия: Ж.Бонамур, В.Б.Катаев и др.]. М.: Наука, 1992. 277 [1] с.

Э й д е л ь м а н Н. Я. Твой 18-й век; Прекрасен наш союз... [О пушк.выпуске Царскоселлищя. Предисл. В.И.Породоминского]. М.: Мысль, 1991. 397 с.

Язык — миф — культура народов Сибири. Сб.науч.тр. [Редколлегия: Л. Л. Габышева (науч.ред.) и др.]. Якутск: ЯГУ, 1991. 168 с.

Федор Абрамов и Север. [Ст., воспоминания, стихотвор. посвящения. Ред.-сост. Е.Ш.Галимова]. Архангельск: ГО СССР, 1992, 160 с.

Анализ одного стихотворения. Сб.ст. Киев: Б.и., 1991. 76 с.

А н а с т а с ь е в Н. А. Феномен Набокова. М.: Сов. писатель, 1992. 316 [2] с.

А н н е н к о в Ю. П. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. [В 2 т. Т.1]. Л.: Искусство, 1991. 341 [2] с.

Ахматовские чтения. [Бежецк, 1989. Редколлегия: В.А.Редькин (отв.ред.) и др.]. Тверь: ТГУ, 1991. 134 [2] с.

- М. Бахтин и философская культура XX века: (Пробл.бахтинологии). [Материалы конф., 2—6 фев. 1991 г. Вып.1, ч.1—2. Редколлегия: К.Г.Исупов (отв.ред.) и др.]. СПб.: Образование, 1991. Вып.1, ч.1 — 127 [1] с. Вып.1, ч.2 — 153 [1] с.
- Б е л к о в В. С. Повесть о Вологде; Сто историй о Рубцове. [О-во охраны памятников, Рубцов.центр]. Вологда: Б.и., 1991. 95 с.
- Биография исследователя как жанр славистики. Сб.науч.тр. [Редколлегия: М.М.Фрейденберг (отв.ред.) и др.]. Тверь: ТГУ, 1992. 122 [1] с.
- Верность человеческому: Нравств.-эстет. и филос. позиция Л.Леонова [Сб.статей. Редколлегия: Е.Е.Зубарева (отв.ред.) и др.]. М.: Наследие, 1992. 133 с.
- В л а д и м и р о в Е. В. Голоса участия и дружбы: [Лит.-краевед.очерки]. Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 1992. 206 [2] с.
- Г л э д Д. Беседы в изгнании: Русское лит.зарубежье. М.: Кн.палата, 1991 (1992). 318 [1] с.
- Е л а г и н В. Н. Противостояние: Лит.-критич.статьи, исслед., эссе. Краснодар: Кн.изд-во, 1991. 157 [2] с.
- Е ф и м о в а М. Ф. История в песнях. Саранск: Мордовское книжное изд-во, 1991. 124 [1] с.
- Запад на Востоке: Русские писатели XX в. о западноевропейской лит.-ре. Хрестоматия. [Сост. А.Т.Парфенов и др.]. М.: Мир кн., 1992. 168 [2] с.
- Зрелищно-игровые формы народной культуры. Сб.науч. ст. [Сост. Л.М.Ивлева]. Л.: ЛГИТМИК, 1990 (1992). 237 [2] с.
- И в а н о в а Л. В. Воспоминания: Кн. об отце. [О В.И.Иванове. Подгот.текста, предисл. и коммент. Д.Мальмстада]. М.: РИК «Культура»: Феникс, 1992. 428 [3] с.
- И л ь и н И. А. О тьме и просветлении: Кн.худож.критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. [Авт. послесл. и примеч. В.Молодыхов]. М.: Скифы, 1991. 209 [2] с.
- Импульс Ерошенко: [Жизнеописание. Сказки слепого поэта, познавшего мир: Сб.-к. Авт.-сост. В.Я.Лазарев, В.Г.Першин]. М.: ТПО «ТАМП», 1991. 139 [2] с.
- Интернациональные традиции русской культуры: Сб.науч.тр. Науч.ред. Г.А.Тишкин. Л.: ЛГИК, 1991. 162 с.
- Как жил Есенин: Мемуар.проза. [Сост., автор послесл. и коммент. А.Л.Казаков]. Челябинск: Южно-Уральское кн.изд-во, 1992. 379 [2] с.
- «Кануны» Василия Белова. [Сб.ст. Сост. А.В.Панков]. М.: Сов.писатель, 1991. 238 [2] с.
- К о л е г а е в а И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. Одесса: Обл.упр.по печати, 1991. 121 с.
- К р о х и н Ю. Ю. Профили на серебре: Повесть о Л.Губанове. М.: Изд.предприятие «Обновление», 1992. 138 [2] с.
- К у р б а т о в В. Я. Валентин Распутин: Личность и творчество. М.: Сов.писатель, 1992. 172 [1] с.
- Л а н щ и к о в А. П. Виктор Астафьев. [Жизнь и творчество]. М.: Просвещение, 1992. 157 [2] с.
- Л и с н я н с к а я И. Л. Музыка «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. М.: Худож.лит.-ра, 1991. 155 [2] с.
- Л и т в и н е н к о И. Г. Территория совести. [Лит.-критич.очерки]. Хабаровск: Кн.изд-во, 1991. 220 [2] с.
- Л и х а ч е в Д. С. Я вспоминаю. [Предисл. Н.Г.Самвеляна]. М. Прогресс, 1991. 253 [2] с.
- Л о п у с о в Ю. А. Путь к зрелости: (Молодая проза России: 80-е гг.). М.: Изд.-полигр. об-ние «Молодая гвардия»; Тирасполь: Всесоюз.творч. об-ние молодых писателей-фантастов, 1991. 170 [2] с.
- М а к а р о в А. Г., Макарова С.Э. Цветок-татарник. К истокам «Тихого Дона» [М.А.Шолохова]. Ч.1. М.: Б.и., 1991. 190 с.
- М а л я з ё в В.Е. К.С. Бадигин. Морепоплаватель и писатель. Саратов; Пенза: Приволжское кн.изд-во, 1992. 141 [2] с.
- М а р к о в а Е. И. Элементы финно-угорской культуры в художественной системе Николая Клюева: Препр. доклад на заседании Учен.совета Ин-та яз., лит. и истории. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1991. 17 с.
- Межвузовская науч. конф., посвященная 160-летию со дня рождения Н.С.Лескова (1991; Орел). Тезисы докладов Межвузовской научной конференции... Орел: Б.и., 1991. 47 с. (Ин-т русской лит.-ры; Орловский гос.пед.ин-т, Гослит.музей И.С.Тургенева).
- М о с т к о в Ю. М. Михаил Михеев. Новосибирск: Кн. изд-во, 1992. 94 [1] с. (Литературные портреты).

Нет хода нам назад. 33 моск. барда. [Сб.лит.-худож.материалов. Сост. Р.А.Шипов]. М.: АО «Полигран», 1991. 191 [1] с. (Серия «Барды». Кн.1).

О в и н н и к о в Д. А. Певец России. Очерк творчества С.А.Есенина. [Предисл. В.Сорокина]. Тула: Приокское кн.изд-во, 1992. 270 [2] с.

П а н ф и л о в А. Д. Константиновский меридиан: Поиски, исслед., находки, мысли вслух, воспоминания сверстников и односельчан о детстве С.Есенина и с. Константинове. [В 2 ч.]. М.: Энцикл.рос. деревень: Нар. кн., 1992. Ч.1 — 287 [1] с. Ч.2 — 254 [2] с.

Писатель и время. Межвуз.сб.науч.тр. [Редколлегия: А.В.Терновский (отв.ред.) и др.]. М.: Прометей, 1991. 277 [2] с.

Реализм: жанр, стиль. Сб.науч.тр. [Редколлегия: Л.В.Михайлова (отв.ред.) и др.]. Фрунзе: КГУ, 1990. 147 [1] с.

Р е ш е т о в с к а я Н. А. Разрыв. [Первая жена А.Солженицына рассказывает драм.историю их жизни]. Иркутск: МП «ЛИК», 1992. 170 [2] с.

С а р н о в Б. М. Смотрите, кто пришел: Новый человек на арене истории. М.: Новости, 1992. 589 [1] с.

Семантика художественного текста. Межвуз.науч.сб. [Редколлегия: Л.Л.Бельская (отв.ред.) и др.]. Алма-Ата: КазГПУ, 1991. 135 с.

С е н к е в и ч А. Н. Показания свидетелей защиты (Из истории русского поэтич.подполья 60-х гг.). М.: Знание, 1992, 63 [1] с.

Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исслед. и материалы. [Отв.ред. З.С.Паперный]. М.: Наука, 1991. 509 [1] с. (Ин-т мировой лит-ры).

С п и в а к И. А. Многонациональная героическая (Сов.поэзия воен.лет в ее жанровом движении). [Учеб.пособие...]. Киев: УМКВО, 1991. 259 с.

Стилистические исследования художественного текста. Сб.науч.тр. [Редколлегия: А.Ф.Никонова (отв.ред.) и др.]. Якутск: ЯГУ, 1991. 171 [1] с.

Т а р т а к о в с к и й П. И., К а г а н о в и ч С. Л. Русскоязычная поэзия Узбекистана на современном этапе. Ташкент: Фан, 1991. 237 [2] с.

Трубачев О. Н. В поисках единства: [Слав.яз. и народы]. М.: Наука, 1992. 184 [2] с.

У м н и к о в С. Д. Краткая ахматовская энциклопедия: От А до Я. Тысяча слов — кратких справок. Л.: Б.и., 1991. 111 [1] с.

У т е в с к и й А. Б. «На Большом Каретном» [О В.Высоцком]. М.: Рекл.-изд. дом «Имидж», 1992. 142 [1] с.

Фольклор в современном мире: Аспекты и пути исследования. [Сб.ст. Отв.ред. В.А.Бахтина, В.М.Гацак]. М.: Наука, 1991. 182 [2] с.

Фольклор и этнографическая действительность: [Сб.ст. к 75-летию со дня рождения Б.Н.Путилова. Отв.ред. А.К.Байбурун]. СПб.: Наука, 1992. 201 [1] с.

Фольклор народов РСФСР. Фольклор и этнография, общее и особенное в фольклоре разных народов. Межвуз.науч.сб. [Отв.ред. Л.Г.Бараг]. Уфа: БГУ, 1990. 133 [2] с.

Х е й т А. Анна Ахматова. Поэтич.странствие. [Пер. с англ. Предисл. А.Наймана; коммент. В.Черных]. М.: Радуга, 1991. 382 [1] с.

Цыбин В. Д. Удивления: Творческий сад. Этюды. Беглые мемуары. М.: Сов.писатель, 1991. 428 с.

В и к т о р Ц о й: Стихи, документы, воспоминания. [Авт.-сост. М.Цой, А.Житинский]. СПб.: Новый Геликон, 1991. 366 [1] с.

«Человек играющий» в творчестве В.В.Маяковского: Эстетика праздника. [Науч.редактор Л.Е.Герасимова]. Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1991. 42 [1] с.

Ш в е й ц е р В. А. Быт и бытие Марины Цветаевой. М.: СП «Интерпринт», 1992. 536 [2] с.

Щ е к о т о в П. А. Новое дыхание. Лит.процесс второй половины восьмидесятых гг. Саратов: Приволжское кн.изд-во, 1991. 101 [2] с.

Эстетический дискурс: Семио-эстет.исслед. в обл.лит. Межвуз.сб.науч.тр. [Редколлегия: В.И.Тюпа (отв.ред.) и др.]. Новосибирск: НГПИ, 1991 (1992). 163 [2] с.

Язык и стиль произведений И.Э.Бабея, Ю.К.Олеши, И.А.Ильфа и Е.П.Петрова: Сб.науч.тр. [Редколлегия: Ю.А.Карпенко (отв.ред.) и др.]. Киев: УМКВО, 1991. 233 [1] с.

Studia bohémica: К 70-летию С.В.Никольского. [Сб.ст. Редколлегия: Л.Н.Будагова, Н.В.Шведова]. М.: ИСБ, 1992. 201 с.

Писатели современной эпохи. Биобиблиогр.словарь русских писателей XX в. Ред. Б.П.Козьмина. М.: Изд-во сов.-фр.совмест.предприятия «ДЭМ», 1992. (Репринт.изд. М., 1928). Т.1. 285 [1] с.

Русский биографический словарь. [Репринт. воспроизведение изд. 1896 г. Т.1. Аарон — Александр II]. М.: Aspect Press, 1992. 892, II [3] с.